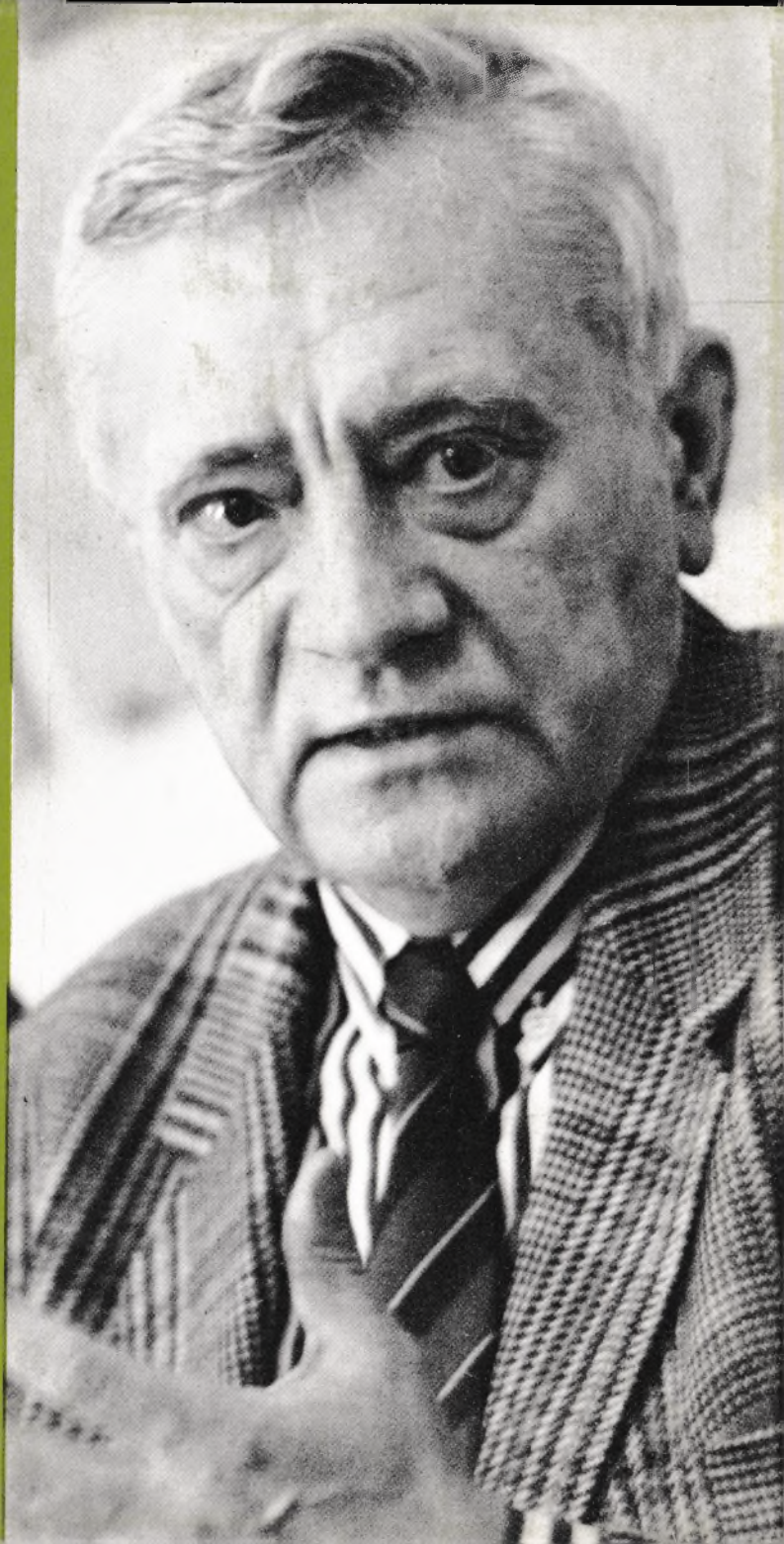


2 | Владимир МАКСИМОВ



Владимир МАКСИМОВ

2

Владимир
МАКСИМОВ

2

Владимир
МАКСИМОВ



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ВОСЬМИ ТОМАХ

Владимир МАКСИМОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ВОСЬМИ ТОМАХ



«ТЕРРА» - «TERRA»
МОСКВА 1991

Владимир МАКСИМОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ВТОРОЙ

СЕМЬ ДНЕЙ ТВОРЕНИЯ

РОМАН



«ТЕРРА» - «TERRA»
МОСКВА 1991

ББК 84Р7
М17

Художник И. Сайко

М 4702010201 Подписное
91

ISBN 5-85255-031-0 (Т. 2)
ISBN 5-85255-038-8

© Издательский центр «ТЕРРА», 1991.

ПОНЕДЕЛЬНИК

Путешествие к себе

Сны Петра Васильевича вообще отличались в последнее время диковинностью и пестротой, а сегодня ему снилось и вовсе что-то уж совсем ни с чем не сообразное...

Известные всей свиридовской слободе воры, братья Ламские, волокли мимо его окон паровозную трубу в детской коляске и при этом озорно подмигивали ему: пошли, мол? Он хотел было крикнуть им нечто презрительное и уничтожающее, но на их месте неожиданно возник непутевый, убитый еще в финскую кампанию, сосед его, Санька Баев, с ковригой пеклеванного под мышкой и с полбутылкой в свободной руке. Охватив «Московскую» за горлышко, он пьяно скалился в его сторону: врешь, мол, старый дурак!

Захлебнувшись обидой, он бросился было к окну, но тут же пришел в себя с удушливым колотьем под самым горлом. Рука его привычно потянулась к тумбочке и стала судорожно шарить по ней в поисках таблетки валидола, заготовленной, как всегда, еще с вечера.

Мятный холодок во рту принес ему обманчивое успокоение. И мысли, вялые и случайные, словно ветошь в мутном омутке, мысли, завязали свой обычный дневной круговорот.

Вот уже лет, примерно, около двадцати, с того самого тусклого мартовского утра, когда Петр Васильевич вернулся со скорых, небогатых даже и по тому голодному времени похорон жены, жизнь его приобрела подобие часового круга, где всякая цифирь отличалась от другой не цветом и содержанием, а только условной сутью.

Еще лежа он знал, что ровно в семь встанет, постучит в дощатую перегородку, что отделяет его комнату

от светелки дочери Антонины, и та, по обыкновению, не ответит, но ему и без того будет ясно, что она услышала и уже поднялась, и вскоре бесшумно начнет свою ежеутреннюю работу: включит плитку и возьмется за сооружение для него шестиместной «кочубеевской» яичницы.

Потом он неспеша, со вкусом поплескается перед рукомойником, медлительно облачит себя в свои обычные доспехи: бумажные китайские брюки, шерстяные носки (мерзнут ноги!), ботинки на микропорке, косоворотку, суконный, еще довоенных времен жилет и чешский пиджак, купленный дочерью по случаю.

Яичницу Петр Васильевич съест молча, со внушительной вдумчивостью и, ровно в восемь, вооружившись у двери шляпой и палкой, все так же молча выйдет на улицу, которую он, в силу привычки, называет слободой.

А сейчас, до урочного времени, старик просто, безо всяких дум глядел в облитое первым июльским светом окно, за которым когда-то был небольшой садок десятка на два яблонь вперемежку с вишнями (причуда Петра Васильевича, тоже отдавшего в свое время дань новомодному тогда учению) и где теперь высилась красного цвета глухая стена заводского корпуса. Стена была такой непостижимо громадной, что иногда ему казалось, будто за ней уже ничего нет — пустота.

Завод, год от года обрастая строениями, все ближе придвигался к углу дому, отжимая его к самой дороге, которая в свою очередь расплзалась в ширину. Между этими двумя врагами, словно маленькое буферное государство в тисках гигантов, и отстаивал свою независимость приземистый, еще дедом отстроенный пятистенки, где одну комнату из четырех занимал Петр Васильевич.

В городе его знали все или почти все и, если не любили, для этого он никак себя не проявлял, то уж во всяком случае уважали, как, впрочем, уважают все,

что хранит одним только своим существованием то, чего другие, хотя бы в силу возраста, не знают, да и знать не могут. Таким бывает уважение к памятнику, старой крепости, знаменитой горе.

Поэтому, когда известная всему городу палка стучала по асфальту, почти каждый ее стук бывал отмечен поклоном или приветствием:

— Васильичу!

Тук-тук...

— Здравствуйте, товарищ Лашков!

Тук-тук...

— Приветствую!

Тук-тук...

— Здоров, Петр Васильевич!

Тук-тук...

— Наше вам!

Тук-тук-тук...

И так весь день от восьми до восьми, с тремя перерывами: для обзора, впрочем беглого, газет на стендах, захода в столовую и обязательного, но не слишком затяжного отдыха в городском сквере между четырьмя и пятью. Как говорится, город знал его, а он знал свой город.

Узловск, подобно многим уездным городам России конца девятнадцатого века, возник вокруг крупной железнодорожной станции, примерно, на полпути между Москвою и Энском, а потому именно станция, а с нею все ее основные службы — вокзал, депо, вспомогательные постройки — являли здесь собою хозяйственное и духовное средоточие.

Город рос в основном за счет естественно тянувшихся к нему голодными ртами окрестных деревень: Сычевки, Свиридово, Дубовки. Они и поставляли «железке» черную рабочую силу и хлеб. По мере роста дороги, хлеба у них становилось все меньше, зато матерела черная рабочая сила. Стараниями отъевшихся на новых харчах баб, пополнение ее не иссякало.

Мужики пограмотнее, посмекалистее, выбившись всеми правдами и неправдами в люди, строились ближе к станции и, таким образом, незаметно — за домом дом — сближали село с городом, пока самые деревни не вошли в город, как его составные части. И станция Узловская сделалась очередным уездом Российской Империи, а стало быть, Узловском.

Петр Васильевич прожил в Узловске семьдесят с лишком лет, и, если бы его спросили однажды, что в нем — в этом городе — самое главное, самое примечательное, он бы затруднился ответом, как затруднился бы ответом о себе самом, настолько оба они являли собою как бы одно целое.

Город принял его — совсем еще молоденького Свиридовского залетку — едва оперившимся, посадил проводником в третий класс, и с тех пор жизнь обоих текла друг у друга на глазах.

Стала Узловская уездом, и у Петра Васильевича Лашкова жизнь прибавила важным знаком путейского достоинства — обер-кондукторской сумкой; обзавелся город своим элеватором, и его пятистенник засиял на все Свиридово веселой оцинкованной крышей; первая шахта обозначилась терриконом за рекой, и в дом к молодому обер-кондуктору вошла, чтобы остаться там на сорок без малого лет, тихая и работающая Мария — дочь слободского шахтера.

А потом все: и бронепоезда в гражданскую, и мертвые паровозы чуть позже, и первые машинисты — во врагах народа, — и гробы, сложенные на всякий случай штабелем у депо в последнюю войну, — все вместе.

Присматриваясь к городу, Петр Васильевич пытался вызвать к жизни бывшее целое из возникающих в памяти черт и черточек, но неряшливая в лихорадочной своей убогости застройка местных слободок безликими коробками из стекла и бетона уже не могла оживить дряхлеющую душу собственно Узловска. Другой

город, с другими песнями и другим порядком победительно определял его облик.

«Тук-тук, тук-тук...» — выстукивала палка асфальтовый панцирь улиц. И сердце города, задыхавшееся под ним, астматически откликалось:

«Я — здесь!» — тянулся к свету сквозь асфальт росток тополя, уже готовый разбиться в листья.

«Я — здесь!» — сыро вздыхала еще не схваченная бетоном земля вокруг водоразборной колонки.

«Я — здесь!» — блистало куском припудренного известкой и цементом зеркала озерцо, а скорее всего просто прудок крохотный.

Тук-тук, тук-тук, тук-тук!..

Но ответы с каждым днем становились все глуше и безнадежнее.

Утверждая собственную жизнеспособность, они тихо радовались всякой что ни на есть пустяшной детали прошлого: «А-а, живы, значит!»

«Часики-то еще сохранились! — радовался один, глядя на то, как Петр Васильевич заводит свои «Пауль Буре». — Классный ход! Известное дело, довоенная работа!»

«А красильня-то, красильня стоит! — вторил ему другой. — Износу ей нет, да!»

«Ишь, — не сдавался город, — и рубашечка-то нынче на вас, Петр Васильевич, наша — косою ворот в горошек. Век не застираешь!»

«И пекарня на месте, — играло стариковское сердце, — в такой печи из дерьма калачи выходят! Знай наших!»

Тук-тук... Тук-тук...

Петр Васильевич грузно опустился на лавочку, блаженно вытянув ноги: куда ни кинь, больше семидесяти.

За ребристые крыши окраины, трудно дыша, багрово-желтой туманностью стекал день. Город еще погрохатывал, еще позванивал где-то между сквозных глазниц зачатых корпусов, силясь изо всех сил изобра-

зить мощь, деяние, но в его тяжком выходе уже явственно прослушивалась надсадность.

Петр Васильевич никогда не менял своего раз и навсегда принятого маршрута, и, если бы не толпа у разбитой витрины модного в городе продмага «Витязь», старик и в этот день не изменил бы направления.

Дело оказалось настолько пустым и мелким, что и любопытствовать не стоило, да и не отличался Петр Васильевич особым любопытством, но когда он, уже проходя мимо, искоса взглянул, только взглянул, в сторону этой самой разбитой витрины, его сразу, вмиг, как это бывает в электричестве, где единого, единственного всего мгновения контакта достаточно, чтобы возник всеобнажающий свет, постигло озарение.

В нем вдруг как бы взломалось все, как бы разорвался какой-то мертвый круг, из которого долго и безуспешно в поисках выхода тянулась его окольцованная глухотою душа: за выбитым стеклом красовался всей своей фальшивой сутью камуфляж окорока, на камуфляжном блюде, в окружении камуфляжных же колбас.

Толпа еще возбужденно шелестела по поводу происшествия, а Петр Васильевич уже не существовал в ней, не слышал ее, не присутствовал в ее суетоке. Весь он в эту минуту был обращен туда, в свою юность.

Заваруха, поднятая в те поры деповскими мастеровыми, случайно застала его на базарной площади. И в самый ее разгар, то есть, когда первая пулеметная очередь местной команды слизнула с площади остатки всего живого и методично прошлась по витринам, Петька, хоронившийся под одной из брошенных хозяевами телег, выявил впереди себя соблазнительную цель: всего в каких-нибудь пятидесяти саженьях, за развороченной витриной гастрономической лавки купца Туркова соблазнительно поддразнивал его янтарным своим срезом копченый окорок. Настоящий копченый окорок!

И Петька пополз, пополз через всю насквозь про-

стрелянную площадь. Тысячу, по крайней мере, раз могла уложить его любая шальная из всех тех шальных, которыми пело то забытое было и вдруг возникшее из прошлого утро, но ни одна — случаются же чудеса! — не тронула парня.

Петька дополз, дополз вопреки всему, но когда, наконец, он протиснулся через ребристое стекольное отверстие внутрь, рука его ощутила шероховатость чуть-чуть подкрашенного картона.

И лишь тут страх преодоленного пути коснулся Петьки, и Петька заплакал, нет, не заплакал — завыл от ужаса и обиды:

— Братцы-ы, что же это, братцы-ы, а?!

II

Петра Васильевича сразу же потянуло домой. Дорогой он все недоумевал, все никак в толк не мог взять, почему давнее это воспоминание могло до такой степени взволновать его, мало взволновать, вызвать смутные предчувствия, породить еще пока неясные, но все-таки надежды, когда, казалось, все уже позади. Но, вместе с тем, Петра Васильевича не оставляло и ощущение все нарастающей тревоги, сопутствующей всяким значительным переменам, а что перемены эти не заставят себя ждать, в этом он теперь не сомневался.

Едва ли и минуту простоял Петр Васильевич у двери дома, как бы в раздумье, прежде чем повернуть за угол, в половину дочери, а повернув, сразу же услышал знакомый стрекот швейной машинки: Антонина прирабатывала к его пенсии шитьем. И хотя ему это было не по душе, он никогда с нею об этом не заговаривал, и не из деликатности вовсе, а так — по привычке молчать.

Без стука, палкой толкнул дверь:

— Здорово живешь, Антонина?

От неожиданности — отец вот уже лет около пятнадцати не заходил в ее половину, ограничивая свои с

ней взаимоотношения стуком в перегородку дважды в день, — Антонина не только не встала навстречу гостю и не ответила, но даже не подняла головы, с истерической при этом лихорадочностью заработав педалью. Но по тому, как из-под рук у нее наискосок через все штапельное поле шов поплыл диковинными зигзагами, Петр Васильевич догадался, что творилось сейчас у нее на душе. Ему пришлось чуть ли не насильно отдирать ее руки от шитья:

— Сдурела, Антонина!

И тут она на мгновенье вскинула на него глаза, и сразу же опустила их снова, едва пролепетав:

— Нет, отчего же, папаня...

И сердце его как бы сорвалось с высоты, и потолок накренился в его сторону, и все в дочерней светелке пошло перед ним кругом: Антонина была пьяна, да так, что оставалось лишь удивляться, как она вообще ухитрялась работать. Стул под Петром Васильевичем заскрипел, зашелся по всем швам:

— Так, Тонюшка, так, доченька, так... Что же дальше будет? — начал было он, но вдруг с мучительной определенностью осознал, что говорит бессмысленные ненужные слова, а какие могли бы сейчас сгодиться, да и могли ли сгодиться вообще, он не знал, поэтому только тяжело крикнул в заключение: — Эх, Тоня, Антонина!

Сначала она тупо слушала отца, машинально раскатывала между ладонями наперсток, но стоило ему замолчать, как мутные хмельные слезы, собираясь на остреньком подбородке, неровно заструились по ее мелкому, тронутому нездоровой отечностью лицу:

— Папаня! — прерывистой скороговоркой бормотала она и все искала его взгляда, все искала. — Папаня, да разве ж я!.. Папаня!..

И если сначала Петр Васильевич безусловно считал себя оскорбленным и, разумеется, правым в своем негодовании, то теперь, глядя на ее мятые хмелем, трясущиеся губы, жалкий полурастрепанный пучок на за-

тылке и эти вот, так и не окрепшие в настоящем деле ладони, по-прежнему раскатывавшие наперсток, он все определеннее проникался не жалостью, не состраданием, нет — ему ли было заботиться эдакими тонкостями! — а чувством еще покуда безотчетной вины перед нею.

«Вот оно, началось, — с горечью думал он, — плохо ли, хорошо ли, а началось, чуяло мое сердце».

Антонина была младшей в семье и единственной из шестерых детей Петра Васильевича, что осталась при нем. Дочери спешили замуж из родного дома, и потому выпшли кое-как и неудачно, сыновья подавались, куда глаза глядят, и по-разному, и в разное время исчезали с лица земли. Все они отказывались от него, чтобы уже никогда не переступить отчего порога. Где-то там, в стороне, его дети ставили свои дома и семьи, рождали детей, а их дети — своих детей, но никто из них никогда не вспомнил о нем. Ему коротко и, кстати, не приглашая, сообщали о смерти того или другого, и все.

Получая короткие эти весточки, Петр Васильевич, как водится, горевал, хотя и без особой скорби. Но и в естественной этой боли его упрямство всегда укрепляла облегчающая мысль: «Слушал бы отца, не пропал бы!» Как будто и здесь отцовская воля могла что-либо поправить.

Петр Васильевич всегда считал себя правым. Всегда и во всем. И не было силы, какая смогла бы переубедить его в этом. Может быть, такого рода убежденность откладывала в нем профессия. Безраздельно властвуя на протяжении суток в местном пассажирском, он в дни, свободные от поездок, и с домашними усвоил поездную форму обращения. Самым употребительным в его лексиконе было слово «нельзя». Нельзя то, нельзя это. Нельзя вообще ничего. Но дети росли, и мир с каждым следующим днем становился для них шире и выше его «нельзя». И они уходили, а он оставался в злорадной уверенности в их скором возвращении с повинной.

Но дети не возвращались. Дети предпочитали умирать в стороне от него.

Старшего — Виктора — лекальщика с «Динамо» взяли прямо из цеха, с тем только, чтобы, обозначив в протоколах исходные, пустить в расход.

Петр Васильевич бровью не повел.

Второй — Дмитрий — нарвался на свою лютую долю у линии Маннергейма.

Петр Васильевич и не поперхнулся.

Дочь — Варвара — в смертельных родах отдала век четвертому чаду своему, здесь рядом — в Углегорске.

Ему и об этом недосуг было печалиться.

С младшим сыном его — Евгением — плохую шутку сыграл «фауст-патрон» под Кёнигсбергом.

Отец лишь вздохнул слегка.

И, наконец, брошенную мужем с тремя малолетними на руках — Федосью — схоронили на казенный кошт, а детей рассовали по детдомам.

«Что ж, — только и подумал он, — сами себе долю выбирали».

Не заметил Петр Васильевич и того, как бесслесно истлела у него под боком им по-своему и горячо любимая жена — Мария. Истлела, утасла тихо и благодарно слякотным мартовским вечером. И лишь тут, около этого, неожиданно для него оказавшегося небольшим и сухоньким, тела жены, Петра Васильевича коротко обожгло такой болью, таким неведомым дотоле смятением, что он испугался вдруг своего одиночества, испугался до черноты в глазах. И, чтобы не соблазняться сладкой жутью посмотреть на самого себя со стороны, он зажмурился сердцем и замолк. И в темном молчании этом проглядел и прослушал дыхание собственной дочери за перегородкой. Проглядел, что, схоронив мать, восемнадцатилетней девочкой осталась она вековать свой век рядом с ним, и с тех пор, вот уже без малого двадцать лет ходит за ним, кормит, обстирывает, выносит урыльники. А ведь, если не лучше других была,

но и не хуже, право! Мужика ей не хотелось? Еще как! Детями брезговала? Десятерых, и чтобы все — парни! Дом свой не мил был? Светом бы его нездешним залила! Всего Антонине хотелось, чего положено девке и бабе в свой срок и час.

И вся сумятица вопросов, взявших за душу Петра Васильевича, вдруг разрешилась в слове:

— Слушай, Тоня, — он грузно поднялся, шагнул к ней и, неуклюже теребя ей плечо, стал успокаивать, — не надо... Перемелется... Подумаешь, выпила... Кто без греха!.. Бросить бы только надо тебе все эти тряпки-тяпки, к хорошему делу встать... Я уж как-нибудь сам с собой управлюсь... Теперь, вон, в столовой любо-дорого... На четыре гривенника ешь — не хочу... Опять же, прачечные есть...

Но та, от первой же отцовской ласки, затряслась вся, зашлась и, с силой оглаживая его запястье и прижимаясь к его бедру мокрой щекой, тихо молвила:

— Папанюшка-а-а... Я все сделаю... Все, как вы велите... Только б не сердились на меня. — Она так и произнесла «сердились». — Пойду, куда захотите, пойду... Только мне около вас лучше... Может, я что не так... Вы скажите... Я все сделаю...

Постепенно Антонина затихала, дыхание ее становилось ровнее, спокойнее, слезы высыхали, она почти блаженно подремывала у его руки.

Петр Васильевич осторожно поднял дочь, повел к кровати и там сложил ее вялое послушное тело. Едва коснувшись подушки, Антонина заснула, а он стоял с ее туфлями в руках и в дрожи, памятной ему с дочернего еще детства, смотрел, как, сладостно причмокивая во сне, засыпает его теперь уже почти сорокалетнее чадо. Да ведь, по сути, ничем не искушенная, она и осталась вся там — в своих детских снах. А для детей — год или сто, какая разница!

Петр Васильевич поставил ее туфли перед кроватью и, стараясь не задеть чего-нибудь по дороге, вышел и тихонько прикрыл за собою дверь.

III

И опять ему снилась какая-то чертовщина. Бабка Наталья, старуха больная и ругательная, протягивала ему горсть мятых вишен и, шамкая провалившимся ртом, бубнила в ухо: «Вожми, Петюшка, вожми не брежгуй...» А потом, покойный начальник службы движения Егоркин, стуча кулаком по столу, честил его на чем свет стоит: «Под трибунал захотел, Лашков! У меня не засохнет!» Петр Васильевич хотел было громко обидеться, за что, мол, но вдруг вспомнил, за что, и промолчал. Следом за Егоркиным, выплыла из небытия собственная его — Лашкова — свадьба, на которой приходившийся ему тестем забойщик Илья Парфеньч Махоткин, пьяный в дымину, лез к нему целоваться и при этом хрипло изрыгал: «Ой сю, сю, сю, сю, сю, сю, сю, сю, я вас, то есть, попрошу, вы мне не кушайте, вы мне послушайтя...» А затем его уносил сквозь снег поезд голодного года и в призрачном свете копилки кто-то тоненько тянул из-под лавки: «Прощай, Маруся дорогая, прощай, сынок мой дорогой. Тебя я больше не увижу, лежу с разбитой головой...» После чего он стоял, защищая тамбур, а на него со всех сторон лезли лица — много лиц, знакомые и незнакомые. «Осади! Осади назад!» — надрывался Петр Васильевич, но лица лезли и лезли, лезли, молчаливо тараща на него глаза...

Пробуждение Петра Васильевича отстаивалось долго и тяжело. Кутерьма расплывчатых видений еще, казалось, кружила в комнате, а день уже проникал его предстоящими заботами. Следовало сегодня же выхлопотать дочери место, где бы она могла без ущерба для своей привязанности к нему, заняться стоящим делом.

Старик привычно потянулся было к перегородке, но тут же, словно перегородка сделалась вдруг раскаленной, отдернул руку и не без горечи усмеялся про себя: «Забывчив стал, седой черт! Не можешь без прислуги».

Редкую листву яблони у самого окна едва-едва по самой кромке тронуло солнце, и вся она еще трепетно подрагивала от ночной сырости. Но все же эта ее вечная убогость выглядела куда устойчивее глухой, в два с половиной кирпича стены, наступавшей на нее с тыла.

За много лет Петр Васильевич так привык к убранству своего жилища, где ничего и никогда не стояло для него в отдельности, а всегда все вместе в одном целом образе, что теперь, когда почему-то, и вдруг, каждый предмет заговорил с ним особым языком, он несколько озадачился.

Петр Васильевич оглядывал комнату, узнавая и не узнавая ее. Что-то совершенно неуловимое изменилось в ней. Будто впервые увидел он шкаф с запыленным граммофоном наверху. Конечно же, и шкаф, и граммофон попадались ему на глаза множество раз, но лишь сейчас он отметил их, и отметил каждого в отдельности. Или вот ходики с отломанной стрелкой. И ходики, и отломанная стрелка мозолили ему глаза лет уже не менее сорока, но только теперь Петру Васильевичу подумалось: «А стрелка-то отломана, да...». Даже в скрипе собственной кровати он лишь сегодня различил лады и оттенки: если сядешь — с надрывом; ложишься, звук начинает петь; повернешься на бок, отзывается надтреснутым дискантом.

Нет, мир положительно оборачивался к Петру Васильевичу какой-то иной стороной, иным ракурсом.

За перегородкой послышался шорох, затем голос — просительный, виноватый:

— Папаня, вы что?

— Ничего, дочка...

— Нет, я думаю, может, нездоровится?

- Чего себя беспокоишь зря, спи...
- Вам, папаня, вставать время... Я сейчас.
- В столовую схожу, Антонина, спи.

Послышался жалкий всхлип:

— Я больше не буду, папаня, ей-Богу, не буду никогда...

— Чего не будешь?

Из-за стены, точь-в-точь, как маленькая, дочь засопела, чуть в нос и подбородок:

— Пить... Не буду...

— Да разве я потому, дочка! Хочу, чтоб поспала ты... Мое дело стариковское... Всем дедам леший спать не дает, а тебе зачем ни свет, ни заря вскакивать, спи себе...

Голос Антонины дрогнул от обиды и боли:

— Не хочу... Спать...

И Петр Васильевич почувствовал, что если сейчас, хотя бы даже из добрых побуждений, он оттолкнет дочь, ему ее едва ли вернуть после:

— Сейчас... Умоюсь...

Вслушиваясь в ее торопливую беготню за стеной, он с горечью утверждался в мысли, что для нее ее вечное бдение рядом с ним стало привычкой и потребностью, и что ему этого уже не переиначить.

В это утро Антонина не ходила — летала вокруг стола, предупреждала любое желание отца, каждый его кивок принимала, как награду, и вообще во всем, чтобы она ни делала в это утро, сквозили праздничность и удовлетворение.

Так что из дому Петр Васильевич выходил ухоженный дочерью сверх всякой меры, ощущая, правда, в себе некоторую неловкость или, вернее, смущение, свойственное обычно именинникам.

С близкого поля, которое растекалось по обе стороны дороги прямо от истока слободы, тянуло зацветающей гречихой. На душе у Петра Васильевича стало вдруг так мирно и благостно, что ему захотелось, до

слез захотелось туда, в этот запах, в этот давным-давно забытый сквозной простор, и он, не раздумывая более, впервые за много лет повернул прочь из города.

Неистребимо утоптанная тропинка водила Петра Васильевича полем, со всех сторон подступавшим к окрестным терриконам, и он шел себе и шел, повинуюсь ее прихоти. Отрывочные и путаные видения прошлого кружили над ним. От тех, что казались ему мелкими, пустыми, он просто отмахивался, в другие вглядывался, стараясь вспомнить детали, но они, не успев обрести устойчивую резкость, растворялись в памяти, чтобы уступить место следующим.

Почему-то отчетливо вспомнилось: пронзительно солнечное утро, сквозь которое от двери к столу идет Мария, а в руках у нее тарелка с огурцами, круто посыпанными солью. Реальность предстала перед Петром Васильевичем с такой поразительной отчетливостью, что, думалось, сейчас, с расстояния в сорок лет, он мог бы различить на каждом семечке любую солинку...

Внезапно в полдневную, почти физически ощутимую тишину вплыла и заполнила собою окрест скорбная мелодия труб, взявшая начало еще где-то в городе. Через Свиридово пролегла дорога к кладбищу, и в другое время очередные похороны едва ли привлекли бы внимание Петра Васильевича, но ему — жившему теперь ожиданием перемен — и в музыке услышался, так сказать, зов предчувствия, и он двинулся навстречу трубам, и с каждым шагом все более укреплялся в мысли, что не обманется в ожиданиях.

По форменной одежде большинства идущих можно было безошибочно определить: хоронят путейца. Когда же процессия поравнялась с ним, с проплывающей мимо него фотографии, в его сторону косо усмехнулось блеклое одутловатое лицо Фомы Лескова: «Что, брат, все коптишь? А я и здесь успел!»

Из провожающих многие кланялись Петру Васильевичу и тут же отводили глаза: давняя история его

взаимоотношений с покойным прочно укрепились в сознании местных движенцев, которые считали их кровными врагами, хотя едва ли кто знал толком, с чего и когда она — эта вражда — началась.

И сейчас, провожая взглядом скорбное шествие, Петр Васильевич, хотя и не раскаивался ни в чем, в глубине души подсадовал: «На старости-то можно бы и помягче жить. Не дожидаться похорон, помириться».

Тук, тук, тук...

Даже в стуке его палки прослушивалось сердитое сожаление. Перед глазами возникали белые мухи. Белые мухи первой военной осени...

Начальник службы движения Егоркин, кое-как разместив за столом свое грузное неповоротливое тело, отчего стол сразу стал глядеться игрушечным, проговорил, не глядя на собеседника:

— Вот какое дело, Лашков... Как бы это тебе сказать. — Уже по одному этому тону, каким он, Егоркин, привыкший изъясняться с подчиненными только матом, начал разговор, Петр Васильевич понял, что тому не до шуток. — В общем, обстановка такова, что не исключена сдача Узловска... Надеюсь, ты понимаешь, это я тебе, как партиец партийцу?.. Строго секретно...

— Понимаю, Вениамин Федорович...

— Мы вот здесь посоветовались... Ты человек проверенный... Член партии со стажем... И вообще мы тебя знаем... Будешь сопровождать линейный архив... Пока до Пензы, а потом видно будет... Может, — он побагровел, маленькие, в белесой опушке глазки его заерзали по столу, — отплюемся. Выбери себе парня понадежнее. Бери любой классный вагон на выбор. Все получишь у Шпака под расписку... Прицепи себя к паровозной сплотке, с машинистами тебе спокойнее будет... Ну, бывай... Ни пуха...

Кого ему взять в напарники, для Петра Васильевича вопроса не стояло. Он заранее знал, что возьмет Фому Лескова. Лучшего попутчика в дорогу, забитую эше-

лонами, и придумать было невозможно: Фома в любое время и в любую погоду мог достать все, что угодно, включая паровоз, в разобранном, разумеется, виде.

Сплотка, с приданными ей двумя спальными вагонами, сутками простаивая чуть ли не на каждом разъезде, в общем горевом потоке двинулась на восток. Зима догнала их уже в Моршанске и, обложив первыми хрусткими снегами, заспешила дальше — вслед ушедшим вперед эшелонам.

Лесков рвал налево и направо: выколачивал пайки, топливо, не брезговал плохо лежащим, что-то продавал, что-то выменивал, а в результате стол у них, и не по-военному сытный, не оскудевал. Петра Васильевича, правда, коробила эта, не по их скромным нуждам предприимчивость напарника, он временами ворчал и нудился, хотя до времени молчал. Но когда тот заикнулся было о пассажирах — беженцах, с них, мол, лопатой грести можно, отказал наотрез:

— Всех или никого. А поскольку всех не возьмешь, значит, никого.

Фома, зная характер своего главного, перечить не стал.

— Как знаешь, Васильич, тебе видней.

Но при этом всем своим видом дал понять, что не одобряет его, и что, коль будет хоть малая к тому возможность, сделает по-своему.

В Ртищеве они застряли всерьез и надолго. Попусту выделял Фома кренделя вокруг диспетчеров и сцепщиков, попусту утаптывал и сам Петр Васильевич около начальственных столов, обосновывая едва ли не стратегическое значение своего груза: их перегоняли с одного пути на другой, но не дальше ближайшего semaфора.

Как-то, возвращаясь из очередного похода по кабинетам, Петр Васильевич у самого своего вагона встретил невысокую ладную деваху с вещмешком за плечами, во всем военном, но без погон и звездочки на шап-

ке. Она по-утиному, вразвалочку вплотную подошла к нему и грубовато озадачила:

— Ты, что ли, — она кивнула в сторону вагона, — начальник этому хозяйству?

И голос девахи — хриплый и пропитой, и манера разговора, и эта, не без порочной развязности, утиная ее походочка совсем не вязались с ломким — в детском еще пуху — лицом и угловатостью подростка во всяком движении. И сколько ни силилась деваха выглядеть бывалой и взрослой, сколько ни напрягала голосовые связки, намеренно огрубляя речь, всем своим обликом она вызывала щемящую жалость и только: «Проклятая, трижды распроклятая война!»

Предупреждая уговоры, Петр Васильевич ответил как можно недружелюбнее:

— Ну?

— Не зря, видно, помощник твой тебя боится, — она хрипло хохотнула, — страшает: вот, мол, придет мой начальник, попробуй, сунься... Только я не из пугливых... Всяких видала... Не бойся, — в ее усмешке засквозила злость, — я легкая, не обременю.

— Когда тронемся, неизвестно, может, через час, а может, через месяц...

— Тронемся в восемнадцать ноль-ноль... Не пяль глаза, у меня сведения из первых рук. — Она снова усмехнулась, но уже брезгливо. — Натурообмен, папаша, война все спишет.

— У меня секретная документация, — изо всех сил сопротивлялся он ее напору, — посторонних не имею права...

Деваха медленно двинулась на него и только тут Петр Васильевич услышал, как при каждом шаге покрипывают ее ноги. И ему стали понятными и ранняя, так не идущая к ней хрипотца, и деланная грубоватость, и эта ее изменчивая усмешечка, и тогда, сглатывая жгучий комок в горле, он дважды жарко выдохнул:

— Иди... Подсажу...

В купе она щедро разложила перед хозяевами пайковые свои дары, разлила из фляги по кружкам:

— Для ясности: зовут меня Валентина... Фамилия вам ни к чему... А теперь, по обычаю, со свиданьем. — Залпом выпила и пояснила: — Фронт приучил, до войны крепче лимонада ничего не пила... Вот отпустили вчистую, а идти некуда. Я сама из Воронежа — там немцы... Поеду, думаю, в Сибирь. Много о ней слышала, в книжках читала, в кино видела... Геологом мечтала. А теперь, — круглые и в хмельной поволоке не утратившие детскости глаза ее на мгновение помертвели, — завей горе веревочкой!.. Еще по одной?

Фома, подмигнув начальнику, убежал в соседнее купе и тут же появился снова с бутылкой припасенного «на случай» самогону. Разливая, он как бы невзначай жался к ней и свободная рука его, чуть подрагивая от желаний, то и дело скользила по ее спине.

После третьей Валентина бесцеремонно оттолкнула от себя Лескова и, с вызовом глядя в сторону Петра Васильевича, огорошила:

— Порядка не знаешь, мотя: сначала командиру, а тебе, что останется.

Даже ко всему привыкший Лесков лишь присвистнул и с готовностью подался к выходу:

— Мы люди маленькие, нам и остатного хватит.

— Что же ты, командир? — Ее развозило на глазах. — Или шибко идейный, а? — И уже не злость, а злоба перехватывала ей дыхание. — Видала я вас — идейных! Знаешь, сколько? До Москвы раком не переставишь! Ишь гусь... Или может брезгуешь, тогда скажи, вон мопс твой на подхвате...

И вправду, Фома, внезапно возникнув в купе, поспешил выручить главного:

— Пошли, Валентина, пошли... Поспишь, все как рукой снимет... У Петра Васильевича своих забот полон рот... Видишь, кругом документация...

Та еще пробовала сопротивляться, еще пыталась что-то говорить, но Лесков, ловко охватив ее за талию, тянул вдоль прохода в другой конец вагона, где она и затихла под его похотливый шепот.

А Петр Васильевич вдруг с томительной горечью представил себе на месте Валентины одну из своих дочерей: «Господи, — да что же это такое, Господи!»

Фома старался не попадаться ему на глаза. Молча и походя кивнув, он прощмыгивал в облюбованное им для своих утех купе и вскоре оттуда начинали доноситься голоса. Голоса то поднимались почти до крика, то переходили в прерывистый шепот, пока, в конце концов, не затихали совсем до следующего утра.

Едва Валентина приедалась Фоме, он брал ее на закорки и относил в «телятник» к машинистам со сплотки. Те, в свою очередь, вскоре отправляли ее обратно. Так она и переходила из рук в руки, словно общий трофей в сопредельных ротах.

Петр Васильевич бесился, негодовал, но терпел, понимая, что пусть он девку сейчас по свету, будет ей еще хуже.

Поэтому, когда однажды утром он, выглянув в тамбур, не увидел бок о бок со своими вагонами сплотки, он облегченно вздохнул: «Всех не убережешь, авось — не пропадет».

Их загнали в глушь отдаленного разъезда, где кроме вагонной коробки, приспособленной под станционное помещение, не имелось ни одного дома или постройки. В чистых до голубизны снегах дымились из-под сугробов окрестные деревеньки, и пейзаж мог бы показаться даже мирным, если бы не черные, наподобие одиноких воронов, остывшие еще с осени ветряки по косогорам.

Петр Васильевич потянул на себя дверь тамбура, дверь с визгом отодралась, и он захлебнулся глотком обжигающего январского воздуха.

— Узловские?

К их вагону спешил дежурный.

«Что еще за новости? Неужели не задержимся?»

— Что вы там в Гущине натворили, господа хорошие? — на ходу оповещал его дежурный. — Нехорошо! Увезли протезы у инвалида войны... Совесть иметь надо... Велено первым проходящим передать по назначению...

За спиной у главного уже зябко похохатывал Лесков:

— Так она же, курва, сама забыла. — Он мышью просунулся из-под руки Петра Васильевича и опустил два протеза в валенках прямо через плечо дежурному. — На кой они нам леший. Не топить же ими, право слово! — И поворачиваясь к главному, поблудил косым глазом. — Уж и пошутить нельзя.

Дежурный, испитой старичок в тертой перетертой шинели поверх телогрейки, озадаченно, слезящимися от мороза глазами оглядел снизу вверх их обоих, хотел что-то сказать, но не сказал, а только сплюнул всердцах и повернул к себе.

Долго еще потом мерещилась Петру Васильевичу эта черная фигурка на белом снегу с двумя обутыми в валенки протезами через плечо.

Захлопнув дверь, он повернулся к Фоме и, видно, все, что творилось сейчас в нем, выразило лицо: Лесков, побелев, отступил внутрь вагона:

— Васильич, — голос его пресекся, — сами видели... Добровольно... Никто не заставлял... Васильич!..

Но занесенный над ним кулак главного уже ничто не могло остановить и кулак со всей злостью, какая была в него вложена, обрушился на голову Фомы. Никогда, ни раньше, ни позже, Петр Васильевич не испытывал подобного желанья сбить, смять, уничтожить стоящее перед ним существо. Кровавые круги плавали у него перед глазами, а он все бил, и бил, и бил...

— Мразь... Мразь... Собака... — только и складывали его губы. — Мразь... Собака...

Им еще много довелось вместе колесить по дорогам Урала и Сибири, а потом служить в одной поездной бригаде, но ни разу никто из них не вспомнил друг друга о том утра в глуши заснеженного разъезда.

Мелодия уплывала за кладбищенские кроны, а Петр Васильевич, поворачивая к дому, озаботился про себя: «Надо бы как-нибудь днями зайти, посочувствовать. Сколько верст вместе намотали, не шутка. Да, надо...»

IV

В доме у Лесковых Петр Васильевич бывал от силы раза три-четыре еще до войны, причем изо всех посещений запомнил только крестины их первенца, Николая, и то потому лишь, что сам был крестным отцом. Жил проводник у старой пекарни, в доме, что поднял его дед — десятник с «железки» — за счет дарового кирпича и добрых подношений от работной паствы, отчего, наверное, и стоявшем дольше положенного ему срока без сколько-нибудь серьезного ремонта.

Дверь Петру Васильевичу открыла крохотная чистенькая старушка. Едва взглянув на него, она прожурчала:

— Здравствуйте, входите... Только что началось...

И тут же исчезла, будто ее и не было вовсе. Глаза его еще привыкали к полумраку, осевшему в доме, когда из комнаты впереди, где в слабом свете, что сочился с улицы сквозь щели ставен, можно было разглядеть непокрытые головы слушателей, выбился к нему ровный уверенный голос:

— И был Город. Тысячи лет стоял он среди озер и садов, радуя глаз и сердце своих обывателей. Славя имя Господне, человек рождался в этом Городе и с Его именем оставлял мир. Братская Любовь и Добро творили здесь Закон, и люди не знали, что такое преступление.

Каждый возделывал свое поле и пас свой скот, но если кто и нуждался в помощи, всякий с готовностью делился всем, что у него было. Правила Городом самые мудрые и почтенные горожане...

Голос показался Петру Васильевичу удивительно знакомым, но, сколько он ни напрягал память, облик, связанный с этим голосом, ускользал от него...

— И пришел Некто. И стал смущать умы безумными речами об искуплении во имя грядущего царствования. И слабые духом уверовали. Слабые духом стали истязать себя и своих детей. И слово Пришельца, оборотясь деянием, стало, словно мор, передаваться от одного к другому. Боль сделалась высшим мерилом человеческого бытия. И чем страшнее были раны, нанесенные себе, тем большее уважение вызывал человек у окружающих. «Очистимся!» — кричали они, уродуя свою плоть. «Очистимся!» — взывали они, издеваясь над собственными детьми. «Очистимся!» — повторяли и повторяли они, разрушая свои жилища и памятники былой славы Города. Кровь окрасила городские улицы и водоемы.

Попривыкнув к ломкой полутьме, Петр Васильевич скользнул взглядом поверх голов в ту сторону, откуда звучал голос, и по золотой оправе, блеснувшей в полоске света от окна, узнал бывшего смазчика из вагоноремонтного со странной фамилией Гупак. О нем и раньше поговаривали разное, теперь же, слушая его ровную, без единой заминки речь, Петр Васильевич лишь посожалел в душе: «Миновали тебя вовремя твои девять грамм, ваше преподобие...»

— И ушел покой из их мертвых сердец. Возжаждали они всесветной боли. «Сподобим братьев! — кричали гибнущие, истекая кровью. — Сподобим их нашей истины!» И лишь мудрые остались тверды мыслию в этом безумии. У них было средство спасти Город, вырвать с корнем источник несчастья — Пришельца. Но это означало причинить горожанам неизмеримо более

тяжкую боль — боль пробуждения в разрушенном Городе. И тогда взоры мудрых обратились к Синаю. Там, среди песчаной пустыни проводил остаток жизни в молитве и раздумье прямой потомок Основателя Города, Пророк Светоч. И мудрые пришли к нему и рассказали ему обо всем. И Пророк выслушал их и сказал: «Это должно было случиться. Безумие угрожает всей земле. И, в назидание остальным, Городу указано своим страданием воочию указать другим Городам, чем это может кончиться. И поколению живущих уже нет спасения. Они сломали не плоть свою — душу, а душа невосполнима. Поэтому сказано вам в Книге Вечности увести из города детей. Пусть вернуться они на отчее пепелище здоровыми духом и телом». Вот что сказал Пророк.

Внезапно голос Гупака взвился до самой высокой ноты, и он прокричал резко и требовательно:

— Так уведите же детей, братове! Не давайте калечить их души! Пусть оставят дети ваши их богомерзкие школы! Пусть не ступит нога ребенка на порог их языческих капищ! Уведите детей, братове! Спасите души, не тронутые порчью!

Последнюю фразу тот произнес уже просительным шепотом, и комната дружно откликнулась на его призыв взволнованным одобрением.

— Воистину!

— В ночи видит...

— Воистину...

— Увезти по деревням от чумы этой...

— Господи!..

Едва Петр Васильевич тронулся с места, знакомая старушка, вынырнув неведомо откуда, заступила ему дорогу.

— Вы уже уходите, брат? — удивленно зашуршала она. — Но ведь еще о новом пришествии будет!

— Мне Лесковых нужно...

Даже в полутьме было видно, как и без того восковая пигалица побелела:

— Лесковы здесь давно не живут.

— А где?

— Не знаю... Кажется, по Рязанской... По-моему, дом пять... — Старушка легонько подталкивала его к выходу, а когда, наконец, он оказался в сенях, предупредила со значением: — У нас есть разрешение. Мы зарегистрированы.

И захлопнула перед ним дверь.

В течение многих лет Петр Васильевич по камушку, медленно и упорно выстраивал для себя свой мир. И, как думалось ему до сих пор, выстроил. В этом мире царили закон и порядок. В нем все было выверено до мельчайших деталей. И жизнь раскладывалась надвое: «да» и «нет». «Да» — это всегда оказывался он и его представления об окружающем. «Нет» — все, что тому противоречило. И он носил этот мир в себе, как монолит, его невозможно ни порушить, ни поколебать. И вдруг — на тебе! — два-три крохотных события, две-три случайные встречи, и мир, взлелеянный с такой любовью, с таким тщанием, начинал терять свою устойчивость, трещать по швам, разваливаться на глазах. Оказывается, пока палка его, исполненная собственного достоинства и веса, с утра до вечера выстукивала одни и те же улицы, за стенами домов шла, творилась неведомая ему жизнь, которая не хотела и не могла укладываться в чьи-то схемы и построения. Едва он перешагнул один порог, как родная дочь, тихоня Антонина, обернулась к нему стороной непонятной и озадачивающей, за вторым — смазчик, что и памятью-то отмечен был только из-за диковинной своей фамилии, ходил в пророках. Что же ожидало его за третьим?

Звонить пришлось несколько раз. В квартире слышалось шуршание, отрывистый шепот, лихорадочная беготня, наконец, щелкнул замок, и дверь отворили ровно в длину цепочки:

— Кого вам?

Но уже через мгновение дверь распахнулась настежь.

— Здравствуйте, Петр Васильевич! — Чуть не в пояс кланялась нежданному гостю Настасья Лескова — худая, крепкая еще старуха, с резким и беспокойным как бы от постоянного напряжения лицом. — Вот угодили, так уж угодили... Фомушка-то, — она по привычке всхлипнула и коснулась концом темного платка сухих глаз, — вспоминал об вас перед смертью. Бывало скажет: «Забыл меня, Васильич, совсем забыл». Без зла в душе скончался. Всех простил, — тут Настасья скорбно поджала губы, что, видно, должно было определить для него степень ее посвященности в их тайну, — все простил... Заходите, заходите, батюшка, будьте гостями... Коля, это крестный!.. Вот и сынок приехал...

В напряженном ее радушии сквозила плохо скрываемая фальшь. Раскинув руки, она, словно неводом крупную рыбину, заводила его в «залу», явно боясь, чтобы он не ошибся дверью:

— Вот сюда, Петр Васильевич... Сюда... Садитесь, располагайтесь... Я — мигом... Коля, спишь, что ли, крестный пришел!

Она скрылась в смежной комнате. Последовал сдавленный говор, затем короткое всхлипывание женщины и снова голос, но теперь более определенный. На пороге появился, почти вталкиваемый в комнату матерью, крестник Петра Васильевича — угрюмый, стриженный наголо детина сорока почти лет в вельветовой паре и хромовых сапогах.

Выглядывая из-за его плеча, Настасья льстиво блудила вымученными глазами:

— Вот, батюшка, молодец какой вымахал! — И сыну: — Видно, и не помнишь крестного-то своего... Так вы тут посидите, а я вам закусить кой-чего...

Настасья, то и дело искательно оглядываясь, заспешила на кухню и, как только она исчезла, Николай без обиняков заявил крестному:

— Не будем темнить, батя: живу я в городе незаконно. Месяц, как от хозяина. Две подписки имею поновой. В общем, опять без пяти минут лагерник... Тут мамаша икру будет перед тобой метать, так я ни при чем. Мне там, — он кивнул вверх, — просить нечего, все сполна получил и с лишком. Теперь я им, — жесткая усмешка тронула его твердые обветренные губы, — отдавать буду... с процентами...

Крестник начинал нравиться Петру Васильевичу.

— Сколько отбывал?

— Пять.

— За что?

— Врезал одному начальнику промеж рог.

— За дело?

— За дело.

— Все равно многовато.

— Так ведь он до сих пор на аптеку работает.

— Пьяный был?

— Нет, батя, трезвый. Пьяный — убил бы.

— Что умеешь делать?

— Все. Я — мастеровой.

— В депо пойдешь?

— Оттуда и взяли.

— Пойдешь, говорю?

— Не примут.

— Это моя забота.

— У меня две подписки. Не пропишут.

— И об этом не тебе думать.

— Смотри, батя, — светлые, чисто лесковские глаза смотрели на него в упор, и не таилось в них ни улыбки, ни жалобы, — тебе что, сказал — пошел, а я — как на дыбе живу. У меня любой вздох — последний. Лучше не мути душу, выпьем и разойдемся по-хорошему: ни я — тебе, ни ты — мне.

У Петра Васильевича нашлось бы, чем ответить крестнику, за речью у него дело никогда не стояло, но к самому его слову подоспела Настасья.

— Уж вы, батюшка, Петр Васильевич, не обессудьте, чем Бог послал, на скорую руку. — Она споро, с быстрой для ее возраста удивительной, снаряжала стол. — Помянем раба Божия Фому. Царство ему Небесное! — Скатерть на глазах становилась самобранкой. — Вот, батюшка, помидорчиков откушайте, сама солила... Рыбки тоже... Колбаска... Коля, наливай...

Пил Петр Васильевич редко, пьянства не любил во всех его видах, и в другой раз отказал бы наотрез, но под изучающим взглядом крестника и, наскучив Настасьиной лестью, согласился:

— Разве что по одной... Помянем...

— Шесть десятков вот-вот, а как сейчас помню крестины твои, Колюшка, — пела гостю под руку хозяйка, — Петр Васильевич тогда совсем молодой еще были, а уже в начальниках... И не побрезговали... Вы кушайте, батюшка, кушайте... Чем богаты, как говорится... Вот вернулся, — она снова бесслезно всхлипнула и ткнула платком в переносицу, — с кем не бывает, дело молодое, а ему от ворот поворот... Иди куда хошь от родимой матери. Нешто это порядок! Вот вы, Петр Васильевич, человек партейный, нешто, спрашиваю, это порядок!.. Фомушка, вот, помирал... Вспоминал все...

— Хватит, мать, — осадил хмуро ее Николай, — поимей совесть. Кого он там вспоминал, если три месяца не в себе валялся... Посидим по-людски... Ну, общее, — он залпом выпил и тут же отставил стопку к середине стола, — все, хорошенького понемножку...

И это не без одобрения отметил про себя Петр Васильевич, и встал:

— Спасибо хозяйке... — И, предупреждая Настасьины уговоры, обернулся к младшему Лескову. — Тащика мне, что у тебя есть... Пойду, постучусь кой-куда.

Крестник сорвался с места, метнулся к себе в смежную, а Настасья с благоговейным испугом воззрившись на гостя, беззвучно шевелила злыми губами, как бы силясь сообразить: не подвох ли тут.

— Вот, — Николай влетел в комнату, ребром ладони сдвинул посуду в сторону и выложил перед гостем все свои «верительные грамоты», — паспорт, справка, характеристика, справка о болезни матери. Вдруг возникшая надежда преобразила его: волчья зябкость в глазах оттаяла окончательно, казалось, навсегда отвердевший подбородок обмяк, медлительные еще минуту назад движения обозначила азартная легкость, и оттого сходство его с отцом стало поразительным, — все в ажуре... И направление в Узловск...

Не глядя, Петр Васильевич сгреб со стола бумаги, сунул в карман:

— Днями загляни ко мне... Будьте здоровы... — Если жизнь в первых двух открытиях лишь поразила его неожиданным оборотом, то за третьим порогом она, тоскующими глазами крестника, требовала от него обязанностей, и он заторопился. — Пойду... Может, и нынче же кого застану...

Настасья молча вывела его в коридор, подала палку и, отворив дверь, неожиданно в упор без всякого осуждения или упрёка произнесла:

— Фома-то опосля того и закашлял...

С этой тяжестью на душе Петр Васильевич и вышел на улицу.

V

Быт горисполкома подчинялся годами выверенному и четкому ритму, который можно было определить безошибочной формулой: «от» и «до». Все, что выходило за рамки этой формулы, считалось здесь предосудительным и поэтому, когда Петр Васильевич справился у секретарши, принимает ли Воробушкин, она лишь брезгливо окинула его насурмленным оком с ног до головы и одарила, словно милостыней:

— Константин Васильевич занят.

Старик неспеша разместил свое массивное тело на стуле против нее и, глядя прямо в ее полуискусственный лик, с жесткой ласковостью проговорил:

— Первый закон для тебя: предлагай старшим сесть. Второй закон: отвечай, когда тебя спрашивают, прямо и четко. Третий закон: спишь с начальством, не показывай вида, потому как начальники меняются... А теперь пойд и скажи Костьке, что дед Лашков к нему. — Подумал, добавил. — Дело есть.

Ту будто ветром сдуло с места. Она скрылась за обитыми кожей дверями, почти тут же выскочила оттуда, мгновенно облучив его угодливой карминной улыбкой.

— Константин Васильевич просит вас.

Проходя мимо нее в кабинет, он зорко отметил тщательно припудренные морщины вокруг глаз, предательскую крупчатость кожи под слоем крема, шиньон в редющих волосах и подумал: «Не моложе моей Антонины да пострашнее, а ведь, поди ж ты, и ею не брезгают».

А хозяин уже спешил встретить гостя, источая на ходу радушие и сердечность:

— Петр Васильевич! Какими судьбами? Не видно, не слышно. Я уж думал...

Старик озорно dokonчил:

— Помер.

— Ну, что вы, Петр Васильевич, — замялся, засмутился тот, и по смущению этому было ясно, что именно это слово и застряло у него на языке, — не заболел ли, думаю... Даже справлялся. — И опять нетрудно угадывалось: не врет, справлялся, только не о здоровье, а, не помер ли? — Садитесь, дорогой... Чайку?

И пока секретарша хлопотала со стаканами, в короткую ту минуту взаимной неловкости, какая всегда охватывает собеседников, связанных давней историей, где один остался должником другого, Петр Васильевич

разглядел Воробушкина и нашел, что тот мало изменился со дня их последней встречи, потолстел разве.

Так же, как и тогда — в тридцать девятом — лицо в лицо с ним сидел приземистый, широкий в кости парень, глядя на него из-под низкого лба блестящими и мертвыми, как у мороженого судака, глазами. Только тогда в них отстаивалась мольба. И сидели они друг против друга, но в обратной позиции: молодой машинист Воробушкин — на скамье подсудимых, Петр Васильевич — за столом экспертов дорожного трибунала. И в его руках была судьба незадачливого паровозника.

Воробушкину предъявлялось обвинение в умышленной аварии. И кому не понятно, что это, по тем временам, означало!

Ни с того, ни с сего у поворота перегона Петушки-Роща, один за другим стали сходить с полотна паровозы. Счастливицков, оставшихся в живых, сажали, их место занимала молодежь из ударного призыва, но крушения не прекращались. Тогда-то и была создана комиссия, в которую, в числе других, вошел и Петр Васильевич.

Осмотр места происшествия ничего не дал. Раздвинутые огромной силой рельсы, скрутившиеся при сжатии спиралью, никак не объясняли происшедшего. Комиссия засиживалась до третьих петухов, но сколько-нибудь вразумительного объяснения так и не находила.

А уполномоченный особого отдела, — белобрысый парнишка с двумя кубарями в петлицах, — вызывал их по одному и чуть не плакал, упрощая их поторопиться.

— Бросьте вы канитель разводите! Ясное дело — враг орудует. Вы что, и сами загреметь хотите и меня за собой потянуть! Какие могут быть разговоры: виноват, не виноват? Паровозы под откос летят? Летят. Один за другим? Один за другим. Так какая же здесь к черту случайность! Система! Система вредительства! А мы в объективность играем.

— Вот и надо выяснить в чем суть, — пытался было возразить Петр Васильевич, — тогда и врага будет легче обезвредить. Да и не нарочно же в самом деле машинисты на смерть лезут!

Сказал и тут же пожалел об этом. Рот лейтенанта, обрамленный едва пробившимся пухом, затрясся, задрожал от негодования:

— Пока мы здесь в шерлокхолмсов играем, враг разрушает наш транспорт. Хватит валять дурака. Закрывайте лавочку, иначе я с вами по-другому поговорю! Либералы, объективщики, черт бы вас побрал!..

Новоиспеченные эксперты почесывали затылки, но держались: свой брат погибает, путеец. Неизвестно сколько бы это продолжалось и чем кончилось, если бы однажды Петра Васильевича не осенило, после осмотра очередного паровоза, забраться и под прикрепленный к тендеру вагон.

Здесь-то и разгадалась тайна частых аварий. Один из тросов тяги оказался укороченным, и тяга на поворотах, неравномерно давя на тормозные колодки, вспучивала рельсы. И состав, начиная выделывать «восьмерки» прямо по шпалам, летел под откос.

Коротко, с исчерпывающей ясностью (обвинитель только головой покачивал) Петр Васильевич обосновал свои выводы перед трибуналом, а когда сел, поймал на себе подернутый благодарными слезами Воробушкинский взгляд. После оправдательного приговора Лашков выходил из суда, пожимая по пути чьи-то руки, выслушивая чьи-то благодарности, но смысл происходящего вокруг с трудом пробивался в смутное его сознание: накануне от него ушел младший сын — Евгений. Ушел, не оставив даже записки. Дома, под присмотром десятилетней Тоньки, пластом без слез и слов лежала Мария.

Потом, выдвинувшись, и сам Воробушкин участвовал во множестве подобных комиссий, но экспертные заключения его — неисповедимы пути людской совести!

— всегда отличались крутым обвинительным лаконизмом.

И вот теперь они снова сидели лицом к лицу, и Воробушкин, несколько отяжелевший и отмеченный начальственной осанкой, пододвигал ему чай и печенье:

— Хорошо, что заглянули. — Он нажал кнопку звонка; влетела, сияя готовностью ко всему, секретарша. — Анна, — он запнулся, — Ивановна, не соединяйте: срочное совещание. Ясно? — Она понятиливо исчезла, хозяин снова обернулся к гостю. — Может, нуждишка какая, Петр Васильевич? Такому человеку, как вы, горисполком всегда пойдет навстречу. Не стесняйтесь...

Докучать занятым людям Петр Васильевич не любил, а просить тем более. Но в случае с Николаем, по его мнению, попиралась справедливость и оттого ему, считал он, не грех было и поступиться правилом. Просьбу старик изложил, как можно короче и убедительнее. Воробушкин слушал, сочувственно кивал, поддакивал даже, но, стоило ему узнать, о ком идет речь, как он тут же побагровел, вскочил с места и заметался по кабинету:

— Ну, нет, уволь, Петр Васильевич, — хозяин, забывшись, в гневе перешел на «ты», — это же головорез! Ты знаешь, кого он изувечил? — Он остановился прямо против гостя и назвал, явно желая произвести эффект, известную в городе фамилию. — Один из лучших наших товарищей, гордость, можно сказать, наша, а ты хлопочешь за негодя, поднявшего на него руку! Не узнаю тебя, Петр Васильевич, товарищ дорогой.

— Ты не мельтеши, Костя, сядь, — подсек его суету гость, — ты сам-то в суть вникал? За что он его?

— Что значит «за что»? — вновь подался по коврику тот. — Что значит «за что»? — Ошибся человек, не по совести поступил, выходит, самосудом можно? Анархию развести? Каждый каждому судья? Не выйдет! Мы всякого выучим уважать социалистическую законность.

— С того ли конца учить начал.

— С того, товарищ Лашков, с того! Хватит демагогии: «массы, массы!». А эти самые массы приходят и садятся вам на шею. Так что обоюднo учить друг друга будем: и снизу и сверху.

— Другим, значит, где-нибудь, за тридевять земель, с ним легче будет. На тебе, боже...

— Все, что хочешь, — Воробушкин, наконец, сел, — только не это... И потом, как я буду выглядеть перед пострадавшим?

И видно стало, что хозяин утомлен выслушивать возражения, к которым он не привык, и что его одолевает сейчас сокровенное желание остаться одному наедине с готовой к чтению газетой, ковром под ногами, чаем, самоотверженной секретаршей Анной Ивановной за глухо прикрытой дверью.

— Было время, товарищ Воробушкин, — вставая, решил выкинуть козырь Петр Васильевич, каким при обстоятельствах, хотя бы чуть менее ответственных, никогда не воспользовался бы, — тобой детей пугали. Один бы ты и в жизнь не отплевался. Да и была бы жизнь, тоже бабушка надвое гадала... Короткая у тебя память, Костя...

Как бы защищаясь, Воробушкин поднял руку ладонью вперед:

— Брось, Петр Васильевич, не к лицу тебе. — Он резко отвернулся к окну. Плечи его согнулись и утратили упругость, круглое лицо посерело и осунулось. — Пусть пишет заявление в депутатскую комиссию. Я распоряджусь. — Он встал и, взглядом уткнувшись в газету, через стол протянул руку. — Всего хорошего, товарищ Лашков...

Гость уходил, оставляя хозяина с глазу на глаз с тишиной и покоем внушительного кабинета, где всякая вещь и любой предмет знали свое место и назначение, где все дышало порядком и субординацией и ничто не терпело незапланированных вторжений.

VI

Дневные хлопоты, как это ни странно, сообщали Петру Васильевичу покойную сосредоточенность в снах и раздумьях. Он сделался мягче, терпимей, сговорчивее. Спалось ему легко и крепко. Исчезло то утомительное беспокойство по поводу всякого недомогания, какое преследовало его раньше. Сознание личной необходимости для кого-то делало жизнь Петра Васильевича обновляюще осмысленной. Всякое утро дарило его ожиданием, и, поэтому, когда однажды он пришел в себя оттого, что кто-то легонько, но с упорной настойчивостью погрохатывал входной дверью, то не удивился столь ранним визитом: «Вот и гость на порог».

Торопливо одевшись, Петр Васильевич вышел в сени открыть — и открыл, и задохнулся обморочным мгновением: сам Витька, молодой Витька, стоял перед ним, посмеиваясь хмельными глазами, только был он против прежнего тоньше в кости и осанистее:

— Здорово, дед Петя!

И лишь тут в сознании облегченно отложилось: «Внук — Вадька, Вадим Викторович!» Внука завозила к нему в тяжкий для сына год сослуживица снохи. Та, в ожидании высылки, рассовывала детей, куда попало, лишь бы подальше от беды.

К малолеткам Петр Васильевич испытывал не то чтобы нелюбовь, а эдакую оградительную брезгливость, и в другое время отправил бы мальчишку обратно, но унижение ненавидевшей его снохи польстило ему, и он, скрепя сердце, согласился оставить внука у себя. Тот обвыкал недолго. В сопровождении девятилетней тетки он обследовал округу. Быстро сошелся со слободскими заводилами, и вскоре Свиридово стоном стонало от боконового воинства, взятого им под свое командование. И дед оттаял, дед узнавал во внуке себя.

Об Антонине и говорить было нечего, она до самозабвения, молитвенно обожала своего племянника, а Мария при виде его всякий раз празднично млела.

В перерывах между набегами на окрестные сады мальчишка залпом глотал книги и до злых слез спорил с дедом о политике. Так что осенью в день расставания в доме царила похоронная тишина. Антонина забилась в чулан и не подавала оттуда голоса, хотя, ясное дело, плакала. Бабка, собирая внука в дорогу, украдкой вздыхала, а Петр Васильевич, который, собственно, и должен был очередным своим московским рейсом отвезти Вадима в столицу и там, у Павелецкого вокзала, сдать с рук на руки снохе, угрюмо смотрел во двор, и костистые пальцы его, вцепившиеся в кромку подоконника, еле заметно подрагивали.

Долго еще после этого сквозь дрему грезился Петру Васильевичу Вадькин требовательный голос:

— Де-е-ед-а-а...

И теперь, через двадцать с лишним лет, та давняя боль отозвалась в нем жарким выдохом:

— Заходи...

Прежде всего внук приник ухом к перегородке, из чего Петр Васильевич заключил, что дочь, несмотря на запрет, все же переписывалась с невесткой, и с шутливой сторожкостью постучал:

— Здравствуйте, тетушка Антонина Петровна, не желаете-с лицезреть племянничка Вадима Викторовича в три четверти натуральной величины? Ку-ку!

В ответ Антонина удушливо поперхнулась, охнула и захлопотала, загремела посудой, едва слышно приговаривая:

— Господи!.. Я сейчас... Я сейчас... Вадичка... Сейчас. Господи!..

Непослушными руками гость отстегнул «молнию» щегольского чемодана, выгрузил оттуда вперемешку с коньячными бутылками импортную тройку для деда и два демисезонных отреза тетке, ловко одним ударом

выбил пробку из «юбилейного», поставил на стол и лишь после этого сел:

— Тащи стаканы, дед...

Чем больше Петр Васильевич вглядывался в него, тем явственнее представлял себе, какие крутые горки довелось одолеть, чтобы так измениться в самой природе своей: ни следа от крепкой основательности лашковского клана. Дерганый, не в меру говорливый, готовый каждую минуту взвиться с места, Вадим, кроме поразительного внешнего сходства, не унаследовал от отца ни одной черты или привычки.

— Понимаешь, старый, я проездом, — торопливо объяснял он деду, допивая бутылку, — у меня сегодня здесь концерт... Думаю, ты не откажешься послушать своего, так сказать, единокровного... А завтра ту-ту, в Липецк... Ты не смотри строго... Живу, понимаешь, как птица, сегодня здесь, завтра — там... С твоего позволения еще одну...

Вошла Антонина, вся в обновках, с подносом, уставленным закусками собственного изготовления, церемонно поклонилась, обставила стол тарелками, осторожно, словно боясь, как бы не потревожить, чмокнула племянника в голову и села напротив, и уже не сводила с него глаз, прямо-таки впивая всякое его слово.

— Постарели мы с тобой, тетушка, — пьяно посмеивался он, наливая ей стакан до краев, — скоро пенсию выбивать будем. Пей, Антонина Петровна, покажем старым бойцам, на что способно молодое подрастающее!

Та жалобно взглянула в сторону отца, но не встретив осуждения, медленно, с достоинством выщедила коньяк, краешком платка осушила губы и снова с молчаливым благоговением вперилась в гостя.

— Вот это да, — восторженно одобрил Вадим. — тебя, тетушка, как аттракцион показывать! Это же высший класс алкогольного пилотажа. И кто только вас натаскивает? И, главное, когда и на какие доходы? Вот, дед Петя, учись...

— Поздно.

— Учиться, внушают классики, никогда не поздно... Может... сейчас и начнем... Тетушка распорядитесь...

Внук еще долго дурачился, тормозил то и дело засыпавшую Антонину, затеял было даже танцы, но от Петра Васильевича не укрылось, что веселится тот через силу, слова произносит, не думая, укрываясь в них, как в крепости, от вопрошающих взглядов родни, и что ему совсем, ну, совсем не до шуток. В тягостной бесшабашности его ощущалась тревога, а истерзанные затаенным отчаянием глаза, живя сами по себе, исходили влажным жаром.

Петр Васильевич мог поклясться сейчас, что где-то, когда-то он уже видел такие глаза, уже заглядывал в их сумрачное горение. Но где? И когда? Он машинально повернул бутылку этикеткой от себя, и зряшное это движение, подтолкнув память, вывело ее — звено за звеном — по цепочке воспоминаний в хрупкую мартовскую ночь, там, в эвакуации — на Байкале.

Ночь метельно обжигала дыхание, колким ознобом сквозила под одеждой, не даря их ни одним огоньком впереди. И без того слабосильная лошаденка, сбившись с дороги, совсем сдала, останавливалась, трудно дыша, перед каждым, даже малым застругом, прежде чем решиться одолеть его.

Спутник Петра Васильевича — дежурный по станции Семен Мелентьев, мужик желчный и мнительный — скрипуче поругивался в воротник:

— Черт меня дернул ввязаться в эту канитель!.. Наменяем, я гляжу, мы тут... Еще маленько и — со святыми упокой... Но! Пошла, лягавая!

Береговое село, куда путники двигались с тем, чтобы обменять кой-какое тряпье на продукты, лежало верстах в пятнадцати от станции, и, выехав сразу же после обеда, они, в худшем случае, должны были бы с первыми сумерками добраться до цели, но часы Петра

Васильевича показывали десять, а темь впереди все густела и обесцвечивалась.

Лошадь опять стала, сторожко пофыркивая, но вконец обозленный Мелентьев, остервенело рванул вожжи:

— По-ошла, паскуда-а!.. Душу бы я твою мотал...

Та через силу сделала шаг, другой, и вдруг сани вздыбились задком вверх, а между уткнувшихся в снег оглобель забились, захрипела ее голова. Петр Васильевич спрыгнул в ночь, в поземку. Передними ногами кобыла по самую шею застряла в глубокой трещине: весна исподволь уже делала свое дело.

Долго и безуспешно они пытались помочь ей выбраться из ледовой ловушки. Петр Васильевич тащил за хомут, а Семен, озверев от страха, то и дело вытягивал бедолагу кнутом вдоль судорожно подрагивающего крупа. Но от каждого нового движения лошадь лишь увязала еще глубже. Наконец, все трое выдохлись и, жадно хватая ртом воздух, замерли.

Вот тогда-то, осев прямо против лошадиной морды в снег, Петр Васильевич и увидел близко перед собой те испепеляемые отчаянием и надеждой глаза, какими глядел на него сейчас охмелевший внук...

— О чем задумался, дед? — Внук полуобнял его и, легонько притянув к себе, шутливо пропел: — «Скажи нам, что все это значит...»

— Да так, — он неуверенно пригубил от стопки, — вспомнилось...

Тот, поддразнивая, снова пробасил:

— «Расскажите мне, друзья».

Но Петр Васильевич не слышал. Он все еще оставался там — в той байкальской поземке один на один с теми, взывающими к нему лошажьими глазами, когда жуткая их нестерпимость подняла его и осенила выдернуть из саней слегу и просунуть эту слегу под брюхо вконец обессилевшей кобыле. Но и вытащенная таким образом лошадь тут же легла и поднять ее не было никакой возможности. Напрасно, приправляя всякий удар

отборным матом, старался Мелентьев, она только напряженно дергалась, вернее, не могла встать. Дежурный отбросил кнут и досадливо сплюнул:

— Стоило надрываться: пусть бы подыхала, стерва... Давай глотнем помаленьку... Самый раз приспело... Потом будем думать. Эта халява все одно не встанет.

Ими хранилась, с боем добытая у станционных лаборантов, четвертинка неочищенного спирта. Мелентьев, отпив свою долю, передал бутылку спутнику. Петр Васильевич сделал глоток, а остальное вылил прямо в глотку лошади, разжав ей послушные ее челюсти. И, едва они успели закусить выпитое мороженым хлебом, как она бойко вскочила на все четыре копыта и разом взяла с места...

— Ты бы, Вадим, — от воспоминания о той выюжной ночи старику вдруг сообщилось неодолимое желание помочь внуку избыть эту снедающую боль, — пожил у меня, опамятовался...

— Что ты, дед, — тот, трезвея, суровел и томился, — забыл, в каком мире живешь? Сколько себя помню, я не знал, что такое остановиться и вздремнуть. Ке жизнь, а сплошная гонка за призраком... Мне скоро срок, а у меня ничегошеньки: ни жены, ни детей, ни постоянной крыши над головой... Если я сегодня не отработаю свой номер, завтра мне нечего будет жрать. Где же тут о семье думать!

— Дел много — другое можно выбрать.

— Поздно, дед... Попал я в орбиту, из которой не выскочишь. Центробежная сила!.. Как подхватила она меня смолоду, так и несет до сих пор... Ты знаешь, к примеру, что такое спецдетдом? Нет? А колония? Тоже нет. И не надо, не советую... Это там, где душу выворачивают наизнанку и дубят, чтобы ничего в ней человеческого не осталось... Эх, дед, дед, все не так, все не так, а как должно, не знаю. Только не могут, не имеют права люди жить подобным образом... Лучше уж тогда на деревья... Черствые, злые, одинокие, с глухим серд-

цем... А! — он махнул рукой и поднялся. — Этого не переговоришь!.. Спит тетушка. Не будем тревожить. Пойду в ее половину, вздремну!..

«Да, — вслед ему посетовал про себя Петр Васильевич, — выдалось тебе, Вадим Викторович, не в меру».

Петр Васильевич уж и не помнил, когда в последний раз ему довелось быть в концерте. Лет, может, тридцать тому, а то и больше. Не признавая праздного действия, считал он хождение по зрелищам для уважающего себя человека занятием зряшным и предосудительным, а потому и теперь, лишь скрепя сердце, уступил настояниям внука.

Предупредительная капелъдинерша усадила старика в четвертый служебный ряд, сунула программу и, многозначительно оглядывая его шумных, сверх правил, соседей, — громко — для них — сказала:

— Если вам, Петр Васильевич, что-нибудь будет мешать, вас в антракте пересажу...

Сначала была стареющая певичка в панбархате. Без особого блеска, но с чувством она исполнила несколько старинных романсов, заключив свое выступление песней о комсомольцах, у которых беспокойные сердца. Проводили ее жидко, но вежливо: все-таки, что ни говори, старалась.

Затем, молодая пара разыграла одноактную пьесу из жизни греческих патриотов, где Он — генерал, в парусиновой робе, довольно топорно сработанной под американскую форму — с пристрастием допрашивал Ее — мужественную подпольщицу, перепоясанную махровым полотенцем, что, видимо, должно было отразить принадлежность национального костюма.

Их сменила акробатическая пара, с демонстрацией вымученной гибкости, уступившая, в свою очередь, место фокуснику в потертом цилиндре, после чего, наконец, объявили мастера художественного слова: Вадима Лашкова.

Чтение вслух Петр Васильевич терпел менее всего, да и кругом, судя по ленивому вздоху зала, было немного любителей разговорного жанра, поэтому старик заранее ощущал неловкость за внука. А тот и впрямь начал вяло и даже как бы нехотя:

— Разморенный жарким днем, наевшись недожаренной, недосоленной рыбы, бакенщик Егор спит у себя в сторожке...

Рассказец оказывался и впрямь не ахти: живет у реки никчемный мужичонка-бакенщик, не то перевозчик. Есть у него девка приходящая, тоже не из первого десятка. Мужичонка пьет мертвую, а напившись, поет в два голоса с зазной. А чего в том для человека, желающего за свой собственный рубль с полтиной иметь приятный вечер и всевозможное развлечение?

Петр Васильевич взглянул в сторону соседа справа: тот лениво позевывал, и ему стало совсем не по себе.

Но — странное дело! — чем дальше он слушал, тем с большей силой и властью проникало его судьбой этого, Богом забытого бакенщика, тем острее и томительнее отзывалась в нем текущая со сцены речь. Главное для Петра Васильевича состояло сейчас не в том, как читал артист, а в том, что он читал. Какая-то удивительная, прямо-таки кровная связь возникла у Петра Васильевича с неизвестным певцом — бакенщиком. Старик исходил его тоской и млея его радостью. Ему — путейцу Лашкову, отдавшему большую часть своего века колготной суетности железных дорог, казалось, что здесь говорится о нем, и что именно с ним делится герой черной своей судьбой и болью.

Вдоль по морю...
Морю синему...

К сердцу Петра Васильевича подступила горькая истома и он, уже не воспринимая ни одобрительного гула, ни аплодисментов вокруг, с волнением и дрожью

вслушивался в теплый и благостный отзвук еще заполнявший его...

Плывет лебедь
Со лебедушкой...

И вот артист, уже как бы и сам обессилев от волнения и тихой радости, заключил:

— ...А когда кончают, измученные, опустошенные, счастливые, когда Егор молча ложится головой ей на колени и тяжело дышит, она целует его бледное холодное лицо и шепчет, задыхаясь: «Егорушка, милый... Люблю тебя, дивный ты мой, золотой ты мой...»

Выходя, старик силится вспомнить название рассказа: «Надо бы достать, прочесть. У Вадима спросить что ли?»

В сутолоке у выхода слух его выхватил из многоголосого гвалта краткую скороговорку:

— Ну как?

— А, трали-вали...

Петр Васильевич удовлетворенно хмыкнул: рассказ так и назывался: «Трали-вали».

— Завтра Липецк, — Вадим трезво и грустно оглядывал перрон, — послезавтра Валуйки, потом Донецк... И так, дед, всю жизнь... Осточертело...

— Бывает же ведь и у вас отпуск, — после концерта в тоне Петра Васильевича отметилась нота вдумчивой уважительности ко внуку, — вот и заехал бы... Подались бы к деду Андрею в лес... Он теперь в Куракинском лесничестве объездчиком... Славно нынче в лесу... Грибы пошли...

— Да-да, дед, — внезапно оживляясь, встрепенулся тот, — именно в лес! В лес от всего этого... Это ты отлично придумал! — Он явно цеплялся за спасительную дедову мысль, но эта тревожная поспешность внука только подчеркивала тщету его скоротечной надежды. — Рыбу удить будем...

Но едва поезд тронулся, и внук, стоя в дверном проеме тамбура, растерянно и жалко махнул ему на прощанье, Петр Васильевич с обжигающей душой горечью осознал, что они уже больше никогда не увидят друг друга.

VII

Чуткий, пронизанный солнцем лес плыл над Петром Васильевичем, приобщая его своих нехитрых тайн. Терпкие запахи, окрепнув после недавнего дождя, заманивали путника в чащу множеством блестящих росю троп. И всякий новый поворот дороги обещал ему новый предел и новое открытие.

И — вот ведь чудо! — пусть и не раз и не два доводилось Петру Васильевичу бродить чащами с ружьишком или кошелкой, он впервые видел лес таким. Ель являла сейчас собою и ель и еще что-то другое, куда большее. Роса в траве не была вообще росой, а гляделась каждая по-отдельности; и лужицам на дороге хоть любой особое давай имя. И, наверное, оттого хруст каждой сухой ветки под ногой отзывался в это утро в душе его тихой, но долгой болью.

Пожалуй, только теперь он по-настоящему понял брата, когда тот, лежа в темном беспмятстве от тяжелой контузии, бредил одной тоской — лесом.

В те поры Петра Васильевича срочной телеграммой вызвали в Вологду, где Андрей, потерявший память и речь, валялся в больнице без надежд на выздоровление.

Веселым городом оказалась Вологда. На фоне всего белого, рассыпчатого, крупчатого — белого кремля, белых горбатых крыш, деревьев в белых малахаях — предметы и люди выглядели уж как-то особенно бодро и выпукло. Хмельной возница в заиндевелом капюшоне — кусок кирпичного лица с заиндевелыми же усами — рьяно понукая поседевшую в морозе клячонку, вывез его сквозь искристую эту белизну, пестро рас-

крашенную багровостью бликов, чернью машин, бледной желтизной тулупов и полушубков, к самой больнице — приземистому зданию николаевского еще кирпича.

— Оно самое... Кувшиново... Не дай-то Бог всякому...

И впрямь, оттуда, изнутри, в забранное решеткой окно приемного покоя недавняя праздничная белизна увиделась Петру Васильевичу мертвенной, а низкое небо — с овчинку.

Обстановку приземистого зала с двух окон, застланного лоскутным половичком, наподобие ковровой дорожки от входной двери к другой — внутренней, составляли лишь обшарпанный стол и стул впритык к нему. Но главное — запах! Из всех знакомых запахов, какие сопровождали его долгую жизнь, ни один не участвовал в этом. Обнялось в нем — в этом запахе — что-то такое, отчего, как и всех, наверное, входящих сюда, Петра Васильевича сразу же пронизало ощущение тихой беды, тягостного ожидания, безысходности.

Ветхий старичок виновато улыбался навстречу гостю, и в этой его светящейся виноватости без труда читался ответ всем посетительским недоумениям: «Вижу, все вижу, и страх и смятение твое. И запахом этим сам век дышу. Но что же я могу поделать? Могу разве лишь попросить прощения вот этой своей улыбкой. Так что не обессудьте и присаживайтесь».

— Садитесь... Э-э... Садитесь... Будем разговаривать... Э-э... С вашего... э-э... позволения... Профессор Жолтовский. — Старичок был и в самом деле дряхл, и «экал» явно по возрастной слабости, а не от профессорского небрежения собеседником. — Как вы... э-э... понимаете... э-э... Дела вашего брата... э-э... неприятны... Мы сделали все, что... э-э... было в наших... э-э... возможностях... Но, — он полуразвел немошные ручки в стороны, развести их шире у него не хватило сил. — Андрей... э-э... Васильевич... э-э... не поправляется.

Здесь Жолтовский совсем обессилел и умолк, тя-

жело дыша. Дряблые щеки его студенисто подрагивали, кроличьи глаза увлажнились. «Да, — отметил про себя Петр Васильевич, — лет за восемьдесят, не меньше! Это, брат, не одно поле перейти».

Тот еще несколько раз прерывался, чтобы отдышаться, прежде чем закончил свою речь. Из всего выходило, что дела Андрея из рук вон плохи, что болезнь его прогрессирует и что поэтому комиссия решила на последнее средство: воздействовать на зрительную память больного.

— Понимаете... э-э... Петр... э-э... Васильевич... Так... э-э... Кажется... Поживите у нас... мы вас... э-э... устроим... Бывайте с ним... э-э... почаще... Может быть... э-э... фотографии... письма... знаками... э-э... что-либо... Вы, надеюсь, не... э-э... безучастны... э-э... к судьбе брата...

Ради Андрея Петр Васильевич решился бы и не на такое.

— Тогда... э-э... Валентина... э-э... Николаевна!

В комнату, только видно и дожидаясь профессорского зова за дверью, тотчас вошла высокая полная женщина с массивным бесформенным лицом, на котором выделялись глубоко посаженные острые глазки, впрочем, тоже источавшие сплошное доброжелательство. С ее приходом тусклая комната как бы раздалась вширь и вглубь, став сразу уютнее и светлее.

Жолтовский лишь кивнул в сторону Петра Васильевича, его только и хватило на этот кивок, после чего он, уже окончательно обессиленный, откинулся на спинку стула и закрыл глаза, точно умер.

Но профессорской помощи здесь уже более и не требовалось. Толстуха, легонько подталкивая гостя к внутренней двери, полностью им завладела и, судя по ее решительности, всерьез и надолго.

— Чуть не ровесник больницы, — вздохнула она, когда они вышли. — Мало кто на нашей работе до его лет дотягивает... Подождите, я вам халатик дам... Так,

вы поняли, в чем дело? Это, хоть и против правил, но попробовать следует: а вдруг, — Валентина Николаевна размашисто вышагивала по лабиринтам многочисленных коридоров. Встречные улыбки кланялись ей, она коротко сияла в ответ, и становилось ясно, чьим светом жили эти отмеченные тоской стены. — И главное, не бойтесь, больные — люди, значит, с ними, при некотором, правда, беспокойстве, но жить можно... Вот мы и дома. — Ключом, наподобие железнодорожного, Валентина Николаевна открыла ему одну из дверей. — Входите смелее...

В большой сводчатой и оттого несколько мрачноватой палате о восьми — по четыре с каждой стороны — обрешеченных окнах знакомый уже запах становился почти нестерпимым. Разноголосая сутолока, колготившая в четырех ее метровой толщины стенах лишь укрепляла гнетущее чувство под сердцем: «Занесло тебя, Петя, хоть ноги — в руки и беги!»

Какой-то малолетка с неестественно удлинненным профилем, озарившись блаженной улыбкой, вдруг кинулся им наперерез:

— Смотрите, Вальдмитрь, сам... сам...

И не из праздного любопытства, не по должности она разглядывала те карандашные художества подопечного, — воробей на этот счет Петр Васильевич был стреляный, не в одном госпитале провалялся, — а с неподдельной заинтересованностью и даже как бы с азартом.

— Молодец, Паша! Только вот здесь, — она взяла у него из рук карандаш и несколькими штрихами придала царившему на бумаге хаосу подобие порядка, — я бы сделала так... И еще... Делай, Павлик, — под ее быстрой ладонью паренек заулыбался еще шире, — молодец... — И к гостю. — Пойдемте... Сирота, эпилептик... Привели волчком... Оттаял... Ну, вот... Теперь — спокойнее... Андрей Васильевич сегодня немного понервничал, пришлось легонько закрепить...

Ватными ногами сделал Петр Васильевич несколько последних шагов до его койки, сделал и сам того не заметил, как тут же мертвой хваткой вцепился в карман халата своей сопроводительницы: тусклыми глазами глядя в потолок, весь в испарине, Андрей рвался из пут. Желваки в ржавой недельной щетине вздувались, словно бы тщась выпростаться из-под прозрачной кожицы, обтянувшей его лицо. И ни одного звука, даже мычания, так свойственного немым, не исходило от него.

— Андрюха, — опалаясь слезами горькой нежности, он оглаживал дрожащими ладонями судорожно сжатый Андреев кулак, — как же это ты, Андрюха?.. Зачем?..

Петр Васильевич и не помнил более, сколько он просидел вот эдак, глядя, как затихает под его рукой братенино беспокойство, пока тот не смежил глаза и не затих окончательно.

Скорые зимние сумерки, выползая из всех углов палаты, заманивали ее обитателей под одеяла. Вокруг становилось просторнее и тише.

Сбоку от Петра Васильевича, сидя друг против друга на койках, двое в халатах поверх исподнего сокровенно переговаривались:

— Я — человек прямой: сказал — отрезал. «Где, говорит, насечка?» А я ему: «Так ведь договаривались, Пров Силыч!» А он мне р-раз по зубам. А я человек прямой, говорю: «Какие такие права?» А он мне еще р-раз...

— Правильно! И я завсегда после похмелья — квас. Да так, чтоб дух вон — со льду.

— «Это как пить дать, — говорю, — в милицию, Пров Силыч». А он мне ка-ак звезданет. А я человек прямой. Я — куда. Я — до дому.

— Правильно! Мы на Октябрьскую, помню, полведра на двоих с тестем и — ни в одном глазу. Одно слово — квас.

— Ишь, ведь, какую манеру взял, а я человек прямой...

Они говорили между собой с такой уважительностью и таким взаимопониманием, что обескураженный было Петр Васильевич вдруг неожиданно для себя заключил, что, наверное, людей может объединять что-то куда большее, чем слова...

— Закурить есть, землячок? — Из-под одеяла с койки напротив, его с любопытством оглядывали рачьи, тронутые снисходительной усмешкой глаза. — Заснул? Чует родную кровь, сукин сын. Тяжелее туза и валета не держал ни зиму, ни лето, а с твоим братаном за всю жизнь повтыкал. — Сосед прикурил, затянулся. — Сразу видно, Моршанская... Он ведь, знаешь, как начнет рваться, только держи... Ну и держу, без оплаты сверхурочных... Жалко, свой брат — окопник... У меня ведь тоже вторая группа... Пошли к печке, пока спит... Еще достанется... — И хотя трезвость суждений и выказывала в новом знакомце человека в своем уме и памяти, Петр Васильевич, взявший уже себе за правило готовиться здесь к любым фокусам, откровенно говоря, ожидал, что тот в любую минуту может выкинуть какое-нибудь «коленце»: не зря же, в самом деле, их всех сюда заперли!

Когда сосед встал, то оказался высоким костистым мужиком, с помятыми рыжими подпалинами остро-бесовского лица. Властная вальяжность обозначала каждое его движение, так что даже драный больничный халат лег к нему на плечо по меньшей мере царскими соболями. Он шел палатой с уверенностью и значением человека, который во всяком месте привык считать себя первым.

У гудящей голландки молчаливо покуривали два санитары. Один — крупный губастый старик с редким седым ежиком — время от времени ожесточенно растирал в прокуренных пальцах остывшие угольки из поддувала. Другой — совсем молодой и как бы чем-то и

навсегда испуганный — безучастно следил за ним. И оба они, по всему было видно, соперничали только что законченный и для обоих них огорчительный разговор.

— Не спишь? — с тяжелой ухмылкой отнесся рыжий к молодому. — Плохой знак. Значит, сегодня, начальник?

И не выдержал парняга смешливой горечи рачьих его глаз, опустил взгляд долу, еле слышно выдохнул:

— Сегодня, Иван Сергеич...

— Тогда давай, начальник, погреемся напоследок. — Рыжий величественно оседлал услужливо пододвинутый ему парнем табурет. — Еще по одной свернем, землячок?

И все снова умолкли. За синими окнами в сумеречной тишине торжественно струился снег. Веселое пламя летучими бликами никло к предметам и лицам. И если бы не горячее, то тут, то там возникавшее в палате бормотание, можно было подумать, что мир этот устроен в общем-то тепло и уютно, что снег будет идти еще целую вечность, но целую вечность будет гореть веселый огонь в голландке, и что им — всем троим — уже некого ждать и некуда торопиться.

— Я, землячки, — огненные чертики бесшабашной каруселью закружили в острых зрачках Ивана Сергеевича, — сказку в бессонье придумал... Нет, ей-Богу! Лежал, лежал — само и придумалось...

Не принимая его озорующего тона, санитары угрюмо отворачивались, слегка посапывали, и в этой их угрюмости и посапывании явно чувствовалось беспокойство или, вернее, тревога, которая еще безотчетно, но час от часу все явственнее передавалась Петру Васильевичу...

— ...Начало старое... Жил-был у бабушки серенький козлик... Бабушка козлика, конечно, очень любила... Ну, а дальше уже все по-моему... Вышел козел, в свою пору, от бабушки, стал рогами шевелить... Есть, значит, хочется... А дело к зиме шло: ни травы тебе, ни яго-

ды. Встречается ему лиса. «Что, — говорит, — безрогий, рогами шевелишь?» «Есть, — говорит, — хочу, а травы нету». «Дурак, — говорит, — какой же осел нынче траву потребляет? Все давно мясо жрут». «А как же, — спрашивает, — мне мясо есть, коли я — козел? По штату не положено». «Дуб, — говорит, — работай под серого. Нынче все под него работают. Зайцы и те без убоины спать не ложатся». «А как же, — спрашивает, — я задержу кого, кто же меня — козла — испугается?» «А ты «на бога» бери, горлом. Нынче все, которые с манда-тами, горлом берут...» Махнула хвостом рыжая и смы-лась. Послушал козел суку, стал под серого работать. Спервоначально поташнивало от убоины, а потом пооб-вык, пристрастился. Как-то в темени да с перепугу сам двух истинных серых волков загрыз. Живи, не хочу... Только чем дальше, тем хуже, пропадать стала в лесу пища. Это, значит, столько развелось хитрых да ушлых и все серые, и все с манда-тами... Мяса — нет, а на траву уже козла и не тянет. Затосковал козел: «Ну, в гроб же твою мать!..»

Дверной замок, казалось, еще и щелкнуть не успел, а уже все четверо разом обернулись и напряглись, до того чутко каждый звук отзывался в их напряженном сознании. И стоило в проеме полуоткрытой двери появиться дежурному врачу, из-за спины которого в освещенном коридоре маячила фуражка с красным око-льцем, Иван Сергеевич встал и двинулся к выходу, кивнув на ходу парню:

— Веди.

Тот вскочил, в спешке с грохотом опрокинув табу-ретку, и лишь здесь Петр Васильевич отметил и фор-менный его китель под халатом, и по-уставному, до зеркального блеска вычищенные сапоги.

Старик тоже поднялся:

— Пойдемте... Вам все одно там постелено.

В коридоре, под присмотром врача, двух солдат, конвойного команды и третьего — больничного, пере-

одевался Иван Сергеевич. Делал он это с неторопливой основательностью человека, привыкшего к дальним и долгим дорогам, где всякое упущение в одежде всегда сможет обернуться для ее хозяина самой неприятной стороной. И только когда последняя пуговица наглухо успокоилась в своем гнезде, рыжий позволил себе, взглядом выгородив изо всех одного Петра Васильевича, в последний раз поерничать.

— Плюнуть бы козлу, землячок: «Мать ее в гроб!» И по новой — на подножный... Да поздно... — Он обернулся к конвою, протянул руки. — Заклопывай, начальник.

Наручники перехватили ему запястья, и через минуту путь его к выходу отмечался лишь глухими хлопками многочисленных коридорных дверей впереди.

Избегая вопрошающего лашковского взгляда, старик-санитар пробурчал себе под нос:

— Дезертир... Наш — тутошный... Отстреливался, двоих на душу взял... Хлопнут... На экспертизу привозили... Признали — нормальный... Помилуй его душу грешную... Ложитесь, в случае чего — разбуду...

Дни пластались один к одному, схожие друг с другом, словно бусины первой капли за окном, а в тусклом взгляде Андрея не добавлялось ни свету, ни сознания. Лишь изредка во сне, в бредовом крике рвался из него едва членораздельный какой-то зов, слово какое-то неопределенное, но пробуждение вновь смыкало ему жесткие губы беспамятной немотой.

В больнице к Петру Васильевичу настолько привыкли, что даже старик Жолтовский, обходя в сопровождении выводка студентов палату, всякий раз принимал его за санитаря:

— Голубчик... Э-э... Распорядитесь... Э-э... Сменить халат. Э-э... Семенчуку... Никуда... Э-э... Не годится... Прошу вас...

Не хуже штатного ординатора успел Петр Васильевич изучить историю и происхождение болезни любого

из обитателей палаты, а со многими и сойтись запросто. Оказалось, что если вслушаться, всмотреться во все здесь происходящее, то под внешней путаницей слов и поступков можно легко обнаружить обычный человеческий быт с житейскими его страстями и закономерной целеустремленностью. Тонкостям интриг из-за освобожденной койки у печи могли бы позавидовать самые дошлые умы дипломатического корпуса, а борьба за добавки мало чем отличалась от ведомственной возни вокруг дополнительных ассигнований: жизнь везде оставалась жизнью.

Молчаливость Петра Васильевича располагала мятущиеся в неразрешенных загадках души к доверию, и вскоре он уже не удивлялся, когда обычно молчаливый парафреник Муцинский конфиденциально делился с ним:

— Сегодня с утра, Петр Васильевич, через меня начал свое прохождение Плутон. Тяжелая, знаете, планета. Сплошной аммиак. Переживаю мучительный процесс. Решил повременить с обедом. — Отечественное бабье лицо его расплывалось в мечтательной умиленности. — Вот третьего дня сквозь меня проходил Марс. Какая планета! Прелесть! Правда, мало кислорода, зато удивительная легкость, чистота во всем организме! Верите ли, до сих пор снится...

В обычной жизни Муцинский был зубным техником, и ничто не предвещало ему беды, если бы однажды его пациент после удаления зуба не скончался от заражения крови. Психика преуспевающего техника дала отбой, и Кувшиновская больница пополнилась очередным безнадежным обитателем.

В сумерках, на пороге боковушки, где размещались свезенные из лагерей заболевшие военнопленные, появлялся Курт Майер, в одном исподнем, и Петр Васильевич, словно исправляя некую вмененную ему обязанность, вставал, чтобы оделить незадачливого немца даровым моршанским куревом.

— Гут, — бормотал тот, — данке шен... Их бин аус Фюрстенвальде... Их хабе зон Франц унд фрау... Зи хайст Гизела... данке шен...

Его перебивал желчный голос страдавшего старческой бессонницей Мокеича — шизоидного фанатика из раскулаченных:

— «Их», «Них», черт полосатый! Весь мир покорил, а Расею вшивую одолеть не мог! Вот и поди тут зубами щелкай... Только душу раздразили, сукины дети... Как святых, прости Господи, ждали: придут — спасут. Спасли, кобели шелудивые... Одна надежда теперича — америкашки... Да разве они люди — все в шляпах? Жрут себе персики и сопят в две дырочки, а нам пропадай... У, германская харя, я б тебе не токмо закурить — дерьма пожалел бы...

Враждебность старика действовала на немца удручающе, он мгновенно тускнел, уменьшался в размерах и спешил укрыться от нее в спасительной темноте своей спальни, а Мокеич, довольный произведенным эффектом, явил в сторону Петра Васильевича:

— Эх, ты, голова садовая, нашел, кого одаривать...

Не один и не два снегопада откружили над Кувшиновым до того, источенного солнцем мартовского утра, когда Андрей, разомкнув опаленные бредовым жаром веки, произнес, наконец, первое отчетливое слово:

— Пе-тёк?..

Сознание возвращалось к брату с мучительной медлительностью, и еще много дней и ночей в больнице, а потом дома — в Узловске, по крупнице собирая самого себя, цеплялся он за каждое слово и воспоминание, прежде чем ему удалось освоиться объездчиком в лесу, где и шагал сейчас — чуть не пятнадцать лет спустя — Петр Васильевич.

Из-за поворота навстречу ему беззвучно выкатилась линейка, и по форменной фуражке, привычно сдвинутой на самые брови, он сразу же узнал брата.

Тот, в свою очередь, завидев его, осадил лошадь, бросил вожжи и смешливо взял под козырек:

— Петру Васильевичу!

— Так-то ты брата своего встречаешь, — он вглядывался в Андрея, страхась обмануться сокровенным ожиданием, но тот прежней своей озорной улыбочивостью облегчил ему сердце, и пронзительная нежность охватила его. — Здорово, чертушка!

— Начальство, понимаешь, с утра ввалилось, еле отбился. Вот и припоздал, садись...

Некоторое время они ехали молча. Они выбирали из множества слов и мыслей, подступивших к ним, самое главное, самое необходимое, но, видно, именно поэтому, против их воли выговариваться стало все то зряшное и малозначительное, что не имело сейчас к ним и к их встрече прямого отношения.

— Богатый лес у тебя.

— Среди голи и нищий принц.

— Что так?

— Изводят.

— На твой век хватит.

Андрей обжигающе коротко взглянул в его сторону, да так обжигающе и так коротко, что он сразу же пожалел о сказанном.

— Все вот так-то, — грустная горечь тронула его губы, — после нас хоть трава не расти... А коли бы до нас все эдак думали? Земля бы давно голая осталась! Ни красоты, ни радости. — Сбивчивая горячность вдруг охватила Андрея. — Себя, суть свою истребляем... Это куда же годится! Саранча эдак живет, а мы человеки, нам голова дадена... Намедни застал одного в подлеске. Орудует топором, кричит от усердия. «Что же ты, — говорю, — делаешь, сукин сын...» «Не твое, — говорит, — казенное, не убавится, а мне, — говорит, — кнутовище надобно». Кнутовище ему, надобно. Корней двадцать за ради этого самого кнутовища извел... Вдолбили ему, все, мол, твое — бери. Он и берет... Хватает, где

можно, от земли, а у земли-то тоже дно терпения есть: не выдержит, восстанет. Все спрячет — и хлеб и воду... Перегрызем тогда друг дружку, как звери... Но, шалая!

Лес заметно редел, выводя дорогу к высокой опушке, и вскоре в стремительном березняке обозначились темные строения лесничества, у крыльца которого, покуривая, толпился народ.

Едва линейка миновала ворота, как от крыльца отошел и вразвалочку потянулся к ним низкорослый, почти квадратный усач в заношенной и давно вышедшей из официального употребления индиговой паре и в огромных, не по росту, болотных сапогах.

— Рад — не рад — принимай. — Говоря, он старался не глядеть в Андрееву сторону. — У меня коровы все звезды пересчитали... «Сам» нагрянул, приказал перекрыть... Так что — хочешь не хочешь — сорок кубов надо, как одна копейка... Держи билет... Столби делянку... Нынче и свалим... — Он неожиданно ожег Андрея почти невидящим взглядом крохотных, глубоко запрятанных в складках апоплексической кожи глаз. — Ну, чего смотришь? Что я из-за твоего леса под суд идти должен? Хером что ли я коровник крыть буду? — И, сплюнув в сердцах, снова отвернулся. — Пропадай оно все пропадом!

Речь усача Андрей дослушивал, стоя спиной к нему и распрягая лошадь и, вроде бы, оставался равнодушным ко всему, что говорилось здесь, и только чуткие, с дрожью теребящие хомутный ремешок пальцы выдавали лесника. Но когда, наконец, он оборотился, обмякшее лицо его не выражало ничего, кроме вызывающей бесшабашности:

— Какой разговор! Руби, председатель! Рощицу у распадка знаешь? вот ее и руби. Лишнего прихватишь, тоже не беда — сочтемся. — Он шагнул мимо оторопевшего председателя к крыльцу и уже оттуда кивнул брату. — Заходи, Петр Васильевич, чай пить будем...

С лихорадочной поспешностью Андрей расставил

по столу нехитрую снедь, одним ударом вышиб картонную пробку у «московской», до краев заполнил стаканы и лишь после этого сел и молвил печально и глухо:

— Бывай здоров, Петёк... Лесу на наш век хватит...

— Брось, не мальчик уже...

— А, черт с ним со всем! — Во внезапной его веселости сквозило отчаянье. — Вот сумеешь ты, Петёк, скороговорку сказать: «Цапля сохла, цапля чахла, цапля сдохла»? Или вот еще: «Курка клюет крупку, турка курит трубку»?

В полдневной тишине за окном явственно отозвался стук топора. Размножаясь, стук крепчал, становился все чаще и отчетливее.

— А эту, — иступленные глаза Андрея набухали злыми слезами. — «Ехал грека мимо реки, видит грека в реке рак, сунул грека руку в реку, рак за руку грека цап»? — Заглушая дробную поступь лесной рубки, речь его переходила в крик. — «Сидят колпаки не по-колпаковски, надо их переколпаковать»... А?

— Андрюха... Ну что, ей-Богу...

Но тот уже не слушал брата:

— Попробуй скажи: «Погода размокропогодилась, погода рассухоперепогодилась». — Его вдруг прорвало. — Руби, председатель, руби! — В упор сойдясь заплаканным взглядом с Петром Васильевичем, он затрясся мелкой ознобливой дрожью. — Запалю! Запалю! Пускай сгорит лучше! Нету моего больше терпёния. Все равно сгрызут все, как моль. Шершеля, шершеля проклятые, свою душу источили, за землю принялись... Пускай все сгорит, только не им в ненасытную их утробу... Шершеля!

Спрятав лицо в ладони, он стал медленно раскачиваться из стороны в сторону, и Петр Васильевич, удивленно проникаясь его мукой, должен был сознаться себе, что родного собственного брата своего до сих пор не постигал, как не постигал да и не мог постичь и другого — Василия, застрявшего после демобилизации с граж-

данской где-то в Москве не то истопником, не то дворником: «Пора бы и Ваську разыскать, может, жив. Какие уж в наши-то годы счеты!»

VIII

Затяжной дождь, наглухо оседлав окрест, сопровождал Петра Васильевича от самого Узловска. Кажется, поезд движется дном огромного водоема: дома, лесополосы, верстовые столбы, причудливо изламываясь в дождевом мареве, грузно оплывали по оконному стеклу.

Прямо против Петра Васильевича, на почтительном, однако, расстоянии друг от друга томились в маятной неприязни двое — он и она. И по тому, с какой надменной неподвижностью утвердила она — сухая жилистая баба — свой по-птичьи профиль, отворотившись от него, — бритого наголо толстяка в затасканном офицерском кителе с жиденькой полоской орденских ленточек вдоль левой груди, — можно было безошибочно определить степень их родства и взаимоотношений.

Затравленно и жалко взглядывая в ее сторону склеротическими глазами, толстяк, словно заведенный, то и дело выжидающе тянул:

— За руки ходили...

Но птичий профиль оставался все так же прям и неподвижен, и только узловатые руки ее, нервно тискавшие носовой платок, всякий раз после его слов на мгновение судорожно замирали...

— За руки ходили...

Судя по всему, безоблачные те времена их минули лет не менее тридцати тому, но искра счастливой поры, видно, еще теплилась в одном, хотя и слишком слабо, чтобы отогреть давным-давно угасшее сердце другого.

Наконец, она не выдержала, встала и надменно выплыла из купе. А толстяк, словно только и ожидавший ее ухода, прорвался перед Петром Васильевичем:

— Пью, конечно, не без того... А с чего пью? Лет пять, как демобилизовался, а приткнуться не к чему... Поначалу бросили на Дом культуры... А разве это порядок, кадрового офицера в культпросвет? Иной двум свиньям хлёбова не разольет, а ему, пожалуйста, пост. А меня, где дыра похуже, туда и пихали, пока сам не плюнул и не ушел на пенсию... И потом — дети... Гонору в них тьма, а уважения к родному отцу никакого. Все уязвить норовят, снасмешничать, солдафон, мол... Здесь и святой запыет... И вот, на старости, можно сказать, — он явно кокетничал возрастом в расчете на сочувствие собеседника, — разводную. Каково? Вырастил, выкормил, а теперь: от ворот поворот! — Он неожиданно осекся, услышав близкие шаги своей благоверной. — Так-то, дорогой товарищ...

Она вошла, не удостоив их даже взглядом, села и птичий профиль ее вновь молчаливо замер у истекавшего ливнем окна.

А Петру Васильевичу вдруг представилась на ее месте другая женщина, много лучше и моложе, в другие, куда более строгие и тревожные времена, сидевшая вот так же прямо против него в служебном купе поезда, который он тогда сопровождал.

Только была ночь и было лето.

Забившись в дальний угол, Мария, подобранная им в Епифани по просьбе знакомого путейца, доводившегося ей дядей, не мигая, и даже как бы с вызовом смотрела в его сторону и молчала. Молчал и обер. Привыкнув разговаривать с такого рода пассажирами в тоне грубоватого покровительства, он неожиданно для себя робел перед нею и смущался. Что-то увиделось оберкондуктору в этой неказистой с виду девахе, отчего ему всякий раз, едва он вознамеривался взять былой тон, перехватывало дыхание.

Первые слова вымолвил, будто гору одолел:

— Узловские сами?

Она ответила коротко, но с готовностью:

- Не, мы с шахты.
- Сычевские, значит?
- Они самые.
- В гостях были?

— Не, по хозяйству. — И тут же пояснила: — Тетя Груша приболела, дом присмотреть некому, а нынче встала, вот я и к себе... Смерть — соскучилась...

- Скоро будем.
- Скорей бы.
- Много ль вас дома-то?
- Окромя меня, пятеро. Мать с отцом и сестер трое.
- Нелегко отцу-то?
- Нелегко.

В их разговоре, во внешней его обыденности таился еще и другой, понятный только для них двоих смысл, где каждое слово имело свое сокровенное, понятное только им значение. Стремительно и властно ее и его захватывало предчувствие неотвратимости этой встречи и поэтому, чем ближе и устойчивее становились огоньки Узловска в заоконной темени, тем трепетнее и тише звучали их голоса...

- Весело у вас в Сычевке...
- Уж там и веселье: выпьют парни да куражатся...
- Узловские наши ходят?
- Не, стерегутся.
- Что так?
- Не привечают их у нас ребята...
- Чем же не пришлось?
- Чисто ходите... И другое, разное...
- А коли не побояться?
- Попробуйте долю...

Первый станционный фонарь раздвинул ночь впереди, и, победно возликовавший было обер, впервые, пожалуй, за недолгую свою службу подосадовал столь скорому прибытию:

- Значит, не прогоните?

— У нас места всем хватит, — скокетничала непонятливостью она. — И девки наши не хуже узловских.

— А мне всех и не надо...

И он, наверное, не выдержал бы, выложил ей все, что вдруг так внезапно и жарко заполнило его душу, но поезд, в последний раз дрогнув, замер. Мария поднялась, прошелестела мимо него к выходу, откуда молча поклонилась ему, и тут же исчезла в проходе.

А на другой день к вечеру, едва за Хитровым прудом выплеснулся первый балалаечный перезвон, Лашков в свежей суконной паре уже вышагивал в сторону Сычевки, и хромовые — бутылками — сапоги его празднично блистали в розовом свете затухающего заката.

И еще не дойдя до околицы, услышал он, выделенный им теперь изо всех голосов, ее голос, и все замерло в нем, и душевное стеснение под сердцем перехватило ему горло...

Гармонист, играй припевки,
Расставайся, Мишенька.
Не спешите замуж, девки,
Еще хлебнете лишенька...

А та, будто чувствуя его недалекое присутствие, неслась к нему очередной припевкой и душа его при этом головокружительно холодела:

Платье белое наглажу,
Вдоль по улице хожу.
Захочу кого — отважу,
Захочу приворожу.

Долго еще ходил он вокруг посиделок, стесняясь чужаком втереться в шахтерское веселье, пока, наконец, Марию уж после полуночи не вынесла к нему последняя ее частушка:

Гармонист у нас один,
Балалаечник один.
Не ходите, не просите,
Никому не отдадим...

Мария выявилась перед ним в темноте так близко, так неожиданно, что он только нашелся:

— Вот к родне навевывался...

Та лишь обморочно выдохнула:

— Здравствуйте, Петр Васильевич...

И хотя в эту ночь у Хитрова пруда они сказали друг другу едва ли более двух слов, он, возвращаясь к себе, не шел, а летел, опаленный никогда ранее не изведанной им радостью.

Его свалили почти у самого подхода к слободе против соседствующего с его усадьбой кимлевского сада, а свалив, били с молчаливым остервенением, даже, казалось, сладострастием. И только когда кровавые круги поплыли перед разбухшими глазами обера, к нему сквозь ускользящее сознание пробился чей-то хриплый от азартного жара голос:

— Не добивайте, братцы, пусть покашляет, пес... И другим дорогу в Сычёвку закажет... Рылом покуда не вышли да для наших девок...

Один Бог знает, как он добрался домой. А когда пришел в себя, то вместе с утренним светом и болью воспринял ошеломляюще знакомый, тронутый отчаянием говорок:

— И что же они с вами сделали, ироды! Звери дикие, угольная прорва... Хуже зверей, право... Ироды!

— Маша, — только и сказал Лашков, снова впадая в забытье, — не уходи...

И она осталась.

Осталась до самого того слякотного мартовского дня, когда четыре ее свояка на двух полотенцах вынесли ее за порог лашковского пятистенника.

И не раз еще потом переживший дочку отец ее —

Илья Махоткин — по пьяной лавочке, минуя дом Петра Васильевича, с хмельной укоризной кричал в сторону его окон:

— Погубил ты, Петька, ирод, девку! Голубиную душу погубил! Сушь, сухой дух от тебя идет... Кащей ты, ирод, который бессмертный, и нет в тебе ни одной живой жилы. Христос с тобой!..

Размытый было воспоминанием, против него вновь обозначился птичий профиль неколебимой соседки, так-таки и не отвечавшей на жалобный зов своего отставника:

— За руки ходили...

IX

В Москве Петр Васильевич не был с того самого дня, когда, сдав кондукторскую сумку и служебный компостер, он возвратился домой обыкновенным пенсионером. Поэтому сейчас, после сравнительно устойчивой тишины Узловска, она увиделась ему еще более, против прежнего, гулкой и неуютной. Долго, стараниями даровых советчиков, блуждал он в паутине Сокольнических переулков, пока не отыскал обозначенную в его адресной справке улицу. Нужный ему номер возник перед ним сквозь листву корявого тополя, стоявшего у деревянного, в два этажа, дома, над крышей которого гляделся другой — каменный, ростом повыше. Войдя во двор, Петр Васильевич встал, чтобы перевести дух. Сердце его тревожно обмирало и дергалось: «Сорок с лишком лет, шутка ли!»

В сумраке пропахших кошачьим бытом сеней он с трудом нащупал кнопку дверного звонка и, позвонив, еще раз обеспокоился: «Откроет и не узнает, да». Но едва в проеме двери перед ним определилось заспанное, в сивой щетине лицо, как всякое сомнение оставило Петра Васильевича: за порогом, словно его собственное отражение в зеркале, вяло переминался с ноги на ногу

старик явно ихней — лашковской породы. И тот, в свою очередь, будто пролегло между ними не около полувека разлуки, а всего, может быть, от силы день-два, лишь слегка присвистнул навстречу гостю:

— Ишь ты... Проходи...

Захламленную, похожую скорее на логово, чем на жилье, конуру брата скупо освещало забранное со двора частой решеткой тусклое окошко. Стены, оклеенные старыми газетами, немо кричали довоенными еще заголовками: «Пламенный привет героям-челюскинцам!», «Раздавим гадину!», «Руки прочь от Мадрида!» На колченогом столе, в окружении порожней, разных калибров посуды, простуженно отсчитывал время обшарпанный будильник. Опускаясь на придвинутый братом стул, Петр Васильевич растерянно огляделся:

— Так и живешь?..

— Так и живу, — безучастно отозвался тот, рассовывая посуду со стола по разным углам и заначкам. — Народ ко мне ходит простой, не брезгует, а кому не по нраву, гуляй в другое место... На-ка вот, ободрился с дороги. — Трясущимися руками он разлил непочатую еще четвертинку в два стакана и один из них пододвинул брату. — Со свиданьем...

В наступившем затем долгом молчании Петр Васильевич исподтишка присматривался к брату, стараясь по черточке, по отметине восстановить для себя в памяти именно тот облик, который сложился в его воображении задолго до этой встречи. Будучи пятью годами старше Василия, он сызмала сохранил к тому чувство снисходительного превосходства. Но самолюбивый и упрямый, как и все почти Лашковы, тот, едва оперившись, поспешил вырваться из-под его опеки, и уже к совершеннолетию ушел на шахту, откуда и мобилизовался в армию. Из тех редких писем, какие поступали от него в Узловск к однолеткам и знакомым, можно было лишь заключить, что служба давалась ему непросто, что после нее жизнь у него складывалась еще кру-

че и что старость он встретил бездетным бобылем в том же доме, где и поселился с самого начала. Лет десять тому Василий внезапно замолчал и память о нем в родном городе окончательно заглохла и выветрилась.

И теперь, вглядываясь в смутно обозначенные черты, Петр Васильевич с затаенным сожалением отметил про себя их преждевременную пепельность и желтизну, горестно догадываясь, какой мерой отмерено было брату всего за долгие годы их разлуки.

— Может, домой соберешься? — осторожно подступился он к Василию. — Места хватит. Что нам двоим нужно? Жизнь у нас там дешевая. Да и веселее вдвоем-то.

— Поздно, Петёк, — отмякшие после выпитого глаза его затягивала благостная поволока, — кому я там в Узловске нужен!

— А здесь, — не отступался Петр Васильевич, — кому?

— Здесь? — Голос хозяина тронула обезоруживающая печаль. — Здесь, братишка, у меня все. Вся жизнь у меня здесь. Жизни-то, правда, не было, маята одна, но какая была — не забыть... Эх, Петёк, — он вдруг вцепился в гостя слезящимся кроличьим взглядом, скулы под его недельной щетиной взволнованно заострились, — и каким только ветром нас закружило!.. Помню, пришел я сюда из армии, живи — не хочу! Считал, вся доля — впереди: лета — самый возраст, анкета — одни заслуги, девки — на выбор. Только не вышло по моему... Не дали. Как начали с меня долги спрашивать, так досе и не рассчитаюсь. Кругом я оказался всем должен: и Богу, и кесарю, и младшему слесарю. Туда не пойдешь, того не скажи, этого не сделай. И пошло, поехало, как в сказке: чем дольше, тем страшней. А за что? За какую-такую провинность? — От слова к слову в речи его все отчетливей проступала злость. — Или я у кого жизнь свою займы взял? Ты вот, Петёк, партийный — рассуди...

Слушая брата, Петр Васильевич напряженно следил за тем, как в паутине, затянувшей верхний правый угол над окном, судорожно и уже явно обессилев, дергалась и вздрагивала одиночная моль. Паутина при этом пружинисто колыхалась, затягивая добычу все туже и туже, пока пыльные крылья жертвы окончательно замерли в ее губительной сети.

— Все барина, Вася, ждете. — Сочувствие, сообщенное было ему вначале хмельной болью брата, обернулось в нем под конец откровенным раздражением. — Вот придет барин, барин нас рассудит. А самим для чего голова дадена? Или не можете уже без няньки?

— Могли. — Лицо Василия жестко отрезвело и пошло белыми пятнами. — Только вы не дали. Заняли нас пугачами своими. Шаг вправо, шаг влево — считается побег. Вот и вся ваша погудка. Хочешь — не хочешь, иди, куда велят. А пришла пора помирать, глядишь, весь как задом вперед шел, а вы погоняли.

— Я хлеб свой не в погонялах зарабатывать. — Разговор принимал крутой оборот, и не в правилах Петра Васильевича было в таких случаях отступаться. — У меня мозоли не дареные — свои.

— Чем натёр-то? — Тот даже не старался скрыть вызова. — Колокольчиком на собраниях? «Слушали — постановили». Понаслышаны, Петр, свет, Васильич, понаслышаны. Может, ты мне скажешь, где дети твои? Может, адресочек ихний дашь? Делать мне нынче нечего, поеду на старости, проведу. Или, может, расскажешь, как жену свою в гроб загнал? Или корешу своему — Фомке Лескову — здоровье воротить? — Василий вдруг осекся, уразумев, видно, что хватил в своей осведомленности лишку. — Ладно, раскудахтались, будто сто лет впереди. Смотаюсь-ка я лучше за добавкой. — Словно боясь, что его остановят, он с упреждающей всякие протесты поспешностью подался к выходу. — Я мигом...

Оставшись один, Петр Васильевич еще раз внима-

тельно оглядел комнату. Все вокруг носило следы запустения и преждевременной дряхлости. Казалось, к вещам, впопыхах разбросанным здесь много лет назад, до сих пор так и не прикоснулась хозяйская рука. Тощая мебелишка, разнокалиберное тряпье, случайный инструмент вперемешку с банками, пузырьками и бутылками громоздились по углам, покрытые девственно прочным слоем пыли. И в этой скорбной заброшенности Петру Васильевичу внезапно и как бы со стороны увиделась и собственная жизнь, прожитая, хотя и яростно, но вслепую, без жалости и разбора. И если до этого, проникаясь заботами и делами тех, кого сводила с ним судьба, он, сожалея им, внутренне отделял себя от них, то сейчас, среди царившего здесь тлена, ему беспощадно открывалась его — Петра Васильевича Лашкова — собственная роковая причастность, его родство ко всем и всему в их общей и уже необратимой хвори. И обманчивое облегчение, возникавшее в нем всякий раз после прежних его встреч, где он, содействуя другим, на какое-то время осознавал и свою для них необходимость, уступало теперь место тоскливой горечи. С пронзительной определенностью выяснилось перед ним, что ему уже ничем не помочь здесь ни себе, ни брату.

И тогда Петр Васильевич встал и тихо, не прикрывая за собой двери, вышел, чтобы уже никогда не вернуться сюда: «Так, видно, лучше будет и ему, и мне. Тяжести меньше».

Подходя к дому, Петр Васильевич еще издалека заметил сидящего под окнами Николая. С тех пор, как старику удалось-таки прописать парня, а затем и устроить на работу в депо, тот зачастил к своему крестному, засиживаясь, впрочем, все больше на дочерней половине. В другой бы раз, щепетильный по части анкетных данных, Петр Васильевич наладил непрощенного жениха, но теперь, взяв крестника под свое высокое покровительство, он не считал себя вправе хоть чем-либо

уязвить парня: «Пускай отогреется возле женской души, дома-то от матери тепла мало».

Но если Николаево бдение под его окнами и не могло сколько-нибудь озадачить Петра Васильевича, то самая поза гостя: подбородок в плотно сдвинутых коленях; пальцы, сцепленные впереди; взгляд тусклый, отсутствующий, — изваянная долгим напряжением, невольно вызвала в нем известное беспокойство, которое шаг от шагу все укреплялось в душе и росло.

Кивком усаживая поднявшегося было навстречу гостя, он не скрыл внезапной тревоги, спросил:

— Где Антонина?

— Нету...

Парень долго мялся, блудил уклончивым взглядом по сторонам, складывал непослушными губами какие-то жалкие слова, прежде чем, припертый к стене двумя-тремя наводящими, сказал, наконец, тихо и внятно:

— У Гупаков...

И одна эта коротенькая фамилия, как ожог, коснувшись его сознания, враз утвердила в нем ревниво утаенные даже от самого себя, но давние подозрения. Для него стало объяснимым и появление лампадки в красном углу дочерней светелки, и суетливое ее радение вокруг всякой проходящей побирушки, и частое старушечье шушуканье по ту сторону перегородки. «Изпод носа дочь уводят, — вскипала в нем досадная злость, — а ты, старьей хрыч, глазами хлопаешь!»

— Сиди тут, — сказал он гостю, поворачивая от дома, — жди. Придет, обо мне ни гугу... Понятно?

Тот в ответ лишь еще ниже опустил голову.

Чуть не дотемна петлял Петр Васильевич вокруг дома Гупака, ожидая выхода «сестер» и «братьев» с очередной гупаковской проповеди. А когда, наконец, последний из них скрылся за ближайшим поворотом, старик решительно ступил на еще не остывшее от множества подошв крыльцо. Стерильной старушке, которая вздумала было загородить ему вход, хватило одного

его краткого взгляда, чтобы мигом ступешаться и кануть в полутьме сеней. Просторная горница освещалась лишь лампадкой из-под богатого киота и оттого все в ней выглядело расплывчато и смутно.

— Здравствуйте, Петр Васильевич! Чем могу?

Голос выплыл из затемненного простенка между угловым окном и печью, и Петр Васильевич, пообвыкнув глазами к сумеречному освещению, определил сидящего там хозяина.

— Здравствуйте... Свет зажгли бы...

Возникнувшая из темноты хозяйка бесшумно приспособила еще одну свечу под киотом, и сразу же лицо Гупака выдвинулось навстречу Петру Васильевичу:

— Знал, уверен был, что придете, не могли не прийти. Судьба-с, Петр Васильевич, рок, так сказать... Сорок с лишним лет ждал и вот, сподобился визитом вашим... По правде говоря, с утра еще сосало, сегодня!

Лицо хозяина, вязко схваченное рыжеватой с проседью щетинкой, росло, разрасталось, и когда выпуклые, в багровых прожилках глаза хозяина приблизились к гостю чуть ли не вплотную, их обоих одновременно и резко ослепило то давнее январское утро, что отметило им жизнь единственной встречей...

Окно станционного телеграфа, сплошь увитое морозной росписью, высеивало по комнате тусклый, удручающе мертвенный свет. Раскаленная «буржуйка» источала сухой угарный жар, от которого ломило в висках и томительно обмирало сердце.

Пока простуженный телеграфист, заходясь в истошном кашле над истерзанными позывными аппаратами, добивался связи с Узловском, Петр Васильевич угрюмо вышагивал вокруг него в ожидании прихода начальника станции Миронова.

Еще неделю тому, когда Лашкова неожиданно сделали комиссаром всей Сызрано-Вяземской, дорога жила лишь малыми происшествиями. Оперативная группа работала в основном по мелочам: мешочники, тихий

саботаж, изыскание топливных ресурсов. Но стоило ему заступить в должность, как уже на другой день грянула беда: в самом исходе перегона Роцца-Дубки лоб в лоб столкнулись два товарняка. Но, как присовокуплялось к сообщению о случившемся, Миронов, едва распорядившись поставить в известность инстанцию, завалился у себя дома и пьет мертвую. Кивок в сторону вероятного виновника был слишком красноречив, чтобы остаться без внимания губчека.

С оперативной группой из трех человек Петр Васильевич на закрепленной за ним дрезине ринулся к месту столкновения. Возможные варианты причин крушения обсуждали уже в пути.

Гудков — мордастый дядька с редкой, будто распаренной бородашкой чуть не до самых глаз, раскуривая пайковый «гвоздик», уверенно приговаривал:

— Он. Больше некому. Знаю я его — Левку. Считай, десять годов у него в стрелочниках ходил. Шкура! Он. С чего ж тогда и запивать?

— Не скажи, — сомневался Ваня Крюков, дерганый, готовый в любую минуту вскинуться за свою правду с кулаками, но до самозабвения преданный делу бывший слесарь железнодорожных мастерских, — чего ж он тогда не сбежал? Или ему кем заказано было?

Лука Бондарь, меченный всеми фронтами гражданки Лука Бондарь — скособоченный глаз в переносицу, — рассудительно осадил парня:

— А куда ему, скажи, бежать? Его тут, где ни возьми, любая мьшь знает. Втемную пошел. У офицеров говорят: во-банк.

Сказал и равнодушно отвернулся к окну, как бы отделяя себя от пустого, по его мнению, и лишнего разговора.

Его настроение передалось всем, и остальную часть пути опергруппа провела молча. Лишь попыхивали сигарки в чернильной синеве только что зачатого расвета...

Вся эта история была не по душе Петру Васильевичу, и поэтому сейчас, из конца в конец вымеривая комнату станционного телеграфа, он никак не мог изжить в себе ощущения тревожной неопределенности: «Черт его знает, в чем тут заковыка, а спрос все одно — с меня. Дров не наломать бы».

К тому же у него адски ломило зубы. Морзянка раскаленными молоточками — «точка — тире — точка» — отдавалась в висках, и всё взбухающее под сердцем предчувствие беды, которая каким-то концом должна была рано или поздно коснуться как самого дела, так и лично его — Петра Васильевича, — делало лашковское состояние еще более невыносимым.

«Что я буду делать с ним, — мучительно размышлял он, — если окажется, что Гудков прав? Меня от зарезанной курицы с души воротит, а здесь не курица — душа живая. Полномочия даны, а рука поднимется ли?»

А полномочия ему даны были и в самом деле недвусмысленные: жалость по боку.

Председатель учека Аванесян — хмурый носатый армянин с дореволюционным еще стажем и каторгой за плечами, напутствуя нового комиссара, только раз и поднял на него желтые от врожденной лихорадки глаза, когда давал ему эти самые полномочия:

- «Смит» при тебе?
- Должность такая.
- У ребят «винты» в порядке?
- Не подведут.
- Тогда действуй. Задача ясна?
- Ясна.
- Всё. Иди.

Что ж, приказ и впрямь не оставлял места для различий: ликвидировать самую возможность повторения диверсий по всему пути от Вязьмы до Сызрани. И расшифровать его — этот приказ — рекомендовалось одним средством — оружием.

Ожидая увидеть в лице Миронова бородатого спеца-саботажника и заранее подготовив себя к соответствующему приему, Петр Васильевич был несколько обескуражен, когда увидел перед собою своего, если не моложе, ровесника, введенного в телеграфную Гудковым.

И хотя спеца, в небрежно накинутом на плечи поверх ночного халата пальто, трясло мелкой ознобливой дрожью, он наметанным глазом сразу же определил, что не страх колотит незадачливого путейца, а тяжкое и с каждой минутой все более матеряющее похмелье. Глаза же — кроличьи, в сетке багровых прожилок глаза — смотрели твердо и вызывающе.

— Ну, что скажете? — Петр Васильевич усиленно старался выглядеть бывалым и проницательным в этой новой для себя роли. — Или запереться будем?

Миронов, не попадая зуб на зуб, коротко и с трудом сложил спекшимися губами:

— В чем?

— В том самом. Как и с кем в сговоре организовали крушение на перегоне?

— Чего уж... Кончайте...

В эту минуту, беспокожно следивший за их разговором и явно горевший желанием вмешаться в допрос, Крюков вдруг прорвался:

— А это ты нас не учи, что делать. — Он подступал к арестованному, красноречиво поигрывая деревянной кобурой у пояса. — Мы из тебя, ваше благородие, быстро гонор вышибем. Мы сюда не в бирюльки играть заявились. Мы...

Тот лишь поморщился, опуская глаза долу, и нехотя уронил:

— Раб. — И добавил еще брезгливее и тверже. — Рабы.

И ярость пронзительного унижения, и обида за досадную свою неудачу в первом же деле, и вся нелепость положения, в каком он неожиданно оказался, захлест-

нули Лашкова. Ему стоило немало труда побороть в себе желание рассчитаться с Мироновым тут же, не сходя с места.

— Веди, — жестко отнесся он к Гудкову, — только где-нибудь подальше, в поле. За переездом... Разберемся и сами, не маленькие...

И здесь, решительно отворотившись от обреченного путейца, Петр Васильевич как бы перешел какой-то рубеж, черту какую-то урочную, за которой его сразу же оставили все страхи и сомнения, вся прежняя неопределенность, что сопутствовала ему после получения приказа. Будто в незнакомом маршруте, не страшась подвоха за первым же поворотом, бывший обер, миновав, наконец, его, этот поворот, увидел перед собой путь, свободный от помех до самого горизонта...

Свет того далекого утра медленно распадался, уступая место нестойкому полумраку гупаковской обители. И Петр Васильевич, весь еще будучи во власти тающего видения, едва сумел выдать из себя:

— Миронов!.. Гупак?..

— По маменьке, Петр Васильевич, дорогой, — с готовностью поспешил к нему на помощь хозяин, — по маменьке, Царство ей Небесное, я — Гупак. Из Малороссии родом была, покойница. Так что без обману нарекся, с полным гражданским правом.

— Значит, миновали вас, Миронов, мои девять грамм? — Обретая действительность, Петр Васильевич внимательно вглядывался в знакомые, обмятые временем черты. — Не проверил, значит, работу свою Гудков, с плеча доложил...

— Доложить-то, может, он и доложил, только не исполнил. — Гупак даже не старался скрыть торжества. — Потому что наше, мироновское, добро не забыл. Кто ему ораву босоногую поднимать помогал? Кто его запои покрывал? Кто у жены гудковской все роды принимал? Мать Миронова, покойница, Царство ей Небес-

ное, Анна Григорьевна, урожденная Гупак и сын ее единокровный, ваш покорный слуга Лев Львович. Вот и не забыл стрелочник Гудков добра, не выстрелил. «Иди, — сказал, — Лев Львович, с Богом, не поминай лихом». Видно, раздражить мужика на чужую мощну легче, чем убить в нем душу христианскую...

— Ишь ты, вот тебе и Гудков, — горестно усмехнулся Петр Васильевич. Почему-то лишь теперь, восстанавливая в памяти возвращение Гудкова, он отчетливо отметил и несвойственную тому молчаливость, и курение его, обычно скупого и экономного, почти непрерывное, и непоседливую в обратной дороге маяту. — Только не на одном Гудкове, Лев Львович, гражданин Миронов-Гупак, моя правда стоит. Коли б на нем лишь стояла, не выдюжила бы.

Но тот, вроде бы и не слыша его вовсе, гнул свое:

— Не убили, а теперь уж и никогда не убьете. Природа поозоровала да и снова вошла в русло... Знал я, не в вас, так в детях ваших скажется основа. И сказалась, не умерла. Пробилась первой порослью. Сквозь золу и тернии, а пробилась. По правде, не было у меня в жизни краше и светлее праздника, чем тот день, когда Антонина Петровна к нам, к братии пришла... И уж тогда загадал: не миновать мне с вами встречи... И вот, как в воду глядел... Спасибо, Петр Васильевич, удружили под старость... Что дал лично вам бунт ваш всеобщий? Один остались, как перст, один... Не мщением тешусь, поверьте, лишь истину сказать хочу. Не в наши с вами годы счеты сводить... Покайтесь, дорогой Петр Васильевич, покой обретете.

— Ведь не хуже моего знаете, что обман это.

— А хлеб — обман?

— Нет. — И еще тверже. — Хлеб — нет.

— Так и вера. Любая вера — добро. «Тьмы горьких истин нам дороже нас возвышающий обман...» На века сказано. Думали, свет открыли: Бога нет! Но светом

этим высвободили в смертном его звериную суть, инстинкты животные. И теперь пожинаете плоды открытия своего, все у вас сыплется, не остановишь. Океан прорвало, а вы его лекциями да указами остановить хотите. Вместо мечты о вечной жизни подкинули обещание всемирного обжорства и ничегонеделания. А он — человек-то, как наелся, так сызнава его к вечной жизни потянуло. Удержи его теперь, попробуй.

И вдруг с резкой внезапностью обожгло Петра Васильевича пороховым дуновением той базарной площади, по которой полз он когда-то к обманчивому окороку за окном: «Неужели и правду зря? Неужели все, ради чего жил, попусту?»

Но тут же минутное сомнение сменилось прострельной яростью: «Врешь, лампадная душа, не будет потвоему, вовек не будет!»

— Собираешь узловских кликуш и радуешься: твое взяло? — Речь его обрела уверенность и силу, так недостававшую ему в начале разговора. — Рано поминки по моей правде справлять собрался. Не тебе — мне на земле хозяйствовать. И мои девять грамм от тебя не уйдут, Миронов...

Чуть вывернутые веки хозяина устало опустились, он словно бы отгораживался от гостя раз и навсегда, давая, тем самым, тому понять, что разговор окончен.

К себе Петр Васильевич вошел, против обыкновения, стремительно и шумно и, не раздумывая, уверенный, что тот, кому он адресуется, услышит его, сказал:

— Нечего прятаться, не маленький. Перебирайся к нам. Завтра же и перебирайся. Жить будем. Вместе, втроем жить.

И только один, но в два сердца вздох — тихий и благодарный — был ему ответом из-за стены.

ХІ

В это утро Петр Васильевич проснулся с ощущением предстоящей перемены в своей жизни, какого-то нового, еще неизвестного ему поворота судьбы.

«Совсем постарел, Васильич, — вспомнив о предстоящем сегодня бракосочетании дочери своей Антонины с сыном покойного сослуживца Лескова — Николаем, посетовал он на себя, — скоро имя-отчество свое забывать начнешь!»

Лежа, Петр Васильевич не без горделивого удивления посмеивался над собой. Если бы ему еще месяц назад, да что там месяц, прошлую неделю, сказали о подобной возможности, он бы воспринял это, как шутку — злую и неуместную. Разве могло оказаться явью, чтобы он — Петр Васильевич Лашков — с его репутацией и положением в городе, породнился с семейством Лесковых, известных всему Узловску своей пестротой и скандальностью? Любой узловец, услыша о том, лишь руками развел бы.

Но вот случилось же! И главное не в том, что случилось, а в том, с каким сокровенным удовлетворением он думал о предстоящем замужестве дочери? Какие планы строил! Какие благодные картины перед собою рисовал. И даже — кто бы мог подумать! — в воспарениях своих дедом уже числил и видел себя.

Носмеиваясь над собой, Петр Васильевич возносился все выше, и два согласных голоса за чуткой стеной сопровождали его душу в этом ее мечтании...

— Папаня только с виду такой, а сам добрый-предобрый...

— Старик что надо, без дураков...

— И отходчивый, будто воск...

— Как сказать... Без нажима гнет дед. Род такой ваш — Лашковский — сызмала в командирах.

— Зато справедливый.

— В жизни бы не подумал, что разрешит он нам с тобой...

— Я и говорю — справедливый... Только сам не пожалей о том.

— Не говори зазря.

— Смотри...

— Не слепой.

— А то ведь я и одна свекую, привыкла уже.

— Не городи зазря.

— Коля-Николай...

«Ишь ты, — с ревнивым одобрением отметил Петр Васильевич — ценят, значит!» И, давая знать о своем пробуждении, легонько закашлялся.

Голоса за перегородкой сразу же смолкли. Затем, после минутной тишины, Антонина осторожно поскреблась:

— Папаня?

— Пора.

— Я — сейчас.

— Не суетись — успеется.

Но там, на той половине, уже заводилась дочерью ее обычная ежеутренняя возня, перемежаемая отрывистым шепотом:

— Вставай, Коля.

— Угу.

— За водой сбегай.

— Только обуюсь.

— Носки, носки надень, роса на дворе.

— Не растаю.

— Нет, уж ты надень, а то не пуцу, сама схожу.

Слова между ними говорились самые, казалось, легкие, обыденные, но в каждое из этих слов они вкладывали столько тепла и доверительности, что со стороны разговор их воспринимался, как непрерывное сердечное объяснение, вслушиваясь в которое, Петр Ва-

сильевич улыбочиво радовался: «Такого бы согласия им да на весь век».

Впервые в это утро они сели за стол втроем. Антонина то и дело вскакивала, споро обставляла тарелками и того, и другого, деля между мужчинами свое расположение и признательность:

— Досыта наедайтесь, чтобы к вечеру не опьянеть... Еще, папаня? Николай?

И хотя, что греха таить, ревновал Петр Васильевич дочь к зятю — едва перешагнув порог, тот уже замечал в ее сердце часть отцовского места — праздничность Антонины сообщилась и ему чувством уступчивой снисходительности...

К загсу, где их уже поджидали принарядившиеся по такому случаю свидетели — разбитной, навеселе, парень с гитарой через плечо и зябкая с вопрошающими, словно бы от века испуганными глазами девушка, в мучительном смущении терзавшая в руках носовой платок, — они подошли несколько до срока.

Парень, грубовато ткнув Петру Васильевичу потную руку, бездумно хохотнул.

— Кузин, Леонид.

Спутница же его, краснея и теряясь под изучающим взглядом Петра Васильевича, едва-едва сложила дрогнувшими губами.

— Лена...

Первое знакомство подытожил Николай:

— Наши, Петр Васильевич, деповские.

Перед самым открытием, ко входу, лихо затормозив, подкатило сразу три «волги». И в хмельной уже с утра пораньше компании, высыпавшей из лимузинов, сразу же выделился ростом и шумливостью старик Гордей Гусев, давний сосед Петра Васильевича — царь и бог узловских шабашников. Темная довоенная еще пара облегала его не по годам подвижную фигуру добротной и ловко, седой чуб залихватски свисал над ку-

стистой бровью, и весь он с головы до ног прямо-таки исходил вызывающим довольством.

Слава рожденного в рубашке прочно вилась за Гордеем чуть не со дня рождения, когда полузадушенный обеспамятовавшей матерью, он все же выжил, а к совершеннолетию еще и вымахал в почти двухметрового молодца с пудовыми кулаками. Все огни и воды беспокойных годов, сквозь которые довелось пройти Гордеевым сверстникам, минули его голову. Освоив кое-какие ремесла, он всякий раз, едва в воздухе тянуло тревогой, прочно бронировался своей ухватистой незаменимостью.

— Я, — объяснил Гусев Петру Васильевичу жизненную позицию при случайной встрече в день отъезда того в эвакуацию, — человек маленький. По мне, какая ни есть власть, все одно. Мое дело здоровое — мастеровое. Мне с немцами делить нечего. Как при вас работал, так и при них около своего дела буду. Не пропаду.

«И ведь остался, — с горечью согласился сейчас про себя Петр Васильевич, — не пропал ведь, и уж, видно, никогда не пропадет. Вот, не в пример тебе, с каким форсом свадьбу потомкам справляет!»

А тот, цепким глазом выделив из группы у входа бывшего своего соседа, уже двигался к нему с распростертыми объятиями.

— Петру Васильевичу! Сколько лет!.. Вот, внучку замуж выдаю, скоро прадедом стану! — В его сверх всякой меры убийственном радушии неприкрыто сквозило торжество: вот, мол, смотри, сравнивай, чья взяла. — Стареем, брат, Петр Васильевич, погост по нас плачет. — Устремляясь следом за всеми в открытые, наконец, двери, он все еще и на ходу поигрывал в сторону Петра Васильевича победительной улыбкой. — Заглянул бы, часом, Петр Васильевич, не побрезговал старым соседушкой...

И снова, как в прошлый раз у Гупака, Петру Васильевичу мгновенно пригрезилась развороченная вит-

рина купеческой лавки на базарной площади пятого года: «А вдруг всё так и будет по-ихнему? Вдруг и взаправду зря дело затевали?»

С тем он и переступил порог загса. Бросившаяся было навстречу Гусевым регистраторша, увидев его, заметно растерялась. Клинообразное испитое лицо ее отражало титаническую борьбу между риском восстановить против себя уважаемого в городских организациях человека и стремлением услужить всемогущему шабашнику. Но, видно, должностные соображения взяли верх. Она повернулась к Петру Васильевичу и жалобно пригласила:

— Прошу вас, товарищ Лашков!

Тут пришла очередь слегка позлорадствовать и Петру Васильевичу: «Не вся, выходит, земля, Гусев, что в твоём огороде».

Дважды сквозь презрительный строй гусевского клана, мимо расфранченной по последней моде — черное с белым — пары новобрачных пронесли свое будничное сорокалетие Антонина и Николай: туда — до регистрационного стола и обратно — к желанному выходу.

Но ни в дороге, ни за столом ни хозяев, ни гостей так и не оставила та напряженная скованность, какую вынесли они из загса. Напрасно Антонина суетилась вокруг подруги, а Николай подливал другу одну за другой, те лишь переглядывались растерянно, явно тяготясь угощением. И поэтому, когда, наконец, гости излишне оживленно откланялись, Николай решительно заключил:

— Уедем мы, батя, отсюда. Не будет здесь нам с Антониной жизни.

И Петр Васильевич впервые после их с зятем знакомства не нашелся с ответом.

ХИ

Ночной автобус довез их до Углегорского аэровокзала, откуда молодые должны были лететь в Москву, где им предстояла пересадка. И здесь, крепившаяся всю дорогу Антонина не выдержала. Припав к отцовскому плечу, она шепотно запричитала:

— Папаня, родненький... Как же вы тут без меня будете? Поехали бы с нами... Ни постирать, ни поесть сделать некому... А ну, как заболете... Изойду я без вас сердцем... Папаня-а-а!..

— Ну-ну, Антонина... Будет. — Петр Васильевич неверной от волнения рукой оглаживал ее голову. — Авось, не пропаду... И куда мне под старость полниться?.. Здесь родился, здесь и помру... Ты, вот, пиши только, не забывай...

Николай, переминаясь с ноги на ногу, стоял сбоку, затравленно поглядывал в их сторону, и по всему видно было, что ему тоже не по себе. Когда же объявили посадку, он порывисто шагнул к Петру Васильевичу, дважды по-мужски коротко припал к старику и хрипло обронил:

— Гора с горой... Бывай, отец...

Подхватив чемоданы, он двинулся к выходу на перрон, Антонина потянулась за ним, все оборачиваясь и оборачиваясь дорогой, пока мгла застекленной двери не вобрала в себя ее самое и ее полустон-полукрик:

— Папаня-я...

Оглушенный рухнувшим на него одиночеством, Петр Васильевич медленно и бездумно выбрел к автобусной остановке. Какая-то баба, несущей оседлавшая гору мешков и корзинок, весело отнеслась к нему:

— Садись, отец, ближе, теплее будет! Автобус-то — он не скоро еще...

Петр Васильевич, подаваясь мимо, не ответил. Едва обозначившееся утро густо подсвечивало асфальт перед ним, чутко вторя резкому стуку его палки.

И все, что было пережито за те недолгие дни, которые отделяли его от случайного воспоминания у разбитой витрины городского магазина, приводя к выводам, обрело цель.

Где, когда, почему уступил он — Петр Васильевич Лашков — свою правду Гупакам, Воробушкиным, Гусевым? Какой зябкой чертой оградил он себя даже от родных детей своих? В чем оказалась горестная промашка его?

И вдруг из давно казалось бы забытого небытия выплыло перед ним залитое хмельными слезами лицо тестя Ильи Махоткина: «Сушь, сухой дух от тебя идет... Нет в тебе ни одной живой жилы...»

И озарение, так долго и трудно ожидаемое им озарение, постигло Петра Васильевича: «От них шел, от них, а не к ним! Свету, тепла им, да и никому, от меня не было, вот и летели они, словно бабочки на случайные огоньки в ночи. Заново, заново все надо начинать, и лучше поздно, чем никогда!» И ему вдруг стало легко и просто. И сообщенное Петру Васильевичу этой легкостью и простотой душевное равновесие проникло его мыслями деловыми и житейскими. Идя, он думал теперь о детях, которые одарят его внуками, и о внуках тех внуков, и о всех тех, чьими делами и правдой из века в век будет жива и неистребима его земля — Россия.

Он думал и шел...

ВТОРНИК

Перегон

Проводив брата, Андрей Васильевич заспешил к себе в лесничество. От станции до места было километров пятнадцать гололобых бугров, через которые, не любя в душе никакой сквозной пустоты, он гнал лошадь безо всякой жалости и, лишь въехав в первый подлесок, выпряг ее поспешить и отдохнул сам.

Только в лесу, в общении, в единении с ним, Андрей Васильевич чувствовал себя покойно. Изредка, по деловым вызовам бывая в районном городке, он терялся даже в его малолюдстве. В присутственных местах казался сам себе лишним, ерзал по сторонам замученными глазами и не знал, куда ему девать свои тяжелые и такие неуместные здесь руки.

Теперь он лежал лицом вверх, глядел в истекающее последним осенним зноем небо, и знакомый мир вновь заполнял его, и собственная жизнь представлялась ему предельно осмысленной и многим необходимой. Сколько Андрей Васильевич помнил себя, его всегда тянуло в лес, к тихой воде ручьев и озер. Фронтальная боязнь открытых пространств только укрепила в нем эту его тягу. В лесу человек неуязвим для холода и голодной смерти. И потом лес приобщает всякого к тому вещему единству всего сущего, каким не может одарить душу ни одна, самая что ни на есть заселенная равнина.

Гибель любого дерева, куста, да и просто ветки, в особенности неестественная, насильственная, воспринималась Андреем Васильевичем как глубоко личная и уже невозполнимая потеря. И он всякий раз заболел и долго печалился душой после каждой незаконной или даже законной порубки. А лес вокруг него рубили нещадно, и даже с каким-то хмельным и горьким сладострастием. Рубили с делом и без дела, благо он стоял под боком — рослый, но беззащитный.

И не было дня, чтобы Андрей Васильевич не составлял протоколов, не писал слезных реляций в лесхоз или район. Число бумаг росло, а лес, его, выстрадавший больным после ранения сердцем лес, таял, таял на глазах. И никогда ранее, ни до войны, ни долго после нее в рот ничего не бравший крепче квасу, Андрей Васильевич постепенно пристрастился к тихой выпивке: «Все равно нехорошо!»

Вот и теперь ему со щемлящим томлением вспомнилось вчерашнее утро, когда он, перед самым братениным приездом, захватил в березовом подлеске старшего из пятерых в безотцовской ораве Агуреевых, поднятых матерью их Александрой — бабой видной, но злой. Мальчишка смотрел на лесника волчонком, и конопатое вздернутое кверху лицо его тряслось недетской злостью: «А раз мне кнутовище надобно! А раз мне кнутовище надобно!»

И такая победительность в своей правоте ощущалась во всем его облике, такой вызов, что Андрей Васильевич только плюнул в сердцах:

— Ирод ты, ирод!

— Сам ты ирод! — уже с опушки, издеваясь, отозвался отпущенный по добру агуреевский отпрыск, и не без злорадства отчетливо дополнил. — Ирод чокнутый!

С кем другим Андрей Васильевич вряд ли бы церемонился. Не одной бабе из окрестных деревень уже приходилось в таких случаях распечатывать самую сокровенную свою записку и расставаться с очередной, назначенной им, штрафной десяткой. Но сейчас от одной только мысли, что для этого ему придется лишний раз увидеть Александру, у него опустились руки: «Леший с ним, — обреченно вздохнул он, — где ей одной с такой ротой справиться, не по миру же идти, в самом деле».

Оттуда, из-за мохнатого частокола густых елей выползало тяжелое облако. Облако виделось ему похо-

жим на валяный сапог с полуоторванной подошвой, причем голенище отливало тусклым оловом, переходя к пятке в сплошную чернь: «К дождю, — уже в полудреме мысленно отметил про себя Андрей Васильевич, — должно, стороной пройдет».

И снилось ему поле, пустое, простреленное со всех четырех сторон поле, с одним единственным — то ли пихтою, то ли сосной — деревом у кромки горизонта. И он полз к нему — этому дереву, чтобы укрыться, спрятаться там от смертного воя вокруг, и в жадном этом движении его сопровождал памятный братенин зов: «Как же это ты, Андрюха, зачем?» И сразу за этим едва слышная шепотная мольба Александры: «Пожалей, Андриюшка-а-а!»

II

По Узловску несло бумажной гарью. Город избавлялся от всего, что могло бы обременить его память. Власть жгла бумаги, которые не в состоянии была вывезти, обыватель — фотографии и письма родственников и знакомых, из тех, кем еще вчера считалось за честь при случае козырнуть.

Редкие гудки тревоги пока не завершались бомбовыми разрывами, но кружение в незащитном небе разведывательных «этажерок» уже возвещало о приближении к городу фронтовой полосы.

Андрей едва нашел место для своего Гнедка у коновязи райисполкома: площадь перед зданием была густо запружена машинами и повозками, пешими и конными. Людской водоворот пестрел зеленым цветом — цветом войны. В коридорной суতোлке перед военными предупредительно расступались, подчеркивая этим самым их, в теперешней обстановке, главенствующее положение.

В крошечном закутке завсельхозотделом Туркина оказалось неожиданно тихо и пусто. Сам Туркин —

тщедушный блондин в официальной индиговой паре, не поднимая глаз от бумаг, лежащих перед ним, отрывисто бросил:

— Откуда?

— Из Бибикова. Сами же вызвали.

— А, это ты, Лашков, — подслеповатые, василькового оттенка глаза его вопросительно уставились в сторону Андрея, — что у тебя? — Не ожидая ответа, он поспешно схватился за телефонную трубку. — Девушка, Туркин говорит, соедини-ка меня с первым... Василий Никифорович? — Заведующий по привычке, разговаривая с начальством, привстал. — Туркин беспокоит... Есть парень... Лашков... Нет, не тот... Брат его младший — Андрей... Объездчиком в Бибиково... Тот самый... Тридцати нет... Комсомолит еще... Холостой... Какой там, сам просится! — Он бережно опустил трубку на место и блеклое лицо его приобрело соответствующую моменту начальственную. — Так вот, Лашков, тебе поручается эвакуировать скот.

— Какой скот, Владимир Пальч, — Андрей ожидал всего: взбучки по поводу участвовавших хищений, нагоняя из-за провороненных потрав, мобилизации, наконец, только не этого. — Куда я его буду эвакуировать?

— Какой? — Голос Туркина приобрел торжественную тональность. — Все колхозное поголовье района. Куда? — Значительность его модуляций сделалась еще более подчеркнутой. — В Дербент, Лашков, в Дербент, в горы... Районный комитет поручает тебе тысячу двести голов артельного достояния. За каждую голову отвечаешь лично. Документы оформишь в орготделе. Оружие получишь у военкома. О людях договаривайся сам с председателями. Старайся брать малосемейных. Не подведи фамилию, Лашков. — Он протянул Андрею короткопалую потную руку и в вялом ее пожатии, вопреки натужно бодрому тону, не чувствовалось ничего, кроме безнадежной усталости. — Желаю успеха.

Новое назначение застало Андрея врасплох. Он не то чтобы растерялся, его скорее обескуражила неожиданно возникшая обязанность кем-то командовать, с кого-то спрашивать и за что-то отвечать. Сколько Андрей себя помнил, ему всегда приходилось подчиняться. Дома — отцу и брату, в армии — всем, начиная с отделенного, на работе — председателю и многочисленным районным деятелям любого ранга. И теперь, когда за ним закреплялось право распоряжаться самому, он никак не мог сколько-нибудь отчетливо представить себе свою роль в качестве начальника.

И, как всегда в трудных случаях жизни, его потянуло к брату. Брата он боготворил. При каждой встрече тот заряжал его своей ожесточенной решительностью и верой в их — Лашковых — назначение в общем деле.

Андрей долго блуждал по коридорам отделения дороги в поисках Петра Васильевича, прежде чем кто-то, проходя, не надоумил его:

— Лашков? В тупике за «горкой» архив от бухгалтерии принимает.

У классного пульмана, загнанного в тупик, Андрей еще издали заметил Фому Лескова — старого братениного дружка и поездного напарника, суетившегося вокруг горы набитых гроссбухами мешков. А тот, в свою очередь, при виде гостя, весело повел блудливым глазом в глубину вагона:

— К тебе, Васильич! Брательник — собственной персоной.

Встретиться с братом Андреем, среди суматохи первых военных месяцев, все недосуг было, и поэтому, когда тот вышел к нему, он со щемящей сердце грустью отметил про себя и наметившуюся уже сутулость Петра и частую проседь в его, когда-то иссиня-вороном ежике.

— Здоров, Андрюха, — бодрое радушие давалось ему явно через силу, — вот работенку всучили, не дай Бог всякому.

Коротко поведав брату об исполкомовской встрече, Андрей без обиняков определил перед ним свое к ней — этой встрече — отношение:

— Погодки воевать уходят, Петёк, а я заместо па-стуха — в другую сторону. Нехорошо получается...

Они уединились в спальном купе, и Петр, обычно немногословный, пространно, хотя и не совсем уверенно, стал втолковывать Андрею что-то о необходимости и дисциплине, но в конце концов сбился с тона и закончил неожиданно тихо и грустно:

— Говори — не говори, кому-то и это дело делать надо... Куда-то нас с тобой раскидает теперь... По всему, большая, длинная война будет... Увидимся ли? Из всех Лашковых только двое — ты и я — остались... Всех поразметало в разные стороны... А жизнь-то — она на исход пошла, на исход...

И по тому, какая сожальительная горечь сквозила в каждой фразе брата, Андрей уверился, что то, зачем он явился сюда, куда нужнее сейчас самому Петру, нежели ему — Андрею, и слова сочувствия, готовые уже было сложиться в нем, обернулись лишь кратким вздохом:

— Проводи.

Их путь вдоль насыпи к ближнему поезду был медленным и молчаливым. Пожалуй, как никогда раньше, ими постигалось в эти минуты, сколь много они всю жизнь один для другого значили. Братья служили один одному той единственной связующей нитью со всем, что зовется семьей, фамилией, родом, без которых они, сами по себе, ничего из себя не представляли.

У поезда братья слегка, словно стыдясь внезапного порыва, помяли друг друга за плечи и тут же разошлись всяк в свою сторону, уже не медля более и не оборачиваясь.

III

Обычно тихое Бибиково тонуло в гвалте и ржании. Вокруг правления сгрудились подводы с походным скарбом скотогонов. Посланцы шести окрестных деревень ждали команды двигаться с голодно ревущим на затоптанном выгоне скотом к тихим кавказским пастбищам.

Андрей, запершись в председательской светелке, мысленно прикидывал деловую хватку каждого из своих подчиненных. В окно ему было видно, как Прокофий Федоров — курковский гуртоправ, бережно размещал посреди телеги беременную жену свою Пашу, обкладывая ее со всех сторон свежим сенцом, укрывал ей ноги стеганым одеялом, улыбочиво при этом поругиваясь с нею и дразнясь.

«Этот надежен, — облегченно следил за их игрой Андрей, — не подведет. И работу свою знает, дай Бог всякому. Жена вот только чуть не на сносях. Ну да ничего, баб много, примут».

У артельного амбара, приспособленного под клуб, хромоногий гармонист Санька Сутырин, уныло поводя в сторону хмельным глазом, веселил на прощание сбившихся вокруг него девчат:

Сапоги мои худые,
Дома лаковые.
Что у девок, что у баб —
Одинаковые...

«Задавала, конечно, — с крайней строптивостью избалованного всеобщим вниманием и единственного на всю округу гармониста ему приходилось сталкиваться не раз, — зато, как говорят, на все руки: и швец, и жнец, и на дуде игрец, обломается».

Старый торбеевский бобыль Прокофьич, с молодых еще ногтей крещенный пастушьим бичом, со вдумчивой старательностью ладил борт своего полухода. Пергаментное с клочковатой, медного оттенка бородой лицо его светилось невозмутимой деловитостью хозяина, работника, мастера, крепко уверенного в собственном назначении в этом мире.

«За таким, как за каменной стеной, — любовался его ухватистой споровкой Андрей, — клад, а не старик».

И вдруг, как во сне, когда внимание, обостренно сосредоточившись на одном предмете, перестает воспринимать все остальное, слух и зрение Андрея мгновенно отключились от окружавшей его действительности: Андрей увидел ее — Александру. Она уверенно пересекала дорогу перед окном, направляясь к конторе. И ни стоптанные резиновые сапоги, ни суконный, с мужниного плеча пиджак, ни темный старушечий платок, опущенный чуть не до самых бровей, не могли, не в состоянии были хоть сколько-нибудь обесформить ее рвущуюся сквозь одежду жаркую плоть, стереть с почти еще девичьего облика врожденное в ней выражение зова и желания.

Много воды утекло с той весенней поры, как, выпроводив именитых Андреевых сватов, она изо всех многочисленных своих вздыхателей выбрала Серегу Агуреева, самого что ни на есть отпетого свиридовского гуляку, но и теперь, всякий раз при встрече с нею, Андрей жарко обомлевал, не в силах унять гулкое биение под сердцем.

«Подсуропил мне Михайло Порфирьич, старый черт, — посетовал по адресу сычевского председателя Андрей, поспешно, даже несколько слишком, бросаясь с ключем к запертой двери, — не было печали!»

А та, не давая ему опомниться, прямо с порога ошарашила его насмешливым вызовом:

— Драсте, дорогие гости, лучше б вас не было. Так, что ли? Уж не обессудь, не по своей воле, — не отка-

зала себе в удовольствии глумливо поерничать Александра. Но тут же, словно спохватилась, взяла деловой тон. — Полтораста голов тебе пригнала. От Сычевки пойду я, да Пашковы всем семейством, сам Пашков с белым билетом, да Люковы трое: старуха с дочкой и снохой, да Петя-блаженный, вот и вся армия...

Ревниво следя издали за ее судьбой, Андрей знал о ней все, или почти все, что было известно самым ближайшим соседям Агуреевых. И хотя детей у них с Сергеем за три года супружества так и не состоялось, жили они, вопреки всеобщим ожиданиям, не вполне обстоятельно, но дружно. В первый же день войны Серега, то ли поддавшись общему тогда настроению, то ли ради сохранения отчаянной своей репутации, ушел добровольцем, и Александра, заколотив свиридовский дом его, перебралась к матери в Сычевку. Хваткая ко всякой работе, дотошная в деле, быстрая на язык, она вскоре приобрела в артели уважение и силу, и к тому времени, когда над округой засквозило фронтовым ветром, уже заведовала фермой. Поэтому Андрей, хоть и досадовал на сычевского председателя, про себя все же не мог не одобрить его выбора: «Знает, старый хрен, кому скотину доверить. Эта свое не упустит».

— Не густо. — Стараясь унять волнение, Андрей с силой раскатывал перед собой зажатый между ладонями карандаш. — Сто пятьдесят голов! Гнать-то их не хитро. Одного Пети хватит, а если зараза какая? Мор? Твоим старухам самим няньки нужны. Удружил мне ваш Михайло Порфирьич.

— А где он — Михайло, наш, Порфирьич возьмет людей-то? — В сизых едва тронутых женским веком зрачках ее, в самой их глубине наметилась сердитая искра. — Какие были стоящие мужики, все, — она кивнула за окно в сторону фронта, — там, а новых еще бабы не нарожали. Уж как-нибудь с вашей, Андрей Васильевич, богатырской помощью обходим скотинку.

— Сама знаешь, — оскорбленно подобрался он,

слишком уж откровенным был выпад, — просился, не взяли.

— Понятно, шибко партийные в тылу нужнее. С бабами да ребяташками управляться, а то избалуются без руководства. Нам ведь без вас — без Лашковых никак не обойтись...

— Ты это про Лашковых брось. — Когда дело касалось их фамилии, все Лашковы становились одинаковы: гнев, душный слепой гнев сразу растворил в нем недавнюю его растерянность. — Тебе Лашковы дорогу не переходили.

— Зато я им, — Александра даже не старалась скрыть своего мстительного торжества, — перешла. Думали Лашковы осчастливить Сашку, не вышло...

— Да, ты... Да ты! — Его, будто спущенную с предохранителя пружину, подбросило с места, он кинулся было к ней из-за стола, но тут же, обессилев от стыда и обиды, снова сел и отвернулся к окну. — Иди...

С пронзительным до жжения в горле томлением следил Андрей за тем, как она, сойдя с конторского крыльца, размашисто вышагивает в сторону своего табора, слегка по дороге кивая встречным. Дорого дал бы он сейчас за один только, хотя бы такой вот ее кивок. Сколько воды утекло с тех пор, когда Андрей впервые увидел Александру и загорелся по ней, а вот и сейчас, через годы, все в нем обмирало и загоралось, стоило ему только увидеть, как она проходит где-нибудь рядом. Фигура ее все удалялась и удалялась в сторону сычевского табора, а он все смотрел и смотрел ей вслед, а когда обернулся и пришел в себя, перед ним уже сидел печальный и усталый старичок, и в том, с каким вниманием тот изучал стену напротив, было ясно, что весь разговор Андрея с Александрой был им услышан, теперь же гость молча предлагает оценить его деликатность.

— Что вам, отец? В совете никого, — хмуро опустил глаза Андрей. — Я здесь временно.

— А мне лично вас, Андрей, если не ошибаюсь, Васильевич, лично вас. — И в тоне, каким это было сказано, обнажилась вся канцелярская гамма: от услужливости до расположения. — Ветврач из исполкома, Бобошко Григорий Иванович.

И только тут Андрей вспомнил, что, прощаясь с ним, Туркин обещал подослать ему опытного ветеринара, старого, мол, испёка, зато мастера первоклассного. Но ожидая всего, кроме этих живых мощей вьяве, он слегка растерялся:

— Да, да, конечно... Только прошу учесть: путь долгий...

Старичок явно понял состояние хозяина, и склерозные глазки его засветились добродушной иронией:

— Я бы, разумеется, не отказался от курорта, но ведь, извините, сами видите, что делается кругом: — Тут он легко развел короткими руками. — Так что уж не взъщтите.

— Простите, если что не так ляпнул, -- он не знал куда глаза девать, — пойдёте к гуртам.

За околицей на выгоне ревели гурты. Каждая деревня держала свою скотину отдельным табором, и это сразу же породило первые споры и неурядицы. Люди оставались людьми, хотя им и предстояла дальняя и тяжкая дорога, где с любым из них могло случиться самое непоправимое. Но они жили еще старыми довоенными представлениями обо всем, и поэтому всякий из них тащил в свою артельную кучу все, что, по их мнению, могло согдиться в пути. Андрея на какое-то мгновение взяла жуть от того груза, который он взвалил на себя: «Господи, прорва-то какая! И куда я с ними! Разорвут при случае и не икнут!» Но обычная их — лашковская — уверенность в себе выручила и здесь: «Не боги горшки обжигают, перезимуем!»

От зоркого глаза ветеринара не укрылась эта его мгновенная растерянность, и он тут же, посмеиваясь, тихонько подсказал:

— Речь бы надо, Андрей Васильевич. Так сказать, момент!

И Андрей, взгромоздившись на выпряженную телегу, воззвал ко всей возникающей перед ним кутерьме, благо опыт у него по части собраний имелся немалый:

— Так что, вот, какие пироги, друзья-товарищи! Путь у нас неизвестный и держаться нам всем надо сообща. В куче и котята — волки. Добро свое берегите, вам его артель доверила, а остальное — вместе. На нас смертная сила прет: фашист. Фашиста порознь не побьешь. Поодиночке нас, как кутей, передавят, так что в случае стреляю без предупреждения. — Он подумал и добавил для пущей официальности. — Все на врага! Раздавим фашистскую гадину!.. Двинулись!

Ревущая и голосящая лавина потянулась к большаку, а когда тот вобрал ее всю до последнего подтелка, вперед вышел знаменитый в районе бык «Евсей» и повел колонну вперед, к дымящемуся пылью горизонту. Огромный «Евсей» величественно вышагивал по обочине дороги, и в коричневом до черноты глазном его яблоке явственно отражались и земля, и небо, и долгий путь впереди.

И снова Андрею стало не по себе: «Господи, какую же мерой надо будет воздавать им, чтобы довести до места и никого не потерять? А главное, ничего не потерять?»

IV

В душевной, щедрой близкими звездами ночи властвовала сутыринская гармошка:

Мой миленочек партийный —
Луженая глотка.
Самоваром жрет портвейный,
Запивает водкой.

«Она, — по голосу узнал Лашков Александру, объезжая свое хозяйство, ставшее здесь ночевкой, — ну погоди же, поговорим. Война, так значит, все дозволяется?»

Но он хоть и ярился, и поигрывал в темноте скулами, знал, что говорить с нею не станет, потому как ничего из этого разговора, кроме нового для него конфуза, не выйдет. И от этого своего бессилия еще более распаялся и думал: «Стерва... Стерва... Стерва... Ведь для меня специально... Стерва...»

— Куда прешь, черт! — Кто-то шаррахнулся в сторону чуть ли не из под самой морды лошади. — Не видишь — люди?.. А, Андрей Васильевич!.. Не признал...

— Чего не спишь? — Андрей определил по характерной искательности торбеевского пастуха Филю Дуду. У Дуды давно уже бегали внуки, а к его укороченному в детстве имени так и не пристало отчество. — Иди спать, завтра не дам роздыху.

— Спать! — жалобно откликнулась темь. — Момент, телка сведут. Сычевские давно зарятся. Пустят грязь какую — не то к нам, а нашего сведут. Известное дело: из Сычов — смотри воров. А у нас порода. Председатель опосля голову съмет. А сычевцев кто не знает: все воры.

Таким манером Филя мог — и уж о чем — о чем, а об этом Андрею было известно не в последнюю очередь — заговорить до смерти кого угодно.

— Ну, ну, — заторопился он дальше, — только все одно завтра потачки не дам. Бывай...

Его потянуло туда, ближе к сутыринскому наигрышу, и он тронул лошадь в сторону бибиковского гурта. А оттуда, навстречу ему уже выплывала частушка:

Я любила тебя миленький,
Любить буду всегда:
Пока в морюшке до доньшка
Не высохнет вода.

«Взбесились бабы, — сочувственно пожалел Лашков, — когда-то теперь своих дождутся?»

Днем, перед самым переходом магистрали Москва-Харьков, путь гуртам отрезала долгая войсковая колонна. Мимо них шли, по большей части молодые, только что обмундированные в «БУ» ребята. Шли с той тревожной веселостью, какая, обычно, присуща всем новобранцам по веками освященному правилу: была не была! И потому мало кто из них пропустил случай, чтобы не отметить забористым словом у молча и скорбно глядевших на них баб из шести узловских деревень.

— Эй, чернявая, айда с нами, — не пожалеешь!

— Девушки, вы — подружки?

— Или не видишь, Сема, ясно — подружки.

— Тогда пусть берут меня в игрушки.

— Ты, Сема, рылом не вышел. Смотри у них какой молодец гарцует. Одно слово, сокол — это самое, как кол...

Но молчали, не обижались бабы. Даже самые языкатые из них, способные, казалось, под горячую руку переговорить самого черта, лишь горько усмехались в ответ из-под сдвинутых к самым бровям платков. «Тешьтесь, тешьтесь, милые, — как бы снисходили они, — сегодня вам все дозволяется».

И это их покровительственное молчание стало постепенно передаваться туда — в колонну: возгласы сделались реже и как-то стеснительнее что ли, а затем и вовсе стихли и только шорох сотен подошв об асфальт стоял в раскаленном воздухе, изредка прерываемый жалобным ревом скотины. Смерть казалась идущим чем-то таким, о чем еще можно было думать, если не с воодушевлением, то, хотя бы, не без некоторого кокетства. Но женщины, молчаливо глядящие на них с обочины, этим своим молчанием обозначили для них в предстоящем ее — смерти — настоящую цену. И, поэтому то, что всего минуту назад было подернуто героич-

ческой дымкой, вошло в их сознание тревожным и пронзающим душу озарением.

В хвосте колонны, чуть даже поотстав, ковылял молоденький, совсем еще почти мальчишка, солдатик, на ходу укрощая строптивую обмотку, а укротив ее, наконец, он выпрямился и обернул к бабам кое-как слепленное круглое лицо, грозя им при этом пальцем: смотрите вы, мол, тут!

И в это же мгновение, будто прошлось солнечным зайцем по бабьим лицам: всю женскую половину лашковского табора забрал громкий, безудержный, до слез хохот:

— Ой, держите меня, девоньки, выкину!

— Чай и есть разок на двор сходить по легкому!

— Ой, бабы!.. Бабы!.. Ой, бабоньки!

— Вот, девки, грозильщик! Вот грозильщик!

Умора!

Гурты двинулись в переход, но бабы и в пути все никак не могли успокоиться:

— Польк, видела, а?

— У них тут не забалуешься.

— Вернутся, будем знать, почем кнут, почем пряник.

— А ить, бабы, и правда, поберегись. Опосля хуже будет.

— Убережешься тут: кругом ловцы.

— А ты гони!

— Прогонишь, я — слабая...

Теперь же, в ночи, невольное дневное озорство обочивалось в них горечью и зовом:

С неба звездочка упала

Четырехугольная.

С милым редкие свиданья

Я и тем довольная.

По чести говоря, Андрей мог бы не подниматься сегодня ночью в объезд, надобности такой не было, а

если и была, то ему давно следовало возвратиться в село, где его с ветеринаром определили на постой. Но снова и снова заводил он своего Гнедка в очередной круг, стараясь избыть в себе то необъяснимое еще им самим чувство вины перед кем-то или чем-то, не отпущавшее его сегодня с момента встречи на дороге. И вовсе не совесть здорового тыловика мучила Лашкова. Как раз здесь все было для него ясным. Ему приказано, — он выполняет. Прикажут идти на фронт — пойдет. Просто мир вдруг разделился перед ним на тех, кого гонят, и тех, кто гонит. Они — Лашковы — всегда, сколько Андрей себя помнил, принадлежали ко вторым. И в нем вдруг, как ожог, возник вопрос: «А почему? По какому праву?» Дальше для него начиналась бездна и, чтобы не думать дальше, он пустил лошадь в галоп.

В село он въехал, когда на востоке, у горизонта уже обнажилась первая полоска нового дня. Бобошко не спал. Бобошко страдал старческой бессонницей, а поэтому даже самый изнурительный переход мог свалить его от силы часа на два, на три. Он сидел в палисаднике, старое пальто внакидку, и птичьи глаза его грустно слезились.

— Все-то вам неймется, — встретил он Лашкова ласковой укоризной, — спали бы. Что там может случиться? Каждый стережет своих. А случится — прибегут. Вам одному все равно за всем не углядеть. А так, знаете, недолго и до нервного истощения, да.

— Сами-то вон...

— И-и! Разве я от забот? Я от старости. У вас все впереди, а я уже подвожу, так сказать, итоги. У меня есть, о чем вспомнить. Разве вы, Андрей Васильевич, слышали когда-нибудь, к примеру, о Ледовом походе? Конечно, откуда? А мы тогда единой душой за Лавром Георгиевичем. Без страха и упрека, так сказать... Я ведь не страшусь теперь рассказывать: отбыл свое... Далеко — в Потьме... Чего-то мы тогда не учли. А чего,

не знаю... Впрочем, знаю. Психологии русского крестьянина не учили. А ведь нас должна была научить пугачевщина. Максималист он, анархист, мужичишко наш православный. Он одним днем живет, а мы ему Царство Небесное... Впрочем, зачем это я вам? Идите-ка поспите хоть часок перед дорогой. По такой жаре не спавши, знаете...

Андрей лег, но заснуть так и не сумел. Едва ли из всей бессвязной речи Бобошко он усвоил и половину, но и ее — этой половины — хватило, чтобы путаница в его голове стала еще неразборчивей. Только теперь ему стало ясно, что вся его жизнь укреплялась братом, его опытом, его силой, его авторитетом, наконец. Будь сейчас рядом Петёк, он моментально расставил бы все по своим местам. А без него, сам по себе, Андрей был способен запутаться в трех соснах. И уже запутался. Самостоятельная, без брата, жизнь начиналась для него совсем небезмятежно. Смутно для него она начиналась.

Засыпал Лашков под далекий, сутыринский наигрыш:

Проводи меня домой
Тропкой небороненной.
Милый мой, милый мой,
На сердце уроненный.

«Она, — снова, но уже умиротворенно прорвалось к нему в сонное забытье, — Александра».

V

Последние два дня гурты двигались вдоль железнодорожной ветки Ростов-Кавказская, то удаляясь, согласно госмаршруту, от нее в сторону, то вновь следуя с нею вровень. В раскаленном воздухе плыло над табором крутое облако пепельной пыли. Пыль пронзи-

тельно скрипела на зубах, забивала дыхание, проникая в каждую складку одежды, в каждую пору тела. А пшеничная степь впереди, насколько хватал глаз, не сулила путникам ни воды, ни приюта. Вдоль дороги, жестко хрустя, тлели, осыпались неубранные хлеба. Скотина косила жадный глаз в сторону поля, и выставленному Андреем конному заграждению приходилось выкладываться до изнеможения, чтобы сдержатъ медленный, но упорный натиск тысячеголового стада, тянущегося к даровому, хотя и гибельному для него, хлебу.

Поравнявшись с бричкой, в которой, несмотря на зной, зябко поеживался ветеринар, Андрей придержал коня:

— Думаю, у первой воды встанем, Григорий Иванович. Не тянут люди, сдают.

— Пожалуй, Андрей Васильевич, пожалуй. — Последнее время старик явно прихварывал, но вида старался не показывать, и только болезненная испарина, какую он то и дело стирал с уныло заострившегося лица, выдавала его. — Действительно, жарковато. — Воспаленные глаза Бобошко виновато мигали. — Занедужил вот... Застарелая малярия... С трех до пяти трясет... Часы проверять можно... Недельку потреплет, не меньше... Ничего, перетерпим...

— Может отлежитесь где-нeто поблизости, Григорий Иванович? — осторожно поинтересовался он у старика. — Потом догоните... Далеко не уйдем.

— Разве я давал повод? — Тот встревоженно оживился. — Или оплошал в чем? Ведь я, кажется, справляюсь?

— Вам и сказать ничего нельзя! — в сердцах вздохнул Андрей и тронул вперед. — Я, как вам лучше, хотел... Смотрите сами.

В который уже раз, сталкиваясь с Бобошко, Андрей попадал впросак. Что, какой интерес, какая корысть удерживала бывшего корниловца около, в общем-то, чужого и хлопотного для него дела? Пропасть,

исчезнуть в безалаберной сумятице отступления не составляло ровным счетом никакого труда. И все-таки ветеринар с педантичной скрупулезностью продолжал исправлять должность, ревниво оберегая от стороннего вмешательства свои маленькие служебные права. Не облегчала Андрея и давняя фамильная привычка отстранять с пути все для себя необъяснимое расхожими, но удобными в житейском обиходе понятиями. Обычно в таких случаях он, не затрудняясь раздумьями, отмахивался с брезгливой, заимствованной еще у брата, краткостью: «блажь», «ересь», «чистоплюйство». Но здесь, изредка испытывая старика, Андрей видел, чувствовал, что имеет перед собой загадку особого рода, что что-то куда большее, чем привычка или закоренелая канцелярская исполнительность, движет ветврачом в его деловом рвении. И, казалось, отгадай он, Андрей, эту загадку, многое для него в жизни стало бы ясней и проще: «Не по зубам тебе, Андрей Васильич, товарищ Лашков, старичок попался, не по зубам».

У самого края горизонта, словно лезвие ножа, блеснув, обнажилась водная полоска, за которой постепенно, шаг от шагу всё отчетливей стали выявляться очертания станционных построек. Конь под Андреем возбужденно напрягся, упрямо вздыбил холку и перешел в галоп. Подернутое болотной ряской озерцо развернулось ему навстречу, одним концом упираясь в низкорослую лесопосадку, другим — приныкая к путевой насыпи, где перед семафором стоял товарный эшелон. «Место в самый раз, — облегченно вздохнул он, — встанем, обходимся малость».

Близость воды и долгожданного отдыха заслонила в сознании людей все окружающее. Вместе со скотиной они самозабвенно вбирали в себя дарованное им облегчение, но, когда после утоления жажды мир для них приобрел законченную устойчивость, эшелон наверху оборотился в их сторону десятками, сотнями глаз, — устремленных к ним сквозь забранные колю-

чей проволокой люки пультманов. И каждый взгляд с отчаянной обнаженностью взывал не к людям — к воде. И настороженное молчание, возникшее сразу вслед за этим среди скотогонов, только утвердило внезапно осевшую всех догадку: «Заключенные!»

У Андрея похолодело сердце. Что-то почти неуловимое в лицах за проволокой отличало их от тех уголовных, что ему приходилось изредка видеть за проволокой спецшахт в Узловске. И Андрею не то чтобы вновь показалось их — этих людей — существование, нет, в годы перед войной в городах и окрестных деревнях брали налево и направо, и ему самому доводилось не раз бывать понятым при арестах, просто он никогда не предполагал, что вот такая, глаза в глаза, встреча с ними посреди безлюдной степи может так жгуче и горестно в нем отозваться: «Чего уж с них теперь-то взять? Одна беда нынче у всех да еще какая!»

И, словно утверждая это его недоумение, выбеленное зноем небо над степью неожиданно рассек натужно завывающий гул штурмовых «юнкеров». И все вокруг мгновенно откликнулось на их угрожающий зов: истошный визг ребятишек вплелся в рев и ржание обезумевшей от ужаса скотины и, как ни силился Андрей криком и руганью организовать среди панической колготни сколько-нибудь самозащиту, проку из его крика не выходило, неразбериха росла и усиливалась. И только глаза в сквозных проемах пультманов, — десятки, сотни глаз — еще и еще, не воспринимая опасности, все так же, с надеждой и вожделением взывали к близкой, но недоступной им воде.

Тогда Андрей положил Гнедка и лег сам, и лишь тут, обретая тревожную ясность, в калейдоскопе галдящей мешанины перед собой выделил хромоногую фигуру Саньки Сутырина, спокойно складывающего бутылки с запасной водой в пузатую грибную корзину. «Что еще удумал, черт полосатый, — тронуло Андрея недоброе предчувствие, — не может без фокусов?»

Санька складывал бутылки с обстоятельностью человека, готового к самым неожиданным последствиям своего замысла. Наконец, сложив их и устроив корзину на руку, он неспешно двинулся с колодезным багром наперевес прямиком к уже обстрелянной с первого же захода насыпи. Охрана и паровозники бежали ему навстречу, к ближней лесополосе, но не видя вокруг себя ничего, кроме спасительных деревьев впереди, никто из них не остановил его и не повернул обратно.

Тяжело припадая на укороченную ногу, Санька карабкался вверх по насыпи и благодарность множества глаз из-за колючей проволоки оберегала парня в этом его пути.

К полотну Санька выбрался без особых, если не считать слетевшей с него по дороге фуражки, происшествий. Здесь он определил корзину у ног и, достав первую бутылку, связал ее с крючком багра. Затем, упершись здоровой ногой в торец шпалы, парень стал осторожно выбирать багор вверх, к самому люку, достигнув которого, ловко протиснул горлышко посуды между двумя рядами колючки. И в то же мгновение, сквозь свист и завывание пикирующей машины, прорвалась хлесткая дробь пулеметной очереди. И, будто от плоского камня, рикошетом пущенного в воду, выплеснулись при нескольких соприкосновениях с нею короткие фонтанчики: по вагонам, вслед этой очереди, пошел вториться крик за криком. Санька же, едва коснувшись коленями щебня, резко откинулся на спину и начал медленно сползать вниз головой, к водоотводной канаве.

«Посочувствовал на свою шею, — невольно зажмурился Андрей, — был человек и нету!»

Но уже в следующую минуту из лесополосы темным коlobком выделился Бобошко и, петляя по-заячьи, заковылял в сторону полотна. Целеустремленность его намерения не оставляла Андрею времени для раздумий.

Сила, куда более властная, нежели страх, оторвала его от земли и бросила наперерез старику:

— Ложись!.. Ложись, говорю!.. Застрелю!..

И прежде, чем ветеринар услышал его и лег, он плашмя упал в траву и пополз к насыпи.

Не раз в пути разрывные трели «юнкеров» приклеивали его к земле, и сердце у него смертно обмирало, уже не надеясь на спасение, но тихий костерок рыжей Санькиной шевелюры, маячивший впереди, облегчал ему его движение к цели.

Когда до Саньки оставалось лишь протянуть руку, и Андрей задержался, чтобы хоть немного передохнуть, в горячее сознание его пробилась, рвущийся изнутри вагонов, многоголосый и почти нечеловеческий вой. И только тут Андрею по-настоящему стало страшно. Воображение живо нарисовало ему все то, что творилось сейчас в битком набитых и замкнутых со всех сторон вагонных коробках. «Мамочка моя родная, — зашло в нем сердце, — что же это? Что же это делается-то!»

Санька, хоть и прошитый поперек щиколотки очередью, оказался жив и, с трудом размещаясь на спине Андрея, даже пытался шутить:

— Кажись, на другую захромал... Не оставляет Господь милостями Саньку Сутырина... Нет-нет, да и подмогнет...

Обратный путь Андрей проделывал и совсем уже в полубеспамятстве. Среди кошмара гибельного столпотворения вокруг ему казалось, что выволакивает он к придорожному кустарнику много большую, чем Саньки Сутырина, тяжесть. Тяжесть, какую отныне — и Андрей это знал теперь наверное — ему уже никогда у себя не избыть.

И первое, что он, опамятававшись в лесополосе, реально ощутил, был взгляд Александры — внимательный и долгий, прерванный лишь горестным вздохом Бобошко:

— Господи, что за люди, что за народ! Все терпит,

все. Триста лет терпел татар. Столько же Романовых. Видно, претерпит и это... Что ж, у него еще есть время...

Паровозный гудок со стороны насыпи сопровождал Андрея в гулкий, облегчающий душу сон.

VI

Небо от горизонта до горизонта затягивала серая, в темных наплывах пелена. Ветер осыпал по степи прерывистые косые ливни, и чавкающая грязь под ногами с каждым шагом становилась все непролазнее. Движение табора час от часу тяжелело и замедлялось.

Тронув коня к выглянувшей из дождевого марева навстречу гуртам станице, Андрей осадил по дороге у крытого возка, где под присмотром ветеринара колотился в бредовом жару Санька Сутырин:

— Ну, как?

— Плясать — нет, а жить будет. — Бобошко сожалеюще пожал плечами. — Я ведь не Господь Бог. И даже не Бурденко. Ихтиолка, йод, вот и все мои бальзамы.

— Не до плясок, продержался бы. — В нем все еще перегорало его недавнее напряжение. — Станица близко. Доктора найдем.

— Может быть... Может быть, — неожиданно заскучал тот. — Но едва ли... Немцы следом идут.

— Ну и что?

— Эх, Андрей Васильич, Андрей Васильич, верьте моему слову, я казака здешнего хорошо знаю, хлеб-соль он, конечно, приберет, да не для нас с вами. Так что теперь там не только доктора, коновала путного не сыщешь. Дождались станишники своего часа. И уж они, будьте покойны, они свое возьмут. И — с кровью.

— Мало что ли им советская власть дала?

— Казачеству всегда кажется, что власть может и должна давать ему больше. Именно поэтому оно пре-

дало царя ради Корнилова и Деникина, затем их обоих заменило собственными атаманами, коим вскоре предпочло совдепы, а теперь постарается не прогадать и на них... Смесь унтерского гонора и лакейства, помноженная на звериную жестокость, вот, что такое казачество, дорогой вы мой, Андрей Васильевич.

Едва Андрей нашелся с ответом, как из морозящей хмари вынырнул Филя Дуда, — ком влажной парусины на пегой, последнего разбора лошаденке, — посланный им вперед с тем, чтобы заранее определить место будущей ночевки.

— Негде, Васильич, скотину ставить. Нету загон-нов! Кругом объехал, нету.

По условиям госмаршрута каждое село, деревня или станция обязывались по пути их следования отводить специальный загон для стоянки скота. До сих пор правило это неукоснительно соблюдалось. И поэтому весть, сообщенная Дудой, не на шутку встревожила Андрея: «Неужто и в самом деле хитрят станичники?»

Не мешкая долее, он кинулся вдоль табора, туда, на запах близкого жилья, и вскоре Гнедок уже вымеривал станичный шлях, держа путь в сторону базарной площади.

Центральная усадьба выглядела заброшенной. Двери складских помещений с сорванными замками были распахнуты настежь, доска показателей у крыльца пестрела матерными изречениями, стекла в большинстве лицевых окон выбиты. Но когда, миновав темные сени и коридор, Андрей взял на себя дверь председательского кабинета, навстречу ему из-за стола поднялся низкорослый, почти квадратный горбун в застиранной ситцевой косоворотке и тюбетейке с кисточкой. Поднялся, но тут же опытным глазом оценив визитера и, в результате, не найдя, как видно, причин для церемоний, снова сел и буркнул в стол перед собой:

— Слушаю...

Но слушал он Андрея в полуха, отсутствующим

взглядом отворотившись при этом в окно, и весь облик его выражал самую крайнюю утомленность пустыми домоганиями гостя.

— Приказ, говоришь? — Горбун вдруг уставился в него и обнажил свои крупные, кукурузного цвета зубы в издевательской улыбочке. — Обязаны, говоришь? А это с каких же таких времен я тебе, кацапу, стал обязанный? Эй, Царьков! — Из смежной комнаты высунулась и замерла в угодливом внимании седовласая, с острым, усеченным книзу профилем, голова. — Слышь, еще один за долгами явился... Мабуть, тебе и жинок наших доставить для полного удовольствия? Прикажуй, ваше кацапское благородие! — Жилы его короткой шеи судорожно напряглись. — Хлеба хочешь? Мяса хочешь? Молоком тебя напоить? А горб мой не заберешь зараз? Мне его кацап, вроде тебя, в двадцатом еще годе на сохранность оставил, бери!.. Падаль! Ты у меня не токмо хлеба, дерьма собачьего не получишь... Я тебе...

Горбун вдруг умолк, сжался и, уставившись сразу же остекляневшими глазами куда-то поверх Андреева плеча, беззвучно зашевелил белым ртом. Голова в дверном проеме смежной комнаты мгновенно исчезла, а за стеной раздался грохот упавшего стула, затем звон выбитого стекла и следом — выстрел. Выстрел был сух и резок, как удар бича, и прозвучал он не оттуда — с улицы, а из-за спины Андрея. По утиному лицу горбуна, будто пробежала тень, оно сделалось пепельным и как бы полым. Сучковатые пальцы его судорожно скомкали бумаги перед собой, но тут же разжались и вяло замерли в смертной истоме. Тюбетейка медленно съехала с безжизненно уткнувшейся в крышку стола головы и откатилась в сторону, обнажив голый, изрытый сабельными рубцами череп.

— Эх, Лашков, Лашков, — голос за спиной Андрея прозвучал устало и равнодушно, — оружие тебе, видно, выдали зря. С такими разговоры разговаривать

— только время терять, а у тебя государственное дело в руках.

И человек, с которым Андрей в следующий миг оказался лицом к лицу, смотрел на него из-под выгоревших бровей отсутствующе и скучно. Шпалы в петлицах — по четыре в каждой — размещались вкривь и вкось, кобура болталась у впалого живота, стоптанные сапоги были чуть ли не до самых колен забрызганы грязью.

— Не уйдет. — По-своему истолковал полковник вопросительное молчание Андрея. — Во дворе мои ребята... Это здесь не тебя первого так привечали. Пошли. — Он кивнул в глубь коридора. — Тут я с бабами твоими говорил. Рассказали кой-чего. Парня раненого я у тебя заберу, сдам в первом же госпитале. — Слова давались ему как бы через силу и он ронял их скупой и нехотой. — Выделишь моим молодцам с десятков лошадей. Наши уже не тянут. Плохих не возьму, запомни... Вот он, голубь. — Они спустились во двор, где в окружении трех хмурых красноармейцев, сидел на корточках уже знакомый Андрею старик. — А ну, встать!

Тот, с живостью для его возраста удивительной, вскочил и, поводя в сторону подошедших искательными глазами, излился шепелявой скороговоркой:

— Я человек подневольный... У меня ограничение в паспорте... Всю жизнь, как на цепи... Что прикажут, то и делал... А семья — сам пять... Поимейте рассуждение... Без меня вам здесь никто ничего не укажет... Все попрятали, все... И скотину угнали всю, как есть... Одно слово: станишники.

Старик, оказавшийся артельным кладовщиком, огородами вывел их к заброшенному кирпичному заводу у речки, где в тщательно замаскированных печах и хранились до лучших времен еще непечатые общественные запасы.

— Вот что, Лашков, — говорил ему полковник, сидя

с ним под берегом около печей, в глубине которых красноармейцы при услужливом содействии кладовщика отбирали себе провизию, — возьмешь, сколько сможешь... Остальное прокеросинь и спали. А этого, — он кивнул в сторону печи, и бесцветные глаза его загорелись вдруг мстительным бешенством, — уберешь сам. — И тут же, без перехода, сбился на крик. — Носишь ведь ты наган для какого-то черта! Или это тебе дали вместо молотка, орехи колоть? — Он погас так же быстро, как и загорелся. — Они нас не пожалеют... Моих вон ребят... В Каунасе... Вместе с женой... Заживо...

И лишь тут, сквозь внешнюю бесцветность и вялоту, разглядел Андрей в, казалось, насквозь пропыленном лице сидящего рядом с ним человека след изнурительной муки, какой и придавал его чертам выражение усталой обреченности. И поэтому, когда четверка конных, нагруженная до отказа, скрылась в дождевой мгле, Андрей только и сказал старику:

— Бери ноги в руки, папашка...

Они шли через кукурузное поле к ближним зарослям лиманного камыша, и сердце у Андрея колотилось в предчувствии скорого и уже непоправимого для него решения.

Бокастые, чернильного колера облака грузно сползались к горизонту, высеивая по пути стылую изморозь. От окрестных хуторов тянуло сладковатым запахом горелого кизяка, во дворах трубно перекликались петухи, возвещая вечер, и думалось, что никакая беда не грозит их безмятежной тишине.

— За что ты меня, сыне! — Духлые бодылья сыро хрустнули под его коленками. — Чем же я перед кем провинился, что какая-то моя доля? — Мокрые от дождя и слез дряблые щеки старика студенисто тряслись. — Истинно говорю тебе: как зачали меня гнать в двадцать девятом, так и сию пору не найду места. А ведь их у меня трое... И мал-мала... Скажи, где правда? За чей грех я кару несу? Не за себя прошу, мне и

осталось-то всего ничего, за детей своих прошу, пропадут! Что мне жизнь? Не жизнь — дрожь одна. Только, как же они без меня, да еще об эту пору?.. Казни, коли не мать тебя родила! Нету моих сил больше...

Старик, беззвучно сотрясаясь, уткнулся сивым своим ежиком в мокрую твердь. И что-то дрогнуло, стронулось в душе у Андрея, горечь еще неизведанного волнения подкатила к горлу, и, слезно обмякнув, он молча повернул назад — к станице, с обжигающе запечатленным в памяти напутствием старика:

— Храни тебя Господь, сыне!

Всю дорогу до самого табора Андрея не оставляло чувство тщеты и суетности той жизни, какую он жил раньше. Сомнения обкладывали его плотным кольцом жгучих до обморочного удушья вопросов: «Что же это все получается? Друг друга гоним, как скотину, только в разные стороны? А зачем, из какой выгоды?»

Уснул он сразу, едва коснувшись виском заботливо подоткнутого ветеринаром ему под голову полушубка. И снилось Андрею, будто стоит он по шею в быстрой воде, пытаясь выбраться на берег, но берег обламывается под его руками и все дальше и дальше от него отступает. И вдруг появляется над ним Санька Сутырин и угрюмо укоряет: «Ты чего это здесь балуешь? Совесть иметь надо». Вода уже захлестывает Андрея. И тут неожиданно выплывает рядом старик-кладовщик в форме и с четырьмя шпалами и тянет ему руку: «Ты — мне, я — тебе, сыне. Не пропадем, Христос — воскрес». Но здесь какая-то неодолимая сила начинает растаскивать их в разные стороны. И взволнованный голос Бобошко шелестит у него над ухом: «Андрей Васильевич, Андрей Васильевич!»

Пробуждаясь, Андрей уже явственно воспринял:

— Андрей Васильевич, Андрей Васильевич! У Федоровой схватки! Надо полагать, родит!

VII

У будки путевого обходчика, где под присмотром его жены и Бобошко исходила криком в затаившихся схватках Пелагея Федорова, маятно кружился муж ее — Прокофий — сухой жердеватый мужик, с красиво разбойным лицом, чуть испорченным легким косоглазием:

— Ишь, как заворачивает, бедолага!.. Видно, па-рень... и какую только муку бабы принимают из-за нашего брата... Какое дно терпения нужно иметь!.. А ить она у меня слабая... И первый раз... Надо же, как, а?.. Эх, Васильич, коли бы сына!.. Ах, как хорошо бы!.. Только ее мне еще жальчее... Лишь бы разрешилась с добром...

Стоны в будке вдруг стихли, Прокофий замер на месте, вслушиваясь в чуткую тишь, затем сделал было движение к двери, откуда в следующее мгновение выплеснуло ему навстречу пронзительный, исторгнутый, казалось, самой основой существа, вой, который, после недолгой тишины, сменился торжествующе требовательным младенческим криком.

Прокофий жалобно покосился в сторону Лашкова, твердое лицо его дрогнуло, обесформилось, и он, потерянно разведя руками, сел на корточки и растерянно заплакал:

— Эх, Васильич, разве я так думал! Думал, с музыкой, по-человечески. Не вышло! Сам в борозде родился и своего дитю в чужом поле принимаю. Несчастливая, видно, звезда моя.

На пороге будки появился Бобошко и, насмешливо оглядывая их слезящимися от усталости глазами, добродушно съязвил:

— Что, проняло, горе-мученик? Пляши: парня тебе

баба принесла. Иди, любуйся делом телес своих, папаша.

Когда Андрей, следом за Федоровым, вошел в будку, Пелагея уже дремала, неловко подвернув ладонь под голову. Серые, в кофейных пятнах щеки женщины глубоко запали, но болезненно заострившиеся черты ее смягчала блаженная, отмеченная нездешним покоем полуулыбка. Под локтем у нее сладко посапывал федоровский первенец — холщевый кокон с темно-красным, цвета перезрелого помидора пятном в самой глубине. И то, что еще вчера представлялось Андрею вещим и таинственным — роды, изначальный крик, первое кормление — выглядело сейчас так буднично и просто, и даже в чем-то отталкивающе, что он не выдержал, отворотился:

— С прибавлением тебя, Проша...

— Поглазели и будя. — Обходчица — разбитная старуха в выгоревшей добела форменке, с мокрым тряпьем в руках — заслонила от них роженицу. — Покатаются, жеребцы, и в сторону, а баба страдай. У-у, бессовестные, выставились! Пошли с хаты!

В усадебном сарайчике, разливая по кружкам припасенный специально для этого случая самогон, Прокофий не без смущения подытожил:

— Не обижайся, Васильич, дале я не пойду. Сам понимаешь, не могу я бабу с таким дитем тащить Бог знает куда. Погожу где поблизости, а там видно будет.

— Государственный интерес, значит, побоку? — Решительно отодвинул свою кружку Андрей и встал. — А я-то на тебя надеялся, Проша, как ни на кого надеялся.

— А рази дите мое не государственный интерес? — Тот, заметно ожесточаясь, сцепил пальцы на коленях и угрюмо уставился в носки своих сапог. — Скотину развести, плевое дело, а здесь кровь моя. Можя, мне и не придется уже боле. Так что, как хошь, а не пойду я.

— Крепка! — Маленькими глотками выщедив свою долю, ветеринар словно и не слушал их разговора вовсе. — Давненько не приходилось этакое пробовать. Без сомнения, ржаная. Умеют на Руси вино варить. Чтобы такого же здоровья молодому Прокофьичу!

— Бросьте, Григорий Иваныч! — Услужливая хитрость старика только подхлестнула в Андрее накипевшую за день злость. — Что нам в кошки-мышки играть? Не маленькие! Выходит, у каждого свой интерес на первом месте? У меня, выходит, только, кроме скотины, нету интереса? Один я воз везти должен? — Фамильная жесточенность прорвалась в нем и понесла его. — Гляжу, и вы, Григорий Иванович, гражданин хороший, в лес засмотрелись? Так я не держу. Глядишь, за прошлые заслуги схватите у немчуры кусок послаще. Но уж больше, когда вернемся, не просите милости, по первое число влепим. Видно, сколько вас ни корми — все одно укусите в урочный час...

Через минуту он, не жалея плети, уже гнал своего коня вдоль лесополосы к дымящему дневными кострами табору и саднящее душу жесточение билось в его висках: «Неужто все прахом пойдет? Кататься вместе, а саночки возить врозь? Вот оно, когда суть-то сказывается».

Дорога, размытая недавними дождями, вязко пружинила под конскими копытами, сырой ветер бил в лицо, окрашивая поля вокруг в цвета слякотной хвори и увядания. И никогда еще в прошлом не было у Андрея так мутно и одиноко на душе: «Кому верить, на кого надеяться? Сам не вытяну, значит, никто».

Андрей гнал, не замечая ничего вокруг, и поэтому, когда из придорожной заросли выделилась женская фигура и пошла ему навстречу, он в первую минуту лишь повел поводом с тем, чтобы объехать ее стороной, но уже в следующее мгновение сердце его упало и тут же забилось отрывисто и гулко.

Александра шла, с каждым шагом разрастаясь в

его глазах, пока не заслонила перед ним всего, что его окружало. Александра шла, и сизые глаза ее, сумеречно мерцая, как бы вбирали его в себя, и он, околдованный ими, осадил коня, соскочил на землю и шагнул ей навстречу.

— И как там Пелагея, родила? — Нарочито вызывающий тон ее, Александры, выдавал её смятение, и по всему чувствовалось, что говорила она совсем не те слова, какие сейчас складывались в ней.

— Бабы наши все гадают: малого или девку?

Александра бездумно роняла какие-то случайные, полые, первые попавшиеся слова, а все в ней — лицо, глаза, тело — текло, кричало, смеялось совсем от иной причины и по иному поводу. Андрей немо смотрел на нее, не в состоянии произнести ни звука, до того неожиданной увиделась ему эта, посреди дороги, встреча.

— Ну, чего уставился, али не узнал? — тщетно прятала она в озорстве собственное смущение. — Немудрено, за коровьими хвостами света не вижу. Скоро самую себя узнать в зеркало не возьмусь. Такая уж моя доля.

— Отчего же? — Смирная колотившую его дрожь, Андрей сошел с коня и двинулся с нею рядом. — Чуть посомневался, правда: с какой, думаю, стати?

— Да так, вздохнуть вышла. — Голос ее слабел и прерывался. — А вот встретила тебя и, вправду, кстати. Не спешишь?

Хмельное расслабляющее тепло коснулось сердца Андрея, и мир вокруг него внезапно приобрел звук, запах, окраску. Бурные подпалины увядающей листвы резко выделялись на фоне изреженного скудеющими облаками белесого неба, которое, в свою очередь, оттеняло стойкую зелень ивняка и орешника в желтом море брошенной на корню степи. Со стороны речки тянуло волглым деревом и тиной лиманов, где хлопотливо клетотали, готовясь к отлету, птичьи полчища.

— Разговор есть? — Он еще не верил ее зову, а

потому выравнивал речь и сдерживался. — Говори, коли не шутишь.

— Иди сюда, Андрейка-а, — потянула она его за рукав, и это ее протяженное «Андрейка-а» отозвалось в нем благостно и жарко. — А то глазиц-то, пропасть. Нашим бабам только попади на язык, такого наговорят! Сюда... Сюда иди.

Александра, видно, ждала Андрея загодя: под старым сучковатым абрикосом было разостлано байковое одеяло, а к самому корню дерева жалась бязевая сума со снедью. И едва он разглядел все это, как теплые ее ладони сомкнулись у него на затылке.

— Андрейка-а, Андрюшка-а! — кружились у его уха бессвязные слова. — Не по злобе, из гордости за тебя не пошла. Думала, люди комиссарским хлебом прекратят будут. А ить один ты и люб был. Бывало, встречу, свету не вижу. Всякий день считала: как ты там, с кем? Рыбочка моя, ягодиночка... Пожалей, Андреюшка-а!

— Эх, ты! — только и вырвалось у него. И еще раз. И еще горше: — Эх, ты!

Головокружительный туман лишил Андрея памяти и речи, выявив перед ним лишь ее глаза, мерцавшие тихой и преданной радостью. Глаза эти, как два бездонных омутка, высвеченных изнутри голубой искрой, маячили где-то совсем рядом, затягивая его в свой колдовской круговорот...

Потом, лежа рядом с ним и оглаживая его руку в своей, она, как о чем-то давно решенном и переговоренном, сказала:

— Детей у нас, слава Богу, с Сережкой не вышло, значит, и спросу ему с меня нету. Я к тебе теперича навек прилепилась, куда ты, туда и я.

Андрей моментально насторожился:

— Ишь, легко как все у тебя получается.

— А ты что — боишься?

— Не боюсь, а совесть иметь надо. — Он словно бы ждал этого ее вызова. — Да, да, Санек, нельзя нам

так. Что люди скажут? Ребята, мол, воюют, а Лашков солдатских баб поргит. Вот будет войне конец, сядем мы с Серегой и поговорим ладом, как люди. Мы, Лашковы, по-разбойному чужое добро не берем.

— Эх вы — Лашковы! — Александра стремительно поднялась, коротким движением закинула растрепавшуюся косу за плечи и сверху вниз опалила Андрея горьким презрением. — По вашей указке жить — так и в нужник со справкой ходить придется. Слова в простоте не скажете. Из какой только плесени тянется порода ваша болотная. Я думала, хоть ты от них в отличку. А ты одно с ними дерьмо, только пожиже. Дай вам волю, баб заставьте по свистку детей рожать. Да Бог миловал!

— Да разве вы люди! — Ее рассчитанный в самое больное место удар обернулся в Андрее яростным ожесточением. — Поперек горла вам Лашковы встали, потому как Лашковы по совести, по справедливости жизнь устроить хочут. Только слаже вам грязь ваша невылазная, чем новая доля. Дерьма вам своего в общий котел и то жалко.

— А вы эту самую справедливость, — уже откровенно издевалась Александра, — уже откровенно издевалась Александра, — промеж себя поначалу устройте, а то едите друг-другу, будто пауки, все командирства своего не поделите. А мы уж, как-нибудь без вашей богатырской помочи обиходимся. Вот эдак-то, Андрей, свет, Васильевич, товарищ Лашков.

И снова из всего, что было связано у него с Александрой, память выделила лишь обиды и унижения, и в нем, перехватив ему горло, взорвалась безрассудная злость:

— Уходи. — Он терял над собой власть. — Убью.

— Не хватит тебя на это самое, Лашков. — Уже отходя, она насмешливо покосилась в его сторону. — В ногах жидок, кровь не та. Покедова...

С ревнивой ожесточенностью смотрел Андрей, как она уверенно и споро пересекает несжатое поле, на-

правляясь к табору, и сердце, в такт ее шагам, дергалось и обмирало. Понуро, не замечая ничего вокруг, брел он по дороге: «Куда же это я гребу, Господи! И отчего это у нас — Лашковых — все не как у людей!»

Догнавший его на линейке Бобошко, тихонько притормозил и поехал вровень с ним. После недолгого молчания старик сочувственно откашлялся и заговорил, и голос его звучал глухо и печально:

— Ах, Андрей Васильич, Андрей Васильич! Далеко мы так не уйдем. Криком делу не поможешь. Он уже оглох от крику-то, мужик русский, не слышит. Да и прав Федоров. Где ж ему с грудным младенцем дальше идти? Никак нельзя. Война пришла небывалая, скоро жизнь человеческая станет дешевле полушки, а мы о скоте печемся. А ведь не скот нас, мы его производим. Нам бы с вами радоваться надо, Андрей Васильевич: еще одна живая душа Божьей красотой заполнилась. Какая уж тут амбиция! Да один вздох людской ценнее всех рек молочных и кисельных их берегов. И ни одно земное царствие не стоит человеческого волоса... А, впрочем, как знаете, Андрей Васильевич, как знаете, вам виднее...

Что Андрей мог ответить старику? Никакие слова уже не могли заполнить его опустошения. Он и двигался-то сейчас скорее по привычке, чем в силу надобности. Действительность на какое-то время потеряла для него всякий смысл и значение: «Будь оно все проклято! Мне все равно, кто из вас прав, а кто виноват! Я-то здесь при чем?»

VIII

Узкая горловина моста, словно воронка, медленно, но властно втягивала в себя разноголосый водоворот отступления. Повозки, машины, скотина, люди бесконечным потоком устремлялись к берегу, одержимые единственным порывом: во что бы то ни стало переправиться на ту сторону. В крике и ругани, в реве и гуле про-

слушивалось лишь одно желание: любыми способами оказаться за пределами моста.

Военный распорядитель — долговязый рябой майор, вконец измученный хлопотной и зряшной своей должностью, рассеянно выслушав жалобы Андрея о необратимых опасностях эпидемий и падежа, лишь досадливо отмахнулся от него:

— Брось, дорогой! Какая уж тут к черту санитария и гигиена. «Мессера» налетят, такую дезинфекцию оборудуют: любо-дорого, собирай только рожки, да ножками обкладывай. — Острые в крупных оспинках скулы его поигрывали в жесткой усмешке. — Жди, дорогой, придет и твоя очередь. Спешить тебе некуда, кроме как на фронт.

Упрек был слишком прозрачен, чтобы его не понять, и Андрей, сразу теряя интерес к делу, увял и ступшевался: «Попал ты, Андрюха, в непопятную, только ленивый не лягает».

На подходе к табору Андрея перехватил ветеринар, за которым, в чем-то его горячо убеждая, след в след ступал рукастый, не старый еще цыган в засаленном вельветовом жилете поверх новенькой офицерской гимнастерки.

— Андрей Васильич, голубчик! — Бобошко бросился к нему, как к спасению. — Выручайте, понятия не имею, что он от меня хочет? Куда я его возьму? Кто разрешит? Сами не знаем, когда двинемся. Да разве втолкуешь ему?

И лишь тут, возвращаясь к действительности, Андрей увидел приткнувшуюся к берегу одиночную кибитку. Ее латанный-перелатанный парус кричаще выделялся среди пестроты телег и бричек разномастного лашковского хозяйства. И Андрею без объяснений стало ясно, что цыган хочет пристроиться к их табору и с ним вместе, вне очереди, пройти через мост. Еще не опамятававшись после разговора с распорядителем, он грубо отрезал:

— На одного ушлого десять хитрых. Я тебе не потатчик, вставай в хвост.

— Будь человеком, начальник! — Влажные глаза цыгана умоляюще засветились в его сторону. — Заставь за тебя Бога малить, возьми в свой кагал. Ранящий у нас, бальной, памрет проста, возьми. — Не веришь, сматри сам. — Заученным движением он отдернул полог кибитки. — Вот он, сердешный.

Там, в окружении гомонка старух и ребятишек истлевал сужим жаром молодой, городского типа парень, до подбородка укрытый зимним стеганым одеялом:

— Давай, давай, лей... Лей больше... А я поплыву... Поплыву на самую середину... Холодно... Очень холодно...

Андрей отвернулся и тут же, прямо у его ног, аспидным бесенком объявился и пошел частить голыми подошвами крохотный цыганенок в продранной, с девчоночьего плеча рубашке. Преданно заглядывая ему в глаза, мальчишка в самозабвении отплясывал перед ним чечетку, и Андрей, нехотя сдаваясь, в конце концов безнадежно махнул рукой:

— Леший с вами, становитесь!

— Спасибо, начальник! — неслось ему вдогонку.
— Не пожалеешь, начальник.

Цыгане осваивались недолго. Вскоре пестрые платки гадалок мельтешили между артельных костров и узловские бабы, не скупясь, наполняли им их объемистые подола и пазухи щедротами своих, жаждущих утешения сердец. Их ребятишки тоже не теряли времени даром, крутились рядом с ними, выпрашивая и приворовывая к общей добыче и свою долю. Лагерь ожил, и Андрей уже не жалел о своей вынужденной уступчивости: «Хоть подобреют бабы малость. Много ли ей — бабе — надо!»

А когда, наконец, где-то под вечер хозяйство переправилось и стало ночевкой за околицей ближайшего

заречного хутора, Андрей, совершая вечерний объезд, лицом к лицу столкнулся с тем самым парнем, которого, почти умирающим, он видел утром в цыганской кибитке у берега.

— Добрый вечер! — в тоне парня не угадывалось и тени смущения. — Есть мысль! Оцените! — В его манере говорить, смотреть, двигаться было что-то необъяснимо притягательное. Казалось все в нем жило, существовало по отдельности: глаза, лицо, руки; если смеялись глаза, лицо каменело, а быстрые руки лишь подчеркивали штатскую мешковатость фигуры.

— Я здесь договорился с местной властью: вечером устраиваем сольный концерт. По полтиннику с носа. Есть свободный амбар. Да, — расплываясь в застенчивой и как бы извиняющейся улыбке, — я, простите, не представился! Артист Курской государственной филармонии Геннадий Салюк: миманс, танец, художественное чтение. Прошу любить и жаловать. Как мысль?

Андрей никак не мог прийти в себя от изумления: «Ну и дурака же я свалял! Вот это номер! Провели, будто дитяtiu». Но тихое бешенство, охватившее его вначале, сменилось сперва растерянностью, потом безразличием и, наконец, проникаясь неотразимой улыбочивостью артиста, он решительно обмяк, смущенно пробормотав только:

— Ловко это ты... Да...

— О чем это вы?

— Ну там, в кибитке.

— Ах, вы об этом! — Улыбка Салюка сделалась еще застенчивей и шире. — Уж вы не сердитесь. Я ведь у них кормлюсь вторую неделю, надо было помочь бродягам. Да и от вас не ubyло. Рот-фронт, так сказать, все люди — братья. Маленькая мистификация ради пользы дела... Так, что вы скажете по поводу моего просветмероприятия?

— Валяйте... Не возражаю... По полтиннику, значит?

Располагаясь к разговору, Андрей потянулся было за кисетом, но парень исчез так же мгновенно, как и появился, и Лашков, посожалев, тронул своей дорогой, а когда заканчивал круг, снова встретил ветеринара, за которым все так же, след в след, плелся уже знакомый ему цыган.

— Замучил меня этот марокканец. — Старик дурашливо развел руками. — Вы только послушайте его! Психология, как при первобытном натуробмене. Никакой логики. — Он обернулся к своему преследователю. — Вот тебе начальник, с ним и разговаривай, а то у меня уже ум за разум заходит.

Тот, словно и не заметив перемены лиц перед собой, сразу же подступился к Андрею:

— Гаварю тебе, начальник, настоящую цену даю. Своих лошадей впридачу. Тебе так и так сдавать, хорошую — плахую адин леший, а мне жизнь жить, семью, детишек вазить по беламу свету, чистаму полю... Не пажалеешь, начальник, хорошие деньги даю.

Напрасно Андрей чуть ли не до первых звезд втолковывал тому азы законов о государственной собственности, напрасно пугал последствиями и возмездием: тот лишь недоуменно хлопал круглыми, орехового цвета глазами, начиная свою речь с того же припева, каким всякий раз кончал:

— Пажалеешь, начальник, хорошую цену даю, хорошие деньги... Больше никак не могу, нету больше.

— Да пойми ты, голова садовая, прав таких мне... — Он осекся на полуслове: мимо, в окружении сычевских подруг проплыла Александра. Минувя их, она искоса взглянула в его сторону и царственно усмехнулась одними уголками плотно сжатых губ. И он безвольно потянулся за ней, уже машинально заключив: — ...не дадено... Нету таких прав у меня.

Стараясь не упустить ее из вида, Андрей по дороге кое-как отделался от своего бестолкового просителя и вскоре вышел к тому самому, наскоро приспособленному

под клуб зерновому складу, где обещанное Салюком действие уже разворачивалось полным ходом.

Сооружение из двух мучных ларей служило артисту сценой, зритель же размещался по личному усмотрению и в зависимости от собственной сноровки, то есть, как попало. Чад множества семилинеек плавал над головами, делая и без того темную коробку амбара еще более тесной и сумрачной.

— ...Признаться, я очень волнуюсь. Впервые мне приходится выступать перед столь взыскательной аудиторией. Но я надеюсь, что утонченный вкус сегодняшней публики будет равен ее снисходительности... Кстати, о вкусе. Подходит, здесь, ко мне в трамвае один гражданин и говорит: «Вы, говорит, тот самый Тьма-Тараканьевский, который вчера в зеленом театре в концерте выступал?» Я, говорю, — сами понимаете, лестно: узнают! А он мне: «На паях, значит, говорит, с жульем работаешь, такой-этакий, рассякой. Зубы, значит, заговариваешь, а они бумажники у полноправных граждан прут!» Обернулся это он к пассажирам: «Грабеж, кричит, среди белого дня! Вчера, кричит, на ихнем концерте, — тут он указывает в мою сторону, — у меня бумажник сперли, а в ем трешница чистыми и билет МОПРа... Бей, кричит, пока не утек!»... Не смешно? мне тоже... Итак, сейчас перед вами выступают лучшие творческие силы страны, мастера вокала и сопровождения к нему... Концерт открывает любимец публики, народный артист, звезда первой величины, Леонид Утесов... Прошу вас, Леонид Осипович! — Он повернулся спиной к слушателям. — Маэстро стесняется дышать в сторону публики. По случаю встречи с вами он немного пере . . . переутомился. Поэтому маэстро будет петь в несколько необычной для себя манере. — И он запел. И состоялось чудо: послышался характерный утесовский речитатив. — «Жили два друга в нашем полку, пой песню, пой. И если один из друзей грустил, пел и смеялся другой...»

Отыскивая взглядом Александру, Андрей не узнавал своих подчиненных: впервые за много дней обесиливающего пути лица их преобразила радость. Люди всем существом как бы перенеслись в иную, ту, мирную, уже полузабытую ими жизнь. Общий строй подхватил и Лашкова, и он, теперь окончательно прощая парню вынужденную его с ним — Андреем — проделку, вместе со всеми восторгался и аплодировал. А тот, ободренный приемом, старался во-всю:

— Концерт! Сколько в этой короткой фразе заманчивого, сколько надежд! И какой же концерт обходится без сюрпризов! Кстати о сюрпризах... Вот, к примеру, стучится на днях ко мне соседка и, лучезарно улыбаясь, говорит: «У меня, говорит, для вас сюрприз». «Какой — такой, говорю, еще «суприз?» «Повестка, говорит, из нарсуда, алименты, говорит, с вас взыскивать будут»... Не смешно? и мне — тоже... Так вот: второе отделение нашего праздничного концерта...

В эту минуту в проеме входной двери обозначился встревоженный профиль Фили Дуды.

— Увели! — Голос его сорвался почти на хрип. — Лошадей увели! Угнали ... Цыганы угнали!.. Наших — торбеевских...

Трепетная тишина вмиг обрушилась, и народ, колготя и вновь озлобляясь, устремился к выходу. В давке, сразу же возникшей у двери, Андрей совсем близко от себя увидел памятное теперь навек лицо и встретился с единственными для него отныне глазами, и неизбывное чувство вины перед Александрой обернулось в нем щемящей к ней жалостью, и он, работая локтями, подался было в ее сторону, но толпа увлекла его наружу, где в гулкой ночи уже росла и множилась переключка начатой погони.

Артельные интересы сразу отошли на второй план: извечный крестьянский инстинкт объединил еще вчера враждовавших соседей. Андрей долго метался в темноте в поисках направления, по которому растеклась погоня,

но топот и гвалт доносились со всех сторон, и оттого определить ее успех не было никакой возможности.

Предчувствие близкой беды охватило Андрея. О том, чтобы в случае поимки конокрадов предотвратить самосуд, не приходилось и думать. Поэтому, когда откуда-то из-за реки выплеснулся к звездному небу пронзительный, почти животный крик, Андрей с опустошающей безнадежностью заключил, что непоправимое совершилось. Не медля ни минуты, он погнал коня на голоса за рекой, и вскоре замаячивший впереди огонек выхватил из темноты место побоища. Стоило Андрею сойти с коня, как толпа раздалась и свет чьей-то «летучей мышши» обнажил перед ним растерзанное тело артиста. Тот еще икал и дергался, но жизнь еле теплилась в нем, угасая с каждой минутой.

— Куда... Куда... Зачем? — Слова ломались в его непослушных губах. — Бывает... Вот так, граждане...

Растоптаннный отходчивым людским отчаянием лежал перед Андреем дважды обманувший его человек, но — странное дело! — в эту минуту он не испытывал к умирающему ничего, кроме пронзительного, саднящего душу сочувствия:

— Эх вы! — только и молвил он, глядя в землю. — Люди — лошади...

На обратном пути ночь голосом Бобошко тихо зашуршала у него над ухом:

— Вот вам мужик русский в полной красе. Нету у него, у этого мужика, берегов. Убили человека, словно муху, а теперь жалеть будут, нудиться, пьянку, глядишь, по этому поводу затеют мертвую... А парень-то оказался с секретом... Мог спокойно уйти. Нарочно отстал. Сам себя подставил, заслонил цыганскую вольницу. Собой заслонил. Что ни говори, а чего только в российской голове не намешано!

Да, — из всего сказанного ветеринаром в нем отстоялось лишь одно, — мог бы уйти... Вполне мог бы.

И ночь сомкнулась над ним. И — в нем.

IX

Рано утром Андрей, едва проснувшись, погнал в сторону загонов. Мокрый тяжелый снег ниспадал окрест. Снег, подобие ночных бабочек перед ветровым стеклом машины, разбивался об еще неостывшую от вчерашнего солнца землю и тут же таял, сгущаясь постепенно в шуршаще зыбкую кашу. Над селом, где застряло Андреево хозяйство, скользили брюхатые облака и свинцовая безбрежность их не обещала ему скорого пути.

Лошадь вялой рысцой вынесла Андрея через все село к табору за околицей, и один вид стада объяснил ему больше, чем все рапорты и донесения. Сгрудившись в кучу, скот жался друг к другу, стараясь сохранить тепло. Снег на крупах подтаивал, стекая по впалым бочкам. Андрей похолодел: для молодняка и немногих остальных это было чистой погибелью.

В снежном мареве перед мордой лошади вдруг оказалось себя остренькое личико Бобошко:

— Что делать будем, Андрей Васильевич? — Его щуплая фигурка в заношенном драповом пальто, глухо заколотом у самого подбородка булавкой, выражала воплощенную деловитость. — Еще ночь, и падежа не миновать. Ждать погоды тоже не приходится.

— А чего вы сами-то считаете? — Ему было немного стыдно перед стариком: в тревожную минуту тот оказался у гуртов первым. — Какие меры?

— Попросить местных, — заторопился ветеринар и видно было, что ответ у него готов заранее, но соображения субординации не позволяли ему до поры опережать начальство, — разместить у себя хотя бы молодняка. Стельных наши как-нибудь сами укроют.

Самоотверженная старательность ветеринара расстрогала Андрея, и у него не хватило духу сказать ста-

рику, что все это он уже испробовал и что в местном правлении ему наотрез отказали: побоялись мора.

— Нельзя рисковать чужим скотом, Григорий Иванович. Но выход, — холодные, выпцветшей голубизны глаза его недобро сузились, — выход есть... Гоните туда, — он указал на видневшуюся около кладбища церковь, — не пропадем... Едем.

Переведя Гнедка в галоп, он как ожог ощутил чей-то со стороны взгляд и сразу же подумал: «Александра!» И снова, будто и не было тайной обиды стольких лет, будто не его именитых сватов поворотили от порога ее дома и будто не над ним издевалась она недавно в лесополосе, плоть в нем зашлась коротким и злым жаром: «Эх, Александра, Саня, Санюшка, родилась ты себе на мою погибель».

С батюшкой — лицо упругой репкой, васильковые глаза под веселыми пшеничными бровями — Андрей разговаривал недолго.

— Не дам — силой возьмете, — покорно вздохнул тот. — Чего ж мне сопротивляться? Только я вам не советую.

— Грозишь, что ли? Видали.

— Не мне вам грозить, вы — сила. Только вам не последний год жить.

— Не будет твоей власти, на немцев не надейся. Уж как-нибудь одолеем.

— Власти моей никогда не было. И немцы для меня такие же враги, как и для вас. Но в смертную минуту приходится человеку задуматься о содеянном. Трудно вам тогда будет.

— Ладно — ключи.

— Вот — берите...

Если бы тот сопротивлялся, если бы пробовал блажить, если бы, наконец, хоть смотрел волком, Андрею было куда бы легче. Но сейчас, после разговора с ним, Лашковым овладела какая-то смутная еще тревога, какое-то неопределенное стеснение под сердцем и поэто-

му, когда он шел открывать храм, ноги его ступали тяжело и неровно.

У самой церкви Андрея ожидала тихая ватажка мужиков и баб, больше — кондровские, среди которых выделялся бородатой статью и ростом Марк Сергеев. В их необычном спокойствии сквозили тревога и предупреждение. Едва Андрей поднялся на паперть, Сергеев заступил ему дорогу и, обнажив перед ним голову, внятно и вдумчиво заговорил:

— Андрей Васильич, я с твоим отцом, Царство ему Небесное, не одну выпил, братьев твоих наперечет знаю, крепкие люди, дай им Бог здоровья, тебя вот с таких лет замечал, радовался: человек растет... Христом Богом, Вседержителем нашим, прошу тебя не обездоль обители Божьей, сохрани храм от поругания. Зачтется тебе сторицей доброе дело твое. Миром просим.

— Да ты что, Сергеич! — Ему даже горло от возмущения перехватило. Уж в ком, в ком, а в кондровских он не сомневался: уравновешенный, знающий дело народ. — Общественная скотина гибнет, а вы в дурь ударились?.. Пусти с дороги!

— Тварь Божья она под Богом ходит, когда час придет, тогда и отдаст душу. А храм на вечные времена, в нем душа всенародная соблюдается. Миром просим. — И теперь это его «миром» прозвучало уже, как угроза. — Не искушай Господа!

Гнев, от которого у него похолодели кончики пальцев, захлестнул Андрея:

— А ну прочь с дороги, лампадная рожа! — в испуге заорал он, и кровавые круги вспыхнули у него перед глазами. — Народное добро гибнет, а ты, гад, церковную саботаж разводишь?

В удар он вложил все — и неудачную любовь свою, и знойную горечь пройденной дороги, и все отвращение к окружающей слякоти, и даже обиду за эту вот личную свою слабость. Марк, скатившись по ступенькам паперти, ткнулся головой в снег. И темное пятнышко

стало взбухать на мокром снегу прямо под его теменем.

— Загоняй! — Андрей уже совсем не помнил себя, срывая отомкнутый замок. — Загоняй, говорю!

Промерзший молодняк, мыгча и посапывая, потек сквозь распахнутые створки. Лашков стоял у входа и уже без нужды, а чтобы только заглушить в себе круто берущее свою власть похмелье, кричал:

— Давай!.. Давай!.. Давай!..

Свет тусклого дня, струившийся в узкие витражи, стал еще мертвенней от поднимающегося к сводам пара. Голубые светлячки лампадок в разных углах храма вскоре, трепетно помигав, сникли, и лишь свеча под образом Спасителя не гасла в спертom и почти осязаемом на ощупь воздухе.

— Без моей команды не выводить! — Голос Андрея гулко отозвался под высокими сводами: «И-и-ить!» — Понятно?

Загоняя в притвор своих, торбеевских подтелков, Филя Дуда молодецки пощелкивал бичом, приправляя каждый удар забористой руганью или скороговоркой:

— Поспешай, шелудивые! Нет теплей, чем у бога за пазухой. Отпускай нам грехи наши, граждане святые отцы! В тесноте — не в обиде. Богу богово, а нам свое... Куды, куды, мать твою лапоть!

Когда Андрей вышел из храма, кружок мужиков все так же, тесной кучкой, топтался у входа. Только Сергеева уже не было среди них. Навстречу Андрею выступил теперь Дмитрий Сухов — робкий мужиченко, ничем раньше не выделявшийся, кроме этой самой своей робости, и, строго глядя в глаза ему, тихо и коротко сказал:

— Мы с тобой, Андрей Васильев, дале не пойдём. Нам с тобой дале не по дороге.

— А трибунал за собатаж ты слыхал? — багровея, он стал рвать пуговицу заднего кармана галифе. — А это ты видел? Имею полномочия...

— Трибунал нам, конечно, ни к чему. И пистолет тожеть ни к чему, жить всякому хочется. А пойти — не пойдём. Не обессудь, разные у нас пути, Андрей Васильев, и все другое разное. Потому и не пойдём.

В его словах не чувствовалось и тени вызова, но сквозило в них что-то такое, отчего Андрей сразу же уверился про себя: не пойдут. Тогда он решился на самое для них, по его мнению, болезненное средство.

— Ладно, будь по-вашему. Только скотину вы не получите. За нее полностью я в ответе. За всю тыщу двести голов. За вашу в том же разе. Понятно?

— Понятно, — неожиданно легко согласился Сухов. — Только роспись дай нам за нее в полной мере.

— Роспись, говоришь? — Ему показалось, что он овладевает положением. — А шиш не хочешь? Ты обязанный гнать скотину до самого Дербента, вот и гони. На чужом горбу в рай захотелось? Не пойдёт. Другие пилить будут, а тебе роспись? Дудки!

Но сбить Сухова с толку ему не удалось.

— Ладно, — спокойно укоротил он Андреевы словесные восьмерки, — можно и без росписи. Бывай, Андрей Васильев, не поминай лихом. Бог тебе судья.

Они стояли перед ним, лучшие его пастухи и гуртовщики, невозмутимые в своей правоте. Он неожиданно показался сам себе нашкодившим мальчишкой, и так-то ему вдруг захотелось, так захотелось поваляться у них в ногах, лишь бы они не бросили его среди этой проклятой снежной хляби, за сотни теперь верст от дому. И Лашков уже и решился было унизиться, пойти на мировую, но сила кровной связи с тем, что считалось у них в семье всегда правым и непогрешимым, взяла-таки верх, и он лишь угрожающе процедил сквозь зубы:

— Скатертью дорога.

Мужики двинулись разом, ступая по снежному месиву с твердой уверенностью людей, хорошо знающих силу своих рук, которым везде определяют заслу-

женную цену. И простуженный вздох старого ветеринара сопровождал их уход:

— Всерьез обиделись мужики, не вернутся.

— Не плясать же мне перед ними? — сорвал на нем досаду Андрей. — Когда-никогда, все одно подвели бы. Горбатого могила исправит. Знаем мы их — кондровских.

Уже сидя у пышащей жаром печи приходского дома, Андрей долго еще сердился и клокотал, зло чества дремучее упрямство ушедших от него мужиков, но, чем сильнее растравлял он свою злость, тем определеннее укреплялось и росло в нем ощущение собственной неправоты.

— Двадцать с лишком лет Советской власти, — суетно кипятился он, — а у них все ладан в голове. Долбишь, долбишь им: «Нету никакого бога, сами себе хозяева». А они опять за свое. Сколько же долбить можно? Пора бы ихнему брату и за ум взяться. Вот вы, Григорий Иваныч, ученый человек, вам бы и карты в руки разъяснить темноте, что к чему.

— Говорится в Писании: Господь создал человека в один день. — Ветеринар всматривался в огонь тлеющих в печи углей и, казалось, видел там что-то ему одному открытое. — Только ведь это был не один земной день, а одна земная вечность. А мы с вами возомнили за двадцать быстротекущих смертных лет содеять то же самое. Рано, раненько мы возгордились, не по плечу задачу взяли. Вот и пожинаем плоды. Впрочем, это я так, к слову, вместо присказки... Только трудненько нам без них, без кондровских, придется, это уж определено.

Старик умолк, и тягота предстоящего пути оказала себя Андрею такой долгой и беспросветной, что теперешняя обида его увиделась ему до смешного пустой и незначительной и, тревожно холодея, он невольно потянулся к огню: «Неужто и вправду зима завязалась? Тогда дело худо».

Х

Ранняя поземка с шорохом и свистом сквозила по степи. Артельные гурты давно смешались, и скотина двигалась сквозь снежную замять одним общим для всех стадом. Андрей выбивался из сил, помогая пастухам подгонять вконец обезножевшую скотину. После ухода кондровских пастухов и без того изрядно поредевшее в людях хозяйство едва-едва справлялось с дежурством. И хотя старожилы заверяли Андрея, что ранние снега в этих местах редкость и что устойчивое тепло не заставит себя ждать, на душе у него скребли кошки: «Больше двух переходов по такой метели не продержимся, факт».

Ледяная крупа хлестала в лицо, и Андрей, взбывчиваясь навстречу колкому ветру, то и дело поглядывал в сторону ехавшего сбоку от него на бедарке ветеринара, старался определить: каково сейчас старику? Последнее время Бобошко заметно поскучнел, замкнулся, стал избегать обычных ранее разговоров с Андреем, и вообще в его поведении обозначилась несвойственная ему до сих пор нервозность. «Устал, старик, — без особой уверенности снисходил Лашков, — холода пройдут, отогреется». Он потянулся было к ветеринару с сочувственным словом, но здесь в морозном мареве перед ним замаячила опушенная инеем борода Дуды:

— ...мот-ри-и, Васильич!

Впереди, вдоль примыкавшего к дороге проселка вытягивалась длинная вереница саней. По мере приближения к ним, Андрей все явственней различал в них необычный их груз. С каждых розвальней настороженно и печально смотрели в заснеженное пространство несколько пар иссиня-угольных глаз. Глаза эти на фоне матовой белизны зимнего поля казались почти неправдоподобными.

Оттуда, по обочине, к Андрею, сильно припадая на одну ногу, направлялся человек в жиденькой шинели со споротыми петлицами и пилотке, опущенной на уши.

— Здоров, браток. — Заросшее в сизых пятнах лицо его просительно оттаивало. — Понимаешь, детишек испанских эвакуирую. Погрузка у меня на двенадцатом разъезде, а тут незадача с одним... без памяти. Видать, жар... Боюсь не довезу. Вы же на Боровск гоните, недалеко здесь, верст десять... Я и сопровождающего дам. А то ведь на двенадцатом не токмо лекаря, собаки путной не същещь. Я бы и сам, да нету у меня тяги свободной, по завязку набито. Выручай, браток. Государственное дело.

— А ближе ничего нету?

— Какой там! На сто верст ничего.

— Задал ты мне задачку.

— Поди знай, где упадешь.

— Не было печали...

Два чувства боролись в Андрее: с одной стороны, ему трудно было отказать инвалиду, который уже, судя по всему, выбивался из сил, с другой — всякая новая обуза означала для него новую задержку, а следовательно, и новые осложнения. Горькие уроки недавних потерь приучили его к осторожности. Он, раздумывая, колебался, а взыскующее ожидание там — в розвальнях, обращенное теперь только к нему — к Андрею, все нарастало и нарастало, пока не сделалось положительно нестерпимым, и Андрей, наконец, не выдержал, сдался:

— Давай сюда своего пацана.

— Спасибо, браток. — Обмороженные скулы инвалида благодарно дрогнули. — Сгинул бы пацан, жалко... Я сейчас...

Обрадованно торопясь, он ринулся обратно к своему обозу, в спешке то и дело соскальзывал с обочины, проваливаясь одной ногой в рыхлый снег, и с каждым его шагом ребячья настороженность, обращенная к нему

в эту минуту, гасла, скрашивалась, уступая место спокойствию и надежде.

После недолгих переговоров у головных саней, от обоза отделился человек в овчинном тулупе, с овчинным же свертком в руках. Вблизи человек оказался усатой старухой с хищным, почти касавшимся верхней губы носом.

— Куды яво? — неожиданным басом озадачила она Андрея. — И куды мне?

— Лезь сюда, мать. — Бобошко, заметно оживляясь, гостеприимно освободил место около себя. — Удобней располагайся. Авось, не притесню. — Он помог старухе взгромоздиться на сиденье и при этом как-то вздобрился весь, ожил и даже повел искательным взглядом в сторону Андрея. — Ничего, в тесноте, да не в обиде. Поехали!

Вскоре из вьюжной пелены выступили ступенчатые очертания степного хутора и на сердце у Андрея отлегло: «Наконец-то»! Но, чем явственней выявлялись сквозь метель хуторские постройки, тем определеннее становилась их нежилая тишина. И первая же хата с крест-накрест заколоченными окнами утвердила Андрея в его худших предположениях: хутор оказался брошенным. Но так или иначе, Андрей облегченно вздохнул: появилась возможность отогреться и обиходить скотину.

И все же толком прийти в себя Андрею в этот день так и не удалось. Едва он после объезда перешагнул порог жарко протопленной ветеринаром хатенки, чтобы, наконец, прилечь, но взглянув на распластанного поперек взрослого полушубка мальчишку, понял, что отдыхать ему уже не придется. Тщедушное тельце маленького испанца непрерывно сотрясал горячечный озноб. В обметанных белым налетом губах чуть слышно теплилась бредовая речь. Старуха-сопроводительница, меняя — одно за одним — мокрые полотенца на его воспаленном лбу, шумно вздыхала:

— От жись пошла, детишки и те маются... Господи!..

Чтобы не поддаться слабости и не разомлеть в тепле, Андрей подавил в себе властное желание присесть и хоть немного согреть ноги.

— Заворачивай пацана, мать. — Он принял решение и ему стало легче: отступить теперь он, даже если и захотел бы, не мог. — Здесь и дороги-то всего ничего, часа за два обернусь.

Бобошко тут же бросился на помощь старухе, хватался то за одно, то за другое, помогая ей собирать больного. При этом ветеринар трогательно пламенел, огорчался, когда у него что-либо не получалось или выходило неловко, а после того, как Андрей уже взял на себя дверь, грустно посожалел у него за плечами:

— Трудно вам будет жить, Андрей Васильевич, ох, как трудно. Да и было, видно, не легче. Ну, да Бог не выдаст...

Последнее, что Андрей услышал, было короткое напутствие старухи с крестным знаменем вслед:

— Храни тебя Бог, душа голубиная.

Андрей гнал коня наугад, держась, чтобы не сбиться с пути, полотна железной дороги. Порывы ветра доносили оттуда горьковатый запах шлаковой пыли. Поземка матерела, временами оборачиваясь пургой. Гнедок все чаще проваливался в сугробы и оседал на задние ноги. Заунывно пели над головой телеграфные провода. В отдалении призывно вскрикивали паровозные гудки и только они — эти гудки — скрашивали Андрею его зябкое одиночество.

Жар истлевающей в бредовой лихорадке мальчишеской плоти, притороченной к спине Андрея, почти ощутимо сообщался ему, и он невольно теплел к своему незадачливому спутнику ласковым сочувствием, если не сказать нежностью: «Потерпи чуток, милый, выберемся».

Озаряясь неведомым ему дотоле сомнением, Андрей серьезно озадачился неожиданными для себя вопросами. В самом деле, когда и почему вышло так, что все сдвинулось на земле, перемешалось, сошло с места? Какая сила бросает людей из стороны в сторону, сталкивает друг с другом, ожесточает их души, лишает людского облика? Отчего, с какой стати, престарелый корниловец, пройдя одному ему ведомые огни, и воды, и медные трубы, тащится сейчас с чужим ему добром к черту на кулички, а еле живой несмышленьки с зеленых берегов сказочной страны бредит в заснеженной кубанской степи за многие тысячи верст от родной матери? Что же произошло в мире? Что же с ним, наконец, случилось? Что?

Плотная, клубящаяся шероховатым снегом завеса густела со все возрастающей быстротой. Единственный ориентир — железнодорожная ветка неожиданно исчезла из вида. Гнедок уже не двигался, а только перебирал ногами, вскоре же и вовсе стал. Напрасно Андрей понукал его кнутом и уговорами, конь лишь коротко вздрагивал заиндевелыми ушами и не трогался с места. Андрею пришлось сойти в снег, взять его под уздцы и, таким манером, вслепую пробираться дальше. В глубине души он давно понял, что заблудился и движется безо всякого направления, но гулкое биение мальчишечьего сердца за спиной не позволило ему остановиться, и он шел, вопреки безнадежности и здравому смыслу, шел, потому что теперь отвечал не только за одного себя. А когда силы уже оставили его и впервые в жизни он ощутил жуткую близость конца, в снежном разрыве перед ним блеснула золотая полоска света. С каждым шагом полоска становилась все явственней и резче, пока, наконец, не обозначилась в снежном обрамлении крестом церковного купола. Поднимаясь из-под обрыва впереди, крест как бы освещал ему его путь, и Андрей, вновь обретая дыхание, пустился к цели.

— Ну вот, Барселона, мы и добрались, — идя, вслух

облегчался он. — Нас с тобой, может, голыми руками не возьмешь. Битые! Сейчас будем греться. Так-то, брат.

И только, чуть слышно, беспамятное бормотанье позади было ему ответом.

XI

Поутру снега словно и не бывало. За окном больницы сторожки, где Андрею довелось ночевать, бушевало солнце. Не по-осеннему оголтело струились по дорожным водостокам ручьи. «Вот это климат, — просыпаясь, ошарашенно поразился Андрей, — не угадаешь, когда сватать, когда хоронить». Погожее утро сообщало ему чувство праздничного облегчения: «Дотащил-таки, незадарма, значит, хлеб жую, и я к делу пришелся».

Память живо восстановила в его воображении все перипетии пройденной им дороги, вплоть до крестного видения в ее конце: «А пожалуй, и не выйти бы тебе, Андрей Васильев, коли б не церквушка эта самая, да. Чудно, в Узловске своими руками ломал, а здесь выручила. Не знаешь, где найдешь, где потеряешь».

И вспомнилось ему, как в Узловске сносили храм у Хитрова пруда. В церковной ограде, на могильных плитах захороненных здесь священников, духовой оркестр из депо играл «Все выше, и выше, и выше», и Серега Агуреев, уже вполпьяна, выбрасывая в окно содранные со стен иконы, озорно скалился в сторону зевак:

— Держи, раба, Николая Угодника, два пятака пара! А вот кому Божью мать с придачей, даром отдаю! Эй, дамочка с радикулем, не желаете заместо брошки на ваши белоснежные грудя патрет святого ероя Егория Победоносца? Кому паникадило, хошь под горшок, хошь под соленья! Держи, бабоньки!

За ним с крыльца приходского дома внимательно следили ребятишки местного батюшки, отца Дмитрия, и было в их молчаливом бдении что-то такое, отчего

Сергея, взглядывая на них, всякий раз скушнел и тушевался.

Изо всего в тот день Андрею отчетливее другого и запало в память недетское молчание батюшкиных ребяташек на крыльце приходского дома...

К действительности Андрея вернула кастелянша, принесшая ему казенную одежонку мальчишки и расписку главврача, удостоверявшую, что больной доставлен и принят.

— Вот, все тут. — Отечные, со следами недавней беременности щеки её печально опали. — Совсем плох и худющий, кожа да кости.

— Выживет?

— Еще как! — Она улыбнулась и улыбка эта лучше всяких слов утвердила её правоту. — Исхудал он сильно, а так ничего, держится. Выносливый парнишка. Скоро поправится. Во все глаза смотреть будет. — Как бы застеснявшись внезапной своей разговорчивости, она деловито спохватилась. — Лошадь ваша в нашем гараже привязана. — Не выдержав взятого тона, кастелянша снова умиленно засветилась. — Выкормим, не пропадет. Вернется к своим — не узнают.

— Любите, видно, детишек?

— Своих не получается, так хоть около чужих нагреюсь. — Снисходя к его недоумению, женщина печально объяснила: — Снова вот выкинула... Не везет... Порчь, видно, у меня какая-то, вот и не везет. — И заторопилась. — Пойдемте, я вас провожу, а то вы у нас заплутаетесь еще. — На крыльце она подала ему руку лопаточкой. — Всего вам хорошего.

Уже выехав на больничные ворота, Андрей все еще чувствовал спиной, что она смотрит ему вслед, и это ее — на прощанье — нечаянное внимание к нему долго не оставляло его в обратном пути. Над темными островками хуторов в оттаявшей степи струилось трепетное марево. В глубоком и словно бы умытом небе кружили птицы, и в торжествующем крике их слышались печаль

и прощание. Лесополоса у насыпи истекала парной изморозью и, казалось, ветви ее каждым своим листком и суставом вытягивались к солнцу, позванивали тихо и благодарно. Вода в колеях проселка дымилась, высыхая почти на глазах. Теплый сухой ветер обтекал лицо, заполняя душу чувством облегчения и простора.

Скрытый от него железнодорожным полотном хутор выдвинулся ему навстречу сразу же после того, как он свернул руслом высохшего ручья под базарочный мост. Но едва слева от хуторского озерца обозначились вздернутые к небу оглобли таборных повозок, сердце Андрея потерянно дрогнуло: над загоном клубилось летучее облако пыли, и ветер доносил оттуда еще неясный, но все крепчавший галдеж. Лашков заторопил коня и вскоре он уже безошибочно мог определить, что в загоне идет лютая, трезвая до обстоятельности драка.

«Что, что такое, из-за чего? — Память лихорадочно перебирала причины, по каким могла заняться распря. — Чего не поделили?»

Осадив Гнедка у самой изгороди загона, Андрей трясущейся от ярости рукой выхватил револьвер и, сляясь утихомирить кровавую сечу, стал палить в белый свет, как в копеечку:

— А ну прекратить безобразие!.. Кому приказываю прекратить!.. Стреля-ять бу-ду-у! Стой, дьяволы-ы!

Но на его крик никто не обратил внимания. Злоба, отчаянная удушливая злоба лишила людей слуха и разума. Истошный детский визг вплетался в крикливые причитания старух, перебиваемые забористой руганью дерущихся, и все это, вместе взятое, сливалось в сплошной многоголосый рев.

Клим Гришин — приземистый бородач со скрученной наподобие жгута шеей, — результат тяжелой ветрянки в детстве, — размахивая тяжелой слегой, волчком кружил среди людской мешанины и честил всех подряд захлебывающимся дискантом:

— Дармоеды сычевские, туды вашу растуды! Чу-

жим добром холку нажрали да ишшо и нашим салом нам же по сусалам, а мы вас дубьем да кольем, штоб без похмелья опамятовались... Держи, свашенька-стерьва, хочь бы за мной не оставалось!

Торбеевская колдунья Акулина Бабичева — нос пятачком на плоском, оплетенном паутиной тонких морщин лице, — бесшумно подскакивала сзади то к одному, то к другому мужику, ловко выдирая со спины у каждого из них полоску истлевшей за дорогу рубахи.

— Ироды стоеросовые, нет на вас погибели! — иступленно бормотала она. — Куды ж ты, куды ж ты, окаянный, лезешь, когда я тебе не велела... Ходи те-перича с голой задницей посередь народу... Ух, супоста-ты беспортошные!

Поодаль от всеобщей свалки, с облезлого тарантаса, барахтаясь среди узлов и тряпья, голосила безногая дурочка Ася, подобранная дубовскими бабами Христа-ради уже где-то по дороге:

— Крау-ул!.. Зарезали-и-и!.. Убиваю-ю-ют!.. Жизни-и-и — лишаю-ю-ют!.. Ратуйте-е-е!.. Пож-ар!.. Кука-ре-ку-у!.. Удах-тах-тах!.. Смерть немецким оккупантам!.. Ма-а-ма-а!

Александрю Андрей заметил не сразу, а когда заметил — ее окружал такой плотный клубок воя и ругани, что пробиться к ней по-доброму не было никакой возможности. Спиной прислонясь к сенному возу, она с молчаливым презрением опускала увесистый, натруженный в неженской работе кулак на головы окружающих.

Рядом с ней мешался у всех под ногами ветеринар, хватал драчунов за руки, пробовал даже вставать между ними, но грубо отброшенный кем-то чуть ли не к самой изгороди, обескураженно затих, жалобно поводя по сторонам быстрыми слезящимися глазами:

— Эх вы, свободные радетели, как были дуболомы, так и остались — ни меры, ни совести. За пятак друг друга убить готовы. Звери и те соображают, своих

не трогают. А ведь вы люди! Остановитесь же вы, наконец! Да побойтесь же вы Бога, пьянь косопузая, опомнитесь!

В горячечной суматохе никто и не заметил нагнувшегося следом за Андреем милицейского наряда. И лишь после того, как Гришинская слега обрушилась на голову одного из них, и тот — щуплый скуластый парнишка с двумя треугольниками в петлицах — без звука рухнул под ноги Климу с раскроенным надвое черепом, толпа вмиг отрезвела и стала медленно растекаться от середины в стороны, оставляя убийцу и убитого наедине друг с другом.

И чем шире становился круг около Гришина, тем заметнее нескладная, но крупно сколоченная фигура его сникала, уменьшалась в размерах. И без того безвольный бабий подбородок мужика испуганно ослабел, речь непослушно ломалась:

— Ить хто ж яво знал... Ненароком вышло... Куды ж яво несло под самое колье?.. Да рази я с умыслом?.. Рука сорвалась...

К нему, бесцеремонно растолкав толпу, вразвалочку подошел бычьего обличья пожилой милиционер, поднял было руку, чтобы ударить, но на глазок оценив, видно, во сколько ему может обойтись ответ, сипло выдал только:

— Проходи поперед, побалакаем.

Второй — в очках, с комсоставской планшеткой на боку и двумя авторучками в кармане гимнастерки — разъяренной насадкой бегал по кругу, воинственно задираясь:

— Разойдись!.. Живо!.. Разговорчики!.. Всех под закон подведем! Одна шайка... Что смотришь, что смотришь, вражина? Комсомольца убил, замечательного товарища жизни лишил и смотришь? Мы с тобой разберемся. Со всеми разберемся! Ишь, собрались архаровцы московские! Мы вас быстро свободу любить научим... Вот ты, рыжая, говори, где старший? — Он рез-

ко обернулся к выбравшемуся к нему из толпы Андрею, очки его вызывающе вскинулись. — Ты? Откуда ты набрал этих рецидивистов? Под судом не был? Теперь побудешь! — Он рванул было на себя планшетку, но тут же, внимательно взглянув в лицо Андрею, осекся. — Фу, черт, да ты где обморозился-то так? Ладно, пройдем, запротоколируем происшествие... Скажи бабам, пусть накроют отделенного... И свидетелей давай.

— Да ведь не пойдут, — устало охолодил его Андрей и огляделся: встречаясь с ним взглядом, люди уклончиво опускали глаза. — Вы уж сами.

— Это как так не пойдут? — снова взвился тот и очки его гневно блеснули в солнечном фокусе. — Ты что, лавочку здесь собрал? Рука руку моет, да? По тюрьме соскучился? Ты мне арапа не заправляй, не таких обламывали!

Глухая и все нараставшая в нем с каждой минутой неприязнь к очкастому сменила его примирительную усталость, еще мгновение — и он высказал бы непрошеному гостю все, что накипело у него на душе, но событие опередил Дуда. Вызывающе сияя во все стороны объемистым свекольного цвета кровоподтеком, Филя встал между ними и с обезоруживающей предупредительностью ткнул себя кулаком в грудь:

— Свидетелев, говоришь? Я и есть наипервейший свидетель всему смертоубивству. — Не давая очкастому опомниться, он темной стеной надвигался на него. — Ей-Богу, не сойти с этого места. Все, как есть, видел... Мы, значит, с Климушкой из-за скотины на спор тягались, держь, право-слово, возьми и сорвись у mine с руки, а парняга ваш, значит, тут как тут, головой и подвернулся... Уж такая жалость, жальчее некуда... А то как же, молодой совсем... Вот и mine задело, тоже не сладость...

И такое откровенное простодушие светилось в его водянистых, испещренных красными прожилками глазах, и так бесхитростно складывал он свою речь, что

очкастый, нерешительно потоптавшись на месте, в сердцах сплюнул и двинулся через толпу:

— В Боровске мы с тобой потолкуем, — погрозил он Андрею уж на ходу. — Там мы твою шпану быстро в чувство приведем.

Через час, составив протокол и уложив труп отделенного на запрежненную для них Андреем подводку, милиционеры двинулись в обратный путь. Впереди, со связанными за спиной руками, низко опустив голову, шагал Клиим Гришин. Перед тем, как свернуть на мост, он резко вскинул голову, обернулся, вытянул шею, словно желая что-то крикнуть на прощанье, но не крикнул, а лишь еще круче ссутулился и вскоре исчез за поворотом насыпи.

И Андрею показалось, что все разом посмотрели в его сторону, как бы ожидая от него ответа на какое-то снедающее их всех недоумение.

— Кому надоело, пускай уходит, не держу. — Он нечаянно встретился глазами с Александрой и стал говорить только для них, прямо в сумасшедшую их глубину. — В другой раз у меня рука не сорвется. Мне полномочия дадены. У меня один интерес: скотину до места довести в целости и сохранности. И душу с того мотал, кто у меня поперек дороги встанет... Запрягайте, пора двигаться.

И по той тишине, какая сопровождала его уход, он с удовлетворением заключил, что короткая речь, произнесенная им, принята всерьез и не без одобрения.

XII

Едва хозяйство расположилось на очередную стоянку, Андрея в самом начале вечернего объезда остановил Дуда:

— Тут один старче тебя добивается, Васильич. Главного, говорит, ему надобно.

— Ну, так где он?

— А ближе к пруду таборок его встал. Сам-то уж и не подымается вовсе. Пастушенок при ем заместо хозяина. Да и всего-то у них голов сорок. Из-под Курска сами-то, вроде.

У крохотного, полужаросшего камышом озерца, в просторном шалаше, затянувшись стеганым одеялом до подбородка, лежал костистый бородач, неподвижно глядя прямо перед собой. В знак приветствия он лишь опустил тяжелые веки, и затем глазами показал на сложенные в углу седла: садись, мол.

Старик, прежде чем заговорить, долго собирался с силами, озабоченно сопел, оценивающе косясь в сторону гостя. Видно было, что решение, принятое им, дается ему с трудом. Наконец, вяло расклеивая тонкие, обметанные лихорадкой губы, старик заговорил:

— Дело к тебе есть, мальй, нешуточное... Тридцать восемь их у меня в остаток. Как одна... А пошел, шесть десятков было. Да уж, видно, и этих не устерегу. Ты, я слышал, на Дербент своих гонишь?.. Вот и нам туда нуждишка... Возьми, мальй, моих до кучи. Все одно уж тебе. Где тыща, там и сорок приткнутся. Изделай доброе дело. Я тебе документ весь, честь по чести, передам. А ты мне — роспись. Не осилю я дале... Вишь, совсем ногами ослаб.

— Отлежаться тебе, отец, надо, пройдет. Переболеешь.

— Чудак ты, мальй, не больной я — старый.

— Вот я и говорю, отлежаться надо.

— Лежи — не лежи, годов мне никто не убавит. — Он внезапно оживился, костистое лицо его пошло взволнованными пятнами. — Ты не думай, у нас скотина — одна к одной... Рекордисток полдюжины и все — стельные... Не пожалеешь... К примеру, хоть Ромашку взять, дорогого стоит... Сементалка!.. Еще Дорофей Карпов — крепкий мужик наш — породу эту завез из самой Костромы. Карпова энтото мир в Сибирю усрал, а хозяйство его в артель пошло. Так мы и разжились...

А вот нынче задарма дохнут... Уж ты поимей сочувствие, возьми.

— Да взять-то можно. — Андрея вдруг обожгло рискованное, но заманчивое соображение. Однако, еще не укрепившись в нем, он мялся и осторожничал. — Только без надобности это. Малость очухаешься и пойдешь за милую душу. Еще и нас оставишь.

— Чудак ты, малый. Говорю тебе, старый я. Года кость проели, откуда силе быть?

Где-то в глубине души Андрея еще грызла совесть, но соблазн был настолько велик, что он, наконец, махнул на все рукой и решил. Принимая от старика подорожную опись, он лихорадочно прикидывал: «Почти сорок голов! Весь падеж покрыть можно, еще и останется. Война все спишет. Не себе же — государству! Расписку, правда, придется дать. Ну да Бог не выдаст, свинья не съест, выкручусь!»

— Хворые есть?

— Ни, ни! — Бородач даже обиделся, засопел еще чаще. — Сам врачую. Сроду без коновалов обходился. Чай не чужое, свое — артельное. Опосля всю, как есть, сами заберем, нам обмен ни к чему. Себе дороже.

— Объяснение написать сумеешь?

— Не обучался я, малый, грамоте. Ты уж как-нито по совести оборудуй.

Удача сама шла Андрею в руки. Последние сомнения заглохли в нем, и он, возбужденно холодея, заторопился:

— Гляну пойду для порядка на животину твою. Потом и порешим. А то, вроде, как кот в мешке обговариваю.

— Не сумлевайся, в полной справности скотина, — кивнул тот одобрительно. — А проверить — проверь. Порядок во всем нужен.

Дуда, до сих пор не проронивший ни слова, сопровождая Андрея к соседскому загону, неожиданно сказал:

— Не дело ты задумал, Васильич.

— Не каркай, Филя. — Если еще минуту назад им и могло бы еще овладеть раскаяние, но упрек Дуды лишь подхлестнул его. — Не твоего ума дело.

— Украсть большого ума не надобно. — Обычно квелое лицо Дуды замкнуто окаменело. — Обездолил человека и пошел себе дальше, поминай, как звали.

— Что ты мелешь! — Злость неправоты подхватила и понесла его. — Кого я там обездолил? Что я, для себя стараюсь, что ли? Об себе одном думаю? Прикинь дурьей своей башкой, какая мне корысть? Какой резон?

— Оно, можа, и вправду не для себя, — упрямо настаивал тот, — а выходит по всему, что все одно свой интерес на первом месте. Потому как себя отличить хочешь и, от того самого, выгоду получить. И все вы, которые наверху, так-то. Общественную пользу блюдете, да таким манером, чтобы себя не обидеть.

— В случае чего, ваш брат в стороне, а холку нам подставлять.

— А ты не подставляй, за ради Бога, как-нето сами обойдемся, лишь бы ослобонили вы нас от своего глазу да и рта заодно. — Искательно смягчаясь, он повернулся к Андрею. — Я к тебе, Васильич, полное доверие имел. Кондровских прогнал? Ладно. Прокопия Федоровича обидел? Бог простит. Скотину в общую кучу собрать велел? Значит, польза есть. А каково нам было своих чистопородных со всякими обсевками мешать? На веру тебя брали, думали, за тобой не пропадет. Так ты теперича и обокрасть норовишь человека нашими молитвами. Нет, Васильич, этим разом мы несогласные. Скотина нам наша известная, что по маткам, что по запаху, враз отличим. А с дедом этим твоя совесть, тебе и ответ держать перед Господом. Не бойсь, разговор наш промеж нами. Артельщикам я другим манером дело растолкую. Бывай.

Дуда взял напрямиком через луг, шагал широко, ступал твердо, словом, двигался, как человек, неожиданно

обретший собственную силу и значение. И, перед этой спокойной уверенностью, власть, какой и жив и силен был Андрей, показалась ему незначительной и пустой. Поэтому, когда дорогой его нагнал ветеринар и с обычной своей вопросительностью взглянул ему в глаза, он, угрюмо отворотившись от старика, приказал:

— Примите у деда скотину. Расписку заверьте по форме. И отнесите ему, пускай не тревожится, доведем его скотину до места без убытка.

Сказал и пошел, и первая же копна лугового сена приняла его, и он сразу же забылся в ней тревожным и переменчивым сном...

Ехал он лесом, куда-то в сторону зарева, полыхавшего над верхушками дальних деревьев. Гнал коня, торопился, чтобы успеть до наступления ночи. Но внезапно из-за поворота навстречу ему вышел Филя Дуда и, подняв руку, остановил его: «Поздно, Васильич, сгорело давно все дотла». Но Андрей, не слушая его, погнал дальше. А вдогонку ему понесся жалобный зов Александры: «Пожале-е-й, Андреюшка-а-а!..»

Приходя в себя, Андрей со взволнованным содроганием почувствовал на своем лице дыхание Александры:

— Не спишь?

— Увидют!

— Мне-то что!

— Люди же. — От волнения у него едва попадал зуб на зуб. — Им для того и глаза дадены, чтобы глядеть. Сегодня на слабине возьмут, завтра на шею сядут.

— Будет о людях-то. — Голос ее звучал тихо-тихо. — Али промеж нас с тобой других разговоров не найдется?.. Обиделся за прошлый раз? Эх ты, да рази это я взаправду все говорила? Сорвала душу за холод твой, а ты уж и осерчал... Иди-кося поближе. ...Андреюшка-а-а!

Потом, после усталости и опустошения, наступив-

ших вслед за беспамятством, Андрея проникло умиротворяющее тепло:

— Я теперь согласный. Будь, что будет. Чего нам, в самом деле, скрываться? Авось, не маленькие.

— Нет, Андрейка, не надо. Я, как тебе лучшей хочу. Не хочу, чтобы из-за меня тебе худо было. Когда помашешь, тогда и приду, а напоказ не надо... Пойду я... Ой, как не хочется!

— Вот и не уходи.

— Нельзя, Андрейка, уж, как порешили, так тому и быть. Завтрева жди, сызнова приду.

Ее шаги затихли в ночи, и Андрей остался наедине со своим счастьем и звездами над головой. Лунный свет заливал окрест ровным уверенным сиянием. И Андрею показалось, что лежит он вот так, в копне осеннего сена, давным-давно, без дум и желаний, отрешенный от всех своих дел и забот, лежит и будет лежать еще долго-долго, и никакая сила уж не сможет разъять его с этой бесконечной тишиной и покоем.

Его одиночество нарушил Бобошко. Темным силуэтом выявляясь на фоне звездного неба, он сообщил:

— Все в порядке, Андрей Васильевич. Расписку заверил и передал. Дед кланялся. Даже записочку вам накорябал благодарственную.

— Сам?

— Сам.

Кровь бросилась Андрею в голову, задохнувшись от оглушающего стыда, он только и смог выдать из себя:

— Добро.

У него возникло такое ощущение, будто кто-то незримый и неведомый ему, вроде этого старика, каждодневно устраивает проверку каждому его поступку и мысли с тем, чтобы однажды спросить с него каким-то своим, особым спросом. И впервые в жизни Лашкова обожгла простая до жути мысль: «И ведь ответишь, Андрей, свет, Васильев сын, за все ответишь!»

ХІІІ

Когда в проеме между двух скал у дороги возникло море, Андрей даже поперхнулся от растерянности, до того тихим и безмятежным оно ему увиделось. В его представлении море всегда выглядело охваченным величественной бурей, здесь же, насколько хватало глаз, перед ним простиралась ровная, будто стол, чуть подсиненная гладь, и ни один парус или пароходный дымок не скрашивали ее безбрежной пустынности. Перед этим сквозным простором Андрей показался себе убогим и беспомощным кутенком, случайно выброшенным в чужую и непонятную для него жизнь.

Дорога, по которой двигался табор в обусловленное госмаршрутом хозяйство, вскоре свернула в горы и выделенный Андрею еще в Махачкале проводник — пожилой черкес с маленькими васильковыми глазками на выдубленном ветрами и солнцем, почти черном лице, указывая плетью куда-то в глубину ущелья, ободряюще прицокнул языком:

— Адын пэрэвал будыт. Далшэ дорога сапсем ха-роши...

Пропуская мимо себя стадо, вытянутое узкой каменной дорогой в длинную цепочку, Андрей поневоле был вынужден рассмотреть каждую свою животину в отдельности. И если до этого все они сливались для него в одно пестрое, но безликое пятно, которое повседневно маячило перед глазами, не давая душе ни покоя, ни отдыха, то сейчас каждая из них открыла ему свой, отличный от прочих цвет и характер. Бежевые, с меловыми подпалинами, волоокий взгляд завораживающ и влажен; бурые, короткие рога бодро роют пространство перед собой; красные, круто посаженная шея которых отливают чернью. И всякая, с одной лишь ей присущими повадками и статью.

«Ишь ты, — снисходительно оттаивал он, — скотина и та друг от дружки в отличку».

Но лишь только табор углубился в горы, как из-за первого же поворота появилась группа всадников, один из которых сразу же отделился от остальных и поспешил им навстречу. В нескольких шагах от Андрея он осадил коня и, прижав единственную свою руку к груди, склонил голову в бараньей папахе:

— Здравствуй, друг! — По-русски он говорил совсем без акцента и только слишком старательное произношение выдавало его.

— Привет тебе в моем доме. — Он лихо развернулся и поехал рядом с Андреем. — Сколько привел?

— Тысячу двести голов без малого. — Андрей поймал себя на том, что невольно начинает оправдываться: об одноруком директоре совхоза и его крутом нраве он уже слышал по дороге от проводника. — Под расписку кое-что роздал. Ну и падеж, ясное дело.

— Людей, людей сколько, друг?

— Со мной считать, пятеро.

— И все?

— Дорога длинная, всякое было.

— Без людей мне твой скот лишний. Скот у меня есть. Людей нету. — Медальное лицо директора сразу же потускнело, сделалось отсутствующим. Он как бы мгновенно потерял всякий интерес к собеседнику. — Нехорошо получается, дорогой. Скот сберег, люди разбежались. Ладно, устраивайся, потом поговорим.

Пустив коня вскачь, он присоединился к ожидавшим его спутникам, что-то сказал им, они дружно повернули, и вскоре вся группа скрылась за поворотом.

— Ничего себе, привечают, — не скрывая обиды и горечи, встретил Андрей подъехавшего к нему Бобошко. — Хоть обратно оглобли поворачивай.

— Что же вы хотите, Андрей Васильевич, он хозяин, ему, действительно, люди нужнее коров. — В примирительности ветеринара сквозила откровенная

усталость. — К сожалению, скот воспроизводится гораздо быстрее.

— Пускай бы на моем месте похозяевал.

— Да уж, наверное, было бы то же самое. Люди вроде вас, Андрей Васильевич, одинаковы. Вы хотите сделать, как лучше для всех и поэтому обязательно попадаете впросак. Природа той тьмы, которую вы взялись осветить, не приемлет света вообще. Пусть будет хуже, но поровну, вот ее принцип. И сколько вы ни старайтесь, те, кого вы вздумали облагодетельствовать, не поймут вашего порыва и разбегутся от вас рано или поздно... Вы уж меня простите, старого, за резкость, но лучше, если вы это услышите от меня сейчас, потом будет поздно. Вы стоите того, чтобы знать это. Привык я к вам за это время. Не снесете вы того груза, Андрей Васильевич, какой взвалили на себя. Да и взвалили-то скорее из фамильного гонора, нежели по убеждению. Чисты вы уж очень. Думается, даже, что, в конце концов, и веровать начнете... Поеду, извините, на Евсея взгляну, что-то с ним неладное сегодня творится. Бесится бугай, перестоял, надо полагать.

Пожалуй, лишь теперь, в самом конце пути Андрей по-настоящему ощутил всю тяжесть обузы, которую взвалил он себе на плечи в Узловске. Тоска по ласке и бесхитростному, умиротворяющему слову погнала его к Александре, но еще издали, заметив его, она не потянулась, как обычно в таких случаях, навстречу ему, а, наоборот, сделала движение в сторону, как бы желая избежать разговора.

— Ты чего? — подъехав вплотную и чувствуя неладное, забеспокоился он. — Ты чего?

— Худо мне, Андрейка, — чуть ли не простонала она, избегая его взгляда. — Как увидела я нынче однорукого этого, так и захолонуло мое сердце. А ну, как беда с Сережкой. И сон мне нынче дурной был. И вправду, видно, грех это у меня с тобой. Не сойдет это мне по-хорошему.

— Брось, Саня, что это тебе взбрело? Заморилась ты в колготне этой, вот и все. Завтра вниз спустимся и все пройдет. Мне ведь тоже не сладко.

— Уж ты прости меня, Андрейка, только не смогу я нынче с тобой, душа не на месте. Дай отойду маленько, охолону. А то ведь и до беды не долго.

— Пожалей хоть ты меня, Санек!

— Нам-то легко миловаться, а ему там какво? Вон директор здешний, черкес сказывал, и не здешний вовсе. Пришел с войны, домой такой иттить постеснялся, здесь осел. И Сережка мой так же вот, может, без рук, без ног где мается... Уж ты прости.

— Санек! — опаленно вздохнуло все в нем. — Санек!

— Нет, — Александра порывисто отвернулась от него и тронула лошадь вперед. — Негоже нынче. Завтра сама приду. Куды ж мне теперь от тебя деваться... Прости, Андрейка.

К полудню табор миновал гребень перевала и внизу взору открылась просторная долина, ровным прямоугольником обозначились постройки совхозной усадьбы. Неподалеку от поселковой околицы, двумя свежесвыбеленными временками за добротной изгородью, выделялся необжитой еще загон.

Едва табор расположился на новом месте, как директор через посыльного вызвал Андрея к себе. Седлая Гнедка, он поймал на себе взгляд Александры, и было в этом ее взгляде что-то такое, от чего небо над головой показалось ему с овчинку, а на душе стало вконец глухо и пакостно.

XIV

Когда, уже под вечер, Андрей вернулся, Александры на месте не оказалось. «Скучно одной-то, видно, — снисходительно заключил он, — на люди подалась, без того». Но время шло, солнце вязко стекало за реб-

ристую стену заснеженного хребта, обнажая в холодеющей вышине контуры первых ночных звезд, а ее все не было. Сомнение, словно ржа, принялось точить душу, час от часу все более в нем укрепляясь: «Неужто ушла?!» В конце концов, он не выдержал, вернулся в усадьбу, покружил около конторы, наведаясь в магазин, но, не найдя Александры и там, решил спуститься к самой железной дороге: «Больше ей идти некуда, один здесь путь, вдоль ветки».

Андрей еще тешил себя надеждой, еще смирял нетерпение успокоительными догадками, но чем ближе он подходил к цели своего пути, тем безотчетнее росла в нем убийственная для него уверенность: «Ушла!» Обида, отчаянье гнали его туда — к паровозной перекличке у подножья, — и он все ускорял и ускорял шаг, уже ни на что не рассчитывая и не надеясь. Дорожная галька осыпалась у него под ногами, с протяжным шорохом скатываясь по обрывистому склону к гремящему где-то глубоко внизу потоку. В свете крупных, поюжному отчетливых звезд темь вокруг выглядела потаенной и вещей. Лишь после того, как спуск остался за спиной и впереди замельтешили огоньки выкрашенных синькой фонарей осмотрщиков, Андрей отрезвел, опустошающе осознавая, что идти дальше не имеет смысла, что попытка его связать несвязуемое тщетна и что Александру ему уже не вернуть.

И он почти бегом повернул обратно. Звездная бездна, обтекая Андрея со всех сторон, бежала вместе с ним, у самых его глаз, и временами ему чудилось, что, если только захотеть, до любой звезды можно дотянуться рукой. Поток внизу источался и глож, и камни, катившиеся из-под ног его в ущелье, уже не возвращали звука: высота давала себя знать.

Наконец, тягостно холодея, Андрей пластом рухнул в колкую траву придорожной поляны и, переполненный горечью и яростным сердцебиением, заплакал. Заплакал по-бабьи, в голос, не таясь и не сдерживаясь.

Какое ему было дело сейчас до кого-либо? Кто теперь для него указ в этой, вдруг потерявшей всякий смысл жизни? Впервые за короткий век недолгая надежда засветила ему, но и здесь судьба лишь поманила, чтобы тут же выбить из-под ног счастливо найденную опору. Он вдруг увидел себя бессловесной тварью, какую гонят неизвестно куда и неизвестно зачем, не давая сделать без спроса и шагу. И от сознания этого своего бессилия ему становилось еще горше и нестерпимее: «Куда? Зачем? Остановиться бы мне. Всем остановиться».

Вскоре сквозь жаркое оцепенение Андрей услышал мелкие неторопливые шаги по дороге, затем легонькое, из деликатности, покашливание, протяжный шорох сухой травы и, по характерной шаркающей походке, догадался: ветеринар. «Черт тебя принес! — хмуро подсадовал про себя Андрей. — Твоей милости мне только и не хватало!» А вслух сказал:

— Не спится, что ли?

— Извините, Андрей Васильевич.

— Поздновато, вроде, мне няньку-то заводить. Да и ни к чему это.

— Зря вы. Нельзя вам себя попускать, никак нельзя. Времена не те, чтобы расклеиваться. У вас не поле, а вся жизнь впереди. Нервишки-то еще, ой как пригодятся.

— Теперь мне один черт, все равно нехорошо.

— Ах, Андрей Васильевич, сто раз вам еще гореть этим пламенем, и не сгореть. Это не вы, это молодость в вас плачет. Радоваться надо: не засохла, выходит, еще душа.

— А! Мне теперь лучше и не жить вовсе. Не жизнь, а маята одна.

— Жизнь — она, как трехполка, Андрей Васильевич, — сочувственно вздохнул над ним Бобошко, — три поля. Одно цветет, другое дышит, третье — в залежи. А в целом, это очень организованное поле. И, заметьте,

прекрасно организованное... Есть такая притча, скорее даже сказка. Хотите? — Голос его слегка завибрировал. — Когда-то, очень, очень давно, на одной далекой и прекрасной планете жили удивительные люди. Они создали себе бесподобную жизнь: жизнь без войны, без болезней, без смерти. Все они были равны перед, так сказать, разумом. И единственное, чего им недоставало, это соседей для духовного, видите ли, общения. Самые совершенные летательные машины мчались к соседним мирам, чтобы найти там себе подобных. Но все эти путешествия не приносили успеха. Планеты вокруг, даже самые отдаленные, были необитаемы, или заселены, извините, страшными чудовищами. Так, хочешь — не хочешь, проходили тысячелетия. Цивилизация прекрасной планеты старела в скучном одиночестве. Но вот как-то один корабль возвратился из самого отдаленного уголка Галактики и принес добрую весть. Оказалось, что самая крохотная планетка, где-то на задворках вселенной, обитаема. К сожалению, правда, существа, населяющие эту планетку, были еще на самой низкой ступени развития: войны и грабежи, обман и насилие царили у них. И тогда самые Разумные этой замечательной планеты собрали Лучших из Лучших. И самый, самый Разумный сказал им: «Нужен только один из вас, кто бы решился подняться к ним и возвестить им Истину. Я не хочу скрывать, что скорее всего смельчака ждет смерть. Но все-таки надо попробовать. Кто из вас решится на это?» И каждый приглашенный наклонил голову в знак согласия. И был избран Лучший. И вот самый огромный корабль отправился на другой конец неба, чтобы оставить там смельчака. В конце концов, смельчак оказался наедине с себеподобными, то-есть, извините, Андрей Васильевич, с людьми. Он врачевал больных, воскрешал мертвых, утешал страждущих. В общем, он возвестил им Истину. Но, они, можете себе представить, распяли его. Ибо, Истина, извините, была им ни к чему. Он умер в муках,

о каких на своей прекрасной планете даже не имел представления. Но Разумные не оставили его тело на поругание землянам. Оно было возвращено назад и воскрешено вновь. На высоком совете Разумных решено было прекратить всякие попытки общения с дикими и негостеприимными соседями. Но Воскрешенный, как это ни странно, запротестовал. Разумные, конечно, немало удивились: «Неужели ты хочешь попытаться вновь?» И он ответил им: «Хочу». Тогда они спросили его: «Неужели тебе пришлось по душе их жизнь?» И он ответил: «Она почти невыносима, но прекрасна...» Может быть, это смешно, Андрей Васильевич, но ведь это, ей-Богу, так.

«Зачем он все это мне рассказывает? — закипала в Андрее лютая и необъяснимая для него самого злость. — Что ему надо от меня? Какие-такие у него права есть влезать ко мне в душу?»

— Мне-то что? — еле сдерживая ярость, выдал из себя Андрей. — Что мне до этого?

— А вы подумайте.

— Не хочу. Хватит. Голова от дум пухнет.

— И это пройдет, Андрей Васильевич, пройдет.

— Что пройдет?

— Все.

— Слушай, дед, — безотчетное исступление душило его, — иди-ка ты отсюда к чертовой матери. Я этими байками сыт по горло. Надоели вы мне все, хуже дерьма, ненавижу я вас всех, как не знаю кого. Будьте вы все прокляты! И не дразни ты душу мою грешную, бери ноги в руки и дуй своей дорогой, а то не отвечаю за себя...

Оглохнув от собственного крика, он не слышал, как Бобошко, все той же шаркающей походкой направился к дороге и молча растворился в ночи, оставив Андрея наедине с тьмой и его криком.

XV

Дербент ошеломил Андрея, прежде всего, своим неслыханным разноязычием. Толкаясь по базару, чутким ухом ловил он русскую речь, но она то возникала, то вновь гасла, заглушенная иноплеменным говором. Но и там, где ему порой выпадало перекинуться словом с кем-либо из случайных земляков, ничего нового об Александре узнать не удавалось. Никто ее не видел и не слышал о ней.

У пивного ларька безногий инвалид — рябые скулы в пороховой зелени — вяло подмигнул ему, кивая на кепку, опрокинутую перед ним:

— Поможем калеке, браток!

В ответ Андрей беспомощно развел руками:

— Ей-богу, друг, ни копейки.

— Садись, — радушно пригласил тот, — будут.

Часто еще потом вспоминался Андрею безногий инвалид этот и его веселое радушие, от которого зябко сводило спину.

После долгих и бесполезных поисков, Андрей забрел в какую-то базарную харчевню и здесь, в крикливой толчее у стойки, лицом к лицу столкнулся с земляком и даже, по дальней, впрочем, и давно забытой линии, родственником. Звали его Лёвкой, родом он был из Торбеевки, хотя работал с незапамятных пор в депо, где его и встречал, наведываясь к брату, Андрей. И если в Узловске Лашков и поздороваться-то с ним поленился бы, то сейчас он долго и обрадованно тряс парня за плечи, по-детски радуясь этой неожиданной встрече:

— Ты-то как сюда попал, черт кудрявый? Ну, удружил, ну, удружил. Вдарим ныне по паре-другой. Ой, вдарим!

Тот, видно, польщенный обходительностью именитого родича, возбужденно замотал нечесанной головой:

— А вот сейчас... А вот сейчас, Андрей Васильевич, все как есть доложу... Об вас-то я еще тогда слышал, что коров в Дербент погнали... Сейчас... Очередь наша.

Большими глотками втягивая в себя теплое прокисшее пиво, Левка весело похохатывал и блеклое лицо его оплывало при этом текучими тенями:

— Нам, слесарям, теперь цены нет. Как эвакуация началась, нас всех кого-куда. Меня, значит, сюда. Дуй, говорят, ворота Каспия укреплять надо. Ну, и укрепляю.

— А что у них своих, что ли, здесь не хватает?

— Ныне все по фронтам, — Левка замялся, — а у меня плоское стопие. Ну, и бронь, конечно. Как для высококвалифицированного. Да! — Он снова оживился, заерзал на месте, засучил под столом ногами. — Я здесь еще одну нашу видел...

— Кого? — Выдавил Андрей и почувствовал, как у него спирает дыхание. — Может, обознался?

— Скажешь тоже, обознался! — Тот открыто торжествовал козырное свое положение. — По Агуреевой этой, Сашке, сколько у нас ребят позасыхало. Да и ты. — Он тут же осекся, избегая враз осатаневших глаз Андрея. — Скажешь тоже, обознался...

— Где?

— Что — где?

— Видел, говорю, где?

— Случаем, из депа шел... На посадке. Куда-то в сторону Баку подавалась.

— Говорил?

— Не. Я ее и в Узловске-то не знал совсем. Так издаля глаза пялил. Не по нашим соплям девка.

Говорить с Левкой как-то сразу расхотелось. Пиво показалось кислее прежнего, жара и базарная вонь еще удушливее, а всего минуту тому вполне сносная рожа собеседника окончательно опостылела. И Андрей заторопился:

— Бывай, кудрявый.

— Ну, куда ты, ей-Богу? — хмельно заканючил тот — только-только разговорились. А ще грозился: вдарим! Вот тебе и вдарили. — Его вроде даже усекло в размерах от огорчения. — А у меня и бабы есть, первый класс, эвакуированные с укладки... А?

Уже от двери Андрей усмехнулся вполброви:

— Меня сейчас, хоть самого, это самое... Пока.

В военкомате, куда он завернул, проходя мимо, издерганный капитан с медалью поднял на него от бумаг злые, тронутые желтухой глаза:

— Ну, чего еще? — Он бегло просмотрел поданные Андреем документы и, посветлев лицом, крикнул через плечо в соседнюю комнату: — Мухин! Оформляй вот человека... Иди, парень, воюй.

И капитан опять склонил голову над бумагами.

XVI

Когда Андрей Васильевич очнулся, небо над ним было сплошь затянуто тучками, хотя и жиденькими, но с явным намерением устояться надолго. И, как это бывает в такую погоду, запахи сделались резче и обстоятельнее, а подспудная жизнь леса — живее и громче. «Не ко времени затянуло, — решил он, — для сена плохо, да».

Поднялся Андрей Васильевич, думая о своем, повседневном: распределении лесных сенокосов, билетах на порубку, скором ремонте конторы и множестве другой всякой всячины. Но — странное дело! — его при этом не покидало чувство, что сегодня, даже вернее вот сейчас, им перейдена какая-то очень важная для него черта, вещей какой-то рубеж, после чего жить ему будет яснее, проще, просторнее.

С этим облегчающим душу чувством он и запряг, и двинулся в путь, и въехал в усадьбу лесничества.

СРЕДА

Двор посреди неба

Жизнь Василия Васильевича текла своим чередом. Неожиданный приезд брата и его внезапное исчезновение не нарушили ее безликого однообразия. С утра до вечера сидел он, сгорбившись, перед лестничным окном второго этажа во флигеле и оттуда — как бы с высоты птичьего полета — печально и трезво оглядывал двор. За вычетом ежемесячной недели запоя Лашков просиживал там ежедневно — зимой и летом. Он подводил итог, зная, что скоро умрет.

По кирпичу, по малому сухарику карниза, по форточной раме он, кажется, мог бы разобрать дом, стоящий напротив, а потом, без единой ошибки, собрать его вновь. Подноготная каждого жильца была известна Лашкову, как своя собственная. С ними вместе он въезжал в этот дом, с ними кого-то крестил, кого-то провожал на кладбище. Реки вина были выпиты и разведены морями пьяных слез, а вот нынче не то что слово молвить, поднести некому. И поэтому сейчас Лашков страшился не смерти, нет, — с мыслью о ней как бы пообвык, что ли, — а вот этой давящей отчужденности, общего и молчаливого одиночества. Казалось, какая-то жуткая сила отдирает людей друг от друга, и он, — Лашков, — подчиняясь ей, тоже с каждым днем уходит в себя, в свою тоску. Порой к горлу его подкатывало дикое, почти звериное желание сопротивляться неизбежному, орать благим матом, колотиться в падучей, кусать землю, но тут же истомное оцепенение наваливалось ему на плечи, и он только надрывно сипел больным горлом:

— На троих бы, что ли?

Водка как бы пропитывала душу, наполняла ее теплом гулкой праздничности, и все кругом вдруг становилось добрым и необыкновенным. В такие дни Лаш-

ков стаскивал себя во двор, и там — на лавочке, лавочке, врытой еще им — возвращался к нему тот покой, то состояние слитности с прошлым, которого ему день ото дня все более недоставало. Пенсия сразу обращалась в миллионное состояние, и отставной дворник с трезвой щедростью вываливал рубль за рублем на опохмеление сотоварищей.

Но и в эти вырванные у повседневной тоски дни, время от времени хмельная радужная завеса вдруг неожиданно разверзалась, и перед ним, как видение, как черная метина на голубизне минувшего, возникала щуплая фигурка старухи Шоколинист. Все такая же юркая, в темной панаме, надвинутой почти по самые брови, она пробегала мимо него своей утиной походочкой, неизменно бормоча что-то себе под нос. Она собирала просроченные книжки для местной библиотеки. Вот уже двадцать лет она собирала книжки. Из дома в дом, из квартиры в квартиру, по-мышьи, стремительными бросками петляла старуха, и всякий раз, когда они сталкивались, в нем вздрагивала и мгновенно замирала какая-то струна, короткая боль какая-то, и ему становилось не по себе. С годами в нем нарастало предчувствие близкого открытия, даже прозрения, и, главное, Василий Васильевич все более укреплялся в мысли, что оно — это открытие — связано со старухой Шоколинист.

Разве тогда — тридцать лет назад — мог кто-нибудь в доме думать, что, уж и в те времена похожая скорее на тень, чем на живое существо, она — его основательница и хозяйка — столько переживет? К тому же, Василий Васильевич определенно знал, что ей дано пережить и его, если не самый дом. И во всем этом заключался для старика какой-то почти нездешний смысл.

Последнее время он постоянно думал, думал, пытаюсь найти в спутанном клубке событий ту самую нить, от которой все потянулось.

Василий Васильевич начал с самого первого дня.

II

Первым в пятую перевозажную вселялся Иван Лёвушкин — молодой еще совсем, крепкощечкий рязанец — со своей, уже беременной Любой. Чуть навеселе, с расстегнутым на темной от пота груди воротом, он посверкивал озорными глазами в сторону уплотненного еврея — дантиста Меклера и, ступая прямо по его бараклу, смеялся:

— По Богу надо, по Богу. Не все одним, а другим как же, а? Вот у меня жена на сносях, так что ей, значит, так вот в тухляком бараке дитю пролетария и на свет выносить?.. Это не потому, что — власть, а по Богу, по Богу. Ничего — сживемся, я — смиренный, а жена у меня так вроде и нету ее вовсе... И чистая...

Меклер, в одном пиджаке поверх майки-сетки, стоял на пороге отведенной ему комнаты и, заложив руки за спину, пружинисто покачивался из стороны в сторону:

— Пожалуйста, — говорил он, и низкий голос его слегка подрагивал, — пожалуйста. Разве я возражаю, тем более, что по Богу. — Когда еврей произносил это самое «по Богу», ему даже перехватило дыхание, и у него получилось не «по Богу», а «Богху». — Ваши дети — мои дети. Рот, так сказать, фронт.

Из-за плеча и из-под рук дантиста смотрело на странных гостей несколько пар совершенно одинаковых глаз: коричневых со светлыми ядрами внутри. Глаза качались в такт покачиванию Меклера, и, наверное, никогда еще беззаботный Лёвушкин не вызывал к себе так много неприязни разом.

— Я — дантист, — сказал Меклер, и светлые ядра в его глазах вдруг утонули в темной ярости коричневых яблок, — дантист, понимаете? — И по тому, как круто поджал он вдруг задрожавший подбородок и как

судорожно дернулись желваки под смуглой кожей, было ясно, что ему доставляет удовольствие произнести слово, которого новый сосед не знает и знать не может. — Но мне думается, молодой человек, я вам еще долго не пригожусь.

Глаза, несколько пар глаз, немного покачались, обволакивая всех густой неприязнью, потом дверь захлопнулась, и Лёвушкин погас, неопределенно вздохнув:

— Белая кость.

Лашков, помогая Ивану втаскивать его нехитрый скарб в освобожденную угловую, с окнами во двор, и до того видел, что хоть и озорует слегка Лёвушкин, хоть и похохатывает залихватски, не чувствуется в этом его веселом мельтешении хозяйской полноты, удовлетворения, нету радости, которая от сердца. То и дело в нем — в его движениях, словах, смехе — сквозила еще неосознанная им самим тревога или, вернее, недовольство.

Уже потом, за полубутылкой, Иван, среди разговора, внезапно протрезвев, сказал печально:

— Вот вроде рад, а скусу — нет. Нет его, скусу, и хоть ты волком вой.

Лашков про себя подумал: «Для куражу ломается». А вслух сказал:

— Обживешься, браток. Это всегда так — на новом месте.

— Оно, конечно, — вздохнул тот и задумчиво хрустнул огурцом, — в чужом овине и своя жена слаще, а вот поди ж...

Во время их разговора Люба, бесшумная и улыбочивая, скользила от стола к буфету и от буфета к столу, приправляя свою стряпню певучим московским говорком:

— Кушайте, кушайте, не стесняйтесь.

Было в ней что-то по-кошачьи умиротворяющее. Привлекая жену к себе, Иван любовно гладил ее по устойчиво округленному животу:

— Любонька мне девку родит. Люблю девок. Девка — она покладистой. Девку да девку, да еще девку. — Здесь он неожиданно помрачнел, сжал зубы, и в нем сразу определился крестьянин, мужик. — А теперь и сына. Чтоб на дантиста обучился... Сына, Люба, чтоб... — Он замолчал и одним махом опрокинул стопку. — Давай, мил друг, «Хазбулата»!

Когда они вышли во двор, было за полночь. Крупные в середине чаши летние звезды, оплывая книзу, мельчали, становились острее и невесомей и отсюда — с земли — походили на чутко прикорнувших птиц. Время от времени то одна, то другая из них испуганно вспархивали со своего места и, перечеркнув пылающим крылом аспидную темень, скрывались где-то за ближними крышами. В соседнем дворе яростно захлебывался граммофон: «Прощай, мой табор, пою в последний раз», и чей-то пьяный тенор тщетно пытался подтянуть: «...дний-и-и пра-а-з».

Друзья сели на лавочку во дворе. Внезапно Иван боднул головой ночь и простонал со сладкой тоской:

— Нынче у нас в Лебедяни гречиха зацветает...

И хотя Лашков ни разу в жизни не видел, как цветет гречиха, и едва ли смог бы отличить ее от проса, душе его передалась эта вот сладостная левушкинская истома, и он почти любовно вздохнул, вторя другу:

— Зацветает...

— И гармонь...

— И гармонь...

— И трава парным молоком пахнет...

— Пахнет.

Они говорили, а звезды все вспархивали и, обжигая темь, падали за ближними крышами. Вспархивали и падали.

Слова, на первый взгляд, были самыми незначительными — о погоде, о житейском, о мелочах разных, — но откровение общности коснулось их, и Лашкову вдруг показалось, сидят они с Иваном вот так уже мно-

го-много лет: вспархивают со своего места звезды, сторают в пути и падают вниз, а они сидят; цветет и опадает гречиха, а они сидят; Люба, дочери Любы, дочери дочерей Любы рожают других дочерей, а они сидят под самым куполом неба — в самой середине.

— Одиноко тут в городе...

— Привыкнешь...

— Тесно...

— Оботрешься.

— Махорка нынче пошла — ботва.

— Да...

Лунная тень рассекла флигель надвое, поползла по стене, и, будто от ее прикосновения, вспыхнула в крайнем угловом окне лампада, выхватившая из темноты почти бестелесный силуэт старухи Шоколинист. Снизу она проглядывалась до мучительных подробностей: шевелящийся беззубый рот, яростно заломленные руки и даже, казалось, самые ее зябкие глаза, подернутые иступлением.

— Что за ведьма? — глухо спросил Лёвушкин и встал, перекрестился и сделал шаг в сторону, — ишь, изголяется... Пойду я... Любка там...

— Хозяйка бывшая... Грехи замаливает. — Лашков тоже встал. — Ладно, покеда. Мне ведь спозаранку.

Он шагнул к себе — в тень флигельных сеней — и впервые в эту минуту почувствовал томительное, словно от удушья, стеснение под сердцем, и тихая тревога вошла в него, чтобы уже срастись с ним навсегда.

III

Старуха Храмова из одиннадцатой добровольно уплотняться отказалась наотрез. Большая, грузная, в засаленном капоте стояла она на пороге кухни и, глядя, как Лашков с водопроводчиком Штабелем перетаски-

вают мебель из столовой в дочернюю светелку, раздраженно причитала:

— Ведь папа, — у нее это выходило смешно и жалко, — папа, это все знают, много раз сидел в участке... Да, да, — за убеждения... Разве там, — старуха ткнула склерозным пальцем в потолок, — там забыли об этом?.. Разве можно грабить семью знаменитого артиста?.. А Лёва, где будет репетировать Лёва? Нет, я вас спрашиваю — где? А моя девочка? У девочки такие способности... Пальцы, разве это никому не нужно? Скажите, — она бросилась к участковому Калинину, окаменело замершему на лестничной площадке, — разве это никому не нужно — пальцы? Я вас спрашиваю, где она будет заниматься, где? Конечно, в пивной тишина ни к чему и, простите, в борделе тоже...

Тот лишь поморщился в ответ и заиграл острыми чахоточными скулами. И видно было, что все это ему давным-давно смертельно надоело, что сам он — Калинин — здесь ни при чем, и что, наконец, поскорее бы развязаться со всем этим и уйти домой.

За его спиной, подпирая собой гору узлов и укладок, стояли две Горевы: жена — тихая, бесцветная, в мешковатом сером костюме и в парусиновых туфлях на босу ногу, и ее золовка — туго сбитая девка, усмешливо глядящая в мир глазами, подернутыми угарной поволокой.

Сам Алексей Горев — щербатый парень лет тридцати, — скрипя выходными штиблетами, растерянно утаптывался вокруг участкового и все зачем-то совал ему в его тяжелые руки свой ордер:

— Так, ведь я не по своей воле. Мне все равно, где жить, лишь бы — крыша. Я ведь в законном порядке. — Калинин угрюмо отмахивался от него, тогда Горев бросался к жене. — Что же это она, Феня? Мы же по ордеру! — Феня жалобно взглядывала на мужа и молчала, а он уже искал сочувствия у сестры. — Груша, ну, утихомирь ты ее, утихомирь! Вот тебе и справили

новоселье. Гражданочка, мы же в законном порядке... Вот и печать...

Но Храмовой было не до него: старуха расставалась с чем-то таким, с чем ей невозможно было расстаться ни в коем случае, иначе ее жизнь теряла всякий смысл и значение. Она то отрешенно застывала у кухонного окна и потухшими глазами глядела во двор, то кружилась по квартире, таская из столовой и складывая кучей на кухонной плите всякую мелочь — подстаканники, фарфоровые безделушки, семейные альбомы, то вдруг начинала умолять сына:

— Лёвушка, — он стоял к ней спиной, болезненно морщился и потирал виски, а она тянула его за фалду пиджака, — Лёвушка! Ты же артист! Ты должен пойти и рассказать обо всем, туда! — ее палец снова взмывал к потолку. — Во имя деда! Здесь ему дорога каждая вещь!.. Они не имеют права!.. Подумай об Ольге!.. Что будет с ней!.. С ее пальцами!.. Вспомни, что говорил о ней Танеев!..

Она искала его взгляда, но его глаза ускользали от нее, глаза смотрели куда-то поверх, сквозь стену, сквозь двор и дальше. Сын отдирал ее руки от себя и тихо, словно бы боясь, что его могут услышать, уговаривал:

— Мама, мама, подумай, что ты говоришь? Что случилось? Ничего не случилось. И потом, я согласен спать в коридоре. Пусть Оля живет в моей комнате. Ей там будет покойнее... Мама, ну, что ты с собой делаешь?.. Мама же, наконец!

Храмова вновь сникала, чтобы уже через минуту повиснуть на дочери:

— Вы посмотрите на эти пальцы! — старуха бережно оглаживала ее почти невесомые ладони. — Нет, вы только посмотрите! Сам Танеев любовался ее пальцами! Оленька, только не надо так улыбаться! Оленька, ну, я прошу тебя, не надо так улыбаться!

Но та не слышала ее. Опершись о косяк входной двери, Ольга медленно раскачивалась из стороны в

сторону и улыбалась тихо и празднично. Она стояла прямо против Калинина. Участковый морщился и поигрывал чахоточными скулами, а девушка улыбалась. Он морщился, а девушка улыбалась. Она, конечно, не видела ни самого Калинина, ни того, что стояло за ним, она просто жила, существовала там, где, видно, еще можно было улыбаться, тихо и празднично, но сейчас, при взгляде на них, Лашкову становилось не по себе. В их вызывающей разительности ощущалось какое-то почти жуткое сходство: злость одного и блаженность другой определили недуг, и некуда им было деться, бежать от этого жестокого родства. Так и стояли они, сведенные случаем, друг против друга, на одной лестничной площадке, оставаясь в то же время каждый в своем мире, со своей правдой.

Штабель работал с чисто немецкой уважительностью к вещам. Прежде чем взяться за какой-нибудь предмет, он осторожно опробовал его — выдержит ли? — потом бережно поднимал и размеренно, как бы ступая по льду, переносил в светелку, где все и устанавливалось им по лучшим правилам симметрии. Но старуху Храмову даже эта вот его старательность выводила из себя:

— Кто же ставит стулья на стол, Штабель? Кто же ставит стулья на стол? Твоя мама-немка ставит? Твой папа-немец ставит? Может, дядя-немец ставит? Это же из Гамбурга мебель! Тебе жалованья твоего за всю жизнь не хватит на такой стол! Два не хватит! Три! А ты ставишь стулья. — Она ходила за ним по пятам, серая от бессильного гнева, трясущаяся, и все старалась уколоть его побольней, почувствительней. — Разумеется, что тебе чужие вещи! У тебя ни кола, ни двора, ни родины! Так в котельной, на тряпье и отдашь душу Богу... Ах, Штабель, а я считала тебя порядочным человеком. Все-таки — немец.

Штабель молчал. Штабель умел молчать. Зачем ей — этой потертой московской барыне с ватными щеками

— знать, какая дорога пролегла между ним и его родной. Аккуратно определив на место очередной стул, он вынул из брючного кармана платок и вдумчиво протер им руки. Затем водопроводчик сложил платок вчетверо, сунул его снова в карман и только после этого заговорил:

— Я, мадам, — Штабель взял старуху за плечи, почти без усилия повернул к себе спиной и легонько, но настойчиво стал подталкивать ее ближе к комнате сына, — австриец, мадам. Австриец. Я слюшал вас, теперь ви слюшай меня. Я не знай, что хочит ваша власть, но я привык уважать всякий власть. Мне говорять: «Штабель, эта нада». И я делай. Но я не хошью, чтобы рабёшние люди подыхал в котельная. Простите меня, мадам. — Он подвел ее к стулу, повернул снова к себе лицом, тихонько надавил на плечи, и она села, а сев, как-то сразу стихла и вся, будто оплывающая опара, посунулась книзу. А водопроводчик, вернувшись, дотронулся до Лёвиного плеча. — Лёва, уведите сестра себе. Её нельзя так. Отчень, отчень нельзя.

Лёва, испуганно встрепенувшись, неожиданно засуетился, схватил сестру за руку и стал так же тихо, как и прежде старуху, убеждать ее:

— Пойдем, Оля, ты должна пойти. Тебе уже пора отдыхать. И потом мы здесь мешаем.

Улыбаясь, она удивилась:

— Лёвушка, зачем. Еще рано. А здесь столько солнца. Смотри, сколько. Оно звучит. Слушай — звучит. А у нас эти занавеси. Эти ужасные занавеси. И здесь столько людей. Они будут жить у нас? Что маме нужно от них... И потом, эти занавеси. Неужели их нельзя снять?

— Я сниму их. Я выброшу их и открою окна настежь. Пойдем, Оля. Вот так.

Брат потянул ее с собой, и она вяло подалась, не переставая улыбаться и всё порываясь с кем-нибудь заговорить. Коридор опустел, и Горевы стали молча и

бесшумно вселяться. Алексей и Феня переносили вещи, ступая так, словно в квартире находился покойник. Они как бы стыдились собственной удачи, и только Груша сразу определила себя на новом месте как хозяйка и стала всем своим видом и поведением выказывать, что все здесь принадлежит ей давным-давно, и что нужно лишь еще немного подождать, чтобы справедливость окончательно восторжествовала. Она двигалась уверенно, шумно, властно командуя своей бессловесной свояченицей и братом:

— Да отодвинь ты, Федосья, стол ихний вот в тот угол. У окна свой поставим. Что тебя, Алексей, пыльным мешком из-за угла втянули, что ли-ча, двигай его, окаянного. Ишь, расставились...

Василию сразу понравилась эта крепкогрудая, кержацкого вида деваха с сильными, совсем не женскими руками. От нее исходил хозяйственный запах еще неустоявшегося пота и стирки. Парень обнял было ее в простенке между кухней и чердачным ходом, но она только повела плечами, только повела, но так при этом посмотрела, что он сразу же густо покраснел и смешался. Но, однако, что-то вдруг оттаяло в его душе, встрепенулось, и уже потом, когда Горев поил их — Лашкова, Штабеля и участкового — в ближней пивной теплым кисловатым пивом, он не выдержал-таки, сказал задумчиво:

— А сеструха у тебя, Алексей Михальч, надо сказать, стоящая. Первый сорт, можно сказать, девка. Одним словом, как говорят, люкас.

Горев поскрипел, утаптываясь на месте торгсиновскими штиблетами, и хмыкнул в кружку:

— Наших — горевских кровей.

Штабель подумал, подтвердил:

— Такой хозяйка в доме, — при этом он многозначительно поднял указательный палец вверх и сделал большие глаза, — о!

Калинин промолчал. Ему, в его положении, давно

было не до девок. Участковый тоскливо скучал и от дикой, не по-вешнему устойчивой жары, и от этого теплого кислого пива, и от нудного разговора, которому может не быть конца. Он с упрямой внимательностью вслушивался только в себя, даже, вернее, не в себя, а в свою болезнь. Калинин чувствовал, как она разрастается в нем, оплетая пору за порой, нерв за нервом, и ему иногда казалось, что он слышит даже самое ее движение — шелестящую мелодию постепенной гибели. И поэтому все остальное в мире по сравнению с ней — с этой мелодией — вызывало в нем только скуку, вязкую, будто смола для асфальта. Почти черными зубами участковый лениво отодрал кусок воблы, пожевал, допил кружку и коротко подвел итог встрече:

— По домам.

Ночью хмельному Лашкову снился сон...

Он идет по Сокольникам с Грушей под руку. И оба они — сплошное сукно и крепдешин. А деревья, будто летя куда-то, гудят над их головами, пронизанные огнями, и все люди, оборачиваясь, улыбаются им вслед: пара! Лица, лица, они улыбаются им вслед. Сколько лиц! И вдруг его словно обжигает: все, все они, как две капли, схожи с лицом блажной дурочки Оли Храмовой из одиннадцатой квартиры. Лашков что-то хочет крикнуть им, крикнуть сердито, вызывающе... Но сон смешался...

Пробуждаясь, дворник со злым недоумением подумал: «К чему бы это?» Потом рассудил куда для себя приятственнее: «Может, сон-то в руку?» И еще, но уже не без кокетливого сожаления: «Вроде, на ущербе жизнь твоя холостяцкая, Вася?»

IV

В лабиринте бельевых веревок, словно мышь в сетке из-под яиц, металась по двору Сима Цыганкова. Облаву вели два ее брата, оба низколобые с аспидными

челками над кустистой бровью, вели с пьяной непоследовательностью, и хотя уже добрая половина белья лежала полувтоптанная в дождевую грязь, Сима все еще ухитрялась ускользнуть от них, то и дело пытаясь прорваться к воротам. Но всякий раз кто-то из братьев перехватывал ее на полпути, и все повторялось сначала. Братья обкладывали Симу с молчаливым остервенением, как зверя, в полной тишине. Слышен был только их прерывистый хрип да протяжный треск лопающихся веревок.

Василий по опыту знал, что с Цыганковыми лучше одному не связываться. Они переехали недавно в девятую, и первый же их день во дворе ознаменовался громким, чисто вологодским мордобоем со скорой помощью и милицией в заключение. Семейство изуродовало своего соседа старика-филолога Валова, а заодно и непрощенного воителя за всех обиженных Ваню Левушкина. Уже на другой день сам Цыганков, взяв всю вину на себя, уехал в домзак отсиживать установленный кодексом год. Филолог, дав объявление насчет обмена, ночевал у Меклера, а Иван гордо носил по двору свой пробитый череп, наскоро забинтованный ему в неотложке и, горячася, возмущенно жаловался каждому встречному-поперечному:

— Это разве по Богу над стариком среди бела дня измываться? За такое по головке не погладят. Совесть-то надо иметь, а? Под Богом ходим, а совести — кот наплакал...

Среди Цыганковых Сима выглядела белой вороной. Тоненькая, хрупкая, почти девочка, в застиранном ситчике — белый горошек по голубому фону — она семенила двором, потупив глаза, так, будто ступала по битому стеклу, и как бы не пробегала вовсе, а извинялась за все свое непутевое семейство. Но стоило видеть, какими глазами смотрели на нее все холостяки дома, да и женатые тоже: Сима была проституткой с лицом иконостасного херувима.

Лашков еще натягивал пиджак, чтобы бежать за уполномоченным, а кто-то уже кричал сверху:

— Ироды! Куда по подзору сапожищами-то! И зачем только принесло вас на нашу голову! Креста на вас нету! По подзору-то, по подзору как, а?

Во дворе Лашков застал уже конец облавы. Тихон все-таки загнал сестру в угол котельной и флигеля. Сима упала, свернулась в клубок, обеими руками прикрыв голову. Обляпанная грязью подошва уже занеслась над ее крапленным ситчиком, но здесь между нею и братом неожиданно вырос Лёва Храмов:

— Не смейте ее трогать! Как вам не стыдно бить женщину! — Он махал перед носом Цыганкова бледным тонкопальным кулаком. — Не подходите к ней! Да!

Конечно, это выглядело смешно. Звероподобному Тихону стоило даже не ударить, а просто толкнуть худосочного актера, и без кареты скорой помощи тут бы не обойтись. Тихон остолбенел на минуту, раздумывая, как слон над зайцем: давить или пройти мимо! А когда он все же решил давить и угрюмой глыбой подвинулся к Храмову, на плечо ему легла тяжелая штабелевская рука:

— Слюшай сюда, парень. Ты видишь это. — Отто чуть приподнял сжатый свободной рукою кусок водопроводной трубы. — Ты хочешь получайт пенсия, бей его, не хочешь получайт пенсия, иди домой.

Тихон исподлобья окинул Штабеля с ног до головы, как бы прикидывая, во сколько обойдется ему драка с дюжим австрийцем, потом коротко переглянулся с братом, тот хмуρο кивнул, и они двинулись прочь, и лишь с порога парадного Тихон пьяно погрозил:

— Я тебе, немецкая морда, еще загну салазки!

Штабель лишь усмехнулся одними глазами и, полюбняв за плечи актера и Симу, подтолкнул их к котельной:

— Иди, посидайт у меня. У вас есть многой разговори. Мы, — он указал на Лашкова, — будем курь-

ить здесь. Мы будем думать, — он снова кивнул на Лашкова, — многа думайт. И говорыит, говорыит.

Лашков терпеливо молчал, пока друг его, попрыкивая глиняной трубкой, изучал густеющее небо. Василий знал Отто Штабеля: чем дольше тот думает, тем серьезней будет речь.

Дворник встретил австрийца случайно на бирже труда, куда зашел, чтобы найти, по просьбе домоуправа, дельного истопника-водопроводчика. Штабель приглянулся ему сразу: степенный, обстоятельный — прежде чем сказать, десять раз подумает — он подкупил дворника именно этой своей обстоятельностью. Казалось бы, не от сладкой жизни идут на биржу, и все-таки, прежде чем согласиться, Отто, мешая русские слова с немецкими, дотошно, врасстяжку выпрашивал его о месте (каков транспорт?), об условиях (как с выходными?), о спецодежде (надолго ли?), и даже о жильцах (что за народ?). И Лашков, вопреки всем традициям того скудного для рабочих рук времени, расхваливал свой товар, старался всюю.

Видел дворник: поставит ему домоуправ за такого водопроводчика и не одну. Транспорт? Под самым носом. Зарплата? Не обидим. Спецодежда? Не поскупимся. Жильцы? Ангелы, а не жильцы.

Вскоре новый истопник занял лашковскую каморку в котельной, а сам дворник вселился в светелку уплотненной модистки Низовцевой во втором этаже флигеля...

Вечер повис над крышами первой, еще неуверенной звездой. Звезда набухала, наливаясь мерцающей голубизной, и в шелест тополей за воротами вплелись два голоса оттуда — из глубины котельной:

— Мать не просыпается. И эти тоже. И все — денег. А я и так им все отдаю... Эх, и зачем только принесло нас сюда — в прорву эту... Отобрали кузню, так что в ней, в кузне-то и свету только? И так прожили

бы. Все здоровые... Там у нас на Волге хорошо, просторно... Завод, завод!.. Вот тебе и завод!..

— Какой ужас, какой ужас!.. Ужас... Ужас... Милая, милая девочка... Какой ужас! Откуда это, за что это на нас такое!.. Говорите, говорите...

— Для вас ужас, а нам — век жить... Старые люди говорят: за грехи.

— Да кто ж и когда у нас так согрешил, чтоб за это — такое?

— В роду, говорят.

— Боже мой, Боже мой, да в каком же это роду и в каком же это столетии. Девочка, девочка, разве прокричишь тебе душу? Да поверь мне, нет такого рода, племени такого нет и столетия такого не было. Да если бы и все роды и века мы страшно, чудовищно грешили, нас нужно было бы наказать самое большое — смертью. А ведь это ужас!

Тихо:

— Не надо так. — И еще тише: — Не надо. Всех не пожалеешь. Вот и за меня, к чему было заступаться?.. Ведь прибить могли. И — насмерть прибить. Что вам-то?

— Много.

— Это от доброты. Потому вы и слабый... И тихий... от доброты... Добрые — они все слабые.

— Совсем, совсем нет, милая. Это только так кажется... Я всегда буду вас защищать.

Тихо-тихо:

— Защитник.

— Служить вам... Будем жить вместе... Не подумайте плохо... Как брат и сестра...

— Коли вы захотите такого, это я вам рабой буду... И вовсе не надо, чтобы как сестра...

— Девочка, девочка, милая девочка...

— Волосы у вас, как лен, мягкие и ласковые...

Тополя шелестели за воротами, а над миром плыла голубая звезда и эти вот два голоса.

Сима сидела на лавочке, болтала ногой и ела хлеб с горчицей, круто посыпанной солью. Наверное, это было куда слаще даровых ресторанных пирогов. Иначе бы она не болтала ногой, сидя на дворовой лавочке, и не смеялась бездумно вот так: поднимая лицо к солнцу, давясь едой и почти задыхаясь.

Штабель-таки недаром больше обычного молчал в тот вечер. Отто не любил слов пустых и необязательных, а потому лишь перед расставанием сказал Лашкову:

— Слюшай сюда, Васья. У твоего модистка есть шулян. Скажи мне, Васья, зашем модистка шулян. Два шеловека — один шулян. Карашо. Храмова все равно не пускаит их к себе.

Сказал и сошел вниз, в говорящую темноту. Лашков лишь головой покачал ему вслед: чудака-человек. Об этом чулане шли у них разговоры еще с зимы. Дворник сам присмотрел его для друга у своей соседки. Чуланчик был так себе, не очень, в общем, — три на два, — но удобство его состояло в том, что одной своей стеной туда выпирала чуть ли не на треть квартирная печь. Оборудовать чулан под жилье было делом плевным, ждали только лета, но Штабель взял и перевернул все по-своему. И Лашков, в конце концов, согласился с ним.

Вот почему сегодня Сима и сидела на лавочке, и болтала ногой, и ела хлеб с горчицей, круто посыпанной солью, и бездумно смеялась, поднимая лицо к солнцу, давясь едой и почти задыхаясь. Симу ожидала комната. Конечно, не Бог весть какая комната могла получиться из бывшего чулана, но да разве в хоромах дело? Тем более, что над будущим ее жилищем колдовало сразу столько народу: трое Горевых, двое Левушкиных,

Штабель с Лашковым и ее, теперь собственный супруг — Лев Арнольдович Храмов. Правда, он только растерянно и ненужно суетился, не зная, за что ухватиться, но какое это могло иметь сейчас для Симы значение: Симе готовилась комната.

В углу двора, прямо против своего окна, Иван соорудил верстак, и терпкая свежей смолой стружка пела и струилась под его рубанком. И сам он, работая, улыбался чему-то своему, тайному. Казалось, дерево рассказывало плотнику некие удивительные и веселые истории. И желтые филенки для Симиного счастья — одна за одной — строились вдоль стены. И из окна левушкинской комнаты несло за квартал пирогами, и Люба, орумяненная жаром и оттого вдруг похорошевшая, то и дело сновала между домом и флигелем и при этом каждый раз переглядывалась с мужем, и он подмигивал ей, и они не без озорства улыбались друг другу.

Алексей Горев с засученными до локтей рукавами ловко и споро оклеивал бывший чулан васильковым цветом весны, и бессловесная Феня его смотрела на волшебника-мужа снизу вверх, почти с благоговением, и клейстерная кисть под ее рукой выписывала диковинные кренделя.

Груша, по-деревенски высоко подоткнув юбку, выгребала последний мусор, и когда она слишком сильно стибалась, упругие икры ее начинали едва заметно подрагивать, и сердце Лашкова учащенно дергалось и сладостно замирало где-то под самым горлом.

Работая, они с водопроводчиком стаскивали с чердака бросовую мебель, отдавая ее на поправку в добрые левушкинские руки. Лашков держался ближе к Груше. Та вроде бы и не замечала парня, вроде бы и давала понять, что отношение у нее к нему — со всеми наравне, но сама нет-нет да и отличала его — то полувзглядом, то легкой улыбочкой — от других. Он чувствовал себя на седьмом небе. Солнце заливало двор светом чистой июньской пробы, и в его невесомой бла-

годати все вокруг виделось ему исполненным какого-то особенного замысла.

«Мамочка моя дорогая, что человеку нужно? Самую малость, суший пустяк. А какая от этого пустяка легкость на душе! Все дадено, все есть, живи!»

Вечером за столом царила великосветская предупредительность. Каждый из гостей хотел показать, что и он не лыком шит и знает толк в правилах хорошего тона, и что уж коли и без образования, то с образованными людьми тоже умеет в обществе держаться.

Пили красное и по неполной рюмке, губы вытирали чистыми платками, закусывая, оставляли на тарелке малость: не из голодного края, мол. И в довершение всего, в неопикуемой тесноте, ухитрились станцевать под «Амурские волны». А перед разгонной Иван Левушкин даже произнес небольшую речь:

— Всегда бы вот так-то, братцы. — Голос его дрогнул. — Живем, как зверье. А все — люди. Я вот думал — сосед. А дантисты они, выходит, тоже — люди.

Прощаясь, гости со значением переглядывались и степенно пожимали молодым руки. Растроганный до слез Лева Храмов от самого порога кричал им в темноту:

— Заходите, непременно заходите, будем очень, очень рады. Всегда запросто. Здесь все ваше!

Лашков пригласил Грушу прогуляться, и та пошла, и сама взяла его под руку, и все было точь-в-точь как в недавнем его сне: пронизанные огнями сокольнические деревья гудели над их головой, и многие оборачивались им вслед.

Они сели на скамью в темной аллее, и он обнял Грушу и поцеловал. И она не сопротивлялась. И лишь слегка оправив после этого волосы, спокойно молвила:

— Только сначала, как у людей — в загс.

Он сказал:

— Конечно. — И еще. — А как же!

И деревья сверху над ними плыли куда-то. А может быть, это плыли вовсе не деревья, а они сами — Лашков и Груша. И скорее всего, что так.

VI

Никишкин въезжал в седьмую, что на втором этаже, к бывшему полковнику и военспецу Козлову поздно вечером под седьмое ноября. Новый жилец был мал ростом, сложение имел субтильное, но мужиком оказался въедливым и настырным. Еще поднимаясь по лестнице, он дышал норовистым бычком и, в предчувствии скандала, сладострастно потирал руки:

— А мы тебе пощупаем жабры, господин генерал. — Чин будущему соседу Никишкин накидывал явно куражу ради. — Ты у нас, белый ворон, враз кенарем запоешь. Отжили свое, высосали рабочей кровушки. Вы, товарищ, — теребил он Калинина, — в случае чего, свидетелем будете. Не отвертится, не старьй режим.

Уполномоченный и ухом не повел. Только этак искося взглянул на него, и под его серой кожей вздулись и снова обмякли желваки.

Дверь открыл сам хозяин. Несмотря на поздний час, Козлов встретил их не в халате, а в тщательно отутюженной паре военспеца, и меловые усы его, выдержанные в лучших гвардейских традициях, были вызывающе нафабрены.

— Прошу вас, гос... — хозяин осекся, но тут же вышел из положения — ...тям здесь всегда рады. Я знаю, — предупредил он взявшегося было за свой планшет Калинина, — вы привели мне соседа. Очень приятно, молодой человек. — Старик учтиво поклонился в сторону Никишкина. — Мне уже сообщил управляющий. Так что, Василий, — он пожал узкими плечами, обращаясь к Лашкову, — тебя напрасно потревожили, дружок.

Едва ли дока и куда въедливей, чем Никишкин, выудил бы из всей этой безукоризненности хотя бы одну фальшивую ноту, но в том, с какой подчеркнутой вежливостью округлялась хозяином каждая фраза, и в том, какая учтивость исполняла каждый его жест, сквозило такое высочайшее презрение к новому соседу, даже брезгливость, что и ко всему равнодушный Калинин позволил себе одобрительно усмехнуться.

Обескураженный Никишкин пустился было в амбицию, но старик, устало опустив белые веки, подсек его суету на корню.

— Мне предложили освободить столовую. Но я старик, а старику нужно минимум места, чтобы дожить свое. К тому же, я рассчитал домработницу. Поэтому, с позволения властей, — он отвесил полупоклон участковому, — я оставляю за собою только кабинет. Остальное — ваше, вместе с мебелировкой... В моем возрасте человеку нужно совсем немного дерева. — Здесь Козлов повернулся к Никишкину, и впервые в его блеклых глазах заплясали насмешливые чертики. — Не так ли, молодой человек?

Тот, казалось, почувствовал издевку, но перспектива занять лишнюю жилплощадь, да еще с полной мебелировкой, подействовала на него убагаботворяюще:

— Я покуда без семейства, так сказать, для рекогносцировки. — Он мельком взглянул в сторону соседа, как бы проверяя, какое впечатление произвело на того знание им военной терминологии, и, убедившись, что понят правильно, продолжил, и в Никишкинском голосе ощущалось теперь эдакое примирительное размягчение. — Вот, можете проверить. Все в полном ажуре... Нет уж, вы обяжите посмотреть.

— Что вы, что вы, молодой человек, — вяло отвел Козлов от себя протянутые гостем документы, — милости прошу. Располагайтесь, это теперь ваш дом.

Слово «ваш» он произнес с тем особым ударением, от которого всем вдруг стало немного не по себе, и Ва-

силый подумал, что при других обстоятельствах Никишкину с бывшим полковником лучше бы не встречаться.

Козлов гостеприимно открыл дверь в столовую и включил свет:

— Прошу вас.

И если новый жилец и насторожился было еще минуту назад, если и собирался снова в щетинистый комок, то здесь, при виде гарнитура резного дерева и почти нетоптанного ковра на паркете, все в нем пришло в прежнее равновесие и даже вызвало жест ответного великодушия:

— Что ж, — как бы в знак классового примирения он протянул Козлову руку, — тогда с праздничком вас, уважаемый гражданин военспец.

— Мой молодой друг, — сказал старик и, уже откровенно издеваясь, убрал руки за спину. — Я — человек глубоко верующий и отмечаю лишь христианские праздники, а также день рождения престолонаследника Алексея Николаевича Романова... Прошу простить.

Развернувшись чисто по-воински, через левое плечо, Козлов показал гостям спину, скрылся в кабинете и в два оборота ключа отгородил себя от своего будущего соседа раз и навсегда.

— Ишь, гусь! — Никишкин после короткого столбняка снова вошел в раж и вроде даже вознамерился было броситься вслед старику. — Тебя еще, видно, жареный петух в задницу не клевал, господин генерал, тебя...

Участковый устало и зло оборвал его:

— Хватит, не мельтеши. Пошли.

Двор, обрамленный первым снегом и звездами, казался до игрушечности маленьким, затерянным. Лишь разноцветные прямоугольники окон отогревали студеную тишину, и потому сама она казалась разноцветной: у каждого окна своя особенная тишина.

Новый жилец кипятился еще и во дворе:

— Как же, товарищ начальник, ведь сообщить надо. Можно сказать, открытый враг на свободе. Сегодня он мне, а завтра при всем народе скажет.

— И скажет, между прочим, — Калинин прикурил и яростно затянулся. — И, между прочим, при всем народе... А теперь топай...

— Я чтой-то в толк не возьму, — угрожающе попятился тот, — представитель власти и...

— Топай, говорю... И, смотри, жену береги — сразу все не выкладывай.

— Я...

— Топай.

Это было сказано кратко, тихо, сквозь зубы, но и у Василия, вроде попривыкшего к редким всплескам своего участкового, вдруг засосало под ложечкой, и его осенило наконец, почему с такой неохотой вспоминает тот свою работу в особом отдела фронта.

Никишкин не посмел отговориться, но даже и в том, как он уходил, будто вбивая каблуками гвозди в снег, чувствовалась угроза и предостережение.

Лашков неопределенно вздохнул:

— Загнул старик себе на шею. Этот не спустит.

Красный глазок окурка, описав в темноте дугу, упал в снег и погас.

— Я бы его, конечно, за такие слова сам в расход пустил, — проговорил Калинин, и в голосе его еще дрожало недавнее зло, — но такие хоть подыхать умеют по-людски, такому хоть руку подать не совестно... Ладно, пока.

Он шагнул в ночь — высокий, сгорбленный — и снег оглушительно заскрипел под его сапогами, и душу Лашкова неожиданно, впервые, пожалуй, в жизни обожгла простая до жути мысль: «Почему всё так? Зачем?»

VII

Где-то под Новый год Калинин снова постучался к дворнику. Вошел, снял шапку, прижался грудью к голландке и долго надрывно кашлял. Потом сказал, не оборачиваясь:

— Глотнуть не найдется чего?

Залпом опорожнив граненый стакан, он только искося взглянул на предложенный огурец и сел, опустив голову:

— Вот что, Лашков, — с мороза, еще заостренной обычного, лицо его оплывало текучими пятнами, — Цыганкову брать будем. Санкция есть. Родня сработала.

Лашков ждал подвоха: не те люди. Цыганковы, чтобы так просто отступить от даровых денег, — не раз замечал он, как братья злорадно переглядывались, сталкиваясь с Храмовым и сестрой, — но такого ему не предвиделось.

— Да за что? — почти крикнул он. — За что?

— Сто пятьдесят пятая статья уголовно-процессуального кодекса, пункт «а»... И, главное, собаки, — стукнул участковый кулаком по столу, — свидетелей нашли! Нашли же! Сучьи дети, попользовались, а теперь копать будут!

— Так ведь замужем она!

— Вот то-то и оно, что не расписаны.

— Может, уехать ей куда?

— На панель? — Он поднял глаза и тут же опустил их. — Это можно, в любом городе спрос есть.

— Да...

Разговор угас. Василий налил себе и тоже выпил. Совсем нечеловеческая тяжесть навалилась ему на плечи и он не мог, не хотел сейчас встать первым, чтобы пойти туда — к храмовскому чулану. До чулана было

всего несколько шагов, но каким немеренно тяжким стало вдруг это расстояние для него. Дорого бы заплатил Лашков за то, чтобы избавиться от необходимости видеть их сегодня, смотреть им в глаза, разговаривать с ними. И от неизбежности предстоящего становилось на душе еще тяжелее и нестерпимее.

Жилистый калининский кулак еще раз поднялся и с силой опустил на клеенку:

— Пошли.

На стук откликнулась Сима.

— Кто?

— Открывай, Цыганкова, — глухо выговорил уполномоченный, — дело есть. Это я — Калинин.

Послышался шепот: тревожный, стремительный, в разных оттенках, затем, перебитый волнением, полукрик, полустон:

— Сейчас.

Звякнула щеколда, и на пороге, запахнувшись в храмовское пальто, со скорбной вопросительностью замерла перед неурочными гостями Сима Цыганкова: уж кому-кому, а ей не приходилось втолковывать, что ранние визиты участковые наносят не от избытка вежливости.

— Да? — выдохнула она и опять, как эхо, повторила. — Да?

— Вот что, Серафима Цыганкова, — Калинин зачем-то снял шапку и, опустив глаза, начал приглаживать волосы, — придется тебе пройти со мной в отделение. Есть санкция. Вот что.

— Да? — упало у нее сердце, и еще раз, но уже без вопроса, а утвердительно: — Да.

— В чем дело, Александр Петрович? — Из-за Симиного плеча выглянул Лев Храмов. Он лихорадочно натягивал рубаху. — В чем дело?

Сима повернулась к нему, взяла его руку в обе ладони и начала, как больному, гладить ее:

— Я скоро вернусь, Лева. — Голос ее звучал тихо-

тихо, и если бы у нее не дрожал подбородок, можно было подумать, что она совершенно спокойна. — Вот увидишь, я скоро вернусь. Ты ложись, тебе же на репетицию. Только не забудь сходить за батоном... Не надо, Левчик, я только туда и обратно.

Сима попробовала улыбнуться, но вместо улыбки у нее получилась гримаса, кривая и жалкая.

Но тот был уже не в себе.

— Объясните же, наконец, за что, Александр Петрович? — стонал он, шаря руками по отворотам калининской шинели. — Кому она опять помешала? Разве можно вот так брать человека неизвестно за что?

— Известно. — Калинин упорно изучал носки своих сапог. — Но тебе, Храмов, я объяснять не буду. Иди к следователю и узнавай сам. Мое дело доставить.

— Тогда я вам ее не отдам! — Лева закрыл Симу собой и раскинул трясущиеся руки. — Не отдам и все, вы слышите, Александр Петрович!.. Да что же это такое, Господи!.. Ну, дайте мне день или два... Я пойду... Я буду хлопотать... Я все узнаю!..

Участковый надел шапку и, отходя от храмовского порога, устало и хрипло сказал дворнику:

— Иди, зови двух постовых, не драться же мне с ними, в самом деле.

Лашков топтался на месте, не желая перечить, но и не спеша: «Кто знает, может, все еще и обернется по-хорошему?»

— Иди! — повторил уполномоченный, но уж жестче и упрямей. — Ордер не я подписывал. Бесполезно, Храмов, — бросил он через плечо Лева, — это — закон.

Он вышел во двор, а вслед ему неслось исступленное храмовское:

— Да будь они прокляты, такие законы! Будь прокляты люди, которые их написали! Прокляты, прокляты, прокляты!..

Когда Лашков вернулся, флигель был окружен тесным полукольцом жильцов. Чуткий утренний снег

скрипел под десятками подошв, а легкий шелест тревожного полупшепота плавал над головами:

— Эх-хо-хо, жизнь наша бедовая... Не думали! Девка только-только на ноги встала.

— Хе, хе, хе... За грехи-то отвечать надо. Не перед Богом, так перед нарсудом.

— Родня, говорят, удружила.

— Одно слово — ироды.

— Дела-а.

Между жильцами кружился Иван Левушкин в калошах на босу ногу и пальто, накинутом прямо на исподнюю рубаху. Из-под штанин у него торчали тесемки от кальсон и тянулись по снегу.

— Что ж это, граждане? Что же это за смертоубийство такое? Рази это по Богу?.. Мы же всем миром можем вступиться... Выше можем пойти. Жили люди тихо-мирно, никому не мешали... Что ж это, братцы?

Люба тянула его за рукав к дому, он, досадуя, вырвался и снова начинал искать поддержки у соседей.

— Леша, — уцепился плотник за Горева, — ты-то на свадьбе у них гулял. Рази кому мешали? Их и нет на дворе, словно. Ты — партейный, тебе и книги в руки — вступишь. Вступишь, Леша, поимей совесть.

Но тот, зябко поеживаясь и отводя глаза в сторону, невнятно пробормотал:

— Так, ведь разберутся, Ваня, не в лесу живем. Ты бы пошел домой, оделся бы... Просквозит...

— А-а-а... — с горькой безнадежностью махнул на него рукой Левушкин и бросился к Штабелю. — Штабель, чего же ты молчишь, Штабель. Трубы винтом гнешь, а здесь нет тебя, а? Как же это, Штабель? Им жить, а их так, а?

Но Штабель молчал: Штабель гнул винтом трубы, власть могла согнуть винтом его — Штабеля.

Цыганковы скучковались особняком ото всех и со злорадным торжеством поглядывали в сторону флигеля в ожидании развязки, а мать их — худая жилис-

тая баба — обшаривая, в поисках сочувствия, толпу тусклыми щучьими глазами, время от времени взвизгивала пропитым голосом:

— Узнает, стерва, почем кусок ситного! Это ей не с хахалями в лесторанте.

У самого входа в сени с деловым видом топтался Никишкин и, ни к кому в отдельности не обращаясь, но, однако же явно желая оставаться, покуда это возможно, в центре внимания, громкой скороговоркой провозглашал:

— Пресекать надо. Пресекать в корне. Попусти только, на всех домах красные фонари навесят.

А флигель исходил криком. Пока Сима собиралась, Лева стоял на коленях, цеплялся за оборки Симиного платья, судорожно гладил ей ноги, прижимался щекою к ее ладони и говорил, говорил, говорил:

— Девочка, все против нас... Но пойду... Я все равно пойду... Я скажу им... Я все скажу... мне наплевать на их варварские законы... Вот увидишь, они не посмеют... Не посмеют!..

Свободной рукой она ворошила его волосы, и слезы мелкие-мелкие — одна за другой — сбегали по ее щекам и собирались на подбородке.

Постовой осторожно потянул Симу за рукав:
— Хватит.

Сима вздрогнула, напряглась вся, как бы припоминающая что-то очень важное для себя, очень обязательное, а потом сложила синими непослушными губами:

— Простите меня, Лев Арнольдович, за все. А ко мне после вас никакая грязь не пристанет. Я теперь чистая. Чистая, и всё тут. Но уж, — и лицо ее заострилось, стало чужим и отрешенным, — отольются мои слезы кое-кому.

Храмов рванулся к ней, но уполномоченный, опередив актера, взял его «на хомут», и он забился пойманной рыбой, захрипел. Постовые подхватили Симу,

но она выскользнула у них из рук и вцепилась в Калинина:

— Не трогай его, холуйская морда, не трогай! Бери меня, бей, измывайся, а его не трогай. Он — больной! он слабый!..

Симу потащили к выходу. Сима упиралась, ее с трудом отрывали от косяков и подоконников, пока, наконец, не втолкнули в подогнанную для этой цели к самому порогу легковушку, но и там она еще продолжала сопротивляться.

Перед машиной народ раздался, а когда «эмка» выехала за ворота, полукольцо сомкнулось вокруг лежащего на снегу Храмова. Лева утюжил головой снег и стонал, и плакал, и мутные слезы его уходили в снег, не оставляя следов:

— Сима, Сима, девочка, что они сделают с тобой! Что они с тобой сделают... Я люблю тебя, девочка!.. Я люблю!.. Я люблю ее, люблю, люблю!

Он дернулся в последний раз и затих, неловко откинув руку за спину. Штабель молча сгреб Леву в охапку и через расступившуюся толпу понес к себе в котельную. А спустя минуту, никого, кроме дворника, участкового и Левушкина, во дворе не осталось.

— Ну-ка, вот, — Калинин расстегнул планшет, вынул оттуда четвертную и протянул Ивану, — пошли свою за литровкой, а мы куда посидим с Лашковым, погреемся.

Сказал и зашелся гулким устойчивым кашлем.

VIII

У этой весны, казалось Василию, был какой-то особый запах, особая легкость и цвет. Все вокруг него выглядело необыкновенно трепетным и словно бы лишенным веса. И сам себе он представлялся со стороны как никогда молодым и удивительно легким. Если бы

нынче ему, Василию Лашкову, — час за часом, минута за минутой — вспомнили то, что осталось у него позади, он бы не поверил или, во всяком случае, постарался тут же забыть об этом. Его переполняло острое ощущение новизны происходящего. Какая шахта? Какие пески? Какая там еще голодуха? Сон! Пригрезилось душной ночью! Но даже и не будь это сном, он согласен трижды повторить свою судьбу ради такой весны, да что весны — дня, одного такого дня!

Сидя друг против друга за столиком летнего кафе в Сокольниках, они с Грушей пили пиво и улыбочиво молчали. Где-то за березами, густо обрызганными первой листвой, оркестр тосковал по далеким маньчжурским сопкам, и под его стонущие всплески птицы, с криком взмывая к небу, мгновенно растворялись в пронзительной голубизне.

Пиво упруго пенилось, и сквозь пену, где-то у самых лашковских глаз, плавали Грушины руки, схожие с двумя большими белыми рыбами. Он пытался коснуться их, но они ускользали — гибкие и почти неосязаемые. Чуть раскосые глаза ее зовуще мерцали, рассыпаясь в пузырьчатой пене на множество голубых капелек.

Груша увещевала его:

— Ну, не балуй, дурачок, ну, не балуй же!

Лашков только смеялся в ответ и молчал. Да и о чем ему оставалось говорить. Все, чем живо было сейчас его сердце, он, сколько ни бейся, не сумел бы облечь в слова. Тридцать три года — это, конечно, не первая молодость, но ведь и ей не восемнадцать, а если еще и впервые, то всегда кажется, что впереди — вечность. У него, как, наверное, и у нее, не обошлось без историй в прошлом. Но разве это имело сейчас какое-нибудь значение. Горький дым удовлетворенного желания лишь слегка опалил их, но не сжег, и, может, только потому они и сберегли себя друг для друга.

Потом он вел ее лесом, лес обступал их все теснее

и теснее, пока, наконец, березовый молодняк не отрезал им пути, и тогда Лашков сказал Груше свои первые, не придуманные заранее слова:

— Пойдем туда, — он неопределенно махнул в сторону узенькой просеки в березняке, — туда, где самое небо.

— Дурачок, неба нету.

— А если пойти?

— Дурачок, ты много выпил.

— Я ни капельки не пьяный. Просто я хочу пойти туда. И — с тобой.

— Ну, пошли, дурачек.

— Будем идти, идти, чтобы лес не кончался. Так и пройдем все сто верст до небес и все лесом, лесом...

— А вот он и весь, лес-то, дурачок.

Они вышли к неглубокому оврагу, за которым тянулась парковая изгородь. Василий снял свой новый коверкотовый пиджак и постелил его на траву:

— Давай, Груша, посидим здесь до ночи, а то и до утра.

— Простудимся, дурачок.

Груша все-таки села, а он лег рядом и положил ей голову в колени и стал глядеть над собой. И ему вдруг показалось, будто небо приблизилось к нему настолько, что до него можно дотронуться рукой и написать по нему пальцем, как по запотелому стеклу, любое слово. И он дотронулся и написал, и вышло: «Груша».

— У тебя коленки теплые-теплые... И сердце слышно.

— Дурачок...

— Нет, правда.

— Дурачок...

— Груша, что нам жилья ждать? Хватит нам покуда и моих восьми метров, уместимся.

— А дети пойдут?

— До детей-то, эх, сколько времени.

— И года хватит...

— Груша...

— Что, дурачок?

Она наклонилась над ним. И небо исчезло. И он, утонул в ее глазах, и она растворилась в нем. И мир вокруг них перестал существовать.

Вставая, она со снисходительной лаской сказала:

— А ты говоришь — дети. — И, немного погодя, строго добавила: — Только ты не надсмейся надо мной, я — злая.

— Что ты, Груша!

— Все вы так-то поначалу.

— Что ты, Груша!

— Дурачок... Подымайся, домой пора.

— Ко мне?

— К тебе...

— Правда?

— Правда...

В этот день Груша впервые вошла в лашковскую комнату. Вошла, хозяйственно осмотрелась и сразу же засучила рукава:

— Эх вы, холостяки сычевские. По колено в грязи, а нос — к потолку.

Она хлопотала ухватисто, быстро, со вкусом, но, в то же время, без суеты. Вещам и предметам как бы передавалась ее собственная жизненная устойчивость, и комната под легкой Грушиной рукой постепенно приобретала домовитую осмысленность. Работая, Груша словно любовалась сама собой со стороны, словно чувствовала, как приятно Василию смотреть на нее сейчас, до того каждое ее движение отмечала царственная законченность. А Василий действительно с деликатной робостью новобрачного следил за ней и улыбался счастливо и виновато.

Лунная полоса скользила по комнате — от двери к печи, а в открытую форточку текла музыка. Василий слышал ее всякий раз, когда Храмовы оставляли свои окна открытыми, но если раньше она звучала для него

диковинно и непонятно и вызывала лишь досаду и раздражение, то теперь ему почему-то хотелось заплакать, заплакать просто так, беспричинно.

Груша ушла под утро. После нее остался неистребимый запах стирки и тихие отзвуки ночной музыки.

IX

Они пришли среди ночи в конце мая. Их было трое: бритоголовый в штатском, безликий молчаливый майор и красноармеец с расплывчатым, будто навсегда заспанным лицом. Бритоголовый бегло окинул лашковскую комнату и, не здороваясь, приказал:

— Пойдем сначала в восьмую — к Козлову, будешь за понятого. Там второй найдется?

Двор и раньше не обходили арестами, но обычно их производила милиция и, чаще всего, сам Калинин, а здесь дело явно пахло Лубянкой. Штатский смотрел на хозяина в упор, не мигая, и сквозило в его чуть насмешливым и едва ли не дружелюбном взгляде что-то такое, от чего Лашков вдруг показался себе маленьким, ничтожным, со всех сторон уязвимым, как в плохоньком окопчике в момент снарядного свиста.

Объяснять, что к чему — Никишкину не пришлось. Едва взглянув на гостей, он напряженно потемнел и соответственно образом весь подобрался, чем сразу как бы приобщи́л себя к тому, что должно сейчас совершиться.

— Сюда, — кивнул Никишкин в глубь коридора. — Спит, голубок.

Он сообщнически скосил глаза в сторону бритоголового, однако тот, проходя вперед, даже не удостоил его взглядом. Но не успел гость сделать и трех шагов, как дверь в кабинете Козлова широко распахнулась, и навстречу ему вышел сам хозяин, туго затянутый в свою обычную военспецовскую пару, запроваленную в начищенные до зеркального блеска сапоги.

— Прошу вас, господа! — На этот раз старик не осекся и в слове «господа» отчеканил каждый слог, недвусмысленно давая понять тем самым, что он в полной мере отдает себе отчет в предстоящем, но что именно поэтому и не намерен ничем поступиться, — я готов.

Его тоном, его горьким высокомерием и этой вот иронической обреченностью и определилась атмосфера ареста: гости стали тише, скупее в движениях и разговорах, работая быстро и деловито. И всякий раз, чуть только возникала нужда, штатский обращался к хозяину не иначе, как по имени-отчеству, что уже само по себе должно было отличить в глазах окружающих бывшего полковника и военспеца от простых смертных. И когда Никишкин, с язвительной гримасой разглядывая корешок изъятой книги, вознамерился было высказаться, штатский подошел к нему, молча взял книгу у него из рук, положил на место и одним лишь быстрым, как ожог, взглядом исподлобья заставил его отступить к самой двери и стушеваться.

Пока составлялся акт описи на случай конфискации и майор знакомил понятых с условиями свидетельства, между хозяином и бритоголовым происходил отрывистый, похожий на перестрелку, разговор:

— Что прикажете взять с собой?

— Пару белья.

— И все?

— А больше — зачем?

— Вы так скоры на руку?

— Некогда, Пров Аристархович, некогда.

— Туалетная мелочь?

— Как хотите.

— Подворотнички?

— Вы же серьезный человек, Пров Аристархович, — тяжело усмехнулся гость, — ну, зачем, скажите, попу гармонь?

— Вам этого, молодой человек, конечно, не понять,

вы — матерьялист. Но офицеры русской гвардии стараются умирать в чистых подворотничках.

В течение часа все было кончено. Перед тем, как выйти, Козлов медленно — вещь за вещь — оглядел комнату, при этом острый кадык его несколько раз дернулся, будто он хотел слотнуть что-то и не мог.

На лестничной площадке штатский кивнул майору:

— Веди, а там, — он указал глазами выше, — я один справлюсь. — И тут же повернулся к понятным. — А вы за мной, в девятую.

Кровь бросилась Лашкову в голову и застучала в висках: «Не к дурочке же Храмовой!»

Два пролета. Ровно двадцать четыре ступеньки. Минута ходу. Но эта минута, как нить через иглу, проряднула сквозь него такой стремительно жгучий хоро-вод мыслей, какого хватило бы ему не на одну бессонную ночь.

Он, конечно, жалел военспеца: безобидный, малость чудаковатый старик. Дворник мог посочувствовать ему, подивиться его выдержке, в конце концов, принять в нем посильное участие, но никогда судьба бывшего полковника не могла иметь к нему такого кровного касательства, как судьба рабочего Алексея Горева. Их мозоли имели одинаковый цвет и запах. Они уже успели съесть достаточно соли и выпить четвертинок под пиво с воблой. Ко всему — им предстояло породниться. Поэтому, когда штатский небрежно этак, носком ботинка постучал в девятую, Лашков впервые ощутил, как, все нарастая, в нем поднимается волна удушливого бешенства и, охваченный почти непреодолимым желанием броситься на бритоголового, подмять под себя его и его уверенность, и его вот эту по-кошачьи победную усмешку, он отвернулся и схватился за перила, чтобы перебороть искушение.

А тот уже стоял перед Горевым:

— Собирайся, Горев. Разговор к тебе есть и — долгий.

Здесь он вел себя куда свободнее, чем у Козлова: шумно рылся в комодных ящиках, походя листал и сбрасывал на пол книги с этажерки, мельком с брезгливой небрежностью заглянул в шкаф; потом сел прямо против хозяина и поторопил:

— Живей, Горев, некогда.

Но тот, обуваясь, все никак не мог попасть ногой в ботинок. Ботинок упрямо выскользывал у него из-под ноги.

Феня, прижимаясь к простенку между окон, мелко, всем телом тряслась, а Груша смотрела на брата из-под надвинутого на самые глаза одеяла строго и вроде бы даже осуждающе.

То и дело облизывая сухие губы, Алексей успокаивал жену:

— Разберутся, Феня, разберутся... Ты, главное, держись. А я — скоро... Вот увидишь... Бывает... Разберутся...

Но по тому, как сосредоточенно застегивал Горев пуговицы косоворотки, избегая сестриного взгляда, было видно, что успокаивает он скорее себя, чем жену, и что ему самому в свое скорое возвращение верится мало.

Проснулся Сережка — горевский первенец, но не плакал, а в детском недоумении поочередно рассматривал ночных гостей и обиженно морщил нос. Отец подошел к Сережке и, взъерошив ему волосы, сказал:

— Спи, Серега, в воскресенье в зоопарк пойдем.

Сын проводил его до двери взглядом, окрашенным настороженной вопросительностью. Так дети смотрят на покойников: еще не осознавая, но уже безотчетно чувствуя жуткое таинство происходящего.

Спускаясь по лестнице, Горев обернулся к другу:

— Ты, Вася, тут присмотри за моими. Сочтемся... Гора с горой...

— Брось, какие расчеты?

— Разберутся...

— Разберутся, — согласился Лашков, но, перехватив насмешливый взгляд бритоголового, повторил уже без особой уверенности: — Разберутся..

Ночь пахла дымом остывающих печей и сквозными тополями. За ближними домами, на товарной станции гулко перекликались паровозы. Фонарь над воротами выхватывал у темноты островок мокрой от недавнего дождя мостовой, и вся улица — из конца в конец — была по ранжиру усеяна такими же островками. В их блестящей поверхности, трепетно колеблясь, надламывались тени. Ночь и ночь, как вчера, как позавчера, как в такое же время года пять и десять лет назад, но когда номерной огонек машины, прерывисто помаячив, растворился во тьме, Василий всем своим существом проникся ощущением какой-то куда более важной для себя и невозвратимой потери, чем просто Алексей Горев.

Никишкин, весь еще в азарте происшедшего, шуршал над лашковским ухом:

— Всех, всех под корень. Выведем. Мы дрались, кровь проливали, а им — не по носу. Не нравится, получай, голубок, девять грамм.

Василию стало трудно дышать. Скажи Никишкин еще хоть слово, дворник, снова охваченный недавним бешенством, наверно, затоптал бы его. Но тот, словно предугадывая недоброе, замолчал, и Лашков шагнул в ночь. Оттуда — со светового островка, сквозь яростное гудение в ушах, к нему пробилось Никишкинское приглашение:

— Слышь, Лашков, зашел бы, что ли, как-нибудь чайку попить! Покалякаем, в лото сыграем.

Василий подумал: «Гад». И не ответил.

Х

Василий потянул на себя входную дверь, и из-под низких сводов бутырской приемной обрушилась на него дробная разноголосица людской мешанины. Какая-то

властная сила двигала этим разноцветным круговоротом в четырех грязно-серых стенах полуподвального зала, где навряд ли можно было выловить хотя бы одно осмысленное слово или отдельное лицо. Все слова нанизывались, как листья на стержень, на единственную ноту, и все лица имели цельный облик: казалось, сама беда изворачивалась здесь, забранная решетками и кирпичной толщей.

Усиленно работая локтями, Лашков проложил Груше и Фене дорогу к нужному окошку и занял очередь. Пожалуй, только тут, растворяясь в стонущей колготне, обе женщины в полной мере осознали случившееся с ними. И если вчера, даже не вчера, а всего час назад в них тлела надежда, то сейчас от нее не осталось и следа: слишком маленькой и незначительной увиделась им собственная потеря, чтобы о ней пришло в голову кому-либо печься, кроме них самих. Феня, как-то сразу окончательно погаснув, стала еще тише и бесцветней, а Груша, уйдя в себя, внешне обмякла и присмирела.

Впереди Василия стояла женщина в берете и темном шелковом платье, отороченном по воротнику убористыми кружевами: затерянный остров строгой тишины в горестном море сумятицы. Было что-то от иконы в ее простой и величавой законченности. Она спокойно оглядывала зал большими выпуклыми глазами, но в их, казалось бы, навсегда устоявшейся невозмутимости таилось что-то такое, от чего охотников заговаривать с ней находилось мало.

Только соседка женщины по очереди — испитая пигалица в мужском пиджаке, — бегло стреляя по стономам оголтелыми глазами, верещала рядом с ней:

— Вот попал, черт шелудивый, а я с тремя живи, — и все колготят; хлеба! И иде я его возьму, хлеба-то? Жилы они из меня все вытянули. А я ведь и не в летах вовсе.

Мелкое, опущенное книзу лицо ее напряглось, жилы на птичьей шее вздулись, и можно было подумать,

что их из нее действительно долго и старательно вытягивали.

Женщина в берете сказала вполголоса:

— Зачем вы? Не надо. Им там еще тяжелее.

Но та словно только и ждала ответного слова, чтобы дать волю источавшей ее, как ржа бросовое железо, злости:

— Вам сно, конечно, что! В шелках ходить — не волком выть. Руки вон какие непочатые. А вы в мою шкуру влезьте, не таким голосом запоете. Вашим-то и сидеть не в тяжесть — за свое грызетесь, а мой зачем полез?.. Сладкой жизни захотелось? А она была, да вся вышла...

Соседка коротко, но круто оборвала ее:

— Квартира моя опечатана. Я ночую у знакомых. Так что это платье на мне — единственное... И потом, неужели и в беде вы не можете забыть, у кого чего больше... Тогда лучше и не жить вовсе.

— С капиталом-то...

— У меня нет капитала, — внятно сказала женщина в берете, — я — поэт.

— Чтой-то, — растерянно пошарила по ней глазами баба, — это — как?

— Я слагаю стихи, — объяснила женщина и умолкла, и выпуклые глаза ее тронула усталость. — Извините.

— А! — вроде разочарованно протянула питалица, но когда смысл сказанного, наконец, дошел до нее, она снова встрепенулась и, неожиданно потемнев, просто, без прежнего раздражения спросила:

— А про это вот можете?

Прежде, чем ответить, женщина медленно провела рукой по лицу, будто снимая с него невидимый никому покров, и лишь после этого тихо и просто ответила:

— Могу.

И столько вдумчивой уверенности было в ее голосе, столько внутреннего проникновения, что она сразу же

словно огородила себя от царившей вокруг суеты, и все рядом с ней отрешенно затихли, глядя на нее как бы с другого берега.

Дома Василия ждала записка: «Зайди. Есть разговор. Калинин».

Участковый жил напротив, в старом деревянном доме с подпорками по всей лицевой стороне. Когда Лашков вошел, тот, в галифе и тапочках, рассказывал по комнате, на ходу припадая время от времени к литровой эмалированной кружке.

— Садись. — Он пододвинул гостю стул. — Вот, понимаешь, батя сала собачьего удружил из деревни... Глотаю. Говорят, помогает... Дрянь такая, что не приведи, Господи...

Уже по одному тому, что Калинин, против обыкновения, начал издавека, Василий предположил худшее, но, вдруг решившись, бросился, как в омут:

— Ладно, Александр Петрович, что тянуть — выкладывай, не маленькие ведь.

Тот, тяжело крикнув, сел за стол. Отставил кружку в сторону и, с трудом складывая непослушные слова, заговорил:

— Понимаешь, какая штука, Лашков... Как бы это тебе...

— Не тяни душу, Александр Петрович!

— В общем, заходил тут ко мне один, интересовался: кто, мол, да что, мол, ты такое... И в каких, мол, этот самый Лашков отношениях с семьей Горевых... Я ему, конечно, втолковал, что к чему, но, сам понимаешь, с ними не поговоришь много...

— Я сам себе хозяин... Я из-под Чарджоу две огнестрельных вывез. Тебе ли меня не знать, Александр Петрович!

Калинин угрюмо засопел:

— Заруби, Лашков, не таких, как ты, нынче к стенке ставят. Там не спрашивают: сколько у тебя огнестрельных, а сколько осколочных? Там спрашивают: где и когда завербован? И знаешь — как?.. Вот то-то.

Василию вдруг вспомнилась та памятная майская ночь и бритоголовый в штатском, и его усмешливое дружелюбие, от которого холодело сердце, и зябкая жуть свела ему спину. Сглатывая горький комок, подступивший к горлу, он сипло спросил участкового, даже, вернее, не его, а себя:

— А как же она? Она — как?

— Ну, скажи: до выяснения, мол... Совсем возьмут — лучше ей будет? Баба она — дошлая, поймет.

— А, может, пронесет?

Калинин даже сплюнул в сердцах и встал:

— Тогда — пока. Я — тебе не советчик. Только когда пулю будешь у них Христа ради выпрашивать, вспомни этот разговор. Вот что.

Участковый снова заходил по комнате — сухой и взъерошенный, как апрельский дятел, и, хотя был явно раздосадован, не удержался-таки, крикнул дворнику вдогонку:

— Пошлевели мозгами, Василий, я тебе не враг!

До позднего вечера просидел Василий на своей койке, стиснув голову руками. «Мамочка моя рбдная! — думал он. — За что это мне все? Разве мало того, что было? Разве не выстрадал я себе каплю радости? Кому я встал поперек дороги?»

И многое вспомнилось ему тогда: и ночные бдения старухи Шоколинист, и храмовская история, и арест Горева, и еще немало другого. И его одолела мучительная мысль о существовании некоего Одного, чьей мстительной волей разрушалось всякое подобие покоя. И Лашкову стало невыносимо страшно от собственной

беспомощности перед Ним. И тягостное опустошение захлестнуло его. И он мутно забылся...

— Сумерничаешь? — Груша вошла, зажгла свет и сразу заполнила комнату собой, запахом стирки и своим уверенным размахом. — Заболел, что ли? — Она села, полюбив его. — Ну, чего стряслось?

Он ткнулся головой в ее теплые колени и тонко, по-детски всхлипнул. Она потеревала его волосы:

— Ну что, что, дурачок? С лишнего всегда на слезу тянет. — Последние слова Груша произнесла без прежней уверенности, словно в предчувствии недоброго. — Пить тебе меньше надо.

Он молвил, как выдохнул после удушья:

— Повременить нам надо... Врозь побыть...

— Зачем? — захлебнулась она. — Как — врозь?

Путаясь и горячась, Лашков передал ей суть своего разговора с участковым. Груша слушала молча, не перебивая. Невидящими глазами всматривалась она в ночь за окном и, казалось, даже не вникала в смысл его речи, но едва он кончил, резко поднялась:

— Так, Лашков, так, Вася, — отчеканила она. — Так. Выходит, о шкуре своей печешься? А я как? — Она невольно повторила вопрос, заданный им Калинину. — Как я? Поматросил и бросил. Наше вам, мол, с кисточкой? Спасибо, Вася, только временить и ждать тебя я не собираюсь... Живи сусликом, а я свою долю найду.

Груша шагнула за порог, Василий было рванулся за ней, но она внезапно обернулась и опалила его взглядом, полным злой горечи:

— Не ходи за мной, Лашков. Теперь хоть брюхом двор вымети, не вернусь. Эх ты, красный герой!

Ему показалось, что захлопнулась не дверь, а что-то в нем. И наглухо. И надолго.

XI

Левушкин ввалился к дворнику, еле держась на ногах, и прямо с порога бросился целоваться:

— Вася, друг! Хоть одна живая душа на весь ящик... Прости меня, родной... Надрались мы тут нынче с Арнольдычем... Симке-то пять лет дали... Вот оно как получается... Не могу я, не могу, вот тут, — он ткнул себя кулаком под сердце, — саднит... Тоска съела... На Волгу меня артель одна зовет... Поеду!.. Тошно, Вася, то-шно... У волков и то, видно, легче... Прости, родной... Пойдем, мы с Арнольдычем тут сообразили литровую...

Мутные, без проблеска глаза плотника, свинцово отяжелев, воспаленно осоловели, всклокоченная голова вихлялась, и весь он, как бы лишившись основы, на какую нанизано самое существо, держался расслабленно и вяло.

Василий тягостно вздохнул:

— Зачем ты так, Ваня?

— Тошно, родимый, тошно!

— А все — как?

— Всех и жалко... Шерстью людская душа обрастает... Рази это по Богу? Куда деваться?..

— Вот, на Волгу тебя зовут, валяй. Может, легче станет. А так ведь и до белой горячки недолго.

Левушкин приложил палец к губам:

— Т-с-с, Вася, сам боюсь... Да ведь одна живем! Пошли, Вася, будь другом, за компанию.

— Пошли...

В храмовском чулане стоял дым коромыслом. За столом, уставленным батареей разномастных бутылок и случайной закуской, одиноко восседал Лева Храмов и, подперев ладонью подбородок, пьяно жаловался самому себе:

— Вот так, Лев Храмов... Они не сверяют любовь

по Шекспиру, они сверяют любовь по уголовному кодексу. Им некогда, они спешат... На свете еще очень много чужого... Какое им дело до тебя, Лев Храмов, а тем более до Шекспира! Из Шекспира не сварить ваксы и не сошьешь сапог... А им нужно только съедобное... Так пусть они сожрут твое сердце, Лев Храмов! Или, например, душу... — Здесь он встрепенулся навстречу гостю. — А, Василий, заходите, друг мой, не стесняйтесь... Справляем вот, с Иваном Никитичем, панихиду по России... Здесь — самодеятельность, наливайте сами.

Втроем они в два приема опорожнили бутылку, и Храмов, выгудив из пиджака красненькую, протянул ее Ивану:

— Иван Никитич, не в службу, как говорят, а в дружбу... я бы и сам, но боюсь — не дойду... пустая бутылка стала наводить на меня тоску...

Пока Левушкин оборачивался с его десяткой, актер, глядя на дворника полузакрытыми, как у спящей курицы, глазами, выяснял свои отношения с человечеством:

— Понимаете, Лашков, мы с вами, как бы это вам сказать, живем в стоялом оттоке большого течения. Мы соединены с его общим процессом, мы неотъемлемая его часть, но само течение движется, движется, а мы стоим, стоим, и — распадается... Вы понимаете, Лашков?

— Да, — согласно вздыхал Лашков, не понимая ни слова.

— Что обрекло нас на это распадение? Сима говорит: грех. Но ведь всякое наказание порождает новый грех. И так — до бесконечности. Простейшая геометрическая прогрессия! Вы понимаете, Лашков?

— Да, — снова вздыхал тот, не вникая в смысл храмовской речи: он пытался стаканом накрыть муху и весь ушел в это занятие. — А как же?

Муха, наконец, попала и зажужжала, штурмуя граненые стенки. Зло и с каким-то даже мстительным

сладострастием Василий подумал: «Покрутись-ка теперь, стерва!» Муха, изнемогая, падала, но сразу же поднималась вновь в тщетных поисках выхода. И Василий опять угрюмо ехидничал, но уже вслух:

— Покрути-и-сь!..

— Что? — не понял Храмов.

— Это я так, себе.

— А-а... Так вот, Лашков... Пстой, с чего же это я начал? Ах да!.. Но, в общем-то, вся эта философия гроша ломаного не стоит... Была Сима, и — нету Симы, вот и вся философия... И родись еще миллион шекспиров, правы будут не те, кто пишет стихи, а те, кто пишет законы. А пишут их люди мелкие и ничтожные, у которых не страсть, а страстишка, не любовь, а семейная ячейка... Тьфу, слово-то какое выдумали, как у клопов. И кто пишет! Недоучки-семинаристы, без пяти минут адвокаты, юридические изобретатели перпетуум-мобиле... Ты спроси у любого из них: что ты умеешь делать? И он не ответит... Не ответит!.. Они ничего не умеют делать. Они ничего в своей жалкой жизни не сделали руками. Они разжигают в толпе самые изменчивые страсти, и животный рев этой толпы тешит их неудовлетворенное самолюбие смоковниц... Они говорят: возьми у сытого и насыться, возьми у имущего и оденься, возьми у властвующих и — властвуй... И толпа берет. Толпа в голодной слепоте своей не знает, что хлеба от этого в мире не прибавляется, одежда не вырастает, а власть не становится слаще... Смердяковщина захлестнула Россию. Дорогу его величеству, господину Смердякову... Все можно, все дозволено!.. Фомы Фомичи вышли делать политику... И они еще спалят мир. Вот увидите, Лашков, спалят... Они и законы составляют, исходя из своей житейской скудости... Им плевать на исторический опыт. Двигатель их законов — эмбриональная эмоциональность. Ежели, к примеру, у него геморрой, он обязательно внесет для геморройных какую-нибудь льготу; одна у него жена, — пишется закон: «Иметь

одну жену и не более»; к детишкам слабость имеет — рожай, бабы, больше; нет детей — культивируй аборт; пьет — гуляй — одна живем; трезвенник — даешь сухой закон!.. А появишься у них скопец в главных законодателях, оскопят нацию... Оскопят!.. И что им какая-то Сима Цыганкова! Они людей на миллионы считают...

Постепенно трезвея, Храмов произнес последнюю фразу с широко открытыми глазами, твердо и внятно. Лева словно бы уже сейчас видел воочию все, что предрекал, и Василий, до этого тупо глядевший на обреченную муху, внезапно отряхнулся, проникаясь храмовской горечью. Дворник не то чтобы понял актера, нет, чужие слова, как сухие листья, кружились где-то поверх него, но тон, настроение собеседника передавалось ему, и он отрывисто заговорил:

— Я два года по Кара-Кумам басмачей гонял. Вот, — он рванул на себе ворот рубахи, обнажая чуть выше ключицы два бутристых рубца, — они у меня не купленные. А теперь, вроде бы, и дышу по особому распоряжению. Это — порядок?

Друзья говорили долго и каждый о своем. Им было не понять друг друга, слишком уж разнотелая представала перед ними жизнь, но, роднимые болью одного сомнения, они невольно подчинились спасительному инстинкту общности, и потому каждый слушал другого, не перебивая.

Когда вернулся Левушкин, актер, постукивая костяшками пальцев по столу, склонился к Василию:

— Нация гибнет!

А тот упрямо твердил свое:

— Пускай кто хлебнет с мое, а потом лезет мне в душу.

Уже после первой грузно охмелевший плотник уронил голову на стол и, по-детски всхлипывая, затаился:

Бывало, вспашешь пашенку...

Споткнувшись на второй строке, он умолк и неко-

торое время сотрясался всем телом, а вслед за этим повторял слова:

Бывало, вспашешь пашенку...

Храмов ласково гладил его по голове, утешал:

— Что же ты плачешь, Иван Никитич? Что же ты плачешь? Ты же класс-гегемон. Все — твое, а ты — плачешь. Тебе нужно плясать от радости, петь от счастья. Земля — твоя, небо — твое. Исаакиевский собор — тоже. А ты плачешь, Иван Никитич. Или тебе мало? Исаакия мало? Метрополитен бери. Плачешь? Плачет российский мужик. Раньше от розг, теперь — от тоски. Что же случилось с нами, Иван Никитич? Что?

Василий вливал в себя стакан за стаканом, почти не чувствуя горечи и не пьянея. Только свинцовой тяжестью набухало сердце, и в очугуневшем мозгу лениво ворочалась болезненная мысль: «Что ж, и вправду, случилось? Почему плачем?»

Муха под стеклом, наконец, упала, перевернувшись брюхом кверху и затихла.

В дверь, словно кошка, просительно поскребла Люба:

— Ваня, Ванек, иди домой. Ведь завтра худо тебе будет. Иди, выпишись, утром я тебе сама принесу... Дети ведь у тебя, пожалей их хоть.

Иван только невнятно мычал в ответ, а Храмов, еще ворочая языком, пытался его выгородить:

— В чем дело, Любовь Трофимовна, в чем дело? Разве Ивану Никитичу Левушкину нельзя справиться поминки по своему отчеству?.. Это даже его обязанность — представлять на похоронах убитой им старушки... Вы лучше зашли бы, Любовь Трофимовна, и украсили наше общество. Скучно без женщины... Скучно без женщины... Скучно и нудно...

Василия потянуло на воздух, он поднялся и вышел к Любе. В темноте они нечаянно столкнулись, и Лашков против воли обхватил Любины плечи и хотел было, после первого замешательства, уже отпустить ее, но она,

по-своему определив его движение, вся подалась к нему и покорно пролепетала:

— Только быстрее...

В этой покорности было что-то отталкивающее, и потому, когда пришло опустошение, он только и мог сказать ей:

— Ладно, иди. Свалится, я его сам приведу.

Люба ушла, а он потащился во флигельный палисадник и лег там, прямо в мокрые от первой росы цветы.

Сквозь горячечную дрёму Василий еще слышал, как плотник ползал на карачках под своим окном и стонал:

— Люба, рассолу!

Храмов заученно вторил ему:

— Нация гибнет!

— Любушка, нацеди-и!

— Нация...

— Рассолу-у-у!

Это и было последнее, что дошло до него перед забытьем.

XII

Прижатые низким небом почти к самым крышам, над городом текли птичьи станицы. День — с утра до вечера — захлебывался их гортанным клекотом. Хрупкие листья шелестящими стайками кружились по двору. Лашков смотрел в окно, вслушиваясь во вкрадчивую сентябрьскую поступь, и мутное равнодушие ко всему, словно вода вату, пропитывало его. Дни тянулись медленно и тускло, и он все свободные часы убивал время, играя безо всякого, впрочем, азарта и интереса со Штабелем в подкидного дурака. Мир постепенно обезличивался в его глазах, предметы теряли обособленные черты, все вокруг сливалось в мельтешащий хаос, в котором Штабель становился похожим на бубнового короля, а тополевы́й лист — на туза виновой масти. И — наоборот.

Тасуя колоду, водопроводчик жаловался ему:

— Не понимай, что русски за шеловьек? Вшера говориль: «Гдье будит заниматься мюзика мой девошка?» Сегодня — тащиль фортепяно продаваль...

Только чтобы поддержать разговор, Василий хмуро заметил:

— Жрать-то надо. Музыкой сыт не будешь.

— Рука ест? Голова ест?

— Она, брат, тяжелее туза и валета не держала ни зиму, ни лето. Из нее работник...

— Продаваль вещь — не ест выход. Продаль вещь, потом — што?

— Папертей у нас, слава Богу, еще в достатке.

— Папьертей?!

— Церковь, в общем.

— Ай, ай, — укоризненно цокнул языком Отто, — некарашо. Дочь великий маэстро — нищий... Совсем некарашо... Она даваль мне красенький, говориль: «Помогай, Штабель, отвозить фортепяно». Я отказаль. Я не мог. Я смотрель глаза девошка и не мог. Старуха запер девошка, но я сказаль: «Нет».

— Так, все равно продала. А красенькая — она никогда не в тягость. Прогадал, Штабель.

Водопроводчик сердито поморгал выпуклыми глазами и отбросил от себя колоду.

— Какой — русски люди! Зашем мне красенький? Я не хошу красенький! Отнять у девошка мюзика за красенький. Некарашо, Васья. У тебя добрый душа, Васья, зашем ты так говоришь?.. Ты слюшаль, как она кричаль?

— Слыхал.

— У мне теперь полон уший крик... Бедный девошка.

Да, Василий слышал, как неистовствовала закрытая матерью на ключ Оля Храмова, когда из квартиры выносили пианино, но чужая боль, которую он ко всему прочему считал простой барской дурью, не могла сейчас

вызвать в нем отзвука: слишком уж сильно оглушила его своя собственная. Дворник отвечал Штабелю, лишь бы не обидеть друга, но смысл разговора едва доходил до него.

Он машинально раскидывал карты на две кучки для новой партии, когда во двор черным жучком вползла новенькая с иголки «эмка». Лашков, усмехаясь, смотрел, как «эмка» долго и неуклюже разворачивалась, пытаясь подъехать к самому парадному, но дворовая площадка оказалась мала для ее широких крыльев, и машина, с треском упершись передним колесом во флигельный палисадник, прямо против лашковских окон, заглохла. Дворник бросился к окну — выругать водителя и уже распахнул было оконную створку, но тут же резко поперхнулся: из «эмки» выбралась подержанная под локоть в меру лысым и не в меру пьяным комбригом Груша Горева.

Хмельная выше всякого предела, в темном крепдешиновом и явно с чужого плеча платье и туфлях на высоких каблуках, она, пошатываясь, сделала шаг к парадному, но вдруг живо обернулась и схватилась за изгородь палисадника. И высвеченные злой искрой глаза ее приклеили Василия к месту:

— Гляди, Вася, гляди во все zenки свои. Думал, небось, пропаду? Ан вот и не пропала. На машине ездию, шоколадки ем, ликером запиваю. Не с твоим рылом ко мне соваться. Командиры увиваются, не тебе чета. Я еще на тебя и не так наплюю. Будешь нужники за мной выносить. — Она начала хмельным речитативом, но вскоре голос ее тоскливо надломился и перешел в визгливый крик. — Кусай себе локти, Лашков... Приснилась тебе — шелудивому — такая девка, как я... Не укусишь!

— Аграфена Михайловна, Аграфена Михайловна! — опасно поглядывая по сторонам, отдирает ее от изгороди заметно отрезвевший комбриг. — Ну, куда это годится! Такая уважительная женщина и вдруг такое

несообразие... Сами пригласили, а теперь... Аграфена Михайловна, я вас прошу...

Растерянным коlobком комбриг вертелся возле нее, но Груша бесцеремонно стряхивала с себя его руки, и он отступал и, обложенный со всех сторон стрельбой отворяемых форточек и ставен, затравленно озирался.

Выбежала Феня — распатланная и жалкая — и, просительно оглаживая Грушину спину, залепетала стенающей скороговоркой:

— Что же ты с собой делаешь, Груша! Стыд-то какой... Берись за меня, Грушенька, пошли домой... Я тебя чаем напою... Люди ведь смотрят, Груша!

— А что мне люди! — даже не обернувшись в сторону невестки, огрызнулась та. — Я им — что — должна, что ли? — Она вызывающе обвела двор мутным остекляевшим взглядом. — Чего смотрите, как сычи? Ну, кто святой, плюнь на меня... Может, ты, Никишкин? Сколько душ еще продал? Может, ты, Цыганкова? Передачки-то родной дочери носишь? Или все к Богу ходишь, как в исполком — на бедность просить?.. А ты что, старая карга, губами жуешь? Царя обратно дожидаться, по миру сызнава нас пустить хочешь? На-ка вот шиш с маслом, сдохнешь!

Ставни захлопывались, словно проставляли точки после каждого ее вскрика: в отношении личного нравственного хозяйства во дворе проживало мало любителей гласности.

Стоя у окна, Василий как бы омертвел, будучи не в состоянии сдвинуться с места, уйти от Грушиных слов и глаз, и стыд жаркий, удушливый стыд упорно заполнял его, и провалиться сквозь землю, умереть он почел бы сейчас за счастье.

Штабель коснулся его плеча.

— Без обиды, Васья. Я пошоль. Я сказала ей...

Через минуту Лашков увидел, как, выйдя во двор, водопроводчик подступился к военному, взял его за пуговицу гимнастерки и, накручивая ее, стал чего-то ста-

рательно втолковывать собеседнику. Тот возмущенно отстранялся, махал руками и попытался было даже, в свою очередь, насесть на непрошенного арбитра, но, стиснутый за локоть мертвой штабелевской хваткой, обмяк и нетвердо двинулся к машине. Отто еще с минуты поколдовал у водительского окошка, машина тронулась и, отдавая водопроводчика синей бензиновой гарью, выползла со двора.

Водопроводчик легонько подтолкнул Федосью Гореву к дому, та, не противясь, пошла, а он осторожно взял внезапно затихшую Грушу за плечи, подвел ее к лавочке и усадил рядом с собой. Вначале Груша слушала его лениво и безучастно, потом, с видимой неохотой, стала отвечать ему, но постепенно, все более и более оживляясь, в конце концов, сошлась с собеседником накоротке.

Сумерки придвинулись к лашковскому окну ото всех углов двора, когда Штабель поднялся и взял Грушу за руку, и она послушно пошла с водопроводчиком в котельную. Дворник напряженно следил за ними, еще надеясь в глубине души, что Груша в последний момент раздумает и вернется, и пойдет домой, но она не раздумала и не вернулась, и широкая штабелевская спина заслонила ее от Лашкова. И теперь уже навсегда.

Он даже зажмурился от тоски, саданувшей его под самое сердце, и, отступив от окна, пластом рухнул на койку. Из соседнего двора, словно из другого мира, прорыдал над ним под трехрядный перебор чей-то дребезжащий тенорок:

...Сидит Ваня на печи,
Курит валяный сапог...

XIII

— Василий, Василий, открой, голубчик! Василий!
Старуха Храмова отчаянно барабанила в заметенное поземкой лашковское окно. Он рванул на себя фор-

точку, и тряское, словно студень, водянистого оттенка лицо соседки замельтешило перед ним:

— Помоги, голубчик, я тебе заплачу... Хорошо заплачу. Я не могу с ней справиться. Ее надо в больницу. За ней сейчас приедут, я звонила. Она кричит и мечется... Там Фенины дети... Они тоже кричат... А я — одна... Помоги, голубчик... Я тебе заплачу...

В одиннадцатой царило столпотворение. С широко раскинутыми руками Ольга Храмова кружилась по квартире и тоненько выкрикивала:

— Я — птица, я летаю! Как высоко я летаю! Не мешайте мне! Уйдите все, я — улетаю. — Она, будто слепая, спотыкалась о предметы и вещи, все падало и грохотало вокруг нее. — Я улетаю, не забивайте мне в голову гвозди! Мне больно!..

Из-за закрытой двери горевской комнаты Фенины ребята, в два голоса, добросовестным ревом подтягивали соседке.

Она даже не взглянула в сторону вошедших, исчезая в бывшей Левиной комнате и снова появляясь на кухне:

— Отдайте мне мое небо, я хочу улететь... Ах, Боже мой, зачем вы отобрали у меня небо! — И вдруг без всякого перехода: — Почему все молчит? Почему все оглохло? — Она прислонилась ухом к старому шкафу, потом к стене, к печи, к входной двери, твердя тревожно и потерянно: «Не звучит!.. Не звучит!.. Не звучит!..»

Мать, увязываясь за ней, старалась поймать ее руку и жалобно уговаривала:

— Олюшка, цветочек мой, родная моя, все тебе будет, все, что ты захочешь. Только я умоляю тебя, пошли в комнату... Хочешь, я спою тебе, и ты заснешь... Ты же всегда любила, когда я тебе пою... Олюшка, посмотри на маму, я здесь, с тобой... Миленькая, пошли в комнату...

Ольга ускользала от нее, старуха беспокойно оглядывалась на Василия, все еще не решаясь прибегнуть к

его помощи, и вновь принималась за причитания:

— Олюшка, доченька, пожалей свою маму, послушай меня!.. Завтра, если хочешь, мы поедem в лес. Ты же любишь бывать в лесу. Олюшка, не разрывай мне сердца, пошли в комнату... Будь умницей. Ты же всегда была умницей. К тебе это так идет...

Рев за горевскими дверями достиг самой высокой ноты.

Сопротивлялась дурочка с отчаянным остервенением. Прежде чем Василий скрутил ее, она ухитрилась расцарапать ему шею, оборвать пиджачные пуговицы и даже дважды укусить его в плечо, но, связанная по рукам и ногам банными полотенцами, Ольга вскоре затихла, лицо ее прояснилось, и только иссиня-белая пена в уголках губ напоминала о недавнем кризисе. Он смотрел на ее изможденное приступом лицо, на глубоко запавшие глазницы, и его с каждым мгновением все более и более охватывала необъяснимая тревога, которая, свернувшись, наконец, в мысль, озарила душу вéщей догадкой: «Мамочка моя рóдная! Нет человека без своей особой струны. Отними у него эту струну, и останется оболочка немощная и дикая». И Василию сделалось вдруг ощутимо понятным то омертвление, какое постепенно опустошало его в последнее время.

На кухне старуха протянула ему засаленную пятерку:

— Спасибо, голубчик... Господи, и за что только мне наказание в детях такое! Чем я Тебя прогневила?

«А ну тебя к дьяволу с твоей пятеркой», — подумал Василий, но деньги неожиданно даже для самого себя взял и, ко всему, поблагодарил вежливо:

— Спасибо. Ежели что, так крикните.

Во дворе он лицом к лицу столкнулся слевой. Тот, лихорадочно блестя глазами, вцепился в лацкан его пиджака.

— Как там, Василий Васильевич? Лучше?

— Затихла. Сейчас приедут, возьмут.

Они сели на лавочку. Лева ожесточенно тер виски и, глядя в землю, самоунижался:

— Пойду, пойду сейчас же... Не съест же она меня в самом деле! Я — сын ей! Ну, на колени стану, прощенья попрошу... Ах, Олюшка, как-то ты там?.. — Он порывался встать, но Лашков молча брал его за плечи и усаживал на место. — Я, я во всем виноват! Из-за меня мать продала инструмент. Разве я не знал, что им нечем жить, разве я ничего не мог дать?.. Правда, мне казалось, что у матери еще кое-что есть... но что значит — казалось? Себялюбивый изверг!..

— Сам концы с концами еле сводишь.

— Но ведь я один и потом — мужчина. Ах, как это все нехорошо.

За воротами просигналила машина.

— Явились, — сказал, вставая, Лашков и пошел открывать. — Сейчас! — крикнул он, оборачиваясь на пороге к Храмову. — Ты, брат, сиди и не рыпайся, а то, я вижу, как бы еще одну карету вызывать не пришлось.

Двор ожил. В дробной переключке ставен и форточек закружился в дворовом коробе колготной хоровод:

— За кем это?

— Оля-дурочка буянит.

— Давно пора. Все мозги своей пьяниной проела. Хоть меняйся.

— Да она ж тихая.

— Тихая! Второй день над нами потолок ходуном ходит!

— Совсем еще молоденькая!

— Порченная кровь. Бары... Им и молодость не впрок.

— Шанпанское-то боком выходит.

— Помилуй ее, Господи! Эх, грехи, грехи наши.

— Дитев со двора уберите, укусит ненароком!

Лева спрятал голову в колени, заткнул уши и некоторое время сидел так, мерно раскачиваясь, потом пружинисто вскочил и выбежал на середину двора.

— Замолчите, вы! — неистово взвизгнул он. — Слышите, замолчите! Иначе я разобью ваши звериные морды, слышите! Пусть хоть кто-нибудь пикнет. Скоты, скоты, скоты! Навозные черви!

Василий еле усадил его снова, он пытался еще что-то крикнуть, но в это время из парадного вынесли Ольгу, покрытую, как покойница, клейменной больничной простыней, и когда носилки поравнялись с лавочкой, Лева, враз забыв обо всем, судорожно потянулся к сестре:

— Олюшка, как же это ты? Олюшка, а ведь мы с тобой еще в концертах вместе выступать собирались. — Он поплелся за носилками. — А все я, все я... Олюшка-а-а!

Но около машины между ним и носилками встал высокий лопатистообразный блондин, судя по двухбортному халату — врач, и, снисходительно пожеывая мясистыми губами, взял актера за пуговицу плаща:

— Вам, милый, не следует здесь находиться. Вы сами на волосок от этого. Максимум покоя, минимум — эмоций.

Храмов схватил его за руку:

— Скажите, доктор, она скоро вернется домой? Ах, я так виноват перед ней.

— Кто знает, милый, — потускнел тот, — кто знает. Чудеса — не такая уж редкая вещь. — И, уже захопывая дверцу за собой, добавил: — Только спокойнее. Не заставляйте меня заезжать к вам в гости дважды. У вас еще, милый, добрая половина жизни — впереди... Поехали.

Лева сделал несколько шагов вслед за отъезжавшей каретой, потом, повернувшись, побрел было обратно, но здесь столкнулся со стоявшей все это время за его спиной матерью, и как-то само собой получилось, что он уронил склоненную голову ей на плечо, и оба они тихо и облегченно заплакали.

Лашков, глядя, как Храмовы, взявшись за руки, минули двор и скрылись в парадном подъезде дома, прикинул про себя: «Под дрова чуланчик-то приспособить, что ли?»

XIV

Штабель вошел, шумно поставил на стол полбутылки и, не ожидая приглашения, сел:

— Васья, — голос его был тверд и ясен, — я говорил: без обиды. Ты не хотел Грюша, ты — испугаль; я — не испугаль. Я сказала Грюша: «Ставай моя жена». Грюша согласил. Теперь, ты обижаль. — Он укоризненно покачал головой. — Некарашо. Ты — мой друзья. Некарашо.

В ответ Лашков, разделявая селедку, кисло промямлил:

— Да что уж теперь делить-то... Делить-то теперь нечего.

— Слушай сюда, Васья, — рука водопроводчика накрыла его ладонь, — бывай друзья, помогай мне строить дом. Жена котельной — некарашо...

Лашков знал, о чем пойдет речь. Вот уже с неделю водил Отто во двор деловых гостей: то техника из жакта, то пожарного инспектора, то артельных жучков. Гости добросовестно промеряли угол двора между котельной и стеной соседнего строения, потом спускались к гостеприимному истопнику и вскоре выходили оттуда заметно навеселе. А третьего дня от участкового получил дворник уже совсем точные сведения: Штабелю разрешили строиться.

«Да, — подумал про себя Лашков, — вот тебе, Василий Васильевич, бабушка и Юрьев день! Теперь еще и гвоздик в крышечку свою забьешь. И забьешь, Василий Васильевич!»

А вслух сказал:

— Мне не на тебя — на себя обижаться. Что ж мне

перед тобой ломаться, скребет на сердце, но это не в счет. Когда начать думать?

— Выходной. Твой здоровый.

Лашков, не чувствуя ни вкуса, ни жмеля, в два глотка опорожнил стакан и коротко выдохнул:

— Приду...

Василий никогда еще не видел Ивана таким торжественно серьезным. Будто не траншею под фундамент собирался рыть Левушкин, а уходил в дальнюю-дальнюю и неверную дорогу, из которой хоть и надеялся вернуться, но не наверняка. Закладную пил, как причащался. Прежде чем взяться за лопату, он со строгой лаской оглядел всех и тихо заговорил:

— Божье дело начинаем, братцы: дом. Здесь шутики шутить никак нельзя. Такое дело недоделать — грех. И — тяжкий. — Он перекрестился. — С Богом.

Работал он молча, крепко сжав зубы, ни на лопату не отставая от могучего водопроводчика. Тот лишь покряхтывал, стараясь не уступить дотошному плотнику. Прямо против него, на пороге котельной Груша чистила картошку. Она чистила ее, сидя на корточках, и Отто, весело орудуя лопатой, цепко ощупывал ее плотные икры взглядом, в котором светилось ласковое довольство. Груша изредка остуживала его деланной укоризной, но позы не меняла, и видно было, что ей нравится эта их безмолвная игра: тридцативосьмилетний Отто Штабель переживал тот счастливый возраст, когда мужчина, особенно, если он крепок и покладист, вроде него, нравится всем женщинам от пятнадцати до ста.

Василий, глядя на них, не ревновал, нет, обида перегорела в нем, но он все не мог избавиться от ощущения какой-то потери. Потери большой и важной. Ему словно стало вдруг чего-то не хватать для того, чтобы он мог поставить сейчас себя вровень с остальными. И это угнетение не оставляло его до самого вечера.

После шабаша Иван в один мах выбрался из траншеи, достал из топливной ямы полено, приискал в сарае

две бросовых доски, чуть потесал, чуть построгал, и в три удара молотка вырос перед дворовой скамейкой стол — любо посмотреть. Груша только руками развела:

— К таким бы рукам, Ванечка!.. А я-то думала, где и рассядемся-то. Я бы из тебя, родимый, сделала человека.

Иван в ответ только безобидно хохотнул:

— Не обошел Господь. Да и ум, Грушенька, уму — рознь. Есть ум — к делу, а есть — объяснительный, и цена им — одинаковая: один делает, другой объясняет — что к чему. А человеком я и так нахожусь, потому как — на двух ногах. Вот и, не обижайся, выходит во всем твоя неправда.

Последние дневные блики сползали с остывающих крыш. И вечер — тихий, по-июньски умиротворенный, заполнил двор, наливаясь чернильной густотой. Лица становились все неуловимее и неуловимее. Такие вечера располагают к разговору отвлеченному — без текущих злоб и забот.

Затягиваясь после еды цыгаркой, Левушкин мечтательно вздохнул:

— Однако большое это дело — свой дом.

— Да, — веско подтвердил водопроводчик.

Лашков отмолчался.

— Да уж чего лучше? — задумчиво откликнулась Груша. — Своя крыша над головой. Не чужая. Не дареная.

— Дворца не обещаю, — уверенно добавил Левушкин, — но что сто лет простоит — об заклад бьюсь. Такого у тебя и в Вене не было.

Штабель ответил не сразу, а когда ответил, голос его держался на самой глухой ноте:

— Вене мне нишего не биль. Фронт — биль. Плен — биль. Гражданская война — биль. Вене нишего не биль.

— И домой не тянет?

— Нет, — твердо сказал Отто. — Нет.

Груша, поеживаясь, засмеялась:

— Чудаки.

— А я вот не могу, — погрустнел Левушкин, — вспомню, волком выть хочется... Все кругом орут друг на дружку, мельтешат без дела... Суета, одно слово. А там — покой. И работа не в работу: одни удовольствия. А тут и земля, я нынче понюхал, прелой рогожей пахнет... Ох ты, Господи! Уеду.

Лашков не выдержал, съезвил:

— А сын? Ведь хотел, как у Меклера, чтоб на дантиста.

— Меклер — он Меклер и есть. Это по его части — в чужую пасть лазить, а у меня Борька к нашему делу будет приучен.

— Чудаки, — опять, но уже не смеясь, поежилась Груша.

Штабель накрыл ее плечи своим пиджаком и встал.

— Ми пошел спать.

Два темных силуэта слились в один и растворились во тьме.

— Тошно. — Сплюнул плотник на огонек своей цыгарки.

Лашков посочувствовал:

— Тошно.

— Уйду я. Только не в деревню. Нету для меня там жизни. Вот Штабель достроится — и уйду. На заработки подамся. В Крым. Море там... Ты видал море-то хоть?

— Нет, не видал.

— И я не видал. А интерес есть.

— А чего интересу? Вода — и все.

— Поскучнел ты, Вася, нудно с тобой. Ходишь по земле, а — зачем?.. Пока.

Иван зло сплюнул и шагнул от стола.

Уронив голову на стол, дворник сидел и думал, и все думы его начинались с левушкинского «Зачем?»

Русло воспоминаний расходилось протоками и ручейками, теряясь где-то у самых истоков детства.

Действительно, как и зачем прожил он свои теперешние тридцать девять лет? Куда шел? Чего искал? Плыл ли он хоть раз в жизни против течения? Один раз — в юности, когда ушел из дому на шахту. Всё бросил: теплый угол, братенино высокое покровительство и жены его — тихой Марии — вершковые сапоги. Слесарил. За инструмент брался — сердце пело. В армию шел, будто на именины. Послали в пески — басмачей гнать. Басмач — враг. Значит — бей, значит — дави, значит — не давай пощады. Но в лицо этого врага довелось ему увидеть только однажды. И было тому врагу от силы лет семнадцать. И лежал этот самый враг у его, Василия, ног, простреленный навывлет из его, Василия, карабина. И что-то тогда обуглилось в нем, застыло навсегда. Тупо смотрел он на еще не высохшие капельки пота над безусой губой туркмена, и всё никак, помнится, не мог заставить себя отвернуться. Долго еще потом мерещились Василию эти капельки. Демобилизовался он по чистой с изуродованным предплечьем и выбитой в суставе ногой. И какая-то томительная тоска начала грызть его изнутри. В двадцать три определился дворником. Дела не было? Было. Просто подвернулся под руку жактовскому дельцу: метлу в зубы, бляху — на фартук. Гуляй по двору и — не тужи. Ни мечты — позади, ни привязанности. Чуть согрело его случайной долей и от той отказался — хлопоты напугали. А и хлопотам-то тем цена три копейки. Даже — меньше...

Ночь зашуршала над лашковским ухом: кто-то брел по двору. Темное пятно двигалось прямо на него, и все явственней, все отчетливей становилось характерное бормотание старухи Шоколинист.

— Хоть гвоздиком поживиться, хоть дощечку взять... Антихристы! По щепочке, по камушку свое заберу...

Василий и раньше знал за ней эту слабость — со-

бирать и стаскивать к себе разный хлам, — но только сейчас понял, какая страсть, какая корысть владела постоянно старухой. И ему почему-то сразу вспомнились капельки над безусой губой молоденького туркмена в грязной папахе. И ослепительное мгновение озарило истощенным вопросом: «Чего же мы не поделили? Чего?»

XV

Лашков любил ту часть утра, когда солнце еще не поднялось, но все уже полно им. Резкие гудки маневровых паровозов, переключка птиц, цоканье копыт о мостовую — все это слышалось и ощущалось дворником в такое время с оголенной отчетливостью: мир словно бы разговаривал с ним наедине. Участок ему достался небольшой — метров тридцать тротуара и столько же булыжника — управиться со всем хватало и получаса. А потом он садился на лавочку, будто окунался в самую тишину, и обманчивое чувство покоя властно заполняло его. Казалось, ничего никогда не было и ничего никогда не будет, а есть — испокон веков — только эта вот долгая предсолнечная тишина, и он — в ней.

Но сегодня, едва Василий отставил метлу, во двор, хозяйственно озираясь, вошел и встал посреди высокий сутулый бородач, судя по разношерстной и трепаной одежде, из пешей и, к тому же, дальней дороги. Опершись на палку, он чуть постоял, цепко оглядел двор и кивнул Лашкову:

— Здоров, Василий Васильев! Замятовал, небось?

Лашков даже привстал от неожиданности: Степана Цыганкова можно было разглядеть, как попа, в любой рогожке. Степан пропал тогда же — после валовской истории — и на восемь лет словно в воду канул. Правда, Калинин когда-то оговорился походя, что, мол, цыганковский батя в домзаке еще срок заработал, — и

большой, — но толком не объяснил, в чем дело, и о Степане вскоре забыли.

— Здоров, — растерянно ткнул ему руку дворник. — Тебя, Степан Трофимыч, уж ты извини, похоронили сто раз. Жена за упокой поминает.

Он узнавал и не узнавал соседа: цыганковская порода сказывалась во всем: в медвежьей могучности, в наспех, зато щедро, вырубленном лице, в лопатистой мощи ладони. Но говорил Степан, противу обычного, уверенно, со вдумчивым проникновением, и глаза его были высвечены изнутри тихим и ровным светом.

— Посижу маненько с тобой, Василий, — проговорил Цыганков, умащивая между ног котомку, — да и ходу. В Москве нашему брату — под замком палаты...

— Что так?

— Паспорт не тот: со статьей.

— Зашел бы к своим. Хоть на день. Я уж участкового-то уломаю.

— Зачем? Похоронили, оно и к лучшему. Живы, небось?

— Все живы, вроде... Меньшая только твоя...

— Чего?

— В отсидке.

Степан отнесся к известию с прежней уверенной покорностью, словно все это было ему заранее известно и в свои сроки предусмотрено, а потому не так уж и важно. Он только обхватил ладонями палку и уперся в них подбородком:

— Поутикли?

— Пора. Тихон жену привел. Прибавление ожидается.

— Ишь, ты. — Степан усмешливо прищурился. — Внуком, значит, обзавожусь. Ничего, и без такого деда проживет.

— Может, хоть старуху вызвать?

— Как она?

— В церковь зачастила.

— Что это за дворец такой, — Степан кивнул в сторону уже выросшего на четверть штабелевского строения, — о трех ногах?

— Водопроводчик строится... Женился...

— Вот так-то, Василий Васильев, перетряхнут нас, собьют с панталыку, мы и взбесимся, и мечемся сослепу. Ни Бог, ни черт не разберет: куда летим, чего хотим? А глядишь, и отстаивается все кругом сызнава, входит в свою колею. Людишек рожают, церкви поют, дома поднимаются — всяк к своей доле приходит. Можно сказать: перенесение святых мощей из кабака в полицию... Старцы говорят, это всегда эдак у нас: верх — сам по себе, низ — сам по себе... И токмо мы — спервоначалу перетряхнутые — уже ни к селу, ни к городу... А другой чудак сел наверху и тешится: распотрошил Рассею. А она, родимая, токмо и сделала, что замутилась, и сызнава текет, как сто лет тому...

— А что же нам-то?

— Да ты меньше думай и не сиди на одном месте. Сколько тебе веку-то! Встал бы, срубил посох поупористей и айда за Урал, али в степи.

И так вдруг легко показалось Василию это сделать, так просто, что он прямо-таки задохнулся неожиданно дареным откровением: «Взять да и впрямь пойти куда-нибудь. Хоть одному, а то и с Левушкиным. Ведь никто тебя, сукиного сына, не держит». Но за последнюю же мысль уцепилось сомнение, следом — другое, третье, и через минуту недавнее воодушевление свое уже виделось ему блажью.

— Куда идти-то? Идти-то некуда. Везде одинаково. Да и теперь много не походишь, враз место найдут.

— Так и там люди живут, и там ума набрать можно. Это токмо малых детей «местом» пугать пристало. Гляди, вот я — весь, не съели ведь.

— А где же побыл-то, Степан Трофимыч? — Лашков, намеренно ускользя от тяжкого для себя разгово-

ра, вцепился в последнюю цыганковскую фразу. — Видать, помяло?

— Побыл. Помяло, — неопределенно откликнулся тот и, словно засыпая, закрыл глаза и клюнул носом. — Всякое было. — Он снова поднял голову и, проникая соседа в упор, суховаато отрезал: — Я, Василий Васильев, там людскую душу загубил.

Этой своей резкой откровенностью Цыганков как бы определял, что ему скрывать от людей нечего, и что собеседник соответственно может решить для себя, каким образом с ним держаться.

И все, чем переполнился в эту минуту Василий, вылилось у него в тихий вопрос:

— А теперь куда, Степа?

— Лето на ущерб пошло. К теплу пробираться буду. В Кутаисе презимую, али в Батуме.

— Может, зайдешь ко мне, перекусишь, и стопка найдется.

— Не балуюсь после того. — Это степаново «после того» пронизано было сожалительной горестью, и Лашков вновь, как и давеча, проникся вдруг тяжестью, какую носит по свету этот, еще недавно совсем чужой для него человек. — А харчишки у меня водятся. Я все больше деревнями иду, а там с моими руками не оголодаешь... Не обессудь, не побрезговал бы, сам знаешь, а боюсь... Живут покойно, и слава Богу.

Он тяжело оперся на палку, встал и еще раз оглядел двор:

— Часом и сам себе не веришь, что жил тут, что жена есть, дети, что кузня была. Вроде, и не было ничего такого, и, вроде, живу я странником — Божьим человеком — сколько земле сроку. Чудно!

Сила, куда более властная, чем простое людское расположение, толкнула их друг к другу, и они обнялись. И, как насмерть обиженным детям, стало им от этого объятия, хоть и на короткое мгновение, но теплее и просторнее на свете.

Степан — высокий и размашистый — шагнул на тротуар и, будто подстерегавшее странника, под ноги ему из-за крыши выкатилось солнце.

XVI

Дом водопроводчика поднимался, как на дрожжах: ряд за рядом, ряд за рядом, и — честь честью — из первосортного огнеупора, в два с половиной кирпича, и, вдобавок ко всему, «под расшивку».

Сходил Иван на соседнюю стройку пару раз, перекинулся словом с мастерами, постоял у одного-другого за подручного, — и радуйся, Отто Штабель! — двинулось вверх его жилье от ловкой левушкинской руки. Водопроводчик только улыбался и удивленно качал головой, стоя подручным около него. Василий внизу готовил раствор, и Левушкин смотрел на друга сверху и подмигивал, и подсобнику передавалась эта его стремительная легкость, с какой покорял тот любое дело.

Лева Храмов, напросившийся водоносом, обхватив коленку, сидел на лавочке и ошарашенно покачивался в такт Ивановым движениям.

— Иван Кириллыч, — вдруг сказал он, и голос его был настоен восторгом и удивлением, — Иван Кириллыч, ведь это ж симфония, а не просто работа! Ведь твоим рукам памятник нужно поставить. Я не шучу, Иван Кириллыч, честное слово, не шучу. У тебя будто машинки волшебные вместо рук: что захочешь, то и сделают.

— А что, — довольно хмыкнул польщенный плотник, — и за мое почтение, и сделают.

— В тебе же, наверное, Микеланджело умирает, Иван Кириллыч, Челлини!

Левушкин не понял, но почувствовал, что опять-таки хвалят, и потому движения его стали еще более законченны и ловки.

— Куда нам до заграничных, — между делом покочетничал он, — куда нам в лаптях до них в калошах. Мы так, або не обвалилось. — И ослабившись Груше, хлопотавшей вокруг стола, лихо спрыгнул с лесов. — Перекур с дремотой!

Но не успели они рассесться, как во дворе, в сопровождении участкового и пожарника с портфелем, появился Никишкин. Он шел прямо к строению, шел, будто полководец на смотре — на шаг впереди сопровождавших, шел, припечатывая каблуками землю, и каждый его шаг предвещал угрозу и вызов, и колючие глаза были исполнены решимости.

— Да, — обескураженно почесал в затылке Василий, — летит птица.

Штабель поднялся и, выйдя навстречу гостям, встал между ними и домом:

— Я слушаю вас.

Левушкин осторожно отстранил встревоженно застывшую на месте Грушу и тоже вышел из-за стола:

— Что этот ворон надумал? Тута все по закону. Не подкопаешься.

Никишкин едва лишь краем глаза окинул водопроводчика с головы до ног и, поворачиваясь поочередно то к пожарному, то к участковому, будто только эти двое и были здесь стоящими собеседниками, заговорил:

— Вчерась вечером сам промерял: ровно шесть метров. На цельный метр больше, чем в разрешении. С умыслом — несознательность. Хапнуть все нороят лишнего, а на других плевать. Вот я, к примеру, сараюшку хочу поставить для всякой там шурум-бурум. Чего же рядом с выгребной ямой я ее ставить буду?

Он выложил свою претензию единым духом и лишь после этого удостоил штабелевское воинство взглядом, исполненным победного вызова.

При гробовом молчании испитой пожарник с вихляющими ногами, болтавшимися в его кирзовых, не по размеру сапогах, как колотушки в ступах, раскрыл

блинообразный портфельчик, вынул оттуда рулетку и старательно промерил фасадную сторону цоколя.

— Шесть метров! — неожиданно басом изрек он. — Ровно шесть.

Василий увидел, как воловья шея водопроводчика наливается кровью и пудовые с ржавым отливом кулаки его набухают тяжестью. Дворник уже дернулся было, чтобы удержать друга, но плечи Отто неожиданно поникли, а сам он мешковато обмяк, низко опустил голову и, неуклюже повернувшись, вяло потащился к котельной.

Иван застонал протяжно, боднул воздух и двинулся к Никишкину:

— Ржа ты, ржа, — захлебываясь, говорил он при этом, и слезы текли по запыленным щекам его и оставляли на них светлые борозды, — проедаешь жись, и нет на тебя поруки... Какая-токая зверюга и от какого-такого шелудивого пса рожала тебя?.. Дай я плюну на тебя, чтоб издох ты, пес!.. Что же ты нам век заедаешь?..

Плотник схватил его за грудки, тот беспомощно замахал руками, пытаясь вырваться, и неизвестно, чем бы это все кончилось, если бы Калинин не втиснул меж ними руку и не развел бы их.

— Хватит. Ты, Левушкин, сядь — остудись. А ты, — он встал лицом к лицу с Никишкиным, — иди домой. Мы тут без тебя кончим. Я за твои кости не ответчик.

Никишкин для престижу немного еще потоптался на месте, поерзал злыми глазами по сторонам, но, видимо, память о крутом калининском норове еще не выветрилась у него из головы, и потому перечить он поостерегся. Но последнее слово, не сдержался, оставил-таки за собой:

— Щей домзаковских не хлебал, Левушкин? У меня свидетели есть. Я — с заслугами. Мы стихи не дадим разбушеваться. Вы вот, — он ткнул пальцем в пожарника, — свидетелем будете. Он меня за грудки брал!..

Пожарник обескураженно хлопал кроличьими глазами и все оборачивался, ища поддержки, к участковому и шепеляво повторял на разные лады:

— Александр Петрович!.. Ну, Александр Петрович!.. Эх, Александр Петрович!..

— А! — поморщился в ответ участковый и тут же показал Никишкину спину, чем как бы окончательно выключил его из общего разговора. — Вот что, ребяташки, — он бросил планшет на стол и сел, — ломать так и так придется: противопожарная безопасность. Дурить нечего, кладка свежая, одну стену разобрать — на день работы. А тому гоголю я еще вставлю фитилек в одно место.

— Александр Петрович, — взвился Иван, — в переборке ли дело? Скусу не осталось. Будто дерьмом облил... Из-э-э! — он отчаянно взмахнул рукой и придвинулся к Лашкову. — Вася, будь другом, дай пятерку?

Василий обшарил карманы и, вместе с серебром и медью, наскреб около трех рублей:

— Вот, все тут... Может, не надо, а, Иван?.. Опять ведь до зеленых чертей нахлебаешься... А на тебя вся надежда.

— И напьюсь! И до зеленых! — Иван сгреб деньги и поднялся. — Да рази эдакая гнида даст веку Штабелю? Завтрева ему нужник пондравится на дворе изобразить, и снова ломай? Нет на эти дела Левушкина.

— Погоди, — остановил плотника участковый и, отстегнув планшет, вынул оттуда и положил перед ним пятерку. — Растравишься только на трояк-то, исподнюю загонишь... Бери, бери, за тобой не останется. Только, советую, носи домой. Целей будет.

Левушкин сделал неопределенный жест: что-то среднее между «сами с усами» и «была — не была», и исчез за воротами.

Участковый с пасмурным сожалением усмехнулся ему вслед и заспешил:

— Вот что, Лашков, пока Штабель очухается, ты

начни. Позже я приду — помогу. Через день-другой стена новее новой будет... Пошли, Константин Иванович! — кивнул он бессловесному пожарнику. — Докладывай по начальству: порядок.

.

Вечером к Василию прибежала Люба:

— Иди, зовет. И что мне с ним делать, ума не приложу? Втемяшил себе в голову: уйду да уйду. Уже и вещи собрал в ящик, Господи! Пропадет ведь! Сопьется. А как я тут с двумя-то!.. Борьке, опять же, в школу нынче. Мука мне с ним, мука. Ты уж, Вася, расстарайся. Он любит тебя, слушает. Говорит: «Один человек, и тот Вася...»

Плотник ждал его одетый по-дорожному, сидя на краешке сундука, котомка и ящик с инструментом стояли у него между ног:

— Садись, Василь Васильич, — церемонно пригласил он, кивая в сторону чуть початой четвертинки на столе. — У меня к тебе недолгий разговор есть. — Судя по всему, Иван хоть и был выпивши, но в меру, и намерения имел серьезные. — Давай по чуть-чуть перед моей дорогой и боле ни-ни. Дорога, говорят, трезвых любит.

— Ванечка, — гнусаво запричитала Люба, — одумайся, дети ведь. Куда я с ними одна? Что тебя несет? Или я чем не угодила тебе? Ванечка!

Левушкин словно бы и не слышал жены, словно ее и не было в комнате вовсе. Старательно обнюхивая луковичную головку, он обстоятельно втолковывал другу:

— За сына боюсь, Василь Васильич, за Борьку. В школу ему нынче. Со шпаной не связался бы. Может, возьмешь заботу, присмотришь, направишь. Коли что, и поперек спины — нелишне, а? А то ить вон у Федосии-то сбежал, сукин сын, и до се нету. Будь другом, а?

— Я-то, конечно, со всей душой, — пробовал остудить плотника Василий, — только, может, это все зазря,

может, на боковую лучше! Утро-то, оно вечера мудренее.

— Василь Васильич! — строго молвил тот и встал, и напрягся, как рассерженный конь. — Я тебе, как наилучшему растоварищу свою душу выкладую, а ты мне соску суешь, будто я — теля. Рази это по Богу?

Стало ясно, что Левушкин решением своим уже не поступится, и тогда, стараясь уйти от Любиного почти нищенского заискивания, он сказал:

— К Штабелю его приставлю, пусть присматривается. Штабель, сам знаешь, петуха на гармошке играть выучит. Да и я — не оставляю.

— Ну, вот, — с удовлетворительной вдумчивостью проговорил плотник и взялся за мешок, — теперь и у меня душа на месте... Проводи меня, брат, до ворот... Ну, пока, жена! Не хороши поперед времени. Срок выйдет — сам помру. Скоро буду. С гостинцами.

— Ванечка, родимай, — запричитала было Люба, — не забудь, не брось нас, кормилец!..

Но Иван сразу же оборвал ее:

— Будя. За мной не тащись, дома и попрощаемся.

Он слегка обнял ее и тут же оттолкнул от себя.

— Будя. — Иван подошел к положу, за которым спали ребяташки, отдернул его, взглянул и снова закрыл. — Сахаром не балуй — самые года золотушные. Пошли, Василь Васильич!

У ворот Левушкин вскинул мешок на плечо и протянул дворнику руку:

— Бывай здоров, Василий Васильевич, передай Штабелю — не осилил, мол, ушел. Да и сматывал бы он лучше удочки до дому. Не будет из этого рая ни...

Он грязно выругался и пропал в ночи, но когда Василий повернулся было идти домой, тьма прокричала ему левушкинским голосом:

— А ить, брат, про твое с Любкой мне всё ведомо, ага!

XVII

В первые дни война не имела отличительных знаков и запаха. Ничто, казалось, не нарушало размеренного ритма жизни, а лишь скупее сделались движения, тише — слова, темнее — одежда. Но уже к концу недели дворовая тишина дала трещину. В девятой заголосола Цыганиха: мобилизовались оба — Тихон и Семен.

И сразу же пошли взрываться, как хлопушки, окна и двери:

— Берут, что ли?

— Берут.

— И женатого?

— Обоих.

— Помыкают бабы горя.

— Всем достанется.

— Говорят, скоро кончим.

— «Говорят»! Полоцк сдали!

— Из стратегических соображений.

— Досоображаются до самой Москвы.

— А орет-то, орет, словно хоронит!

— Твоего возьмут, не так еще взвоешь.

— У мого — белый билет.

— Фотокарточка в аппарат не влазит или как?

— Склероз у него.

— Ха-ха, это с чего же?

— Просквозило после бани, да?

— Дьяволы! Креста на вас нету! У людей беда, а вы базар развели.

— Сама ж их кляла.

— Нынче токмо и помнить, кто кого клял...

У военных сборов — короткие сроки. Уже через час цыганковское семейство в полном составе, с плачем и шумом, выкатило во двор. Братья были заметно во хмелю и настроены недобро. Тихон едва из парадного

вышел, как сразу нацелился в сторону штабелевского дома и старательно, будто по зыбким кочкам переставляя ноги, двинулся туда через весь двор. Остановясь перед порогом, он широко расставился и после убористого мата в шесть этажей начал:

— Ну что, немецкая рожа, дождался своего часу? Пустили нашему брату за нашенский же хлебушек кровья? Да и мы нынче у вас такую пустим — красильню открывай. Сто лет в красных сподниках мужики ходить будут. Открой-ка разок пасть, я у те клыки-то пересчитаю!

Штабелевская дверь открылась, и на пороге появился хозяин со своей неизменной трубочкой в зубах:

— Я слюшай тебя. — Он стоял перед Тихоном, глубоко засунув руки в карманы штанов и часто-часто посасывая трубочку. — Говори.

— Как живешь, хотел узнать, господин Гитлер, почем Рассеей торгуешь? — Растерявшийся было Цыганков, почуяв за плечом братенино дыхание, снова вошел в раж. — Может, по целковому за пуд? Али больше? Я тебе напоследок полный расчет сведу. — Он почти упал на водопроводчика всей своей громадой, но тут же грузно надломился повисая запястьями на штабелевских руках. — А-а-а!

Они стояли теперь глаза в глаза, и водопроводчик цедил в лицо Тихону свою ненависть.

— Слюшай сюда, Цыганьков. Ти имель кузня, я — нишего. Ти убивать из обрез люди, я — воеваль за Россию. Ти — ривач, я — рабочий. Кто Гитлер? Я — Гитлер? Нет, ти Гитлер. — Он отпустил Цыганкова и снова глубоко засунул руки в карманы и все еще часто-часто посасывал угасшую трубочку. — Оставляй минья в покой.

Жена Тихона, вся в темно-желтых крапленых пятнах после родов, повисла на рукаве мужа:

— Брось, Тишенька, уймись. Они же, супостаты,

все заодно, так и смотрят, как бы со свету сжить нас. Ишь, — расставились.

Она ненавидяще зыркнула в сторону стоявшей за спиной водопроводчика Груши, но та и глазом не повела: она-то знала, что ее Отто постоит за себя.

Цыганковская поросль подняла дыкий, ни с чем не сообразный вопеж, и Тихон, облепленный, как слон сязками, обеими женщинами, все еще ярьась и матерясь, пошел к воротам. Так они и выкатились со двора: клубок ругательств и крика.

.

В день, когда первые газетные кресты перечертили оконные стекла, к Василию постучался старший сын Меклера, Миша:

— Вас просит зайти папа. — Темно-желтые глаза парнишки смотрели на дворника не по-детски печально и строго. — Папа уходит на фронт.

Меклеры сидели вокруг уставленного случайной едой стола и молчали. Никто ничего не ел, все смотрели на своего главу, а тот, в свою очередь, глядел на всех. Было в этой говорящей тишине что-то гнетущее, но в то же время торжественное. Время от времени кое-кто перекидывался парой коротких, выражающих только суть мысли слов. И снова наступала тишина.

Василию освободили стул, он сел; хозяин сам налил ему рюмку водки и пододвинул закуску:

— Как видишь, Василий, так и не пришлось мне сделать тебе протез. Теперь мне придется все делать наоборот. Зато столько работы будет потом. — Меклер пробовал шутить, но от шуток его за версту несло кладбищем. — Сколько работы! Миша, наконец, получит свой велосипед. А Майя — куклу, которая сама спит.

Любые слова сочувствия в этой комнате были излишни, даже больше того, пусты, но этикет обязывал:

— Наши, говорят, румынскую границу перешли. Глядишь, и до войны-то не доедете, Осип Ильич.

— Твоим бы детям, Василий, — меклеровские глаза насмешливо посветлели и стали совсем желтыми, — да столько дороги до клада.

Лашкову налили снова, но уже одному, и дворник понял, что здесь — в этой тишине — он случайный и только терпимый гость, и что ему лучше уйти и оставить их наедине со своей бедой.

Он заторопился:

— Спасибо на угощение, Осип Ильич. Если что по какому делу, так я всегда от души. Пускай только Рахиль Григорьевна покличет.

— Будь здоров, Василий! — сказал Меклер-старший, и несколько пар совершенно одинаковых глаз, соглашаясь с ним, опустились долу.

Василий пошел к двери, и его провожало молчание — долгое и глубокое.

В эту же ночь Лашкова разбудил участковый:

— Вставай. — Калинин был непривычно для себя взбудоражен. — Живо к Штабелю!

«Что еще стряслось? — гадал, одеваясь, дворник. — Обокрали? Или Груша что натворила? С нее станется. На барахолке с утра до ночи торчит, а теперь за это дело ой-ой-ой!»

Желтый прямоугольник света от распахнутых дверей штабелевского жилища выхватывал из темноты переднюю часть потрепанного «газика». Шофер-военный сонно поклевывал над баранкой носом.

Штабель с помятым ото сна лицом мучительно вчитывался в какую-то бумагу, а молоденький, видно, даже еще и не брившийся ни разу лейтенантик нетерпеливо топтался на пороге.

— Нам еще в два места, гражданин Штабель, — лейтенантик говорил внушительным басом, то и дело сверял свои часы на металлической браслетке со штабелевскими ходиками и с достоинством покашливал в

ладошку; в общем, вовсю старался выглядеть как можно более деловым, — все равно: указ — есть указ. Наше с вами дело подчиняться. Мера эта временная и на ваших гражданских правах не отражается.

Водопроводчик не слышал его. Он с усилием морщил лоб, вдумываясь в смысл того, что лежало перед ним, и вполголоса бормотал:

— Я воеваль за Советский власть... Я имель рана... Херсонь... Уральск... Зашем я ест виноват за Гитлер?.. Зашем мне надо уезжаль от моя жена, от мой дом?

— Ваша жена, — пробовал пробиться к его сознанию лейтенант, — может выбирать: ехать или ждать вас здесь. Вы сообщите ей об этом из отведенного вам местожительства.

При упоминании о жене Штабель встрепенулся:

— Ньет! Она уехал рожаль деревня. Не надо беспокоиль. Зашем? Я хошу здоровый ребьенка. — Он вскочил и начал лихорадочно собираться. — Што я могу взять себе дорога.

— Лишь самое необходимое. Это — временная мера. В целях вашей же безопасности. Скоро вы вернетесь.

— Да, да, — машинально ответил ему водопроводчик, как бы припоминая, куда могло запропасться это «самое необходимое», и что оно вообще обозначает. Он неуклюже двигался по комнате, хватаясь то за одно, то за другое. Но вдруг в отчаяньи махнул рукой. — Я не буду нишего брать. Я поезжал так.

— Как хотите, — с готовностью воспрянул лейтенантик и уступил Штабелю дорогу впереди себя. — Это просто короткая военная необходимость.

Садясь в машину, Отто сказал Лашкову:

— Вася, скажи Грюша, я скоро, очень скоро буду дома. Грюша не надо волнений. Я буду написайт скоро письмо...

Лейтенантик, окинув подозрительно молчаливый двор, доверительно, как единственному человеку, с ко-

торым они — посвященные в святая святых государственной политики — могут сейчас понять друг друга, посоветовал участковому:

— В случае разговоров соответственно объясните населению.

— А! — неопределенно махнул Калинин рукой. — Ерунда.

Удивленные глаза лейтенантика поплыли в ночь, и вскоре «газик» с водопроводчиком Отто Штабелем сигнализировал где-то у ближнего поворота.

— Александр Петрович? — только и нашелся сказать ошеломленный дворник.

— Указ, — немногословно объяснил тот. — Лица немецкого происхождения выселить в определенные места жительства.

— Австриец он, Александр Петрович, австриец, и в паспорте он на австрийца записан.

— Это, Лашков, одно и то же. Гитлер тоже — австриец... А в общем-то б.....во, конечно. — Лицо Калининна трудно было разглядеть в темноте, но по тому, как уполномоченный прерывисто и гулко дышал, чувствовалось его жгучее ожесточение. — На-ка вот, передай Аграфене. Там все в целости.

Он тырком сунул Василию ключи от штабелевского дома, и, уже в который раз, между ними легла ночь.

XVIII

Участковый сидел у раскаленной добела временки в комнате дворника, отогревал посыневшие руки и хрипло раздумывал вслух:

— Его, чёрта, голыми руками не возьмешь. Да и кто ее знает, может, померещилось Федосье. С голодухи-то оно и не такое померещится. Оперативников просить? А вдруг нет там никакого Цыганкова, а если и был, то второй раз на одно место не придет? Значит, ся-

дем в калошу, Лашков. Вот она какая штука. Куда ни кинь, всюду «пусто-пусто»... Придется, все-таки, нам с тобой вдвоем попробовать... Оружием владеешь?

— Вторую группу не деревянным пугачом заработал.

— Пистолет я тебе дам. Припас. Однако это на всякий случай, его надо живьем брать. Иначе — пропали карточки. Да и подельников его — ищи-свищи. Вот что.

Но сколько Калинин ни тщился разазартиться, сколь ни ерзал в натужном возбуждении по табурету, от Василия не ускользнуло его внутреннее беспокойство. И в том, как он чаще обычного кашлял, и в том, как нервно и резко похрустывал костяшками пальцев, и в том наконец, как постепенно все удлинял он задумчивые паузы между фразами, сквозило какое-то сомнение, болезненная червоточина какая-то. Уполномоченный даже и не говорил, а скорее допрашивал самого себя.

Дело, между тем, представлялось ясным. Третьего дня ограбили домоуправление, взяли около трехсот хлебных и продовольственных карточек. Собственно, история эта целиком лежала на совести оперативников, и Калинин мог спокойно есть свой хлеб, но сегодня утром Федосья Горева побожилась ему, что видела Семена Цыганкова на Преображенском рынке, а еще раньше, с неделю, примерно, тому, поднимаясь развешивать стиранное, столкнулась со старой Цыганихой на чердачной площадке, и та, вроде бы, несла узел с бельем, из которого торчала дужка чайника. К тому же, новая соседка Цыганковых, учительница Хлебникова, заметила как-то о своих соседях, что, мол, живут они не по военному времени сытно.

О розыске дезертира Семена Цыганкова участковому было сообщено еще с осени. Теперь же, одному ему ведомыми комбинациями, Калинин, на свой страх и риск, установил связь между этими, казалось, совершенно разрозненными фактами и приготовился дать

бой. Еще в ту пору, после ареста Симы, участковый поклялся вывести это семейство со своего участка, но сейчас, когда — и ему это было известно наверняка — один из Цыганковых у него на мушке, он досадливо морщился и все удлинял задумчивые паузы между фразами.

— Своих я всех перетряхнул... С пристрастием... «Карася», «Змея Горыныча», «Боксера», «Меркула», «Серого»... Знаю я их: будь рыло в пуху, кто-нибудь да раскололся бы... Больше некому — он... И, однако, сам я хочу ему в очи глянуть... И гляну... Только живьем надо, живьем...

Встал и потянулся за шинелью, но и одеваясь, все еще как бы раздумывал и даже застыл на мгновение полуодетый, но потом скулы его решительно вздулись, и он взялся за дверь:

— Значит так, Лашков, блокируешь крышу двадцать седьмого, а я отсюда его на тебя загонять стану. — И все же, на пороге участковый опять обернулся и опять замялся в нерешительности. — А, может, плюнуть, Лашков? Пускай оперативники расхлебывают. Что мы его, будто зверя, обкладываем.

Но последние слова донеслись уже из сеней: Калинин все же не смог перебороть искушения и вернуться обратно.

Во дворе они разделились, и Василий, зябко ощущая в кармане ватника холод пистолетной рукоятки, двинулся к соседнему дому. Крыши обоих домов смыкались и поэтому представляли собой удобное во всех отношениях убежище для человека, у которого временные разногласия с правосудием.

Лашков забрался на чердак и стал ждать. Там — за стеклами выводного окна, под низким январским небом — раскинулся город. Трудно было поверить, что за этим хаотически темным нагромождением жестяных крыльев таится жизнь. И Лашков подумал, что, вот, живет он в своем дворе, никуда не выезжая, столько лет и, все-таки, успел узнать много такого, чего раньше

не знал. Люди рождались и умирали, людей куда-то уводили такие же, им подобные люди, люди влюблялись и сходили с ума. И все это было при нем, на его глазах. Но ведь многого ему и не удалось увидеть. Большую часть жизни люди старались провести наедине с собой или с близкими. Выходит, ему, Василию Лашкову, не хватило бы и пяти жизней, чтобы узнать все об одном лишь дворе. А сколько их, таких дворов, в городе, в стране, в мире, наконец! И на все дворы — одно единственное небо. И разве трудно хоть однажды, сразу всем вместе, посмотреть вверх, чтобы вот так же, как сейчас он — Лашков — пронзающе ощутить тоску по доброму слову и родной душе?

Последнюю его мысль перебил крик, отрывистый и резкий:

— Стои-и-й!

И сразу же соседняя крыша загрохотала под подошвами кованых сапог. Лашков, спустив предохранитель, выскочил наружу, уперся ногой в железный сток и дал предупредительный выстрел. С непривычки остро отдалось в плече, и рука, будто отсиженная, зашлась игольчатой истомой. Крыша на мгновенье утихла, но только на мгновенье, затем топот снова обрушил тишину, и смутный силуэт стал приближаться к Лашкову. Он выстрелил еще раз и подумал: «Ну куда прет, черт?»

— Стой, пристрелю! — Калининская хрипотца дробью рассыпалась в морозном воздухе.

Беспорядочный грохот затих, шаги беглеца приобрели хрупкую отчетливость: раз... два... три... четыре... И вдруг из-за железного гребня выплеснулся резкий полукрик-полустон, как будто человек задохнулся в ужасе, и следом за этим оттуда, снизу, донесся грузный шлепок, похожий на звонкую пощечину.

На душе у Василия вдруг сделалось жутко и пусто. Ситуацию он прикинул мгновенно: к двум этим домам одним своим водостоком примыкал третий, выходящий

лицевой стороной на соседнюю — параллельную — улицу. Правда, до него был просвет метра полтора, может быть, немногим более. Ребятня иногда прыгала, на спор, оттуда — сюда, но только летом, зимой такой трюк наверняка оказался бы последним для любого исполнителя. Об этом знали и Лашков, и участковый, но не брали этого варианта в расчет. Соломинка пришлась в пору лишь цыганковскому страху. Но она, как и все соломинки вообще, не спасла его. Поэтому, когда они сошлись на стыке двух крыш, им не надо было ничего объяснять друг другу.

Во дворе Калинин безучастно сказал дворнику:

— Добеги до отделения, скажи, пускай едут с экспертом и каретой, а я у тебя покуда погреюсь. Зябко чтой-то мне.

Сказал и пошел, и странно уж очень пошел, словно тень — одновременно зыбко и порывисто.

.

Василий вернулся минут через пятнадцать, но, едва перешагнув порог, замер и на полуслове осекся и почувствовал, как у него холодеют кончики пальцев и вязкая тошнота подступает к горлу.

Участковый словно бы спал или вслушивался во что-то, приложив ухо к столу. Но по тому, как беспомощно свисали вдоль колен его руки, по бесформенности губ и тому особенному безмолвию в комнате, которое сопутствует смерти, можно было судить о случившемся. Тоненькая багровая струйка из-под виска лужицей собралась около откатившейся в сторону шапки и уже окрасила кончик ворса.

Выражение лица у Калинина было мягким и чуть озадаченным, словно в мгновение, навсегда отделившее его от жизни, он успел удивиться, что все это так легко и просто.

ХІХ

Лёва Храмов лежал, обложенный со всех сторон подушками, и оттуда, из пуховой глубины, вещал дворнику:

— Мы слабы в своих желаниях. Нам всего подавай сейчас, немедленно, еще при жизни. А когда нам отказывают в этом, мы, в конце концов, стараемся удовлетворить свои страсти силой. И так из поколения в поколение, из века в век льется кровь, а идеалы, ради которых якобы льется эта кровь — увы! — остаются идеалами. Переделить добытое, конечно, куда легче, чем умножить его. И к тому же для этого требуется терпение и труд. А терпения-то и нет, и работать не хочется. И пошло: «Бей, громи, однова живем!» Ты понимаешь меня, Лашков?

Дворник поспешно соглашался. Дворнику было все равно. Он слушал актера из жалости, чтобы хоть как-то облегчить ему существование. Храмовский организм уже не реагировал на морфий, и в бесконечных разговорах Лёва изо всех сил старался утолить боль. Саркома день ото дня укорачивала его дорогу к смерти. Лашков часами просиживал около дивана больного, и более благодарного слушателя для своих пространных монологов тому нечего было и желать.

Старуха с сыном уже давно перебрались во флигель, обменявшись с модисткой Низовцевой, разумеется, не без придачи. Сама Храмова не то чтобы опустилась, но стала в силу обстоятельств проще, трезвее смотреть на вещи. Схоронив дочь, она поступила санитаркой в больницу, и с тех пор дворник стал бывать у них за просто как старьёй и добрьёй знакомьёй.

С Лёвой их роднило гложащее чувство обреченности, сознание своего близкого конца. Они не слушали, а только слышали друг друга, но оглушенные словами,

потоками слов, одиночество призрачно отодвигалось, временно даруя им иллюзию полноты существования. Каждый из них был нужен, необходим другому, и еще неизвестно, кто кому более.

Тонкие, с синеватым налетом пальцы актера нервно теребили кромку одеяла. Возбуждаясь, он бледнел, глаза западали еще глубже, и частая изморось выступала у него над верхней губой.

— Нам все надо начинать сначала, Лашков, понимаешь, сначала? Иначе кровь никогда не кончится, иначе мы снова заберемся на деревья. Мы должны, понимаешь, должны научиться мыслить тысячелетиями, а не собственным человеческим веком. Надо приучиться радоваться счастью и благоденствию потомка и приучить себя трудиться ради этого... Трудиться, Лашков, трудиться! И хватит с нас болтунов, хватит с нас господ Опискиных, возомнивших себя могучими деятелями... При входе в жизнь надо спрашивать у человека: «А что ты умеешь делать сам? Делать непосредственно руками или талантом? Хлеб, дома, книги, искусство?» — Надо работать, работать! И красота восторгается! Восторгается! Ты понимаешь меня, Лашков?

Лашков поддакивал, но думал о своем и даже ухитрялся краем уха вслушиваться в тихий разговор на кухне, где Храмова прощалась с доктором.

Она: — Может быть, ему, все-таки, лучше в больницу?

Он: — Как знаете, матушка, как знаете, только я не советую. Да-с.

Она: — Неужели мне даже не надеяться?

Он: — Эх, матушка, мы с вами одной ногой там, так, что уж нам-то возвышающим обманом тешиться?

Она: — Вместо него хоть сейчас...

Он: — Ах, как нас с вами приучили, друг мой, в свое время к красивым жестам! Не надо, матушка. Не те времена... А в больницу, что ж, можно и в больницу, да не с его нервной машиной в наших казенных боль-

нищах лежать... Сами понимаете, наследственность... Ну, а вот от этого увольте, друг мой, совсем ни к чему-с. Да-с... До свидания.

Грохнула входная дверь, и было слышно, как старуха грузно опустилась на стул и затихла. А Лёва, тем временем все более возбуждаясь, силился перекричать боль:

— Но чтобы начать — нужен художник, художник, не то что мы — пигмеи. Нужен гигант, который придет и скажет: все — люди, все — братья. Но как он это скажет!.. Ах, как он это скажет!.. Об этом многие говорили. Христос говорил, и много, много других... Но не так, не так!.. Надо проще и понятней... Ах, как это нужно сказать... Чтобы в каждого проникло... Чтобы каждый вдруг тяжело заболел этим и сам стал драться за свое выздоровление... Да, да, это должно быть, как инфекция... Все, все, чтоб вдруг, оразу увидели себя сами... Увидели и заплакали, и обнялись бы... И сказали: «Начнем все сначала»... Художник нужен... Художник только сможет организовать гармонию... Одним словом... Одним единственным словом... Он найдет его, найдет! Оно будет просто, как дыхание... Понимаешь меня, Лашков?

Актер задыхался. Произнося последние слова, он оторвал голову от подушки, напрягся весь, но тут же обмяк и в изнеможении закрыл глаза. Через минуту дыхание его выравнивалось, и белое от возбуждения лицо приняло свой обычный землистый оттенок: Лёва спал.

Василий поправил на нем одеяло и вышел на кухню. Старуха Храмова, безучастно глядя впереди себя, сидела у плиты. Она даже не заметила его, не шелочнулась. Он сказал:

— Заснул.

— А? — вскинулась она.

— Заснул, говорю.

— А-а...

Храмова застыла в прежней позе, и, выходя в сени, Василий подумал, что это, наверное, не так просто: пережить своих детей.

XX

Лашков сидел под грибком в левушкинском палисаднике, и плотник тягуче выводил перед ним одну и ту же мелодию:

Я еще молодая девчонка,
Но душе моей тысячу лет...

Гармошку он держал, словно чужую — на краю коленки и, уставившись в дождливое небо оловянными от хмеля глазами, упрямо твердил:

Я еще молодая девчонка,
Но душе моей тысячу лет...

Грибок протекал, мутные мартовские капли, разбиваясь о его лоб и переносицу, стекали по щекам, и потому казалось, что Иван плакал. Но это только казалось. В действительности же он был просто матёро и глухо пьян. С Василием плотник обычно не говорил. Все у них за двадцать с лишком лет знакомства было переговорено и передумано. Они изъяснялись на языке знаков. Плотник, к примеру, откидывал мизинец в сторону и поднимал большой палец вверх и вопросительно смотрел на друга. Тот молча кивал, и оба начинали выворачивать карманы. После трех-четырёх таких сеансов друзья упивались до плотного одурения, и Левушкин хватался за свою затрепанную трехрядку. Играл он на ней всякую всячину ровно по куплету. Гармошку эту Иван приобрел лет десять назад, во время своих постоянных странствий «за длинным рублем», и с тех пор не расставался с нею.

В комнату Люба их по обыкновению не пустила, и они пили здесь — под грибком, и мутный мартовский снег оплывал над ними, и все у них было позади: молодость, надежды, жизнь, да и, собственно, разве подходило назвать жизнью цепь всплесков боли и отчаянья? Нет, не саднила больше у Ивана душа, даже привычка говорить «по Богу» давно забылась. Он словно оброс весь дикой и непробиваемой глухотой ко всему, и ничто больше не могло вывести его из этого мертвого равновесия.

Небо над ними набухало сырой тяжестью, все вокруг, сплюснутое ею, как бы втискивалось в землю, и, казалось, там — за серой толщей — уже давно ничего нет: ни солнца, ни звезд, ни самого неба, а есть только пустота — мутная и липкая, как этот дождь.

Тусклая, как старая щука, Люба — голова дынькой, облепленная грязно-седой паклицей, — зыркала на них из-за окна без искры света глазами, и исступленное бормотание ее карабкалось через форточку во двор. Но ей, её осатанелой злобе не под силу было пробиться в обутлившуюся до дна Иванову душу.

Когда плотник в третий раз стал проделывать свою пальцевую манипуляцию, во двор с низко опущенной головой вошел Никишкин в торопливом сопровождении всхлипывающей «половины». Шел он против обыкновения медленно, ступая тяжело и неуверенно. За годы он сильно оматерел и раздался вширь. Капитанские погоны ладно вливались в его подобревшие плечи. Поровнявшись с палисадником, Никишкин неожиданно вскинулся.

— Это что же такое, а? — Набрякшие Никишкинские щеки, матово синяя, тряслись. — Это как же понимать прикажете, а?.. Такой день, а, такой день, а вы здесь водку жрете! Да вас, сучьи дети, да вас... — Он задыхался и, кинувшись к Лашкову, схватил его за плечи и начал бешено трясти. — Где флаг? Где флаг? вражья твоя душа, я тебя спрашиваю! — Он вдруг от-

пустил дворника и затрясся, зашелся в плаче. — Сукины дети!.. Сукины дети!.. Маша, Маша! — Никишкин повис на жене. — Какие муки он за всю эту шантрапу принял, какие муки!.. Он их из грязи, из навоза выгацил, в люди вывел, а они водку жрут!.. Лакают!.. — Никишкин снова встrepнулся и снова кинулся к Лашкову. — Гнида, гнида ты! Да я тебя враз шлепну! — Его подрагивающие пальцы уже ерзали по пуговице на заднем кармане галифе. — Грязь!.. Чуешь?

И как Василий ни был пьян, понял, что смерть и впрямь щекочет его под носом; недаром все сокольниковое жулье икало от одного имени начальника режима Бутырской тюрьмы Никишкина. Но вдруг вялая левушкинская рука оттолкнула дворника в сторону, и сам плотник встал впереди, заслонив его от соседа, и брошенная им с размаху наземь гармошка коротко рыданула.

— А ты меня, — тихо и как бы даже просительно начал Иван, — меня хлопни из своего пугача. — Но постепенно лицо его наливалось кровью, и вскоре он уже почти кричал в лицо оторопевшему Никишкину. — На, хлопни! Я ее — жизни — не видал, да и не увижу боле. Так зачем она мне — жисть. Ты ее с казенными щами сожрал... Я сына хотел на дантиста выучить, а где он — сын, а? И по твоей милости... Я весь век свой по расейским пристаням горе мыкаю... Из-за тебя, собака! Так на — хлопни! — Он рванул на себе ворот косоворотки. — Что же ты?

Жидковат был на душу начальник режима, не выдержал натиска, взял тоном ниже:

— Ну, ну, не очень ты распоясывайся. В случае, лишний карцер у меня и для твоей милости найдется. Налют зенки, несут чёрт-те знает что. Я еще с тобой в другом месте поговорю. — И, уже отходя, бросил через плечо Лашкову: — Траур, чёрт, траур. Чтоб флаг у меня одним мигом был вывешен. Проверю. — И пошел. — Вражье племя...

Левушкин схватил с земли гармошку и, уже совсем издеваясь, прогорланил ему вслед:

Как у наших у ворот
Все идет наоборот:
Воспитательный народ
Жрет дерьмо и не блюет.

— На-кось, выкуси!

XXI

Раньше — до болезни — Василий Васильевич не замечал множества самых занятных вещей: вот хотя бы солнца. Оно существовало для него в будничной слитности со всем окружающим, такое же привычное, как дождь, ветер, воздух. Но с недавних пор оно стало жить своей, отдельной от него — Лашкова — жизнью. Солнце теперь можно было услышать, ощутить обонянием и даже потрогать наощупь. Солнце работало и уставало. Солнце с удивительной целесообразностью передвигалось с места на место. Солнце радовалось и негодовало. У солнца имелись друзья и враги. А Василий Васильевич оставался в стороне, отделенный от всей этой благодати смертной чертой болезни.

Василий Васильевич словно открывал для себя мир заново. Казалось, не было в этом дворе места, не знакомого ему до мельчайших подробностей, но предметы и вещи, существуя теперь сами по себе, — вне его — начали представлять перед ним теми же, что и в младенчестве, загадками. Вот вроде в котельной Василий Васильевич провел чуть не четвертую часть жизни и, можно сказать, сросся с запахами ржавчины и теплого шлака, а сейчас она темнеет прямо против его окна, таинственная и зовущая, как вход в преисподнюю. Как ни странно, но старик с остротой первооткрывателя вновь и вновь осмысливал вроде бы сотни, тысячи раз

усвоенные понятия: «забор», «дерево», «мячик». И каждое из них впервые открывало ему свои удивительно простые тайны.

«Но ведь всегда, всегда было так, — рассуждал он. — Неужели нужна смерть, чтобы заметить, почувать все это?» И ему стало не по себе. И, как обычно в таких случаях, он потащился вниз — во двор, чтобы замаять, заглушить в ходьбе, в случайном разговоре внезапно подступившую к сердцу жуть.

Во дворе около колонки, слегка подрагивая, урчал бульдозер. Бульдозерист — долговязый парень в берете и брезентовой робе мыл под краном резиновый сапог. В блистающем зеркале голенища плыло небо.

— Опять копать? — опускаясь на скамью, прямо против парня, спросил Лашков, спросил не ради любопытства, а так, чтобы завязать хоть какое-то подобие беседы. — Пятый раз...

Бульдозерист не оторвался от своего занятия и даже не взглянул в его сторону. Он только мотнул головой в угол двора, где лепилась к котельной заброшенная хибара Штабеля, и деловито пояснил:

— Вон тот «колизей» сносить буду. Конторе кирпич нужен. Вот так, старик.

У Лашкова сразу же отпала всякая охота к разговору. Домишко этот о двух окнах он считал частью себя самого. Вместе со Штабелем и Ваней Левушкиным Василий Васильевич вложил в него не только труд, но и частичку того, что остается после. После тревог и забот, после буден и праздников, после войн и замирений. Но вот пришел этот деловой сопляк в брезентовой робе, и ему наплевать на водопроводчика Штабеля и на его хибару. Ему дела нет до того, что останется после испитого старика на лавочке. Конторе нужен кирпич, и какие еще там могут быть тары-бары.

— Ну-ка, папаша, — парень одним махом оказался у руля, — осади назад, а то задену невзначай.

Машина вздрогнула и, медленно разворачиваясь,

пошла стальным крылом скребка прямо на цель. Мимо Лашкова проплыл капот, потом распахнутая настезь кабина и в ее прямоугольнике — резиновый сапог, в дымящемся зеркале которого высыхало небо.

Дом умирал, словно живое существо. Когда скребок нижней бритвенной кромкой врезался ему в цоколь, он, едва заметно пошатываясь, удержался. Но бульдозерист чуть потянул на себя рычаг, стальное лезвие вошло еще глубже, и дом, наконец, надломился и рухнул, вобрав в себя кровлю. И только грязно-белая пыль костром взметнулась над ним к такой же, как и тридцать лет назад, по-июньски высокой и праздничной голубизне.

XXII

Василий Васильевич вышел из пивной в том благостном расположении духа, какое охватывает всякого сильно пьющего человека сразу же после опохмеления. Все виделось ему до смешного простым и предельно понятным: прошлое и будущее, добро и зло.

Он долго и с пьяным сочувствием следил, как на углу Рыбинского проезда поджарый, крепкого вида старик в парусиновой кепке приставал к прохожим. Цепкими корявыми пальцами старик хватал то одного, то другого за локоть и начинал со стереотипной фразы:

— У нас в Череповце...

Все испуганно шарахались от него, видно, полагая его за пьяного или сумасшедшего. Да и не до чужой нужды, когда своей по горло. Кое-кто, правда, советовал ему:

— Ты, папаша, того, поспал бы часок-другой, что ли?

Старик только отмахивался от них и снова пускался в свое лихорадочное кружение:

— У нас в Череповце...

И все повторялось сначала. Постовой от продмага, наблюдая за стариковыми восьмерками, уже начал бы-

ло проявлять умеренную, впрочем, нервозность, когда Лашков решил спасти череповецкого горемыку от неминуемой каталажки.

«Подумаешь, — заранее утешил он себя, — ну, дам ему рубль, ну, два, выпьет старик, прояснится и пойдет своей дорогой».

Но, видно, что-то в Василии Васильевиче не соответствовало для того, старик лишь скользнул по его лицу своими круглыми блестящими глазами и пошел себе мимо. Лашков добродушно окликнул его:

— Ну, что там у вас в Череповце, выкладывай.

Старик обернулся, сурово посмотрел на дворника потемневшими глазами, но вдруг жестяные морщины его немного обмякли, и он, беспшабно махнув рукой, — мол, была не была, — вцепился в его локоть.

— У нас в Череповце, понимаешь, дорогой товарищ, никакой правды нету...

И старик, как, примерно, и ожидалось, поведал Лашкову древнюю байку: «Осудили шурина-сапожника ни за что, ни про что, а шурин инвалид, от войны пострадал, ко всему, шесть душ детей — мал мала меньше. Говорят: кожа, а там и кожи-то было — на головки безногому!» И так далее, и в том же духе. Старик рассказывал все это со множеством подробностей, снабжал каждую из них соответствующей справкой или свидетельством. Потом он с час порол и о своих заслугах, вроде: «В гражданскую тифью переболел и вообще — боролся».

В заключение старик поставил вопрос ребром:

— Так ты мне скажи, столичный ты человек, есть у нас в Череповце правда аль нету?

И сила его убежденности была такова, что Василий Васильевич, хотя и не понял из рассказанного ровным счетом ничего, должен был согласиться:

— Нету.

Старик облегченно вздохнул, щербато заулыбался, встал:

— Ты прости, дорогой товарищ, ты мне первоначально показался... Как бы это... Железа в тебе маловато, что ли. В общем, виду этакого усидчивого в твоей конфигурации нету. А вот теперь вижу — промашку дал. Умственно ты обо всем рассудил, и за это тебе, дорогой товарищ, благодарствую. В Череповце будешь, Федора Терентьева Михеева спроси, любая собака знает. Чайку попьем, белой головкой закусим.

«Ну, проси же, проси — не откажу!» — посмеивался про себя Лашков, а вслух подбодрял:

— Поистратился, видно, дорога-то дальняя?

Тот неожиданно посуровел и назидательно объяснил дворнику:

— Я, дорогой товарищ, есть мастеровой, а мастеровые без денег не бывают. Денег у меня хватает и тебе занять могу, без отдачи.

Лашков был озадачен, но позиций не сдал:

— Наверное, и не знаешь, куда ткнуться? Москва, брат, она хитрых любит.

Старик вытянул из кармана пачку квитанций «Мосгорсправки» и, любовно перелистывая ее у него перед носом, объяснил:

— А вот здесь у меня вся Москва в кармане, а на счет хитрости, так я не токмо палец, гвоздь вершковый перекушу по надобности... В общем, покеда. Благодарствую на душевном разговоре.

И старик бодро зашагал вдоль тротуара по направлению к Сокольникам. Спокойно так, по-хозяйски зашагал. А Василий Васильевич вдруг подумал, что хорошо бы сейчас догнать старика и рассказать ему все о себе, о своем дворе, о Штабеле и о старухе Шоколист и еще о многом, многом другом. И еще подумал он, что оно-то, самое доброе — храмовское слово, которое все на свете может переменить заново, и ходит, наверное, в каждом человеке по свету, раз вот так легко он — Лашков — смог сейчас облегчить старика. И ему вдруг стало не по себе от этой пронзительной догадки,

и он не выдержал, зашел в ближнюю скупку, и снял с себя пиджак, и бросил его на прилавок:

— Сколько не жалко?..

XXIII

Душной июльской ночью Лашкова разбудил стук в окно. Он приник к стеклу — глазам не поверил и сердце зашло удушливым жаром: Штабель.

Прежде чем обняться, друзья в нерешительности пошарили друг друга руками, словно проверяли обоюдную осязаемость, а потом долго не могли разомкнуть плеч.

— Да, — сказал Лашков.

— Да, — сказал Штабель.

И снова повторились:

— Да.

— Да.

И каждое их «да» вбирало в себя дни и годы, дожди и солнце, общие радости и общие обиды, и еще много такого, что можно лишь ощутить, но никак не высказать.

Потом они сидели за столом, и Штабель, вдумчиво потирая ладонью чернильное пятно на клеенке и вглядываясь в Лашкова, теми же спокойными, только побавившими блеска глазами, говорил:

— И ест влясть, и ест порьядок. Я высегда уважалъ влясть и порьядок. Но дивенадцать лет ни есть порьядок. Я бросиль тайга, я бросиль — семья... Да, да, я жениль... Тайга я бросиль — семья... Да, да, я жениль... Тайга трудно без семья... У меня диеты. Я не хотель им тайга. Я пришель сказать влясть: дивенадцать лет — не есть порьядок. Я верю влясть. Я верю всякий влясть. Влясть — порьядок. Мои диеты тайга — не ест порьядок.

Лашков смотрел на друга и удивлялся его внешней

живучести. Водопроводчик даже и не изменился вовсе, только немного одрябла шея да плечи по-стариковски чуть вогнулись вперед, однако, не потеряли при этом обычной своей упругости. Правда, в том, как дрожали его мясистые пальцы, обхватывая лафитник, чувствовалось, что и для него годы не прошли даром.

О многом хотел рассказать дворник Штабелю, очень о многом, но хоть и прошло столько лет, новости его оказались не длиннее воробьиного носа.

Груша? Ну, что ж Груша! Выкидъш у нее после того случился. Погоревала, погоревала, да и успокоилась, к Фене перебралась. Живет, сильно прихварывает. Иван? Так, что ж Иван! Пьет. Вербуетя. Сын с малолетства в колонии. Актер? Помер, брат, актер, и давно. Калинин?.. В общем, нету больше Калинина. Меклер? Жив Меклер. Коронки ставит. И протезы — тоже...

Василий Васильевич осекся: в распахнутое окно вошел и заполнил комнату знакомый никишинский говорок. Он струился сверху, из дома напротив:

— Что такое труд? Труд, я спрашиваю, что такое, сукины дети? Труд есть дело чего, а? Чего, я вас спрашиваю, паразитское племя? Дело чести. И еще чего? Молчите, преступные выродки? Дело доблести и героизма. Кто не работает, тот — что? Вот я тебя, рыжая скотина, спрашиваю? Тот — не ест. А вы — чего? Чего — вы? Вы — не работать? Ветрогоны меченые! Так я вас приведу к исполнению. У меня на всех трюмов*) хватит. Всех приведу к исполнению...

В утренней полной благодати голос этот казался до неправдоподобия нелепым.

— Чито это? — тревожно спросил Штабель.

Лащков хмуро усмехнулся.

— Твой крестный балует. Тронут малость. В начальстве жил, а нынче вот... Всякое утро, чуть свет,

*) Трюм — карцер. Жаргон.

упражнение производит перед окошком. Когда что, а больше — это вот. С других улиц дворники слушать приходят. Есть любители.

Штабель сказал:

— Да.

И снова это «да» определило для них обоих очень многое.

А Никишкин вещал с высоты:

— Какие песни ты поешь, сучий выродок, какие песни, я тебя спрашиваю? «Мурку» поешь? «Течет речка» поешь? «Есть у меня шубка»? И опять же — «За кирпичной стеной»? О тебе, шаромыжнике, я заботу имею, а ты всякое дерьмо поешь? Паек получаешь? Матрас есть? В баню водят? А? А ты чего поешь? А пять суток на «строгом» не хочешь? И я тебе туда Кумача дам Лебедева. И чтобы на зубок. Ясно?

Штабель встал:

— Надо шагаль.

— Я провожу.

— Не надо, Вася, ошень не надо.

Они еще долго препирались, хотя оба заранее знали, что пойдут вдвоем. После, когда друзья шли рассветными улицами к центру, Василий Васильевич убеждал водопроводчика:

— Ты, главное, стой на одном: не хочу и — баста. Нету такого закону. От войны и след простыл. Гитлера черви съели, а людей с детьми держут. Это, не иначе, местная власть темнит.

Но стоило Штабелю исчезнуть за дверями тяжелого, как глыба при дороге, здания, сердце у него остренько екнуло.

Они договорились встретиться там, где расстались — на углу около табачного киоска. Лашков бесцельно побродил по улицам, вернулся и снова побродил, и снова вернулся: Штабеля не было. Василий Васильевич поговорил с киоскером о том, о сем и для поддержания коммерции — одну за другой — купил у него пять па-

чек «Беломора». Штабеля не было. Не было его и через час, и через два.

Закрывая ларек, киоскер посмотрел на него подозрительно и особенно долго копался с пломбиривкой.

В здании постепенно стали слепнуть окна: одно, другое, третье... Лашков наблюдал за ними и успокаивал себя: «Вот здесь... Вот здесь... Вот здесь...» Но Штабель все не приходил. И когда где-то, под самой крышей, исчез последний светлый квадрат, он только и подумал: «Вот и всё».

XXIV

Как-то на исходе лета к Василию Васильевичу нагрянул совсем уже неожиданный гость. Первое, что пришло ему в похмельную голову, когда он открыл дверь, было короткое, как выстрел, озарение: «Папаня!» До того поразительным оказалось сходство. Но уже через минуту память поставила все на свои места: «Петёк!» Внезапный визит забытого уже почти брата не то чтобы удивил Василия Васильевича, он давно перестал чему-либо удивляться, а несколько озадачил: «Чего это его принесло? Перед смертью, что ли?» Но следом за этим, сквозь темную дрему, какой с каждым годом все глуше затягивалась его душа, возникло в нем удушливой спазмой давнее, из самой глубины прошлого тепло. И он, помогая брату стянуть с себя плащ, все никак не мог сложить сколько-нибудь вразумительного разговора и только повторял расслабленно:

— Садись, Петёк, садись... Сейчас сообразим кой-чего... Как знал, оставил с вечера... Садись...

Суетясь вокруг стола, Василий Васильевич краем глаза следил за гостем, с ревнивою пристрастностью отмечая в нем черты и черточки, не свойственные тому в молодости, нажитые походя, привнесенные со стороны. Почему-то именно сейчас, через много лет разлуки, Василий Васильевич по-настоящему ощутил, какой не-

возвратимой потерей стало для него все связанное с родным домом. И день, который оказался для него под отчей крышей последним, выявил себя в его памяти с почти осязаемой отчетливостью.

Тогда, сразу же после демобилизации он заехал в Узловск, безо всякого, впрочем, намерения там остаться. Просто хотелось ему перед тем, как отправиться за лучшей долей, в последний раз взглянуть на близкое сердцу пепелище.

Облепленный со всех сторон племянниками, сидел Василий в красном углу и Мария, выделяя его из всех гостей, подкладывала и подкладывала ему все лучшее, что было в ее запасах. Глядя на быстрые руки невестки, бесшумно скользящие над столом, Василий, по их натруженной огрубелости, безошибочно определил, во сколько обходится ей благополучие и гостеприимство мужниного дома: «Не задаром ты, Мария Ильинична, здесь свой хлеб ешь, ой не задаром!»

После третьей, тещь Петра — Илья Парфеньгч Махоткин, заметно охмелев, подступился к гостю с разговором:

— В песках, значит, воевал? Чтой-то тебя туда загнали, или ты там потерял что? Да еще и обижаешься, что зацепили тебя ненароком? А коли б он — азиат энтот — пришел к тебе свои порядки устанавливать, ты бы ему что, хлеб-соль поднес заместо пули?.. То-то и оно. Винта у вас — у Лашковых — какого-то главного не хватает. Все норовите белый свет разукрасить, а свой огород бурьяном зарастает... Вы бы его с огорода и начинали разукрашивать. А то далеко тянетесь, рук, пожалуй, не хватит...

— Папаня, — жалобно отнеслась к нему Мария, умоляюще складывая руки перед собой, — не надо, папаня... Человек с дороги... И ранетый он... Не надо, папаня...

— Ладно, ладно, — неожиданно подобрел Махот-

кин и любовно засветился в сторону дочери, — и пошутить не дозволяется рабочему человеку. Ишь, заступница — мать божия... Ну, ну — не буду больше. Налей-ка нам еще по одной, помиримся...

— Подожди, тестёк дорогой, — длиннопалая ладонь Петра тяжело накрыла стакан перед собой, — равнато нам мириться. Сначала выясним, куда клонишь, за какую программу стоишь. По-твоему выходит, мировая революция у тебя разрешения должна спрашивать, идти ей или останавливаться? Так, что ли?

— А у кого же ей спрашивать? — Махоткин снова напрягся и потемнел. — Коли для меня ее делали, значит, у меня. Вот я ей и говорю: хватит, охолодись, не увязка вышла. Не хочу больше. Проку никакого нету. Надзиратели только сменились. Да прежний-то надзиратель, хоть, Царство ему Небесное, дело знал. А теперя, все, вроде тебя, глоткой норовят. И все учеными словами себя обзывают. Раньше шкодник, нынче — марксист, кому ноздры рвали за разбойный промысел — уже кспыприатор, лодырь с ярманки — в революции перьвый человек, а я, как сидел в забое, так и сижу, только получать втрое меньше стал. Потому как развелось вас, дармоедов — дальше некуда. — Он грузно поднялся и слегка обмяк, повернувшись к дочери. — Жаль мне тебя, матушка, сторишь ты коло сыча этого, не за понюх сторишь. Только я сторона — сама выбрала. Прощевайте, расстоварищи-комиссары...

Тягостное, прерываемое только редкими всхлипами Марии, молчание, возникшее в доме сразу же после ухода Махоткина, объяснило Василию в сути происшедшего куда больше, чем все слова, которые Петр, ища у него сочувствия, сказал вслед за этим. С обстоятельной поспешностью тот долго толковал ему о классовой борьбе, о пролетарской солидарности, о революционном правосознании, но слова брата не вызвали в нем ни отклика, ни сочувствия, потому что те вопросы, какими озадачил его Махоткин, Василий уже задал

себе там, в песках, над распластанным перед ним телом едва оперившегося туркмена.

— Не знаю, Петёк, может, твоя правда. — Он тоже встал и подался к выходу. — Только кровь у всех одинаковая, сколько хошь лей, добра не будет. Крик один будет и беда, да такая, что и тыщу лет не расхлебать. Не держи на меня сердца, я сам по себе хочу, чтобы, как у людей: кто как, а я навоевался.

Резко отворотившись от него, Петр как бы раз и навсегда разгородил мир между ними на две половины и дал понять, что продолжать беседу более не намерен...

Теперь, глядя на брата, Василий Васильевич не испытывал по отношению к нему ни злорадства, ни мстительного упрека, скорее даже сочувствовал ему и печалился за него сердцем. Но слишком уж нестерпимо больно прошлась по его судьбе та беспощадная сила, какую Петр сейчас олицетворял, чтобы он мог вызвать в себе хоть сколько-нибудь искреннее чувство родства к гостю. «Вы грызлись, а чубы-то, браток, у нас трещали, да». Не сдержавшись, Василий Васильевич укорил было гостя за горько и пусто прожитую свою жизнь, но поддержки не нашел, а поэтому сразу же сник и замкнулся: «Что, в самом деле, счета сводить! Какая уж там его вина! Да и нет ни за кем никакой вины вовсе. Один бес всех попутал».

Чтобы хоть как-то исправить свою оплошность, Василий Васильевич предложил выпить еще и, не ожидая ответа, кинулся в магазин и вскоре возвратился с бутылкой красного, но дома брата уже не застал, отчего на душе у него сделалось вконец тускло и пакостно: «Значит, не судьба нам сойтись. Так, видно, тому и быть. Один, Вася, помирать будешь, один, да!»

XXV

Грушу хоронили поздней осенью, когда на землю и крыши легла первая изморозь. Двор, сдавленный со всех сторон студеным небом, казался Лашкову каменным мешком, в котором горела посреди желтая свечка гробовой крышки. Она горела тихо, но властно, и не было в мире силы, чтобы погасить ее.

Потом от двери парадного, мимо нее, молчаливыми рыбами поплыли тени. Они плыли по двору, и не было их плаванью ни конца, ни края. Вслед за тенями из парадного стали выбираться голоса, но и они не согрели холодного дворового колодца.

Грушу вынесли, и она замерла на чьих-то плечах прямо против своей крышки. Из окна, сверху, Василий Васильевич видел ее всю — с головы до ног ничью, принадлежащую только себе. Вокруг нее сомкнулось кольцо лиц. Он узнал их всех. Цыганиха и Храмова, Иван Левушкин и его Люба. Никишкин со всем семейством. Меклер и Феня Горева. Они стояли и молчали вокруг нее, и она как бы возносилась над ними и прощала их.

Тишина всё сгущалась, стягивая нервную тетиву до отказа, и вот не выдержала — оборвалась-таки: заплакала младшая девочка Никишкиных — Светлана. И, как от искры, все во дворе пришло в движение. Лица закачались в плаче. Но это был плач не над ней — над Грушей. Так плачут о живых, а не о мертвых. Они, это чувствовал, знал Лашков, выливали в плаче всю ту кровоточащую боль, какую обросла его собственная душа перед прощанием с землей и небом.

«Что мы нашли, придя сюда? — думал он их мыслями. — Радость? Надежду? Веру? Вот ты, Цыганиха, растерявшая все? Ты — Левушкин? Где твой сын-дантист? Ты — безумный Никишкин? Что мы принесли

сюда? Добро? Тепло? Свет? Кому? Меклеру? Храмовой? Козлову? Нет, мы ничего не принесли, но все потеряли. Себя, душу свою. Все, все потеряли. А зачем? Зачем? Ведь в каждом из нас жило доброе слово и, может быть, живет еще. Живет! Лева знал, что говорил: «Плачьте, плачьте, люди, у слезы тоже сила есть!»

Василий Васильевич даже подался весь вперед и вдруг увидел в глубине двора, там, где когда-то стоял штабелевский дом, старуху Шоколинист. Черная и крохотная, — она стояла, беззвучно шевеля губами, и постепенно выростала, увеличивалась в его глазах, пока не заняла неба перед ним, и он ружнул на подоконник и, наверное, только земля слышала его последний хрип:

— Господи-и-и...

ЧЕТВЕРГ

Поздний свет

I

Глядя в последний раз на слегка заснеженные московские улицы, Вадим даже представить себе не мог, что когда-нибудь он снова может вернуться сюда. Он считал этот свой путь до известной всякому москвичу Троицкой больницы — последней в своей жизни дорогой. Отсюда, издалека, печально знаменитая Столбовая виделась ему чем-то вроде склепа, из которого уже не было выхода. «Господи, — мысленно сетовал он, — за что мне все это, за какие такие грехи?!»

Машина вырвалась из загородного шоссе, мимо окон замелькали ловкие дачки-домики Подмосковья, рассеянные вдоль и поперек аккуратными грейдерами. Буйный, связанный по рукам и ногам парень, постепенно очухиваясь от наркотиков, натужно замычал, задергался, на искусанных губах выступила пена, а истерзанные видениями кроличьи глаза его, казалось, вот-вот вылезут из орбит.

Эвакуатор — изжеванный жизнью и частым куревом мужичок в изрядно поношенной кожанке — лениво сплюнул себе под ноги и сказал квакающим голосом:

— Ишь, ведь, как его выворачивает! Давно такого не важивал. Видно, не жилец, раз в Троицкую.

И еще раз это его восклицание только лишний раз утвердило Вадима в горьком предположении: «Хана, тебе, Вадим Викторович, наверняка, хана». Долгой ледяной жутью свело сердце, что-то там внутри него обморочно надломилось, и он скорее почувствовал, чем услышал себя, свой голос:

— Что, папаша, дрянь мое дело?

— А то как же? — Нет, он, этот жлоб в кожанке,

не дал ему, не подарил надежды, — думай, куда едешь. И докончил вразяжку, почти с наслаждением: — В Столбовую.

Больше Вадим и не пытался заговаривать. Какой смысл было ему растравливать себя и свой ужас перед будущим. Он только мысленно, как бы вознаграждая себя за минутную слабость, длинно матерно выругался, добавив в конце к этому: «Сука, сука, сука!»

А тому — нет, не сиделось, не молчалось совсем, его прямо-таки выламывало сладострастным жлобским желанием мытарить и добывать ближнего:

— Раз лекарства не помогли, значит, туда. — И снова с наслаждением, только теперь с особым: — В Столбовую — я. Там таких навалом. Жрут, пьют, баб потребляют. Живи — не хочу! — В нем, в полом нутре жлоба все торжествовало, и гнилостный запах его зубов витал по фургону насквозь замороженного «рафика». — А я бы их своим манером. Что им небо коптить без пользы? В наше время техника на этот счет знаешь, какая? Закачаешься! Любо-дорого! Один укол — и ваших нет...

Кажется, еще немного, и Вадим бросился бы на него, но в это мгновение тот неожиданно щедрым жестом выбросил вперед себя едва початую пачку сигарет:

— Кури, мальй, а то совсем смерзнешь.

— Не курю. — Исступление сразу склынуло. — Не привыкал.

— Не воевал, видно, молодой еще. — У жлоба в старой кожанке даже жеваное лицо его обмякло. — Бывало, лежишь в окопе, вша озверела, бабу хочется — в коленках ломит, а затынешься раз-другой, вроде ничего — жить можно. Ты в гражданке кем был?

— Артист.

— Смотри! — Кожанка уважительно заскрипела.

— Первый раз артиста эвакуирую. Надо полагать, родня сработала. — И хотя Вадим смолчал, тот по одному ему ведомым признакам понял, что угадал, и, радуясь своей догадливости, подобрел до предела. — Видно, на барахло позарились, опеку оформили, гадые.

— Да нет у меня никакого барахла!

— Тогда — интриги, — победно объявил эвакуатор, искоса определяя блудливым взглядом произведенный эффект. — Факт, интриги! Выходит, сидеть тебе, мальй, в Троицкой — не пересидеть. Здесь у них, как пить дать, и врачи купленные...

Его явно заводило на речь длинную и не менее жлобскую, чем вначале, но в это время машину сильно трянуло и после этого не переставало трясти: асфальт кончился, за окнами потянулся проселок. Дома-дачи сменялись упитанными пятистенниками с телеантеннами над оцинкованной кровлей. Вялая позёмка медленно наметала вокруг них пузатенькие сугробы.

Патлатый снова замычал и задержался, изможденное лицо его потекло радужными пятнами, и Вадим, холодея, с отчетливым отчаяньем отметил про себя: «С такими попаду, тогда — лучше в петлю».

Эвакуатор, в свою очередь, неожиданно потускнел, заскучал быстрыми глазами куда-то в окно и неожиданно мастерски стал тихо высвистывать себе под нос «Хотят ли русские войны». И стало сразу видно, что жлобство его скорее от короткого ума и душевной лени, чем по свойству натуры, что человек он давно выпотрошенный жизнью да вдобавок еще и вывернутый после этого наизнанку, оттого и выглядит таким изжеванным и полым.

Жуть под сердцем Вадима притупилась или, вернее, вошла в постоянное, почти неощутимое состояние, и он обрел, наконец, способность к обычному житейскому

размышлению и стал размышлять, и все события последних дней начали выстраиваться перед ним в одну логическую цепь, в один взаимопроницаемый поток.

Еще в ту ночь, когда последний огонек Узловска исчез за срезом оконного проема и сырая ночь вплотную приникла к стеклу, он почувствовал, что земля уходит у него из-под ног. Встреча с родней, как она — эта встреча — рисовалась ему в воображении, должна была разомкнуть ту отчужденность, то душевное одиночество, в которые чуть не с младенческих ногтей заключила его судьба. Он надеялся, что через деда и тетку он войдет в прямое, кровное соприкосновение с внешней средой, соприкосновение, так недостававшее ему все эти годы.

Решаясь объявиться у Петра Васильевича, Вадим заранее предполагал возможность конфуза, мало того — готовился к нему. Оттого и осчастливил он деда, едва держась на ногах, оттого и нервничал, и куражился за столом, что видел, чувствовал — не получается сердечной завязки, и возникшее вдруг семейственное его с ними единение — только до порога. Им словно бы выпало существовать по двум противоположным сторонам некоего треугольника, встретившись в верхней точке которого у них уже не доставало ни сил, ни желания сколько-нибудь удерживаться на этой самой точке. Разумеется, можно было сделать еще одну попытку связать несвязуемое, но бессмысленность ее — этой попытки — представлялась ему настолько явной, что одна мысль о ней вызвала в нем болезненное томление и протест.

Почти всю сознательную жизнь Вадима окружали посторонние люди: посторонние друзья, посторонние приятельницы, затем посторонняя жена и ее посторонние родственники. Все они имели к нему какое-то отношение или касательство, и порою самое заинтересованное, но никто из них никогда не стал для него больше

чем просто другом, приятелем, женой, жениным родственником. Жизнь их текла сама по себе, никак непосредственно с его жизнью не сопрягалась.

До тридцати лет в суете и возбуждении актерской маяты Вадиму даже и задумываться по этому поводу не приходилось. Но однажды в тусклом номере гостиницы в Казани он, пробужденный тяжким и сумеречным похмельем, вдруг увидел себя со стороны маленьким, затерянным и жалким существом, до которого никому, ну вообще никому на свете нет дела. И он, сжавшись, как бывало в детдоме, под одеялом в комок, заплакал, вернее, даже не заплакал, а заскулил, словно брошенный по ненадобности щенок. Именно страх той казанской ночи и погнал Вадима к забытому было уже порогу, где его давным-давно никто не ждал и где он так и не изведal облегчения. А дома в Москве Вадима ждала записка: «Я у мамы. Приедешь — позвони». И если раньше всякая очередная ее ложь вызывала в нем приступ бессильного гнева, то сейчас, мысленно восстановив их — жены и тещи — нехитрую систему взаимовыручки, он только брезгливо поморщился: «Дуры!»

Женился Вадим беззаботно и неожиданно для самого себя. Как-то в пьяном утаре и толкотне по разномастным компаниям перед ним обозначились влажные, миндального цвета и, как ему тогда показалось, единственные для него глаза. Утром, уткнувшись в его плечо, она сквозь судорожный плач умоляла не бросать ее хотя бы одно время, с тем, чтобы ей легче было объяснить матери свое первое ночное отсутствие. После недолгого сопротивления он сдался, подумав: «А почему бы и нет?» С тех пор слезы стали ее против него оружием. Слезы помогли ей заставить его зарегистрироваться с ней, слезами замаливала она свои более чем мимолетные измены, в слезах растворяла частые ссоры и обиды. Иногда Вадиму становилось невмоготу, и он, решаясь, наконец, прощально складывал в чемодан самые необходимые для холостяцкого быта пожитки. Но

стоило ему взяться за ручку двери, как слезная истерика проникала его брезгливой жалостью, вынуждая беспомощно опускать руки и уныло сдаваться.

Вадим не мог ревновать жену, потому что никогда не любил ее. Его бесили только победительные улыбочки их общих приятелей и знакомцев, с которыми она флиртowała. Чаще всего — людей пустых и никчемных. И чем ничтожнее оказывался его очередной соперник, тем нещаднее клял Вадим свою слабохарактерность. Но после происходившего вслед за этим бурного объяснения все повторялось сначала.

Теперь же, небрежно, ребром ладони отодвинув записку жены в сторону, Вадим даже не затруднился вопросом, когда и с какой целью она — эта записка — здесь оставлена. Все, что стояло или могло стоять за ней — этой запиской, — виделось ему сейчас таким пустячным и малозначительным, что, едва вспомнив посещавшее его в подобных случаях удушливое исступление, он подивился своей столь острой в прошлом чувствительности: «Боже мой, какая, право, блажь все это!»

Сейчас ему казалось, что в сравнении с той головокругительной пустотой, какая заполняла его в эту минуту, с ее тошнотворным жжением и нестерпимостью, все на свете выглядело назойливо многословным и необязательным. Он чувствовал себя человеком, которому с грехом пополам, но удалось дойти по узенькой жердочке до самой середины пропасти, а двинуться дальше у него уже не хватает ни дыхания, ни воли. И поэтому все, что происходило в эту минуту по обеим от него сторонам, его уже не интересовало, не могло интересовать. Для того, чтобы погибнуть, ему надо было только посмотреть вниз, то есть в себя. И он не выдержал этого соблазна. И посмотрел.

Ах, как они легко, без сопротивления подались, эти чудо-клавиши газового божества!

Вадим лег на тахту, заложил руки под голову и блаженно опустил веки. Падение было не стремительным,

а почти парящим. Сначала он почувствовал легкий запах, может быть, чуточку приторный, затем восхитительное головокружение, словно в детстве в Сокольниках на карусели, и, наконец, блаженное забытие, как во хмелю, только гораздо полнее и удивительнее.

Первое, что он почувствовал, определив над собой больничный потолок, был стыд. Обморочный, удушливый, от которого его почти тошнило. Он было рванулся из своих пут, но, накрепко прибинтованный к койке, лишь вскрикнул от унижительного бессилия и уже больше не умолкал. Он кричал непрерывно целые сутки, кричал, заглушая собственную к себе брезгливость, а когда затих наконец, судьба его была решена: во всех входящих и исходящих он уже значился тяжелобольным.

И вот теперь его везли в санитарном «рафике» в загородную больницу, и желчный эвакуатор в кожанке насвистывал себе под нос: «Хотят ли русские войны». Он насвистывал этот мотив с таким остервенением, как будто впрямь хотел убедить кого-то невидимого в том, что — нет, не хотят.

Машина медленно взяла подъем, круто развернулась, и сквозь завесу заметно окрепшей метели Вадим увидел приземистое, казарменного вида здание, вокруг которого смутно угадывалось множество флигелей и пристроек. Забранные решетками бельма окон слепо вбирали в себя рассеянный свет вьюжного дня, не выпуская обратно в мир ни звука, ни проблеска.

— Дома, мальш! — сразу же ожил и засуетился эвакуатор, — вылезай. Сдам тебя по документу и ступай себе в палату, заваливайся на боковую. Ешь да спи, вот и вся теперь твоя работа. Ах, завидки берут! — И ясно было — не врал, действительно завидовал, даже покраснелся слегка от умиления перед такой перспективой. — Нет, ей-Богу! А теперь топай поперед меня. Этого, — он коротко кивнул через плечо, — потом сами возьмут.

В приемном покое эвакуатор во всем выказывал себя своим здесь человеком, по-хозяйски расхаживал из одной комнаты в другую, собственным треугольником открывая и закрывая дверь, шумно со всеми здоровался, а когда получил, наконец, сдаточную расписку, даже расчувствовался перед Вадимом:

— Эх, мальй, жизнь наша бекова! Солдат лежит — служба идет. Где ни жить, лишь бы с хлебом. Какие твои годы! — Он снисходительно пожевал дряблыми губами и сыпанул еще от полноты сердца. — Как говорится, от сумы, от тюрьмы! Где наша не пропадала! Век живи, век учись, а помрешь дураком! Кто не был, тот побудет, а кто был, тот хрен забудет! В общем, как в песне поется: «Приди, приди ко мне, свобода золотая, я обогрею тебя ласковой душой»!

Он выхватил было из кармана сигареты, но, видно, вспомнив, что Вадим не курит, сунул их обратно, отчаянным манером махнул рукой, бодренько засеменял к выходу и вышел, и обитая войлоком дверь мягонько зашлепнулась за ним. Последняя ниточка, хоть и прозрачно, но связывавшая Вадима с тем миром, оборвалась и он остался наедине с этим.

Когда Вадима ввели в ординаторскую, врач, занятый изучением его истории, не поворачиваясь к нему, молча кивнул на стул, стоявший чуть поодаль от стола, продолжая в то же время заниматься своим делом. Птичий профиль его смуглого лица, четко выделяясь на фоне оконной белизны, только подчеркивал выюжную бесприютность январского дня.

Чтение чужой жизни, видно, доставляло ему большое удовольствие: просмотрев очередную страницу, он снова и снова возвращался к ней, то и дело поклевывая авторучкой лежащий сбоку от него раскрытый блокнотик, и при этом все похмыкивал, все покашливал задумчиво и со значением. Наконец, он захлопнул скоросшиватель, бережно, предварительно погладив, отодвинул дело в сторону и, повернувшись к Вадиму, лас-

ково отрекомендовался:

— Меня зовут Петр Петрович.

— Лашков, — Вадим поперхнулся: уж слишком необыкновенным оказалось у доктора лицо: узкое, усеченное к носу, с широко и косо расставленными глазами, оно позволяло ему, и не поворачиваясь, наблюдать собеседника, — Вадим Викторыч...

— Так, Вадим Викторович, так. — Тот говорил тихо, вкрадчиво, как бы заранее предполагая в пациенте человека тяжело больного и опасного и тем самым давая понять, что лично он, Петр Петрович, готов к любым неожиданностям. — Весьма рад с вами познакомиться, Вадим Викторович.

Но по мере того как в разговоре выяснялось, что перед ним человеческая особь в твердом уме и ясной памяти, птичье око доктора тускнело, речь обесцвечивалась, движения становились вялыми и машинальными. Резкое лицо его принимало все более обиженное выражение. Он словно бы искренне скорбел за всю московскую психиатрию, которая подсунула ему вместо полноценного шизофреника с агрессивными наклонностями заурядного болвана без всяких бредовых снов и аномалий.

В конце концов, откровенно пренебрегая объяснениями пациента, доктор жалобно отнесся в сторону двери.

— Нюра!

В проеме двери в смежную комнату тотчас выросла высокая костистая старуха в подшитых валенках и, не говоря ни слова, решительно двинулась на Вадима, повелительным кивком подняла его и, открыв своим ключом дверь перед ним, легонько вытолкнула в палату.

II

Только сейчас, после вчерашней приемочной суеты и полугорячего сна на новом месте, Вадим как сле-

дует осмотрелся. Отделение представляло собой широкий коридор, по обеим сторонам которого располагались низкие сводчатые палаты. От коридора их отделяла массивная, квадратной формы колоннада, так что сообщение между ними было полным и постоянным. Одна из палат, приспособленная под столовую, считалась общедоступной, и здесь, в перерывах между едой, шумно колготило нечто вроде клуба: резались во все настольные, обсуждали перспективы на выписку, мимоходом решая вопросы внутреннего и планетарного порядка.

Вадим потолкался было в общем гомоне, но, видно, еще не принятый вполне за своего, не нашел собеседника, а потому уж через минуту повернул к себе, без особого, впрочем, огорчения или обиды. Сосед Вадима по койке — черный, стриженный наголо парень, с резко выдвинутым вперед тяжелым подбородком — поднял на него влажные, цвета сосновой смолы глаза, добродушно улыбнувшись ему, и снова уткнулся в клеенчатую тетрадку, которую заполнял быстрым и мелким почерком.

Стоило Вадиму лечь и закрыть глаза, как гулкие видения недавнего прошлого обступали его со всех сторон. То грезилось, будто собирает он бригаду от Якутской филармонии, а Власов отказывает ему в красной строке, то являлась вдруг теща Александра Яковлевна, которая, по своему обыкновению, обвиняла его во всех смертных грехах, кстати и некстати поминая о загубленной жизни дочери, то садился у него в ногах дед Петр и с молчаливой укоризной покачивал головой, глядя на непутевого внука...

— Слушай сюда, паря, — кто-то бесцеремонно расталкивал его. — Проснись, землячок!..

Размытое сонным пробуждением, перед Вадимом выявилось лицо. Лицо все более и более определялось, а определившись уже совершенно, оказало себя улыбчивым удивлением: что, мол, не узнаешь, брат? Все обличье сидевшего напротив Вадима человека обозначало

в нем индивида дотошного и в жизни весьма и весьма поднаторевшего. Действительно, где бы ты ни встретил такого: на корабельной палубе, у автовокзала или перед случайным пульманом, — сразу и безошибочно определишь принадлежность его к беспокойному и отчаянному племени бродяг. Прежде всего, людей, подобных ему, отличает эдакая внутренняя взбудораженность, эдакое порывистое возбуждение, которое сообщает их облику выражение неуверенности и бесшабашия одновременно. Они словно бы катятся с горы, но спуск этот, захватывающий сам по себе, стекает в плотный и всегда обманчивый для них туман, а что там — за этим туманом, не знает даже и сам бес, толкающий их с этой горы. И вот с этим самым вопросом — пан или пропал? — в оголтевших от сомнений глазах они и мечутся у всех, какие только есть, дорóг нашего никем не меренного и не считанного отечества. И куда ни закинь его, в любую Тмутаракань, в медвежий угол любой, в пески, где и верблюды считают себя ссильным, он — наш бедолага — семью кровьями-потами изойдет, а все-таки отвоюет себе место под солнцем. Отвоюет и уйдет. Уйдет, потому что им уже властно овладела мысль, что есть места лучше этого, где его, и это наверняка, ждет действительно достойная жизнь. Вот и носит такого до седых волос по свету — из конца в конец долгой страны — в поисках все лучшей и лучшей доли. А где она — эта его доля — ведомо, видно, одному Господу Богу.

И сейчас, при взгляде на неожиданного собеседника, в памяти Вадима, из-под наслоений множества лиц и голосов, стало четко проступать это широкое бровастое лицо, а первые сказанные им слова только закрепили вдруг возникшее воспоминание.

.

Когда, после часовой толкотни у кассового окошка, Вадим вернулся в общежитие, там уже стоял дым коромыслом: штукатуры и маляры пропивали аванс. Митяй

Телегин — щербатый мужик в синей сатиновой рубашке нараспашку, — поигрывая по сторонам свирепыми бровями, с усилием одолевал пьяное разногослье:

— ...Прихожу, говорю: «Я тебе любой колер наведу. Хочешь — клеевую, хочешь — масляную, хочешь — под дуб разделаю за милую душу. В штукатурке опять же промашки не дам... Оборудую так, что пальчики облизнешь. Что же ты, говорю, сукин сын, меня на земляных держишь, распахнуться душе не даешь?» А он мне говорит: «А ты, — говорит, — сто пятьдесят целковых подъемного харчу получил? Получил. Вот и отработывай, — говорит, — где поставлен. Эдак вы все, — говорит, — начнете выкобениваться, так я не токмо что план, а по миру пойду».

Он пошарил тоскующими глазами вокруг, ища сочувствия, но, занятые своими разговорами, все слушали его вполуха. Маляр безнадежно махнул рукой — чего, мол, с вами зря и язык чесать? — и пошел между койками к двери, истошно выкрикивая на ходу:

— Вербовщик, гаденьш, золотые горы сулил, а вышло по семь бумаг на рыло и — крышка!.. Поди-ка выкинь шесть кубиков, взвоешь!.. Вот-те и заработки!.. А из деревни пишут: крыша текеть! А чем я ее зала таю? портками?.. Куда как нехорошо получается...

Митяй, петляя, шел к выходу, а из другого конца барака, где обособилось несколько коек бывших лагерников, вслед ему нестройный хор разухабисто горланил на мотив «Две гитары за стеной жалобно заныли...»:

Дядя Ваня на гармони,
На гармони заиграл.
Заиграл в запретной зоне —
Застрелили наповал.

О покое в ту ночь нечего было и думать. Вадим вышел, постоял у порога, оглядываясь вокруг, а затем решительно двинулся в поле: стройка газового завода с выдвинутыми вперед, наподобие аванпостов, общежи-

тейскими бараками вплотную примыкала к артельным угольям. Оттуда тянуло улежавшимся сеном и польню. Запахи еще не тронутой скреперами земли сами оберегали свою неистребимость от асфальтовой гари и известковой горечи стройки.

Уткнувшись головой в первую же копну, Вадим словно окунулся в другой, совсем недавно потерянный им мир. Его, выросшего в отдельной бесприютности башкирского юга, угнетала здешняя скученность дорог, строений, людей, вызывавшая в нем непонятную ему самому раздражительность, даже озлобление. Там — в детдоме, а потом в ФЗО он представлял себе свою будущую самостоятельную жизнь иной, никак не похожей на эту. По рассказам бывалых погодков здешние места рисовались Вадиму землей обетованной, где перед гостем из-за Урала открывается миллион возможностей стряхнуть с себя, как дурной сон, опостылевшее однообразие степи. Но действительность в два счета развеяла его иллюзии. Попав на строительство завода, он оказался среди людей, съехавшихся сюда чуть ли не со всех концов страны и не связанных между собой ничем, кроме желания заработать на обратную дорогу. Профессия в договоре не указывалась — оргнабору это было невыгодно: вербованный мог потребовать работу по специальности — и Вадиму, с его пятым разрядом, едва-едва посчастливилось устроиться подсобным штукату-ра. Так что, при всей его трезвости, ему редко выпадало сводить концы с концами. Но, по правде говоря, его удручало не столько безденежье, — разносолами на коротком своем веку он не был избалован, — сколько эта вот ожесточающая душу суতোлка, которая день ото дня затягивала его в свой оголтелый круговорот, не давая опомниться и хоть как-то определить себя в окружающем. И сейчас, лежа у копны июльского сена, Вадим со сладостной истомой вспоминал когда-то без сожаления брошенную им зябкую башкирскую степь с ее блеклыми тонами и коротким летом. И то, что рань-

ше казалось ему скучным и постылым — долгие зимние ночи, стывшие ветры по осени, безлюдье — выглядело теперь вещим, мудрым, исполненным значения...

Где-то совсем рядом зашуршала трава.

— Кто тут живой отсыпается? — Не поворачивая головы, Вадим по голосу узнал Телегина. — Принимай в канпанию!.. Никак ты, Вадыка.

Вадим не ответил: сейчас ему его одиночество было дороже телегинского соседства. Но тот все же сел рядом, зажег спичку, затянулся.

— Эх, ведь какая благодать кругом. — Речь его лилась трезво и благостно. — Хлеба хрустят, тварь всякая стрекочет, земля в духу покоится... И середь всего этого пьяный человек, навроде дерьма, шалается, святое место поганит... Так все в нутрях и переворачивается. Материться и то — лень... В деревню бы сейчас. Да по ранней зорьке, кваском опохмелившись, косу на плечи...

— И очень просто.

— Просто! А в пачпорте кирпичик: завербован. Вот и сунься с этой печаткой к председателю. Мигом в райотдел отправит.

— Не лез бы. — Вадим грубил намеренно, думал, может, отстанет. — Все рубля подлиннее ищите.

— Да мне, друг-человек, — Телегин сразу заерзал на месте, заволновался, — чтоб половину дырок залатать, рупь с версту нужен. Не напечатали еще такого. А только и дома сидеть никакого резону нет. На трудодень обещанками платят, одна кормежка что с усадьбы. Много ли с нее прокорму? Вот и разбредается мужик хоть малую деньгу зашибить... Да и денга-то, ведь сказать, стыд один...

— Пьете вы все.

— Ты вот не пьешь, много ль в сберкассе скопил?.. То-то... Пропивай, не пропивай, — все одно в кармане шиш. Так хочь душу повеселить.

— Ничего себе веселье. В прошлую получку троих скорая помощь увезла.

— Усталый народ, — примирительно вздохнул Митяй. — Выпьет, злость — наружу. Вот и режутся... С непривычки оно, конечно, в диковинку... Сам-то ты откуда?

— Из Башкирии...

— Ишь ты, в какую даль забрался! Степя там у вас?

— Степя, — в тон ему ответил Вадим и еще раз повторил уже мягче, — степя.

— И ночь, говорят, длинная?

— И ночь... И день...

— Скота много... Опять же — нефтя.

— Хватает.

— Чудно!

— Чего ж?

— Уж больно Рассея велика. У нас вот — в Тульской области, зайца встретить — редкость... Рыба и та вышла. Стребили. Всю как есть. Так, дурочка иногда попадается, а чтоб по-настоящему — ни в жисть.

— Соскучился, возьми билет и дуй к нам. Там этого добра пропасть.

— Туда одна дорога во что обойдется, все спусти — не хватит. И опять же от дома далеко... Ребята у меня... Шестеро. — И определил мечтательно. — А ничего бы...

Этим своим «ничего бы» Телегин словно приобщил себя к сегодняшней его тоске, вызвав тем самым в нем чувство ответного сочувствия:

— У нас там широко. Сто километров, вроде, как здесь один пролет поездом.

— Ишь ты...

— И народ широкий... Добрый народ...

— Смотри-ка...

— И тишина кругом...

— Дела-а...

И сейчас, будто продолжая их тогдашний разговор, Митяй восторженно мотнул сивой головой:

— Дела-а... А я и смотрю, быдто знакомый... Ить сколько годов, а признал! — Он по-ребячьи радовался встрече, возбужденно ерзая по соседской койке, то и дело подталкивая того локтем, стараясь и его приобщить к своему торжеству. — Не всю, значит, память я пропил, осталось чуток!.. Эх, так и текет жись без передыху... А меня повалило-потрепало, да... Как отбил я тогда от деревни, так досё и замеряю Союз подошвой вдоль и поперек... Жена еще до реформы денежной померла, дети попереженились да и поразъехались кто куда, ищи их теперь... Да и ни к чему, все одно забыли... А я из вербовки в вербовку, как из ярма в ярмо... А сюда, — от напряженного смущения у него даже пот на лбу выступил, — я по пьяному делу попал... Зашибил я, понимаешь, хорошую деньгу в Тюмени на нефтях, ну, и гульнул здесь проездом по буфету... Ну, и задел одного ненароком... Слышал Тюмень-то? — Телегин намеренно переводил разговор в другое русло. — На подсобке и то по триста гребут...

Года два тому, прельстившись шальным заработком и красной строкой в афише, Вадим мотался со случайной бригадой по заиртышским болотам, озаренным факелами газовых фонтанов. Деревянные коробки поселковых клубов распирало гремучей матерщиной и хмельным перегаром, в грязных и холодных гостиницах круглые сутки стоял дым коромыслом, а дорога всякий раз прокладывалась наново. Так что после, на отдыхе в Крыму, при одном воспоминании об этой гастроли, его пронзительно и зябко передергивало. И поэтому теперь, слушая телегинские байки о тамошних кисельных берегах, Вадим про себя безошибочно определил, во что обошлось тому его похмельное ожесточение: «Как он еще там, в аду этом, совсем не озверел, разговаривать не разучился?»

Они проговорили до самого обеда, вернее, говорил один Телегин, а Вадим только слушал, но, слушая, он живо соучаствовал в монологе Митяя и, наверное, поэтому ему казалось, что и сам он не умолкает ни на минуту.

Когда Телегин ушел, молчавший до сих пор и занятый делом сосед оторвался от своей тетрадки, сунул ее под подушку и, вставая, протянул Вадиму сухую волосатую руку:

— Марк. Крепс. Режиссер. Пошли обедать.

Высказанное соседом с такой веселой краткостью дружелюбие мгновенно обезоружило Вадима, призвав его к новому знакомцу ответным доверием и признью: «Чудак, вроде, но славный, светится весь».

III

В преддверии уборной тяжелыми пластами плавал табачный дым, сквозь который едва проглядывали смутные лица. Курить Вадим начал неожиданно для самого себя. Как-то, машинально взял протянутую Марком сигарету, неуверенно затянулся, а спохватившись, решил выдержать характер и докурить до конца. С тех пор он стал постоянным обитателем клозетного предбанника. Дымил он почти непрерывно, с каким-то сладострастным остервенением, словно стремился наверстать все недокуренное за предыдущие тридцать пять лет. Дым сообщал ему чувство горького успокоения, и действительность после каждой затяжки выглядела менее пустой и беспросветной.

Рядом с ним, тихо одуряя себя лежалым «Прибоем», два старика торговали друг у друга пальто. Пальто существовало там, в том мире, и, судя по всему, ни одному из них не суждено было его носить, но, убежденные в скором освобождении, они отстаивали каждый свою выгоду с предельной отдачей.

— Оно у меня на ватине, довоенном еще. — Сизые

щеточки бровей над вылинявшими глазами многозначительно сдвигались к переносице. — Еще лет двадцать пронесишь. Ты, главное, садись на одиннадцатый номер и прямо до Черкизова, а там Гавриков проезд спросишь. Дом четыре. Во дворе меня всякий знает. Тебе за шестьдесят пять отдам, дешевле грибов. Не прогадаешь.

— Это еще посмотреть надо. Шесть с половиной бумаг большие деньги! За шесть-то с половиной нынче и новое можно купить любо-дорого. Скажешь тоже, шесть с половиной! Бери шесть и не мерзни. К тебе добираться, — не меньше рубля изведешь...

В забеленном до самой фрамуги стекле перед Вадимом неожиданно проявилось тихое лицо Крепса:

— Дымишь?

— Не спится.

За те немногие недели, что Вадим провел здесь, он узнал о Крепсе все или почти все. Из театра, где он безуспешно пытался ставить, что ему хотелось и как хотелось, его, после очередного выступления в Управлении, отправили на экспертизу, откуда он уже обратно не возвратился. И то грустное недоумение, с каким бывший режиссер воспринимал все случившееся с ним, — недоумение перед непробиваемой людской глупостью — вызывало у Вадима по отношению к нему чувство бережного покровительства.

— Все думаешь? — засветился он в грустно мерцавшие сквозь дым глаза Крепса. — Химеры одолевают?

— Уж так мы устроены, Вадя, — крупный профиль Марка четко обозначился на матово блистающем стекле, — нам нельзя не думать. Мыслящая оболочка нашего мозга очень тонка, а там — под ней — бездна. Стоит человеку хотя бы на мгновение перестать думать, прервать цепь размышлений, пусть самых пустяковых, и сознание устремляется сквозь этот разрыв в бездну. Так начинается сумасшествие. Но такое случается редко. Спасительный инстинкт самосохранения не позволяет нам прерваться. И мы мыслим. Неважно, о чем. О тео-

рии относительности или премиальных. Главное, не прерваться. Спасение — в непрерывности.

— О чем ты все пишешь, Марк? Если не секрет, конечно...

— О значении врожденного чувства вины в человеке.

— А если яснее?

— Как бы это тебе объяснить, Вадя... Когда в детстве меня в первый раз приняли за еврея, я пришел домой и спросил у отца: «Разве я еврей?» Он ответил: «Да, мой мальчик. Ты — еврей». Но я-то знал, знал доподлинно, что отец мой чистокровный немец, а мать армянка. И когда через много лет я спросил его, зачем ему это было нужно, он сказал мне примерно следующее: «Ты должен был пройти через это, чтобы стать человеком. Человеком, понимаешь?» И я понял, понял навсегда, что пока в тебе живо чувство личной вины перед другими, из тебя невозможно сделать поросенка... Вот приблизительно то, чем занимаюсь я в своих записках. Но это — популярно... Попробуем заснуть, Вадя, может быть, получится?..

— Покурю...

— Смотри...

Вадим завидовал Крепсу и таким, как Крепс. Встречаясь с людьми наподобие Марка, он завидовал их внутренней чистоте, их вере в разумность всего происходящего, их вѣщей целеустремленности, то есть всему тому, чего с некоторых пор стало недоставать самому Вадиму. После хмельной суматохи молодости к нему вдруг пришло возрастное похмелье, и Вадим увидел себя со стороны тем, чем он и был на самом деле: заштатным эстрадником тридцати пяти утяжеленных разгулом лет. Его сокурсники по театральному училищу уже занимали положение в громких труппах, блистали званиями и успехом, а он все еще мотался по стране со случайными бригадами в погоне за шальными деньгами, откладывая серьезную работу на потом. Но теперь-то Вадим

определенно знал, что это самое «потом» обошло его стороной, что ему ничего не удастся переиначить в своей судьбе и что, наконец, занимался он до сих пор совсем чужим для себя делом.

— Что, не спится? — Вадим знал, что устойчивая бессонница вконец изводила Крепса, и поэтому всякий раз проникался его мукой. — Покури, может, заснешь.

— Бесполезно...

— Пробовал?

— Не помогает.

— Все хочу спросить, — ровное дружелюбие Марка настраивало на откровенность, — только без трепа.

— Попытаюсь.

— Если бы тебе дали театр, ты бы взял меня?

— Хочешь правду?

— Валяй!

— Нет, не взял бы.

— Спасибо за откровенность... Вот и договорились.

— Видишь ли, — Крепс легонько кончиками пальцев коснулся его плеча, как бы извиняясь за невольную свою откровенность, — ты слишком жалеешь себя. В моем театре, — он со значением выделил это самое «в моем», — актер должен будет жалеть других, себя же в последнюю очередь... Скорее, даже совсем не будет... Цель искусства, наверное, все-таки самоотдача, а не самоутверждение... Ты, Вадя, наверное, первоклассный актер в общепринятом смысле... Но мне понадобятся не столько актеры, сколько мыслители, даже страдальцы...

— Так научи!

— Этому нельзя научить, это или приходит само по себе или не приходит вообще.

— Что же нужно сделать для того, чтобы это пришло?

— Нужно успокоиться.

— У меня нет времени.

— Время здесь ни при чем.

— Что же — «при чем»?

— Наверное, сердце.

— Ему тоже некогда.

— Тогда не жалуйся.

— Иди ты к чёрту...

— За все надо платить, Вадя. Ты хочешь даровых откровений, а за них надо платить и часто — всем. Одно из двух: или магический кристалл, или счет в сберкассе. Сочетание исключено. Прости, но ты сам...

— Валяй, валяй...

Он великодушно покивал, чувствуя, как снисходительное безразличие уступает в нем место острой, но еще необъяснимой для него горечи...

— Но в тебе есть немалая толика прекрасного самодетства. И это тебя в конце концов спасет.

— Поздно... Мне уже тридцать пять.

— Самоеды, вроде тебя, до старости — дети. Считай, что ты в любую минуту можешь начать все заново.

— И жизнь?

— Разумеется! Можно просуществовать век, в котором не наберется и года жизни, и можно прожить год, который вберет в себе целый век... От суеты только надо отряхнуться, от душевной праздности...

— Как?

— Здесь советовать — пустое дело. Каждый приходит в себя по-разному.

— Вот ты, к примеру?

— Видишь ли, Вадя, есть такая коротенькая притча: Шли двое по лесу. Долго шли. Наконец, один не выдержал: «Заблудились», — кричит. Другой успокаивает: «Пошли дальше. Я дорогу знаю, выведу». Первый поверил и пошел. Шли они шли, но все-таки выбрались. Тогда первый и спрашивает: «Коли ты дорогу знал, что же мы так долго плутали?» А другой ему отвечает: «Важно не дорогу знать, а идти».

— Выходит, и ты не знаешь?

В смущении улыбка Крепса казалась еще более искательной и виноватой:

— Нет, Вадя, не знаю... Иди, — вот и все, что я могу тебе посоветовать...

— Из моего леса нет выхода.

— И все-таки лучше иди.

— Было бы куда...

В зеркале окна, размытые тусклым светом коридорного плафона, безмолвно маячили две молчаливые фигуры, затем одна из них растворилась в дыму, и, оставаясь наедине с собой, Вадим с отходчивой горечью заключил про себя: «Некуда мне идти, Маркуша, некуда, да и незачем!»

IV

Суббота — день свиданий. С утра в палатах царило нервное оживление: освобождались от остатков прошлых передач сумки, под наблюдением санитаров сбивалась недельная щетина, затасканным пижамам придавался посильный лоск. Каждый, даже из тех, кого никто не навещал, хотел выглядеть в этот день щеголем и весельчаком.

По отделению расхаживала в своих знаменитых, сорок последнего размера валенках старшая сестра Нюра, прозванная здешними старожилками «тетей Падлой», и, вяло ворочая обвислой челюстью, покрикивала:

— Живей, ребята, живей! Чтобы кровати по ниточке! Как в санатории! Из тумбочек все вон! Прогулка, оправка и шагом марш на свиданку! Разговорчики!

Первое время Вадим еще втайне надеялся, что однажды дежурный санитар выкликнет и его фамилию, но проходила суббота за субботой, а никто из друзей или знакомых не спешил напомнить ему о себе. И он перестал ждать. Жизнь являла ему наглядное доказательство непрочности застольных дружб. Что же касается жены, то его с нею уже ничто не связывало. Отказавшись взять Вадима из больницы, она сама поставила точку в их недолгих и малопонятных и ей и ему взаимоотношениях.

Поэтому, когда однажды от входных дверей пошла гулко размножаться по палатам его фамилия, у Вадима удушливо засосало под ложечкой: «Кого еще принесла нелегкая? Отстали бы уж, наконец, совсем!»

Долгими коридорами его вместе с другими провели в полутемное сводчатое помещение, где за квадратными четырехместными столами уже размещались первые посетители.

И не успел Вадим толком оглядеться, как из-за стола в дальнем углу поднялся и, чуть покачиваясь, пошел к нему навстречу давний его приятель и собутыльник Федя Мороз.

— Дедок, — заячьи глаза его, подернутые хмельной поволокой, любовно увлажнились, — здравствуй! — Он грузно обвис у Вадима на руках. — Как же это ты, Вадя, а? Даже знать не дал. Выходит, и во мне раз-уверился? Я тебе — друг или нет?

И хотя Вадим особо не заблуждался по поводу пьяных Фединых излияний, на сердце у него стало ровнее, и мир несколько раздвинулся перед глазами вширь и вдаль: «Не все, значит, забыли, помнят».

С Федором Морозом жизнь столкнула его случайно в театральном училище на вечере встречи с литинститутовцами, где тот в очередь с однокурсниками читал свои стихи. И не то чтобы стихи его очень уж пришлись по душе Вадиму — стихи как стихи, ни хороши, ни дурны, расхожего образца средней руки — нет, просто было в этом лобастом, стриженном под нулевку парне, в его манере держаться — сжатые кулаки в карманах выдавшего вида пиджака, ноги широко расставлены, голова боксерски выдвинута вперед — что-то такое, от чего на душе становилось увереннее и тверже.

Потом они вдвоем бродили всю ночь арбатскими переулками, и Федор, вперемешку со стихами, поведал Вадиму тогда еще довольно короткую, но пеструю историю своей жизни.

Мальчишкой оставшись без родителей, он определился в мореходное училище, откуда ушел в первую кругосветку. Два года проплавал на морских извозчиках, повидал свет и людей. Еще в детстве «ушибленный» литературой парень в свободные от вахты часы изводил бумагу рублеными виршами под Киплинга и Багрицкого. Почти без надежды на успех послал их вместе с заявлением в литинститут и, неожиданно для самого себя, был принят...

— Вот так, — закончил тогда Федор свою исповедь и скосил в его сторону круглый, блистающий доверчивым озорством глаз, — я и назвался груздем. — И звучно продолжил: «Ураган матросов не пугает. Нет! Они сжимают кулаки. Судно только крысы покидают. Только крысы, но не моряки».

Сначала они встречались от случая к случаю, но каждая следующая встреча все более их сближала и вскоре им уже трудно было обойтись друг без друга.

Успех к нему пришел скоро и надолго. Его охотно печатали. От предложений, причем самых лестных, не было отбоя. Но чем громче становилась популярность Федора, чем доступнее давались ему публикации, тем резче обсекалось его, когда-то круглое добродушное лицо, заметнее темнели глазницы. Все чаще и чаще он стал запивать мертвую, пока, наконец, это не стало его бедой и болезнью. Дружки и приятели потихоньку от него отпадали. Один за другим отпали — все. Федор остался в одиночестве.

Тяжелый, с мертвым лицом, он неделями пластом валялся на раскладушке, поднимаясь только затем, чтобы выпить и снова лечь. Болтал какой-то вздор, но и сквозь этот вздор вдруг блаженно прорывалась порой источавшая его боль.

— Не то, не так, Вадя, слова не те... Кристалла во мне не оказалось... Того самого... Чтобы встать однажды и просто произнести: «И зло наскучило ему...» Наскучило!.. Каково?.. А!.. Умели поручики высказываться...

А, впрочем, бред... Налей, милый, не ругай меня, ведь я не клубный пижон...

Постепенно он сходил на нет, пока не замолчал совсем. Что-то переводил, что-то печатал из старья, прирабатывая потихоньку около эстрады и рекламных бюро. Последние годы они виделись редко, говорить им было уже не о чем, и каждый из них, занятый своими заботами, тотчас забывал о встрече. Оттого, слушая сейчас гостя, Вадим никак не мог отделаться от ощущения виноватой неловкости перед ним за недавнюю свою отчужденность.

— Понимаешь, — Мороз между тем заметно трезвел и подтягивался, — за что-то мы платимся, Вадя. За тяжкий какой-то грех. Там, внутри нас, пустота. И не залить нам этой пустоты ни спиртом, ни ожесточением. Сами в себе задыхаемся. Потому у нас ничего и не получается. Крик иногда кой у кого выходит, а настоящего, чтобы на века, — нет. Вот и «сублимируемся» потихоньку, кто как может. Кто бабами, кто, так сказать, общественной суетней, кто доносами...

Воспринимая его вполуха, Вадим время от времени поглядывал в сторону соседнего с ними стола, где рядом с аккуратным — реденький и словно бы светящийся нимб седой поросли вокруг розовой макушки — старичком, которого ему мельком уже приходилось замечать где-то в лабиринтах соседних палат, сидела девушка лет двадцати-двадцати двух в легоньком демисезонном пальтеце зеленого цвета. Девушка держала в своих остреньких ладошках пухлую руку старика, и они ласково и доверительно о чем-то беседовали. У нее было чистое, не отмеченное какой-либо определенной чертою лицо, но едва она начинала улыбаться среди разговора, узкие, близко сдвинутые к переносице глаза ее заполнялись игольчатым мерцанием и тогда в ней цельным и определенным образом проявлялся характер. Порою девушка, перехватывая взгляд Вадима, на мгновенье замирала, потом, упрямо вскидывая подбородок, стряхивала оцепенение и отворачивалась.

Машинально кивая в такт Фединой речи, Вадим почти не слышал друга в ревнивой боязни избыть, растратить в слово трепетное и все нараставшее в нем предчувствие какой-то скорой и праздничной перемены в своей жизни.

— Не оказалось во мне того самого, магического, Вадя, кристалла, — Мороз уже не замечал ничего вокруг, говорил скорее для себя, чем обращаясь к Вадиму, — а зря бумагу оскорблять не хочу. Без меня хватает. Уж лучше репризы разговорникам сочинять, по крайней мере, совесть не мучает. Хочешь, — тяжело усмехнулся он в пространство перед собой, — байку тебе выдам? — И, не ожидая ответа, невидяще повел глазами вокруг. — В самый голодный год встретил один большой литначальник старую поэтессу в самом что ни на есть плачевном состоянии. Ну, и отдал ей от широкой души, так сказать, со своего барского плеча особую карточку для потребления в столовке самого первого разряда. На, мол, пользуйся и благословляй меня по гроб. Сам-то он, конечно, другую получил. Прошло время эдак подходящее, снова встречается благодетель старуху. «Что ж ты, — говорит, — Ксюша, ни разу я тебя у нас в столовой не видел?» «Ах, — отвечает, — милый, там такие пошлые потолки!»... Это в сорок втором-то, Вадя, в том самом... Видно, потому-то у нее и получалось... В единстве внутреннем, в гармонии жила старуха. Из света вышла, а мы все — из тьмы... Тьма-то нас собственная и поедает. Да! — Он вдруг ожил и виновато заулыбался. — Что ж я тебя все баснями да баснями! — Ему, видно, доставляло огромное удовольствие выкладывать перед Вадимом свои небогатые дары. — Ты уж, брат, не привередничай, я по этим заведениям не в первый раз хожу. Здесь разносолы ни к чему. Колбаса, сахар, курево, и, главное, побольше. А это вот, — он заговорщицки подмигнул Вадиму, — печеньице к чаю. Смотри не урони, разольется.

В коробке из-под печенья, и это Вадим определил

сразу, было упаковано не меньше двух бутылок. И, по достоинству оценив самоотверженность друга, он удивленно выдохнул:

— Ну, ты даешь!

— Однако живем, Вадя! — Феде манны небесной не надо, только похвали. — В такой собачьей жизни да не выпить, совсем с тоски высохнешь. Эх, Вадя, Вадя, жизнь под гору пошла. Уже не переиначишь. — Он вдруг поднялся и заспешил. — Пойду-ка и я где-нибудь по дороге свои сто пятьдесят сглотну. Покуда, Вадя, будь. Прости, если что не так.

Они легонько для порядка помяли друг друга, и Федя вяло отпал от Вадима, двинулся к выходу, и во всей его сразу ссутулившейся фигуре, в походке, в наклоне головы угадывалось усталое облегчение. Безвольная спина его еще помаячила в коридоре, пока ее не размыло светом впереди, и Вадим, благодарно оттаивая, с сочувственной горечью заключил про себя: «Сдает парень, совсем сдает».

Проходя мимо соседнего стола, Вадим коротко скосил взгляд в сторону девушки, с сильно бьющимся сердцем отметил её ответное внимание и, уже выйдя следом за санитаром в коридор, все не мог унять вдруг охватившее его жаркое и томительное волнение.

И потом, когда он, вместе с Крепсом и Телегиным, в простенке между двумя угловыми койками допивал принесенное Федей вино, его при одном воспоминании о ней всякий раз обволакивала радостная задумчивость, сквозь которую в его сознание еще пробивался нетвердый голос захмелевшего Митяя:

— Рази тут мороз? Баловство одно. Вот, скажу я вам, в Игарке мороз — это да! Сорок пять по градуснику да еще с минусом. Душу насквозь просекает. Только я крепок тогда был, выдерживал... А теперя у фортки стыну... Сдает машинка. Долго не протяну... Землица зовет на покой. Обида только: в чужой стороне лягу. Без креста и памяти... Никого нет, ничего нет. Ни ко-

нуры, ни привязи... И рупь мой с версту так и остался в тумане. И кому я задолжал столько, что до сих пор не расквитаюсь!.. Ишь, как сердечико прыгает! Как овечий хвост. — Он сунул руку под рубаху и начал старательно растирать левую сторону груди. — Пойду я, братцы, лягу... Мерси на угощение... Неможется чтой-то.

Уходил Митяй неуверенно, ноги переставлял с трудом, серое лицо его, подернутое сивой щетиной, болезненно заострилось и по всему было видно, что доживает он свой век через силу и что отсюда ему предстоит лишь одна дорога—на больничный погост.

— Вот так, Вадя. — Волосатые руки Марка, разливая по кружкам остатки, мелко-мелко тряслись. — Вынули мужику душу и не предложили ему взамен ничего, кроме выпивки. Вот он, этот мужик, и выгорает изнутри синим пламенем. Все наши российские горе-преобразователи, вроде Петра и его марксистских поклонников, умерли с чувством выполненного долга, очень себя уважая умерли, а прожекты ихние нам боком выходят. Нам, не имеющим к ним даже косвенного отношения. В силу какого такого закона за кровавую блажь нескольких параноиков должна платить вся нация? Века платить! И — как! — Хмель почти не сказывался в нем, и только это вот, так не свойственное ему обычно ожесточение, выдавало его. — Притом нас еще и клянут все, кому не лень. Весь свет! Да мир до самого светопреставления обязан благословлять Россию за то, что она адским своим опытом показала остальным, чего не следует делать!

Последние слова Крепса пробились к Вадиму уже сквозь полусонное забытие. И виделась ему девушка в легоньком демисезонном пальтеце зеленого цвета, плывущая по утренним снегам ему навстречу. Потом метель размыла ее облик, и голос Телегина стал беречь в нем его собственную затаенную боль: «Никого нет, ничего нет... Без креста и памяти...» И сразу вслед за этим,

словно наяву, обозначился перед ним выпуклый, почти без морщин лоб старичка с венчиком белого пуха вокруг розовой макушки, ласково шелестящего у него над ухом: «Думается мне, вы неправы, Марк Францевич, в данном случае...»

Старичок отвердевал, устаивался, пока не определил себя напротив него в яви. Сидя на краешке Крепсовой кровати, он складывал певучие слова в ровную неторопливую речь:

— ...Да, неправы... Спаситель не жалости к Себе у Отца просил, а любви к распинающим Его... Возненавидеть их страшился. Боялся не снести креста искупления до конца.

— Верую я, отец Георгий, верую! — Таким Вадиму Крепса еще видеть не приходилось: белый, с трясущимися губами, он судорожно цеплялся за отворсты старикова халата. — Только почему допустил Создатель одному только народу телом этого самого искупления стать? Сколько же его распинать можно? Терпим мы, терпим. Терпения у нас хватит. Любовь на исходе. Злоба Россию душит. Если выплеснется, кровь дешевле воды станет. Каким же искуплением тогда оплачивать ее придется?

Злые беззвучные слезы закипали в его выпуклых глазах и, собираясь в уголках век, тихо стекались к подбородку. Марк не замечал их, продолжая тискать лацканы халата, накинутого на плечи старичка, пока тот не взял его руки в свои, не заговорил умиротворенно:

— Всякому народу своя доля тяжести. От нас самих зависит достойно ее снести, помочь Спасителю в строительстве Его божественном. Роптать — значит, не идти, а топтаться на одном месте. У вас в руках, Марк Францевич, дело, святое, нужное, угодное Господу дело, оно и спасет вас и многих спасет. Надо только отринуть от себя страх перед мирской мерзостью и не с обстоятельств начинать, а с самих себя, со своего прямого дела...

Словно замороженный его медлительной речью, Марк стихал, светлел обликом, вновь обретал обычную для себя безмятежную ясность. И, окончательно засыпая, Вадим успел мысленно озадачиться по адресу старичка: «Его-то, одуванчика этого, за что сюда?»

V

Кружение в прогулочном дворе было по обыкновению неспешным и молчаливым. Вырвавшись из каменной коробки отделения, где слова служили единственным средством скрасить друг другу скуку существования, каждый старался сполна вобрать в себя свою долю тишины и одиночества.

Небольшого роста, плотный, с крепко и ладно посаженной на широкие плечи головой, Крепс вымеривал территорию двора уверенной и твердой походкой человека, который определенно знает цену каждому своему шагу и вздоху и у которого нет времени для сует и сомнений. Вадим, стараясь попасть ему в ногу, еле поспевал за ним. Снег тихонько поскрипывал под их подошвами. В безветренном морозном воздухе от окрестных деревень тянуло кисловатым дымком прелой соломы. Над головой, в отвердевших ветвях заснеженных тополей, лениво и, как бы передразнивая друг друга, покрикивали тощие галки. Мир в замкнутом кругу прогулочного двора выглядел таким надежным и предельно устойчивым, что можно было подумать, будто никакая сила извне уже не сможет его поколебать.

— Заметь, — не поворачиваясь к Вадиму, сквозь зубы процедил Крепс, — занятный дед.

Они приближались к скамейке, на которой, зябко кутаясь в халат, накинутый поверх жиденькой телогрейки, сидел прямой, тщательно выбритый старик с висячими, пуховой белизны усами. Издалека он походил на замерзающего кондора, вынужденного зимовать под чужим для него небом.

Минуя старика, Крепс уважительно ему поклонился. Вместо ответа тот глазами указал режиссеру место рядом с собой. Марк кивнул Вадиму, они сели, после чего усач, порывшись за пазухой, достал и молча протянул сидевшему около него Крепсу сложенный вчетверо листок глянцевиной бумаги.

Читая, тот держал документ на некотором расстоянии от себя, с тем, чтобы и Вадим мог, хотя бы краем глаза, схватить суть написанного. В документе французское посольство уведомляло господина Ткаченко Валериана Семеновича о том, что, по ходатайству его супруги, проживающей в Париже, оно готово содействовать выезду вышеозначенного на постоянное место жительства во Францию.

— И как вы решили, Валерьян Семеныч? — Возвращая ему бумагу, Крепс глядел прямо перед собой. — Поедете?

— Наверное, нет. — Смутная полуулыбка обрамила ровный ряд нетронутых временем зубов. — Мне уже восьмой десяток. Каждый день для меня — подарок. Больше половины жизни скитался по чужбине. Теперь я хочу умереть здесь, на родине. Если уж выбирать, то лучше желтый дом в России, чем любая европейская богадельня... Жаль, конечно, Аннет, с ней мы многое перенесли вместе, но она, верно, поймет меня.

— Тогда, может быть, вы все-таки выпишетесь? — Рука Марка легла поверх ладони старика. — Негоже вам, Валерьян Семеныч, больничным приживалой жизнь кончать.

— А куда я пойду, Марк Францевич? — Даже выражение беспомощности не размягчало его скульптурно четкого лица. — У меня там, — он кивнул в сторону забора, — никого нет. Да и что я там буду делать? За сорок-то с лишним лет все переменилось. Не приживусь я теперь на воле. А здесь у меня, по крайней мере, есть крыша и постоянный хлеб. Нет уж, Марк Францевич, поздно мне снова начинать.

— Как знаете, Валерьян Семеньч, как знаете. — Поднимаясь, Крепс устало поморщился. — Пошли, Вадя.

После разговора со стариком Марк заметно сбавил шаг, поскуучнел, шел, то и дело ознобливо поводя плечами. В нем явно проступало нетерпение высказаться, но лишь удалившись на порядочное от усача расстояние, он разразился горячечным шепотом:

— Что же это делается с людьми, Вадя! Полный генерал, первый командующий русской авиацией, кавалер трех Георгиев считает за счастье скоротать последние свои дни в сумасшедшем доме! Мир взбесился! Ты только посмотри на него, ведь он доволен! Доволен! Уж эта мне российская ностальгия! Рабом, побирушкой, бездомным псом — лишь бы на родине. Сльшишь, «на родине»! А то, что эта самая «родина» сначала отказалась от него, потом гоняла по всем своим лагерям от Колымы до Потьмы и, наконец, в виде особой милости, разрешила перекантоваться до похорон в дурдоме, — это не в счет. А властям на руку. Они даже культивируют такого рода гнусности в людях. Как же — патриотизм! Так ведь патриотизм-то героев должен рождать, а не лакеев! Что с нами будет, Вадя, что будет? На глазах вырождаемся!

— Как он к нам-то попал? — От всего услышанного Вадим слегка растерялся. — Каким образом?

— В сорок пятом, в Югославии взяли. Он там латынь в русской гимназии преподавал.

— А потом?

— Потом? потом — лагерь. Освободился, идти некуда. Стал хлопотать о выезде — заперли сюда. Теперь, как видишь, сам не хочет. Конечно, за двенадцать лет в эдаком содоме кого хочешь сломает, но все-таки не умещается это у меня в голове.

— Может быть, он прав, Марк. Если уж мы с тобою не смогли приспособиться, то ему ведь еще труднее. Мы хоть родились и выросли в этой выгребной яме.

— Но у него, в отличие от нас, есть сейчас свобода выбора.

— Там ведь тоже хлеб даром не дают, Маркуша, а ему уже вон сколько накачало.

— И ты туда же!

— Но ведь правда.

Тот лишь рукой махнул: иди ты, мол, к чёртовой матери. И направился в отделение. Прежде чем последовать за приятелем, Вадим не выдержал искушения, обернулся. Старик все так же сидел на скамейке, глупо вобрав голову в плечи, отчего сходство его с больной, заброшенной птицей казалось еще более разительным.

VI

Едва они успели раздеться, как появился гость из соседней палаты. Сияя во все стороны выпуклыми цементного оттенка глазами и победно поводя вокруг себя кирпичной бороденкой клиншком, он торжественно потрясал развернутой газетой:

— Поздравляю вас, товарищи! — Его прямо-таки распирало от восторга. — Братская ГЭС дала первый ток! Представляете, товарищи, какой удар по нашим злопыхателям из-за рубежа?

Гость этот — фамилия его была Бочкарев — считался здесь коренным старожилом. Помещенный сюда, по его собственному определению, за активную борьбу с религиозными пережитками, выразившуюся в том, что он изъяс у своей соседки и ухитрился сжечь на газовой конфорке образ Иоанна Крестителя, Бочкарев и тут остался верен себе и своим убеждениям. Имея право свободного выхода, он с утра отправлялся в село за газетами. Затем с карандашом в руках прочитывал их от корки до корки, старательно подчеркивая наиболее, по его мнению, значительные места, после чего садился писать одобрительные реляции в самые высокие адреса. В своих посланиях Бочкарев «горячо одобрял», «с эн-

тузиазмом поддерживал», «безусловно санкционировал» все последние меры и постановления вышестоящих инстанций. Письма его начинались с обычного «в нашем здоровом коллективе больных» и заканчивались традиционным «коммунистическим приветом». Периодика и почтовые расходы целиком поглощали бочкаревскую пенсию, что лишь воодушевляло его бескорыстную деятельность. Получая вежливые ответы в маркированных конвертах, он поглядывал на окружающих таинственно и горделиво. Казалось, не было такой силы в мире, которая могла бы выбить Бочкарева из его раз и навсегда взятой им колеи.

— Но это еще не все, товарищи. — Его праздничное сияние становилось почти нестерпимым. — В Тюменской области забил новый мощный фонтан нефти! Ученые утверждают, что запасы черного золота в этом районе практически неисчерпаемы!

Для Крепса это было слишком. У него даже кровь отлила от лица, и белые губы вытянулись в змеящуюся ниточку:

— Слушай, ты, поросенок, — цепляясь за край койки, он весь, словно стреноженный конь, яростно подрагивал, — если ты сию минуту не спинаешь отсюда, я буду делать из тебя клоуна. Ну!

Бочкарева уговаривать не приходилось. Полтора десятка лет, проведенных в отделении для социально-опасных, научили его спасительной осторожности. Мгновенно ретировавшись, он все-таки не утерпел, — помитинговал в коридоре:

— Теряете классовое чутье, товарищ Крепс! Не радуетесь успехам своего государства! Скатываетесь в болото ревизионизма! Льете воду на мельницу!.. И потом у меня поручение к товарищу Лашкову! Его просил зайти товарищ Телегин! Товарищ Телегин серьезно болен!

Известие о болезни Митяя лишней раз напомнило Вадиму, что в последнее время тот, обычно шумный и общительный, не появлялся ни в столовой, ни на про-

гулке. «Друг, называется, — укорял он себя устремляясь в телегинскую палату, — совесть иметь надо».

Митяй истощался на глазах. И без того худое лицо Телегина заострилось, сквозь недельную щетину отечно поблескивала кожа, сухое и короткое тело его под одеялом, натянутым до самого подбородка, время от времени судорожно дергалось. Рядом с койкой, сложив тяжелые руки на коленях, сидела старшая сестра, и не было в ней сейчас ничего от той тети Падлы, одно появление которой в палате нагоняло на окружающих тоску и оторопь. В нескладном ее облике сейчас явственно проступало горе, неуловимо сообщавшее ее унылым чертам подобие доброты и женственности.

— Ты посиди с ним, милоч, пока не заснет. — Вставая, она старалась не глядеть в его сторону. — Сделаю дела, приду сменю.

Грузные шаги Нюры затихли в коридоре, и Вадим, опускаясь на еще теплый после нее табурет, мысленно озадачился: «Поди угадай, кого клясть, на кого молиться!»

— Переживает. — Часто и прерывисто дыша, Митяй болезненно усмеялся из-под полуопущенных век. — Баба — она баба и есть. Хлебом не корми, пожалеть дай... А что пришел, спасибочка... Совсем разворошило меня, прямо страсть... Пропил машинку свою дочиста... Не тянет...

— Пить тебе не надо, Дмитрий Палыч. — У Вадима тягостно засосало под ложечкой. — Совсем не надо.

— Видать, не надо, — миролюбиво согласился тот. — Слякотно на душе, Вадюха, а выпьешь, вроде глаза прорезаются: птахи поют, в листках запах разный, жить хочется! — От возбуждения он даже приподнялся на локтях. — Так бы и не протрезвлялся совсем.

— Лежи, Палыч, лежи, на раскрывайся.

— Боюсь я, Вадюха, смерти боюсь. — Перегнувшись через кровать, Митяй уткнул ему взлохмаченную голову в колени. — Как одна секунда, вроде и не жил

еще... Спину холодит — так страшно... Завязать было хотел бродяжество свое. С Нюркой вот договорился: выйду — сойдуся. По закону сойдуся, а не как сейчас... Неужто не выберусь, Вадюха? Обида-то какая!

Неожиданно резко Телегин откинулся на спину, мгновенно обессилел и затих. Спасительный сон снизошел к нему, и он тревожно заснул, но и у спящего у него нетерпеливо шевелились губы, будто в последнюю минуту он не успел досказать Вадиму чего-то самого главного, самого обязательного.

VII

Среди ночи Вадима разбудил Бочкарев:

— Товарищ Лашков, товарищ Лашков, — шёпотно шелестел он над его ухом, — вас зовет товарищ Телегин. — В полутьме едва освещенной палаты желтые зрачки Бочкарева мерцали вещей торжественностью... — Только, пожалуйста, поскорее. Ему, кажется, очень плохо...

Когда он, с гулко бьющимся сердцем, очутился у кровати Митяя, тому было уже ни до кого. Отвисшая челюсть его безжизненно касалась плеча, жиденская фигурка под одеялом вытянулась и отвердела, в холодных пальцах остывала скомканная простыня.

Так близко, так непосредственно Вадим видел смерть во второй раз в жизни, но снова, как и в тот день, когда ему пришлось столкнуться с нею впервые, она не столько испугала, сколько заморозила его своим немотным умиротворением. Казалось, человек, перейдя смертную черту, приобщился там — за этой чертой — к чему-то такому, что, наконец, примиряло его со всем и со всеми.

Перезимовав тогда на Хантайской перевалочной базе в качестве полурбочего, полусчетовода, Вадим ранней весной решил, на свой страх и риск, пешком

добраться до Игарки. Предупреждения о том, что этим временем года даже бывалые охотники остерегаются выбираться в тайгу, не остановили его и он, побросав в рюкзак кое-что из еды и бельишка, двинулся по прибрежной хляби лесотундры в сторону Енисея. Многочисленные ручейки, из тех, что летом просто перешагивают, в эту пору разбухли до размеров речек средней руки, и каждую из них приходилось преодолевать по всем правилам саперного искусства.

Когда, используя вместо веревок исподнее и единственную запасную рубашку, Вадиму удалось соорудить из двух плывунов нечто вроде плота и, с горем пополам, переправиться через первый поток, он понял, что поход этот оборачивается для него авантюрой, причем безо всякой надежды на успех. Тусклые облака плыли над головой, почти задевая верхушки ржавых лиственниц. Река еще пестрела кое-где медленно скользящими льдинами. Топь под ногами сочилась и пружинила так, что каждый новый шаг давался все тяжелее и медленней. Но самым мучительным и невыносимым было ощущение собственной затерянности среди всего этого свинцового безмолвия.

Очередной поток Вадиму удалось миновать, поднявшись до его верховья, вброд. Но возвращение отняло у него последние силы, и поэтому, когда перед ним, после трех с лишним часов выматывающего душу хода, возникла, как наваждение, новая водная полоса, он уже утратил способность к сопротивлению. И он упал плашмя, вниз лицом на береговой галечник и заплакал, завыл в голос от своего бессилия перед этой — всего каких-нибудь десяти-двенадцатиметровой в ширину — лентой тягуче-мутной речонки. Но вдруг, уже чуть ли не в полубреду, им властно овладело ощущение близости жилья. А некое подсознательное постижение яви, когда в человеке предельно обостряется вся его жизнеспособность, укрепило в нем эту спасительную уверенность.

И тогда Вадим последним, почти нечеловеческим усилием воли заставил себя подняться и дойти до самой кромки потока. И здесь, со вздохом веры и облегчения, он увидел слева от себя, метраж в пятидесяти выше по течению, огромную льдину, выброшенную, видно, сюда ранним половодьем и перегородившую собой весенний сток. По ней, как по мосту, он и перешел на другой берег, откуда, на гребне ближнего распадка, перед ним возникло, судя по усадебному запустению, бесплодное зимовье.

Но стоило ему лишь потянуть на себя дверь, как тотчас вялый, с болезненной хрипотцой бас заполнил едва освещенное крошечным оконцем логово:

— Закривай бистро... Холодно... Вьетер...

Еще и не обвыкнув в царившем здесь сумраке, Вадим, по знакомому всему хантайскому побережью акценту, узнал Каспара Силиса — промысловика из латышей спецпоселенцев. Высланный в эти края в сорок пятом Каспар, с его цепкой крестьянской хваткой, быстро обжился в новых и неласковых для себя местах, и вскоре аборигены только руками разводили, сравнивая Каспаровы заработки со своими. На зависть удачливо промышлял он рыбой и дичью, в песцовый же сезон, там, где матерые старожилы считали десяток шкурок в неделю за счастливый фарт, Силис в один только суточный обход брал, как правило, до пяти штук, не менее. И сколько Вадим ни пытался выследить хитрого латыша, чтобы засечь систему его секретов, тот без особого труда, как бы даже играючи, неизменно ускользал от слежки. А потом, с богатой добычей заворачивая на базу передохнуть и обогреться, только посмеивался в сторону Вадима:

— Не добыть тебе писець, Вадья. Не идьет в твой капкан... Мой хочьет... Мой ему лутче...

Теперь же Каспар лежал перед Вадимом на старом своем овчинном полушубке, весь в крупной испарине, и распоротый от самого носка вдоль голенища пим ва-

лялся у его ног. Правая ступня была наспех закутана случайным тряпьем.

— Зажигай печка, Вадья, гриеться буддем. — Лихорадочная воспаленность не погасила привычной усмешки в его глазах, скорее наоборот, только обострила ее и сделала еще более вызывающей. — Пьесець капкан ловиль, тьеперь сам капкан попаль...

Когда в давно не топленной печке весело и гулко вспыхнул огонь и Вадим, буквально содрав с ноги Каспара скоробившийся от засохшей крови носок, осмотрел его раздробленную зубцами волчьего капкана ступню, он полностью осознал всю безнадежность ситуации, в которой тот оказался. Жухлая, в чешуйчатой коросте кожа уже исходила темно-бурыми, расплывчатой формы пятнами. Не надо было быть большим спецом, чтобы безошибочно определить все признаки газовой гангрены. От ближайшего ненецкого спецпоселения Плажино их отделяло не менее сорока километров, густо пересеченных осатаневшими из-за такого напора ручьями. И если в одиночку Вадим едва-едва осилил чуть больше половины этого расстояния, то, чтобы двинуться дальше вдвоем с обессиленным Каспаром, — нечего было и думать.

Оставалось одно: сидеть и ждать. Ждать, когда смерть довершит свое дело. И от того, что он обречен быть свидетелем ее медленной, но неотвратимой работы, Вадиму становилось не по себе.

— Грейся, Вадья, — Каспар, наверное, угадывал страх Вадима, колючая насмешливость в нем отгаивала снисходительным добродушием, — вода дольго буддет... Рибя есть, пшенка есть, сидьи грейся... Менья погаит уже не можно... Плохо не Латвия... Ты биль Латвия, Вадья? Ай-ай-ай, Вадья, Латвия не биль!.. Аурумщис деревня... Рибеки все... Морье окно видно...

Пять нескончаемо долгих суток, то впадая в бредовое забытье, то снова приходя в себя, выдубленный горем и стужами могучий организм Силиса отвоевывал

свою жизнь у подползающей к его сердцу гибельной порчи. На шестой день, когда незаходящее июньское солнце, едва коснувшись горизонта, медленно потянулось к зениту и зимовье залило его ровным багровым отсветом, заострившееся, в бурой щетине лицо Каспара вдруг просветленно обмякло, и он с прежним своим озорством взглянул в сторону Вадима:

— На лижня, на лижня виставляй капкан, Вадья... Пысець бьегает на снег... Бьегает. Снег мяжки... Лижня твърдый... Пысець бежалъ на лижня... Твърдо хорошо... Бежать быстро, быстро можъет... Не уйдет с лижня... Ставь капкан на лижня, Вадья. Много-много пысець тебе будъет... Денег много будъет, Латвия поедешь... Аурумциес глядеть будъешь... Морье...

Еще какое-то время запекшиеся губы Силиса беззвучно шевелились, но грузное тело его уже облегченно вытягивалось, и, наконец, он окончательно затих, и солнечный блик из окошка, коснувшийся в этот момент Каспарова лба, только с недвусмысленной резкостью обозначил его безжизненную сухость. Перед Вадимом, тяжело распростершись на овчинном своем полушубке, лежал старый латыш, выброшенный с родной земли на самый край самого неприютного угла земли, но даже смерть не могла стереть со всего его облика выражение покойной уверенности человека, достойно прожившего свою жизнь...

И сейчас, в оцепенении глядя на остывшую плоть Митяя, на его вялые, раскинутые в стороны руки, он впервые в жизни проникся пронзительным отчаяньем: «Неужели и мне вот так придется? Вот так?»

VIII

Крепс метался из угла в угол опустевшей курилки, и дымок его сигареты голубым шлейфом кружил следом за ним. В последнее время бессонница частенько

сводила их здесь по ночам, и бывший режиссер убивал время, развивая перед Вадимом свое видение мирового репертуара. В эту ночь его одолевало Гамлетом:

— Видишь ли, у всех датчанин обвиняет, у меня он будет обвинять тоже, но обвинять, сознавая, что, будучи духовно выше окружающих, он не вправе с них спрашивать, а тем более опускаться до мщения. Гамлет как бы существо инопланетное. И чем тоньше организован звездный пришелец, тем осторожнее должен вмешиваться он в земной правопорядок. А уж коли вмешался, то будь добр платить собственной пыткой — жалостью... Отсюда и ключ мой не в «быть или не быть», а в «из жалости я должен быть суровым». Пусть он прощения просит за свою нетерпимость и заранее знает, что кровь, пролитая во имя справедливости, не приносит в мир ничего, кроме крови. Его не враги, его собственная раненая совесть распинает... Вот смотри...

Легким взмахом руки он перекинул халат через плечо и замер среди курилки: «Один. Наконец-то...» И случилось чудо. Перед Вадимом на цементном полу больничной уборной погибал, плача от гнева и жалости, истинный сын своего века в затасканном халате из дешевой байки. И не принц датский шепотом вопрошал у темноты за окном: «Быть или не быть?» И не наследник королевского престола, устало опираясь о косяк обшарпанной двери, взывал к миру, но более всего к себе: «Достойно ль?» Это заживо хоронил себя сосед Вадима по койке, стране, земному шару. Но вот он, словно сдаваясь на милость победителя, поднимал у самого уровня плеч руки и так — ладони вперед — двигался к нему из глубины уборной. «Вот два изображения: вот и вот». И волшебство сопереживания начинало колотить Вадима мелкой дрожью. А когда принц почти обуглившийся от сострадания, раненно простонал, сползая к ногам матери-отравительницы: «Из жалости я должен быть суровым», Вадим, сглатывая судорожные спазмы, только и смог мысленно заключить: «Черт бы

тебя побрал, Крепс!» Начиная с «Прости тебя Господь», где Гамлет уже чувствует приближение скорого конца, Крепс провел всю сцену до финала, держась за воображаемые настенные мечи. Так он и умер распятой птицей — между дверью и ближайшим к выходу унитазом.

— Ну как? — Марк сел и сразу же возбужденно заблестал желтым оком в его сторону. — Годится?

— Годится! — Вадим боднул его головой в плечо. — Высший класс.

— Знаешь, — тот с пристальным вниманием оглядел его, — теперь я бы тебя взял.

— Что так вдруг? У меня другая школа.

— В тебе появилось что-то такое, чего я жду от актера. Ты стал слышать.

— Поздно, Марк, я хочу завязать с этим делом.

— И давно это ты?

— Давно. Воли только не хватало.

— Знаешь, — в пристальном его внимании сквозила откровенная зависть, — а ты больше, чем я думал.

— Спасибо...

Еще в день приезда, прежде чем отправиться домой, он завернул в управление с твердым намерением окончательно рассчитаться с эстрадой. Решение тогда еще только вызревало в нем, только набирало силу, но предчувствие близкой и крутой перемены в жизни уже властно захватило его и он, формируя события, двинулся прямо в орготдел.

После крикливой сутолоки коридоров кабинет Вилкова мог показаться непосвященному обителю тишины и безмятежности. Но кто-кто, а Вадим-то определенно знал, что не у высокого начальства, а именно здесь сходятся все хитросплетения самого, на первый взгляд, безалаберного учреждения в стране. С педантичностью счетной машины Илья Николаевич Вилков сортировал свои кадры по бригадам, которые затем колесили по всему Союзу, забираясь подчас в самые медвежьи его

уголки. Хозяин кабинета держал в лысеющей своей голове сотни фамилий и полную меру того, что стояло за каждой из них. Людям же «с красной строки», к разряду которых принадлежал и Вадим Лашков, он вел особый, не предусмотренный никакими инструкциями учет. Поэтому, когда тот молча положил перед ним заявление об уходе, Вилков лишь брезгливо поморщился и, не читая, отодвинул бумагу в сторону:

- Прибалтику хочешь?
- Нет.
- Закавказье?
- Тоже — нет.
- Как у тебя с жильем?
- Порядок.
- Баланс?
- Полная норма.

Холодноватый взгляд выпуклых, немного навывкате глаз Вилкова тронула удивленная заинтересованность:

- Так чего же ты хочешь?
- Уйти.
- В театр?
- Нет, совсем.
- Как это совсем?
- Сменить профессию.
- Не смешно.
- Мне тоже.
- А если конкретнее?
- Считаю, что занимаюсь не своим делом.
- Ну знаешь, если бы каждый так рассуждал...
- Надо же кому-то начать.
- Послушай, Лашков, я тебе не враг...
- Я себе тоже.
- Давай серьезно.
- Я без шуток.
- Чего это ты вдруг?
- Хочу начать сначала.

- Что начать-то?
- Жить.
- Тебе тридцать пять.
- Начать никогда не поздно.

— А ты представляешь себе, — обычно невозможное, выбритое до синевы лицо его вдруг утратило начальственную медлительность, упругие плечи обмякли и ссутулились, — представляешь, что значит сначала?

История Вилкова была известна Вадиму, как, впрочем, и большинству эстрадников. Работая в одной высокой организации, тот в свое время отказался свидетельствовать против друга военной молодости. Суд был неправым, но коротким. Генеральскую форму Вилкову пришлось сменить на куда более скромное одеяние. Много лет прошло, прежде чем бывшего генерала вернули из мест не столь отдаленных и, памятуя о том, что по характеру возглавлявшегося им ведомства он и раньше соприкасался с областью культуры, вручили ему концертные кадры для укомплектования и руководства. Вадим недолюбливал Вилкова, как и всех подчеркнута аккуратных людей вообще, считал его сухарем и педантом и потому обращался к нему только в случае крайней необходимости.

— Чтобы представить, наверное, нужно начать. — Вадим спешил прекратить и без того затянувшийся разговор. — Я ведь не школьник.

— Дали мне тогда Рязань для местожительства. — Отрешенно глядя в окно, тот словно раздумывал вслух. — Пойти не к кому. Родня у меня еще до войны вымерла. Жена, сам понимаешь, уже давно замужем. Да я и не виню, не было у нее другого выхода. Друзей подводить своим визитом не смел... Так и приехал, в чем есть, то есть в старой форме своей, только окантовку спорол... Снял я там уголок у старушки «божьего одуванчика» и с утра пошел наниматься в товарную контору. Был я тогда еще мужик крепкий. Взяли. Грузчиком. Пришел, помню, первый раз со смены, живого ме-

ста нет, ломит всего с непривычки. Зато уж и сон был, как у новорожденного. И хлеб ел утренний со щами вчерашними — за уши не оттащишь. Думал, снова жизнь начинаю... Да друзья не дали. Разыскали, восстановили, вознесли... И пошел я опять по кабинетам, как по рукам. — Он сожалеюще вздохнул и вопросительно оборотился к Вадиму. — И куда же?

— Еще не знаю.

— Не раздумаешь?

— Нет.

— Так. — Вилков тронул пуговичку звонка. Мгновенно у порога возникло услужливое диво во всеоружии своего косметического сияния. — Оформляй Лашкову «собственное желание». И скажи там: сегодня уже никого не приму. — Та бесшумно растворилась за дверью. — Чаю хочешь?

— Не потребляю.

— Знаю, знаю... Ты у меня в этом смысле давно на заметке. Были сигналы. Меру, Вадим Викторович, меру надо знать... А впрочем, это твое личное хозяйство. Умный проспится... На-ка вот взгляни, — он вынул из-под настольного стекла и протянул Вадиму фотографию, — это мои теперешние...

Две русоволосые девчушки со смешливой доверчивостью глядели оттуда в мир, еще не подозревая, что самим своим существованием они делают жизнь вокруг себя осмысленной и надежной. И, поддаваясь вдруг проникшей его откровенности, Вадим спросил:

— Значит, можно сначала?

— Можно, но трудно.

— Тогда попробую.

— В добрый час.

За окном тихим золотом опадали сентябрьские тополя, сквозь которые солнечно проглядывался резко вычерченный на сквозной белесости высокого неба город, и Вадиму пригрезилось, что там, за нагромождением этих многооконных коробок уже стоит в ожида-

нии его — Вадима, нетерпеливо подразнивая его белоснежными боками, вытянутый носом к морю теплоход. И мимолетное видение это с такой внезапностью все в нем стронуло, воспламенило, что он не выдержал, заторопился:

— Пойду, пожалуй.

Тот, против ожидания, не обиделся бесцеремонной торопливостью гостя: встал, вытянулся во весь свой почти двухметровый рост, — снова по-спортивному подтянутый и прямой, — вышел из-за стола, порывисто полюбнл Вадима и тут же легонько оттолкнул от себя:

— Разговор наш между нами. Так что, если не осилишь, возвращайся... Будь.

Тем памятным для него разговором Вадим как бы подвел тогда черту под всей своей предыдущей жизнью и поэтому сейчас, откровенничая с Крепсом в ночной курилке, он лишь укреплялся в своем решении.

— Понимаешь, — Вадима неожиданно для самого себя прорвало, — не мое это дело. Все не то, не так. Чего-то во мне главного не хватает. Не хуже, конечно, чем у других, но и не лучше. Так себе, расхожая серединка. Хочу все заново, с чистого, как говорится, листа попробовать. Обрато мне теперь дороги нет. Сам свою суть отыскать хочу. В чем она — не знаю, но отыщу, или нету мне жизни...

На последнем слове Вадим испуганно осекся. В проеме двери внезапно, будто в кино следом за резким монтажным стыком, оказалась фигура заведующего отделением.

— Ты мне нужен, Марк. — Близко сдвинутые к переносице веки его тревожно вспорхнули в сторону Вадима. — Дело касается лично тебя.

Странное появление Петра Петровича ночью, да еще и в курилке, и это его приятельское «ты» по отношению к Марку несколько обескуражили Вадима, хотя,

уже догадываясь о многом, он уступчиво повернул к выходу, но Крепс резко остановил его:

— Не уходи, Вадя. — У него даже щеки ввалились от волнения. — При нем можно. Говори.

— Есть предписание, — не отводя взгляда от Крепса, доктор складывал слова с видимым усилием, — отправить тебя в Казань.

— Меня одного?

— И попа тоже.

— Не попа, Петя, а священника.

— А, — устало махнул рукой тот. — Какая разница!

— Большая, Петр Петрович, — бешено взвился Крепс, — очень большая, Петя! Неужели ты до сих пор так ничего и не понял? Мне казалось, что после того... после тех венгерских мальчишек, которых мы с тобою расстреливали, в тебе что-то проснулось... Или тебе мало всего, что творится вокруг тебя? Разуи же, наконец, глаза, Петя! Ни я, ни тем более Егор Николаевич не писали подпольных протестов, не демонстрировали на Красной площади, не пытались решать больных вопросов в легальных журналчиках на потребу интеллигентному нашему обывателю, а в Казань все-таки гонят нас. Нас, а не титулованных либеральных борцов, состоящих на жаловании у государства! А ведь мы лишь несем Свет и Слово Божье. Мы для них страшнее. Во много раз страшнее фрондирующих физиков и полуподпольных лириков. Потому что человека, воспринявшего этот Свет и Слово, уже невозможно купить или сломать. Только зря стараются! Мы ведь и в Казани останемся теми же. С нашим миром нас уже не разъять. И в Казани — люди, а значит, и благодать Создателя.

О Казанской, тюремного типа, больнице Вадиму уже приходилось слышать немало. Туда отправляли неизлечимых убийц и всех тех, о ком в зысоких сферах считалось полезным забыть. Обратной дороги оттуда не было. Менялись вожди и правительства, гремели вой-

ны и совершались тихие перевороты, и только законы Казанского специзолятора оставались неизменными: человек, раз перешагнувший его порог, исчезал, стирался в людской памяти. Поэтому, едва услышав о Казани, Вадим понял, что Крепсу уже нечего терять.

— Ты успокойся, Марк. — Острые скулы доктора напряглись до предела, — если хочешь, ты можешь уйти.

— Каким образом?

— В чем есть. Остальное меня не интересует.

— Но это интересует меня.

— Я поплачусь дипломом. И только. Больше ничего, честное слово.

— Значит, побег. Без паспорта и средств к существованию. То есть рано или поздно опять-таки Казань, но уже без твоего участия? Нет, Петя, не поспедействую я твоему душевному комфорту. Будь добр, за свое плати сам. Может быть, когда-нибудь тебе это надоест и ты очнешься. К тому же, ни за какие коврижки я не оставляю старика. Так что, считай, что ты мне ничего не предлагал, а я ничем не жертвовал. И мы ничего друг другу не должны. Спи спокойно, дорогой товарищ.

— И это все, что ты мне можешь сказать?

— Всё. И ни копейки больше.

— Дело твое.

Он еще постоял, этот доктор, покачался с носков на пятки в своих тупоносых лодочках, будто в беспамятстве закрыв глаза и судорожно двигая скулами. Потом бесшумно развернулся и пропал, словно его и не было здесь вовсе.

— Ну что же, Вадя, — после недолгого молчания с веселым отчаяньем оборотился к нему Крепс, — вот и пришла моя очередь.

— Я бы ушел.

— Куда, Вадя?

— Все равно куда, я ушел бы.

— Это не по мне, дорогой. — Крепс пристроился сбоку и положил ему руку на плечо. — Я долго не выдержу такой жизни. Да, кстати, я и не умею ничего делать, кроме той бессмысленной ерунды, которой меня обучили в институте... И запомни, Вадя, если это вздумаешь предпринять ты, они будут тебя старательно, очень старательно искать. И найдут. Обязательно найдут. Причем уже совсем не потому, что ты опасен сам по себе. Нет! Просто ты теперь узнал немножко больше, чем полагается простому смертному. Так что, прежде хорошенько подумай. — И, помогая Вадиму уяснить себе смысл только что происшедшего тут, он насмешливо покосился в сторону двери. — Мы с ним Суворовское вместе кончали, а потом служили вместе... Себе на уме... Из нынешних.

В эту ночь они не сказали друг другу больше ни слова. Слова были бессильны сейчас вобрать в себя всю обнаженность мысли и чувства, какая объединяла друзей в их красноречивом молчании. Сквозь подернутое стужей стекло фрамуги, в сумрак курилки заглядывала одинокая звезда, окрашивая это молчаливое бдение своим вещим мерцанием.

IX

Уж кого Вадим не ожидал теперь увидеть, так это деда. После той последней узловской встречи он и предположить не мог, что они когда-нибудь еще увидятся. Слушая старика, Вадим не в состоянии был отделаться от чувства вины перед ним и поэтому всякое его слово воспринимал как упрек и напоминание.

— Опеки мне над тобой не дают. Стар, считают, уже очень. Но я еще постучусь, Вадя, похожу. Ты только потерпи, не бесись.

Дед говорил, не глядя на Вадима, куда-то в пространство перед собой, и пергаментные, в старческих веснушках кулаки его на столе по привычке были вы-

двинуты далеко вперед. Таким дед и помнился Вадиму все годы его скитаний с того самого дня, когда известное в Узловске своей монолитностью лашковское семейство дало первую, но уже непоправимую трещину. А ведь казалось, им — Лашковым — век сносу не будет.

Не забыть Вадиму того, почти неправдоподобно прозрачного утра в Узловске, когда в распахнутый настежь пятистенник деда Петра съехались все его сыновья и дочери вместе со своими благоприобретенными половинами и первой порослью.

Сам дед Петр, в новой сатиновой косоворотке со щегольски отстегнутым воротом, сидел во главе стола и с горделивым довольством оглядывал свой клан, среди которого особо выделялся осанкой и статью первенец его — Виктор.

А тот — и это у Вадима четко запечатлелось — явно чувствовал всеобщее к себе внимание и, чтобы скрыть смущение, все посмеивался, все посмеивался, оглаживая одной рукой стриженную голову сына, а ребром другой рубил воздух, как бы подсекал каждую произнесенную фразу:

— Ну, рабочий уже наелся, даже, как видите, — тыльной стороной ладони он поддел и небрежно вскинул вверх конец своего галстука, — бантик прицепил к шелковой рубашке. А дальше что? Согнали лучшую часть крестьянства с земли, отправили за Урал, а сами в частушки ударились, чтобы уши от мирового шума законопатить: «Вдоль деревни, от избы и до избы...» А что в колхозах творится, до того нам вроде и дела нет? Что, папаня, посмурнел? Неувязка выходит с вашей генеральной линией?

И не успел враз потемневший дед рта открыть, как из-за стола встал муж Варвары — Анатолий Тихонович — сухощавый интендант со шпалой в петлице, и, едва разжимая и без того тонкие губы, тихо выцедил в сторону отца:

— Рано пташечка запела...

— Уж не ты ли кошечка? — насмешливо перебил его тот. — Не коротки ли коготки?

— Мы с такими на Хасане, — острые скулы капитана пошли пятнами, — много не разговаривали.

— А что ты там делал, на Хасане? — уже открыто издевался над ним отец, — сухари в обозе пересчитывал?

Растерянность, наступившая было вначале, сменилась всеобщим, особенно среди женской половины, криком:

— В кои-то веки собрались.

— Нашли время!

— Хлебом их — мужиков — не корми: как соберутся, так все про политику.

— Нет посидеть по-людски.

Все говорили разом, каждый старался оставить последнее слово за собой, отчего накал разговора постепенно возрастал, грозные нотки нет-нет да и прорывались уже то в одном, то в другом конце застолья, и неизвестно, чем бы все это кончилось, а кончилось бы все это скорее всего дракой, если бы дед Петр не встал и не стукнул кулаком по столу:

— Что ж, спасибо и на этом, Витек. Откровенность твою ценю и уважаю. Тем же рублем и ты получай. Хоть и сын ты мне единокровный, но помни: не дрогнет у меня рука, коли надобность для партии в том будет. А теперь собирай-ка ты свои манатки и вот тебе порог...

Внезапно возникшую тишину мерно отсчитывали ходики над комодом. Младший из братьев — хрупкий и застенчивый, словно девушка, — Митек, жалобно пошарив по лицам близорукими глазами, умоляюще взывал было:

— Ну что вы, мужики, ей-Богу... Так все было по-хорошему...

Но мать Вадима, непримиримая ко всяким поползновениям на авторитет своего законного мужа, тем более со стороны такого прямого противника их супру-

жества, как ее свекор, подсекла деверевы изливания в самом истоке:

— Вот что, папанечка, — серые, калмыцкого сечения глаза ее светились нескрываемой яростью, — спасибочки тебе за хлеб, за соль, только хвост тебе поднимать против моего Витьки кишка тонка. Кто ты есть такой, Лашков? Полжизни наганом промахал, а теперь: «Ваши билетики, граждане!» А Витька мой мастер-лекальщик первой руки, не тебе, папаня, чета. Языком вы много понапороли, только сами-то ничего делать не умеете. Все за народ орете, а вы бы лучше специальность какую путевую заимели бы да и работали. Вот тогда и было бы «за народ». Много вас нынче командиров развелось, работать только некому... А вас, — она обернулась к свояку, и скуластое лицо ее презрительно отвердело и вытянулось, — Польшинных, я вот с этих годков знаю. Брательник твой раскулачивал нас. После нашего же хлеба раскулачивал. Где он теперь, брательник-то твой? Думал на чужом горбу в рай въехать. От своих же и награду получил — десять лет. А я с двенадцати годков с зарей вставала, со звездой ложилась, и все семейство наше так. А вы — Польшинины — из кабака от Мокеича не вылезали, а теперь нас — в грязь, а сами — в князь. Так вот я вам что скажу напоследок: нас переведете, дети останутся. Детей изничтожите, внуки вырастут. Но переживем мы вас, хлебоедов, переживем. Не такое терпели, перетерпим и вас. Только так думаю, что вы раньше сами друг дружку перегрызете... Поехали, Виктор... Собирай парня...

— Вот она, сущность кулацкая, себя и показывает! — кричал Польшинин, отрывая от себя молча виснувшую на нем Варвару. — Говорил я вам, Петр Васильевич, предупреждал... Где же чутье ваше классовое, партийная зоркость, наконец, где? Спасли змею от выселения, пригрели, а она жалит нас, где только возможно.

— Это у тебя-то, интендант, классовое чутье! Бога побойся. Ты хоть один мозоль за жизнь свою сволочную

нажил? Женька, — отнесся отец к брату, — ты не молчи, не отворачивайся, ты же мастеровой, скажи свое слово!

Но тот, уткнув голову в локоть сестре Федосье, тихо плакал и лишь бормотал в горячечном беспамятстве:

— И за что только нас... И за что только нас обидели так... В родне же и то не сойдемся...

Федосья легонько оглаживала его голову и смотрела на всех недоумевающими, полными слез глазами.

Никто бы так и не заметил в общей суматохе бессловесно жавшуюся к печи бабушку Марию, если бы она как раз в тот момент, когда отец подхватил Вадима на руки и, сопровождаемый женой, двинулся к выходу, не выступила вперед и не опустилась перед ним на колени:

— Витенька... Прости ты их всех ради Господа нашего Спасителя. — Голос бабушки звучал тихо и ясно, и худое, уже отмеченное гибелью лицо ее было высвечено каким-то заветным знанием, что доступно лишь новорожденным и почившим. — Не видать ведь мне тебя больше, отжила я. Не держи сердца, останься. Тебе это зачтется, сынок...

И впервые увидел тогда Вадим, как в полурыдании задрожали отцовские губы:

— Что вы, маманя, что вы... Так это мы... по-братски... Поцапались малость... Сошло уже...

Жиденькое бабушкино тело утонуло в его руках, и он понес ее через расступившуюся по обе стороны родню в смежную половину, и сложил ее там на прадедовском еще сундуке, и бережно укрыл старую праздничным своим пиджаком, и остался сидеть с ней, и они о чем-то долго и доверительно там перешептывались.

Но если временное облегчение и коснулось кого, то лишь не деда Петра. Выдвинув вперед себя кулаки на столе и откинувшись на высокую спинку плетеного стула, дед сидел прямой и безучастный ко всему, без кровинки в лице, и по одному его виду явствовало, что

всё, кроме того, что было сказано им самим, он не считал сейчас хоть сколько-нибудь заслуживающим внимания, а потому и существенным. Таким он и остался в памяти у Вадима вплоть до недавней и болезненно памятной встречи.

Внешне дед оставался тем же властным, жестким, уверенным в своей правоте стариком. Но от глаз Вадима не могло укрыться и то, как подрагивают его ослабевшие кулаки, и то, как временами срывается, словно на выбоинах, когда-то чистого металла басок, и то, наконец, как не свойственная ему раньше усталость сквозит во всяком движении и слове старика. И сердце Вадима переполнялось любовью и жалостью к этому, самому близкому для него на земле человеку.

— Да ты не беспокой себя понапрасну, — у него сорвалось дыхание, — не век же меня здесь держать будут.

— Век не век, — тот впервые взглянул на него прямо и настороженно, — а скоро не отпустят.

— Думаешь?

— Знаю.

Дед не умел говорить лишнего. И Вадим понял, что дела его обстоят хуже, чем он предполагал. Сглатывая удушливый комок в горле, он невольно скосил взгляд в тот угол, где особняком от других устроился отец Георгий, о чем-то тихо и ласково перешептываясь с дочерью. Та бережно оглаживала ему запястье, глядя на него преданно и самозабвенно. Нетрудно было догадаться, о чем они говорили. Она уже обо всем знала. Именно поэтому, слушая отца, девушка вся как бы заострялась изнутри, словно каждым своим словом и жестом он вбирал ее в себя, чтобы уже никому и никогда не вернуть. Исподтишка наблюдая за ними, Вадим привлек к ним и внимание деда:

— Кто такие?

— Священник один... С дочерью, — и добавил неожиданно для себя самого: — Наташей зовут...

— Наталья? — Дед не отличался деликатностью. — Хорошее имя. И лицо хорошее. Без вранья! Не твоей кукле чета.

— Хоть бы не напоминал!

Из угла их внимание было замечено: девушка густо покраснела, а старик, приподнявшись с места, улыбочиво поклонился. Дед так же церемонно ответил: знакомство состоялось. Поэтому, когда все подались к выходу, старики нашли о чем перекинуться друг с другом, оставив молодых лицом к лицу.

— Меня Вадим зовут. — Слабея дыханием, он еле выговаривал слова. — Здравствуйте.

— Здравствуйте. — В ее смущении было что-то беззащитное. — А меня — Наташа.

— Я знаю.

— Вы с папой дружите?

— Почти.

— Что так?

— Я здесь недавно. Не привык еще.

— И не надо.

— Что не надо?

— Привыкать.

— Не буду...

Возникшее между ними сразу вслед за этим трепетное молчание прерывалось только неспешным разговором стариков у них за спиной.

— Да, да, это так. — Голос отца Георгия звучал почти страдальчески. — И все-таки с такими решениями не следует спешить... Впрочем, во всем Промысел Божий... Я сам на старости отрекся от всего, чему поклонялся... Но вам труднее, вы — атеист. У вас нет духовного убежища. Вы идете против своей природы. Мне много легче, у меня нельзя отнять того, что есть во мне и со мной... Самое прискорбное для меня это то, что я не сумел их убедить...

— В чем?

— Я пытался доказать им, что мистика Церкви,

имеющая сама по себе огромное для верующего значение, пуста и бессмысленна, если она не подкрепляется активным деянием пастыря в обыденной жизни. Люди устали от слов, они жаждут примера. Русскую Церковь подорвала не власть, а собственная опустошенность, засилие мирской праздности и суесловия. Меня обвинили в гордыне... И вот я здесь...

— Попугать хотят?

— Едва ли.

— Чего же еще?

— Избыть.

— Как это?

— Насовсем избыть. Из мира.

— А права какие? — Дед явно начинал кипятиться, его болезненное чувство к несправедливости, как всегда, искало выхода в гневе. — Какие такие права есть?

— Понятие классового правосознания должно быть близко вашему сердцу. — Сказано это было безо всякой язвительности, скорее даже с сочувствием к собеседнику. — Перед вами наглядный его объект. Так что уж какие там у меня могут быть возражения!

В коридоре людской поток растекался надвое: одни к выходу, другие, в сопровождении санитаров, в сторону внутренних помещений. Прежде чем разойтись с девушкой, Вадим бережно коснулся ее пальцев, и она не отстранилась, только коротко и вопросительно взглянула на него и быстро-быстро, не оглядываясь, пошла вперед. И тут же грузная фигура деда окончательно заслонила ее от него:

— Ты тут не раскисай. — Он складывал слова, явно думая о чем-то совсем другом, какая-то новая тревога вошла ему в душу и он уже весь источался в ней, в этой тревоге. — Не так уж я стар, чтобы с первого раза отступить. Достучусь.

Дед легонько помял Вадима за плечи, затем не столько оттолкнул, сколько сам от него оттолкнулся и, круто развернувшись, двинулся к выходу. Его большая

сутулая фигура долго еще маячила в глубине коридора, и, если бы Вадим не знал своего деда, он мог бы подумать, что тот пьян.

Пристраиваясь к Вадиму, отец Георгий, как бы невзначай, обронил в сторону удаляющегося Лашкова старшего:

— Не снесет себя этот человек, коли не поверует. Только вера его и спасет.

Х

Это было первое за зиму солнечное утро. Осиянные пронзительным светом палаты ожили и заволновались. Кружение по коридору стало многолюднее и бойче. Что-то стонулось в отделении, сошло с места. В самых темных его углах вдруг возникли новые лица, о существовании которых раньше как-то даже и не подозревалось. В палату к Вадиму заглянул бывший учитель Горемыкин и, мигая подслеповатыми глазами в окно, удовлетворенно потер ладони:

— Представляете, Вадим Викторович, что сейчас в Англии-то, а? В графстве Кент, к примеру! Сплошная весна и цветение вереска.

Он даже засмеялся от радости за графство Кент. Когда-то, года три еще тому, Горемыкин преподавал английский в одной из подмосковных школ. Влюбленный в предмет педагог так досконально изучил все, что касалось Англии, что мог, наверное, с закрытыми глазами вывести любого англичанина кратчайшим путем от порта до Британского музея. Но в конце концов, подавая заявление о выезде к дорогим его сердцу берегам, он не учел небольшой разницы в законодательствах двух знакомых ему государств и прямо из приемной союзного МИДа угодил в Троицкую, безо всякой уже надежды когда-нибудь отсюда выбраться.

— Знаете, Вадим Викторович, — продолжал он улыбаться и потирать руки, — весна в большой степе-

ни очищает воздух над Лондоном. А то, знаете ли, этот «смог» прямо-таки бич...

Молча лежавший до сих пор с натянутым до самого подбородка одеялом Крепс неожиданно напрягся, и влажные глаза его затравленно скользнули куда-то за спину Горемыкина. Мгновенно проследив его взгляд, Вадим увидел заворачивающего в палату из коридора Петра Петровича. Тот легонько, кончиками пальцев отстранил со своего пути бывшего учителя и, вплотную приблизившись к койке Марка, почти шепотом уронил:

— Сегодня, Марк. — И уходя от искательной муки того, перешел и совсем уже на шепот: — Сейчас.

Дорого бы дал Вадим, чтобы не видеть в это мгновение истлевающих ужасом глаз Крепса. Но это длилось только мгновение. Сразу же вслед за этим губы Марка упрямо отвердели, подбородок еще резче выдвинулся вперед, он пружинисто вскинул свое крепкое тело, сел, опустил ноги на пол:

— Пошли.

Уже отходя, он глазами позвал Вадима за собою и, более не оглядываясь, шагнул в коридор. Петр Петрович последовал за ним, птичьим оком своим упреждающе покосившись в сторону Лашкова. Но того уже не могла удержать никакая сила: он пойдет за Крепсом до последнего, до той самой дверной черты, которая навсегда разделит их.

Отец Георгий уже сидел в предбаннике уборной около двух узлов с вещами, под присмотром мокрогубого санитаря из приемного покоя. Марк вошел, старик поднялся ему навстречу, они молча обнялись и некоторое время стояли так, молча обнявшись. Потом, все так же не говоря ни слова, перекрестили друг друга и принялись за узлы.

Каждый из них одевался согласно своему характеру. Отец Георгий, уже отбывавший до того срок где-то в районе Потьмы, оборудовал себя со вдумчивой тщательностью, всякую вещь устраивал на себе долго и

внушительно, валенок и тот натягивал, будто действие творил. Оттого, когда он, наконец, собрался, любой бы мог, не раздумывая, сказать, что человеку этому предстоит дальняя и многотрудная дорога. Крепс же — в случайной одежке: цветастая рубашонка, поверх курточка фланелевая, брюки в обтяжку, да импортный плащико выше колен — выглядел рядом со стариком, будто залетная пичужка рядом с матерой и основательной птицей. Шапки у него тоже не оказалось, и тетя Падла выдала ему на свой страх и риск больничную. Надо очень не любить людей, для которых шьешь шапки, чтобы шить именно такие: вислоухие, неопределенного цвета, с болтающимся, как собачий язык, козырьком. В них человека можно было принять и за пилигрима, и за беглого одновременно.

Когда со сборами было покончено, Крепс обвел кольцо любопытных вокруг себя нездешним взглядом и, дойдя до Вадима, чуть помедлил, потом сказал тихо, но внятно:

— Жить будем, Вадя. — Руки он не подал. Ему, видно, хотелось остаться в друге не движением — словом. — Везде жить будем. Надо жить.

Отец же Георгий потянулся к нему, поцеловал трижды, перекрестил:

— Храни вас Бог!.. К вам от меня придут, не удивляйтесь...

Их никто не торопил. Даже санитар из приемного покоя. Видно, все если и не понимали, то чувствовали, что сейчас здесь происходит что-то такое, чему нельзя, да и невозможно помешать. Они двинулись к выходу сами и, как-то не сговариваясь, разом. И в этом опять-таки проявилась их пусть мимолетная, но власть над окружающим.

Дежурный санитар дядя Вася — мосластый, бритый наголо мужик из местных — пряча глаза, прямо-таки с почтением распахнул перед ними дверь. И они вышли, и людской полукруг медленно сомкнулся около выхода.

Но едва дядя Вася потянул дверь на себя, чтобы захлопнуть ее, как снаружи в отделение, сияя улыбкой, которой только уши мешали раздвинуться шире, рыжим бесом скользнул Бочкарев. Размахивая над головой пачкой свежих газет, злополучный богоборец упоенно возопил:

— Потрясающая новость, товарищи! Труженики Кореновского района Кубани на три дня раньше срока завершили весенний сев зерновых!..

Полукруг молчаливо обтек его со всех сторон и он, постигая непоправимое, осекся и затравленным глазом повел в сторону дяди Васи. Тот, побагровев, отвернулся, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы из круга не выступил старожил отделения, хронический алкоголик Пал Палыч Шутов и не разрядил в слове готовую взорваться злобу:

— Сука ты сука, Бочкарев, и другого названия тебе нету. И как только земля тебя по себе носит, Бочкарев? Каких людей на золу переводят, а ты коптишь, другим свет застишь. Поимей совесть, сойди сам с земли, хоть одно дело людское сделаешь... Тьфу!..

Плевок у Пал Палыча получился смачный, мастерской. Сразу было видно, что человек всю свою жизнь закуску считал баловством. Затем он в сердцах махнул рукой и двинулся к себе, в дальний угол четвертой палаты. Остальные тоже стронулись с места, и каждый пошел в свою сторону. И в этот день уже никакое солнце не могло вытянуть людей из-под их одеял.

XI

В тот же день к вечеру тетя Падла привела в палату нового для Вадима соседа.

— Вот, — хмуро подтолкнула она того вперед себя, — лучше не нашла. Ума невеликого, зато тихий. И работающий опять же. Принимай. Горшков — фамилия. Остальное сам обскажет.

Мужик был худ, сед, встрепан, но все в нем — выпуклые глаза, расплывчатые морщины на лице, кое-как высеянная по лицу мягонькая растительность — было отмечено располагающим к нему дружелюбием. Застылая койку, он певуче гудел себе под нос:

— Ново место, как невеста: не уластишь, не согреет. По суседству со мной муха и та зимы не знает. Закон моря: твое-мое и мое-мое, заживем, лучше некуда. А уж мастер я — на все остёр. Из ветоши сапоги валяю, в баранках дырки гвоздем долблю. Только держись.

Действовал Горшков с деловитой твердостью человека, привыкшего в любой работе находить особое, одному ему понятное удовольствие. Приятно было смотреть, как упруго, без единой морщинки, вытягивается под его рукой простыня, облегает вдоль матраца, по всем правилам казарменной выучки, одеяло, взбухает белым лебедем жесткая больничная подушка. Вадим не утерпел в конце концов, съязвил добродушно:

— Подумать можно, ты всю жизнь этим и занимался.

— Оно так и есть, браток, — словоохотливо оборотился к нему тот. — С тридцатого года, почитай, как с земли согнали, по вербовкам пошел. Опосля война — опять на нарах. А в пленту, — он так и произносил: «пленту», — само собой, в бараке. В свой лагерь попал, сам знаешь, там во всем порядок начальство требует. Теперичи вот, по больницам восьмой годок. Кочка — мать родная, ты только оборудуй ее соответственно.

Затем он стремительно исчез и снова появился вскоре, но уже со шваброй в руках, так что через несколько минут линолеумовый пол палаты солнечно дымился, высыхая в сквозняке полуоткрытых фрамуг. Стоило ему взяться за колченогую тумбочку между кроватями, которую только и оставалось, что выбросить, как она вскоре приобрела устойчивость и вполне сносную оснастку, и все это с байкой, с прибауткой, будто бы каж-

дое движение его требовало выхода в звуке, в слове, иначе оно — это движение — теряло для Горшкова свой смысл и законченность:

— Эх, мать моя, мамочка, бросила бы ты меня камушком во чисто полюшко, не было бы горюшка... Как у нас на фронту старшой говаривал: «Магазин не чищен, в канале ствола копать, отсюда и вша»... Чистота — залог здоровья... Эх, ручки мерзнуть, ножки зябнуть!..

«Что держит таких людей? — следя за деятельным мельтешением Горшкова, думал Вадим. — Как они ухитряются не сломаться после всего пережитого? Ведь это трехжильным надо быть, чтобы такое выдержать!»

В этом таился какой-то непостижимый еще для него секрет, какая-то за семью печатями загадка, постичь которые ему только предстояло. Но об одном он мог уже и сейчас судить определенно: пройди Горшков еще три раза по стольку, все его останется при нем, и никакая сила в мире не способна сломать его человеческой сути.

В палату снова заглянула тетя Падла, удовлетворенно хмыкнула:

— Говорила, довольны будете. Он у вас здесь за трех санитаров работает. К его бы рукам да еще и голу!

— Не скажи, кума, — весело огрызнулся тот, — голова голове — рознь. Одна голова для умственного соображения, а другая для дела. Вот и прикидывай, что — к чему.

— Мели, Емеля! — Она лишь беззлобно рукой махнула в его сторону и оборотилась к Вадиму: — К Петру Петровичу вас. Зовет. — И уже строже: — Со мной и пойдете.

Вызовы такого рода случались здесь редко, чаще всего по делам, отлагательства не терпящим, а потому Вадима дважды уговаривать не пришлось. В следующую минуту он уже чуть не бегом несся по коридору к двери с заветной табличкой. Предположения, причем

самые фантастические, одно за другим сменялись в его голове: «Деду разрешили опеку? Или, может, жена смилостивилась? А вдруг...» Об этом «вдруг» даже думать не хотелось, до того жутким и невероятным оно ему показалось.

Тетя Падла нагнала его по дороге, тяжело задыхалась у плеча:

— Вы с ним поосторожнее нынче... Не в себе он малость... Он у нас всякий бывает... Попадет вожжа под хвост, не удержишь... Ну, — она отперла дверь, впустив его, — с Богом!

Доктор даже головы не повернул к нему навстречу, а лишь неопределенно махнул рукой, что, наверное, должно было означать нечто вроде приглашения садиться. Известный всему отделению блокнотик лежал сбоку от него не раскрытым. Наглухо завинченная щегольская авторучка сиротливо красовалась в карандашном стакане. Признаки это все были недобрые, и, опускаясь на стул около двери, Вадим приготовился к худшему.

— Послушайте, — все так же не поворачивая к нему лица, заговорил заведующий, — вы, как видно, тоже считаете меня мерзавцем?.. Вполне возможно... Но, может быть, — он резко, всем корпусом вывернулся в сторону гостя, и лишь тут до Вадима дошло, что доктор глухо и матеро пьян, — вы мне скажете, уважаемый Вадим Викторович, что я мог сделать для него?.. Я не баррикадный боец, увольте! В Пеште, кстати сказать, мы вместе с ним сметали эти самые баррикады с лица земли... Тогда его не мучила совесть и он не вспоминал о Спасителе... Раненых добивали на месте... Мальчишек добивали... Им по пятнадцати-то едва ли было... А теперь один я крутом сволочь... А он — агнец с терновым венцом вокруг макушки... Аскезу принял, а мирского суда боится... Хочет на казенных харчах крест нести да еще и не в одиночку, а скопом, со всеми вместе... Комфортабельного мученичества жаждет!

Ладно. — Он рывком взял на себя ящик стола, достал оттуда папку и, беспорядочно перелистав её, высвободил из неё пачку документов. — Вот здесь всё ваше: паспорт, военный билет, трудовая книжка, удостоверение личности... С завтрашнего дня я записываю вам в журнал свободный выход для свиданий... Куда и когда вы уйдете, меня не интересует... Хочу только предупредить: искать вас будут. И основательно искать...

— А вы как?

— А это не ваша забота, Вадим Викторович. — В совиных глазах его на мгновение засквозила колючая трезвость. — О себе я позабочусь сам. — Он ладонью придвинул документы на самый край стола. — Берите свои цапки... Или, может быть, вы тоже по святости стосковались?

— Дело не в этом, но, согласитесь, покупать свободу за чужой счет...

— Ох уж эти мне творческие особы! Слова в простоте не скажут... Пусть вас не мучит совесть. Или, как выражается Марк Францевич, спите спокойно, дорогой товарищ... Берите...

Угрюмая усмешка на узком лице доктора становилась все более вызывающей. И если еще минуту назад Вадим готов был отказаться, избежать соблазна, то усмешка эта мгновенно изменила его намерения. Будь, что будет! Рано сдаваться на милость неизвестного дяди. Он еще побарахтается, прежде чем ему — Вадиму Лашкову — устроят узаконенное заклятие.

Бешеная сила протеста подняла его с места и бросила к столу. И в тот момент, когда документы оказались у него в кармане, он сразу же осознал, что уже решил, что назад ему пути нет и что это его единственный шанс выбраться отсюда.

Провожая его до двери, Петр Петрович пьяно хохотнул у него над ухом:

— Я, может, тоже скоро сбегу... В пространство... Вадиму не пришлось ответить, дверь захлопнулась

за ним и он оказался лицом к лицу с тетей Падлой, которая, вопросительно вскинув на него отечные глаза, чуть слышно помолила:

— Ты уж не звони слишком... С кем не бывает...

— Не маленький...

Потянуло курить, и он подался в уборную, где уже орудовал Горшков, старательно выскребая замызганные унитазы. Появление Вадима лишь прибавило ему рвения и словоохотливости:

— На хрусталь блеск наводим, чтоб опорожнялся — сердце радовалось... Из отхожего места кибинет оборудуем. Сиди — не хочу!

— Не надоело?

— От безделья думы разные, а от думы человека вошь ест. А в деле, как в запое, самые паршивые тебе роднее матери.

— На таких, как ты, воду возят.

— Так-то оно, может, и так. Да ведь и сам напьешься...

Вадим глубоко затынулся и, с наслаждением выпуская дым, подумал обескураженно: «И сколько их еще в России, чудаков этих, тьма!»

XII

Галки над прогулочным двором горланили весну. Конец апреля выдался на редкость безоблачным и теплым. Почки корявых тополей вдоль заборов бесшумно взрывались крохотными язычками зеленого пламени. Из-под седых островков ноздреватого снега во все стороны расплывались влажные подтеки.

Петр Петрович исполнил-таки обещанное: в день приезда Татьяны Вадима впервые выпустили из отделения без присмотра. Выйдя в прогулочный двор, они долго молчали, не зная, с чего начать. Слишком уж многое вставало теперь между ними.

И хотя Вадим заранее предвидел весь ход своего последнего объяснения с женой, разговор начался куда неприятнее, чем он предполагал. Для Татьяны смысл его объяснений свелся к разводу. Соответственно с этим та себя и повела.

— Что ж, — оскорбленно подобралась она, предпочитая нападение защите, — этого мне надо было ожидать. При твоём образе существования... Попойки, случайные связи... Исковеркать жизнь человеку, это в твоём стиле. А я-то жду! — У нее была удивительная особенность верить тому, что она говорила. — Лучшие годы, молодость отдала... Жила, словно монахиня... Но и я так просто не отступлюсь. Квартиры ты не получишь... Ты ни на что не имеешь права... Ты недееспособен, милый. Ни один суд не станет на твою сторону.

— Ты можешь слушать?

— Тебя — нет.

— И все-таки, я прошу.

— Ты снова хочешь, чтобы я терпела твоё пьянство и твои сумасшедшие выходы в квартире, — я хочу хоть какое-то подобие порядка.

— Успокойся, — Вадим поспешил предупредить ее, уже готовую разразиться слезной истерикой. — Тебя никто не гонит. Если ты поможешь мне уйти отсюда, я возьму только пару белья и рубашку.

— Значит, рай в шалаше? — Жалкой усмешкой она тщетно пыталась скрыть свою обескураженность. — Не поздно ли, Вадим Викторович?.. И что же, молодая, красивая? — Влажные губы ее мстительно вытянулись в тонкую ниточку: предпочтение, оказанное другой, было выше ее понимания. — Видно, с приданным? — Манера разговаривать вопросами выражала в ней высокую степень раздражения. — Дача? Машина?

Но если раньше все ее подобного рода речи доводили Вадима до дикого бешенства, то теперь, слушая жену, он оставался устало равнодушным и лишь никак не мог взять в толк, как ему удавалось чуть не де-

сять лет терпеть эту женщину рядом с собой, мирясь с вьевшейся в нее чуть ли не со дня рождения мелочностью и фальшью. Фальшиво в ней было все: голос, походка, речь; казалось, стóбит ей сделать хоть одно естественное движение, как она исчезнет, растворится, изойдет в этом движении полностью, без остатка, — до того предельно немыслимым выглядело для нее всякое человеческое проявление.

— Оставь эту самодеятельность хотя бы на сегодня.

— Ну, конечно, где мне, ты же профессионал.

— Ты неисправима.

— Влияние близких?

— Я отдал тебе не худшую свою часть.

— На тебе, Боже...

— Мы прожили с тобой несколько лет. — Со спокойной целеустремленностью он старался пробиться к её сознанию. — Прямо скажем, — лишних лет. Но вот сейчас, когда всё кончается, можем вести себя друг с другом по-людски.

— Вот и объясни мне по-людски, без фантазий, свои фокусы.

— Я вовсе не шучу. Мне хочется начать другую жизнь... Попробую еще раз...

— С другой бабой?

— Таня! — Он уже потерял надежду разбудить в ней хоть проблеск взаимопонимания, но решимость не оставлять здесь после себя ничего недоговоренного взяла верх. — Будь хоть раз в жизни человеком. Наверное, я был во многом неправ, но ведь и ты не всегда поступала правильно. Поэтому не будем сводить счеты, а расстанемся людьми... Я клянусь тебе, что это не блажь... Неужели меня так трудно понять?

Ожесточенная настороженность в её темных, гремучей желтизны глазах оттаивала, уступая место растерянному недоумению.

— Ты сумасшедший, — она медленно приближалась к нему, пристально, словно впервые узнавая, раз-

глядывала его, — да, да, ты, видно, и вправду сумасшедший... И как я не замечала этого до сих пор! Куда тебя несет, Вадим? Что с тобой?

— По-моему, как говорится, я прекрасно болен. И, прошу тебя, помоги мне...

— Я никогда не могла понять тебя.

— Тебе было некогда.

— При твоём образе жизни...

— Эх, Таня, при любом образе жизни за десять лет можно успеть понять друг друга.

— Слова — твоя профессия.

— Не мои — чужие, Таня, чужие слова...

— Хорошо, — неуверенно пообещала она, — я посоветуюсь с мамой.

Охота разговаривать у Вадима сразу же отпала. Она так ничего и не поняла. Сейчас жена не вызывала у него даже раздражения. Он скорее жалел ее, как жалуют калек и убогих. Они жили в разных измерениях и поэтому не могли постичь один другого. Теща в два счета обуздает этот ее благой полупорыв. Так неужели у него нет выхода? Неужели и ему выпадет та же участь, что и тем, которых он уже встречал однажды, там, на Байкале?

В ту осень судьба забросила его в глухое приозерное село с бригадой Иркутской филармонии. Приехали они в полдень, времени до концерта оставалось много, и председатель сельсовета повел заезжих артистов вдоль просторных, но не богатых своих владений. С Байкала тянуло зябким сквознячком, серое небо облегалo деревню низко и плотно, и, видно, оттого дома и хозяйственные строения на безлесых улицах выглядели как бы приплюснутыми к самой земле. Наскоро обежав полупустой в это время года рыбзавод, они двинулись было к чайной, но здесь, в просвете между окраинными домами, перед ними по гребню берегового взгорья выявились источенные временем стены заброшенного монастыря. Председатель — вялый му-

жичок, с лицом, тронутым зеленью пороховой сьпи, перехватив незапланированное им внимание гостей, тревожно засуетился:

— Пустяк — дело! Психколония тут у нас с летошнего года. Никакого интересу, одни адиоты. Зато в чайной у нас, — без перехода заторопил он, — омуль прямо из сети. Закусь — перьвый сорт.

Актерская братия следом за председателем потянулась в сторону чайной. Что-то, Вадим еще не мог определить, что именно — предчувствие, зов ли — остановило его и он, отколовшись от остальных, решительно повернул к монастырю. Его пытались было окликнуть, но он только отмахнулся раздраженно и уже более на оклики не оборачивался.

Через пролом в стене, служивший одновременно и проходной и парадным въездом, Вадим вошел в затянутый ржавой проволокой монастырский двор. Узенькие, едва протоптанные тропинки крест-накрест соединяли обрубленную по самые капители и крытую старым железом церковь с двумя угрюмого вида жильными строениями и часовенкой около входа. Из часовенки навстречу ему вышел носатый и заметно хмельной бородач в старом кожаном реглане внакидку и, вместо приветствия, безапелляционно утвердил:

— Корреспондент! Завхоз Бабийчук. Пошли.

Бывшие кельи, в которых размещалось по четыре койки, носили следы недавнего ремонта. Но из матерых щелей кое-как покрашенного пола сквозило ознобчивой сыростью подполья, а собранные на живую нитку оконные рамы издавали под ветром звучное дребезжание. Вадиму нетрудно было представить, каково придется здешним обитателям лютой прибайкальской зимой.

Бабийчук же, хмельно посапывая, развязно, словно бывалый экскурсовод в краеведческом музее, давал ему пространные пояснения:

— Заботу о людях проявляем повседневную. Ремонт произвели, завезли топлива. Калорийность пита-

ния по норме. К зимовке готовы целиком и полностью. Прошу обследовать пищеблок.

В церкви, приспособленной под столовую, обедало всего несколько человек.

— Ведем набор, — с готовностью удовлетворил его вопросительное недоумение завхоз, — ждем еще одну партию. К зиме полностью укомплектуем контингент.

Никто из обедавших, занятых едой, даже не повернул головы в их сторону. Еда поглощала все внимание невольных сотрапезников. Напрасно вглядывался Вадим в эти лица, ища хоть проблеска внимания или осмысленности. Лица проплывали у него перед глазами одно за другим — тупые, отрешенные и как бы полые изнутри: природа изваяла их, не вдохнув в них ничего, кроме инстинктов.

И лишь когда он повернул к выходу, в простенке между дверью и боковым окном, профилем к нему, неожиданно возник человек с обликом, отмеченным тихой и долгой печалью. Он смотрел в упор на Вадима, но явно не видел его. Человек как бы вглядывался в свою, обозримую для него одного, даль внутри себя, и она — эта даль — виделась ему глубоко безрадостной и достойной сожаления.

— Здравствуйте. — Сразу же располагаясь к нему, остановился против него Вадим. — Давно вы здесь?

Тот лишь беспомощно посветил ему навстречу беззащитной улыбкой и не ответил. Подоспевший Бабийчук насмешливо хрюкнул:

— Без пользы. Молчун. По истории, пятый год молчит.

Во дворе завхоз без обиняков предложил:

— Может, погреемся, корреспондент? У меня есть. И омулек найдется.

— Я не корреспондент, — жестко разочаровал его Вадим, — я — артист.

Бабийчук тут же потерял к нему всякий интерес.

Подаваясь к часовенке, он пренебрежительно пробурчал в бороду:

— Тогда и ходить нечего. Тут не ярманка, а лечебное заведение. Ишь, артист!

Выходя с монастырского двора, Вадим уносил в себе отсвет той странной улыбки, которой поделился с ним молчаливый обитатель этого забытого Богом и людьми места. И сейчас, когда жизнь уготовала Вадиму ту же участь, он вдруг понял, что ему, как и тому самому молчуну в церкви, не о чем говорить с кем бы то ни было из потустороннего теперь для него мира, тем более со своей бывшей женой. Они просто-напросто уже не могли услышать друг друга.

— Прощай.

— Прощай.

Возникшее сразу вслед за этим молчание, помимо их воли, растворило недавнюю их враждебность, и, когда Вадим, уходя в отделение, замешкался на пороге, она порывисто приникла к нему, горестно прошептав:

— Видно, я все-таки любила тебя... Легкий ты человек...

Татьяна даже вроде бы потянулась за ним через порог, и в этом ее инстинктивном движении Вадиму открылась какая-то закономерность, черта особая какая-то, характерная для всех его последних встреч. Люди, с которыми он сходил в эти дни, — доктор, Крепс, отец Георгий, Мороз — прощаясь с ним, словно бы завидовали ему, словно бы хоронили в нем, в его спокойствии собственную несостоявшуюся надежду изменить свою жизнь: «Духу, духу не хватает привычный круг разорвать!»

И словно бы соглашаясь с ним, галки над прогулочным двором неожиданно умолкли, и, лишь сделав шаг от порога, он осознал, что птицы здесь ни при чем: просто за ним захлопнулась дверь.

ХІІІ

Суматоха среди персонала началась исподволь и сначала не обратила на себя внимания. Беготня санитаров случалась часто и по множеству поводов: то вязали впавшего в буйство, то требовалась помощь мужских рук во время совершения пункции, то надо было по-быстрому сплавить из отделения очередного доходягу. Не коснулась бы она никого и на этот раз, если бы в отделении не появился сам главный врач больницы Тульчинский в сопровождении многочисленной свиты управленческого персонала. Минувя палаты, высокие гости проследовали прямо в кабинет заведующего. И в этой их торжественной поспешности чувствовалось что-то предостерегающее.

Отделение взволнованно загудело:

— Комиссия!

— Активировать будут!

— Конференция у них, кого-нибудь выдернут для показа.

— Может, сбежал кто?

— Да нет, вроде все на месте.

— Не иначе как «чепе».

— Надо думать, если такая орава пожаловала.

Бочкарев и тут не остался в стороне от событий. Вскочив на коридорную скамью, он трубно провозгласил:

— Товарищи, без паники! Всем оставаться на своих местах! Враги социализма во всем мире не дремлют! Сплотим ряды. В единстве наша сила! Пусть заокеанские воротилы помнят, что на каждый удар мы ответим двойным ударом! Возмездие...

В этом духе он мог бы, наверное, продолжать до второго пришествия, но резкий, с неожиданным надрывом голос тети Падлы прервал его словоизвержение:

— А ну по палатам!.. Все по палатам!.. Чтобы ни одного в коридоре не было! Дядя Вася, загоняй! Мать Васильна, держи своих!

Когда, стараниями санитаров, коридор опустел, из кабинета вынесли носилки. По зеркально блистающим ботинкам, что торчали из-под простыни, и недвижному птичьему профилю под ней нетрудно было узнать Петра Петровича. Пола его халата свисала с боковой опоры, и где-то на полпути к выходу оттуда выпала, чуть слышно шлепнувшись об пол, та самая записная книжка доктора, с которой тот никогда не расставался. В общей суматохе этого никто не заметил. И лишь Вадим, с обостренным вниманием следивший за каждой, даже самой малой деталью скорбного шествия, уже не спускал с нее — с этой книжечки — глаз.

Как только процессия, следом за носилками, стекла в двери и в коридор отделения изо всех палат хлынули его взволнованные случившимся обитатели, докторский блокнотик мгновенно оказался в кармане у Вадима.

Все в коридоре гудело и перемешалось. Предположения возникали одно за другим:

— Сердце, видать, не сработало!

— Попивал, говорят.

— Опился!

— Вот тебе и Петр Петрович, вот тебе и доктор.

— Доктор, так святой, что ли?

— Кого теперь еще принесет к нам на нашу голову!

— Свято место пусто не бывает.

— И то правда...

Первым, благодаря своей дружбе с обслугой, обо всем доподлинно узнал Горшков. Улучив минуту, он поманил Вадима к своей койке и шепотной скороговоркой сообщил:

— Доктор-то... Петр Петрович... Того... Сам себя порешил. Вот, какие дела... Порошками...

Несвойственная ему ранее растерянность букваль-

но преобразила его. Перед Вадимом, исходя тоскливым томлением, переминался с ноги на ногу старый и давным-давно раздавленный жизнью человек с пепельно-серым, опутанным частой паутиной морщин лицом.

— Надо думать, — искренне посочувствовал ему Вадим, — не впервой тебе?

— Да было... Видал... Не единожды... Только кажинный раз все муторнее... Уж коли такие, чего ж тогда мне-то делать? Хоть сейчас в петлю.

Сгорбившись и заложив руки за спину, он медленно пошаркал между коек к окну и застыл там недвижно, как бы отгородив себя от всего того, что происходило у него за спиной.

В уборной Вадим неожиданно столкнулся с Ткаченко. Тот, никогда до этого не куривший, задумчиво втягивал в себя дым дешевенькой сигареты.

— Удивляетесь? — Судя по тону, каким был задан вопрос, старик тоже знал обо всем. — В лагере я курил. Иногда облегчает. Тем более, что я, кажется, решил. — Впалые щеки его, втягивая дым, ходили ходуном. — От себя нигде не отсидишься. Там все-таки со мною рядом будет родная душа... И кто знает, может быть, её можно унести на подошве своих башмаков... эту самую родину. Слишком мало от нее осталось.

— Я рад за вас.

— Вы это серьезно?

— Вполне.

— Спасибо. Только еще выпустят ли?

— Но ведь обещали. Какой тогда смысл пересылать вам посольскую бумагу?

— Ах, молодой человек, молодой человек, вы еще очень плохо знаете свое государство. — Поднимаясь, старик аккуратно погасил окурочок, бросил его в мусорницу и шагнул через порог. — Обещали! Они много чего вам всем обещали. Вам! А я так для них вообще не в счет...

Мимо курилки, еле двигая валенками, прошла тетя

Падла и каждый шаг её был отмечен тяжестью и апатией. Кто-то в дымном чаду посожалел ей вслед:

— Переживает.

Голоса из разных углов поддержали:

— Сломалась баба.

— Еще после Телегина.

— А теперь совсем.

Поздним вечером, забившись подальше от любопытных глаз и воровато оглядываясь, Вадим вынул из кармана и перелистал записную книжицу покойного доктора. И что-то оборвалось в нем сразу, обуглилось: все сто двадцать листочков в мелкую клеточку оказались девственно, без единой отметины, чисты: «Кинул ты мне, Петр Петрович, на прощанье камушек из-за пазухи!»

XIV

В это субботнее утро Вадим проснулся с явственным предчувствием события. Это ощущение не покидало Вадима в течение всего утра, и когда, вскоре после обеда, из коридора выкликнули его фамилию, он, не стесняясь, опрометью бросился к выходу. В прогулочный двор его выпустила сама тетя Падла, хмуρο понапутствовав его с порога:

— Особо не разгуливай. Время позднее.

Ломкие листья тополей, оттененные резким предвечерним солнцем, чуть слышно позванивали вдоль круговой дорожки, и это грустное их позванивание сопровождало Вадима от самого порога.

Он увидел Наташу сразу, едва выйдя в прогулочный двор. Она стояла спиной к нему в самом углу сада, и ветер, устремляя вперед подол ее зеленого пальтеца, ваял из нее что-то летящее и невесомое. Стук садовой щеколды заставил девушку вопросительно обернуться, взгляд ее остановился на нем, и вот она уже зовуще потянулась к нему, но с места не сошла, а только едва заметно кивнула: «Я — здесь».

— Я ждал вас, Наташа, — от волнения он еле выговаривал слова, — знал, что вы придете.

— Вас папа предупредил?

— Он не сказал кто, но я верил, что это будете вы.

— Меня папа просил.

— Спасибо.

— Я к вам по делу.

— Все равно спасибо.

Куцее дворовое солнце уже стягивалось к едва оперившимся вершинам тополей. Наташа, зябко поеживаясь, втягивала худенькую шею в воротник пальто и судорожно позевывала. И все в ней, от дешевых «лодочек» до легонькой косынки над упрямой чёлкой, вызывало сейчас в Вадиме чувство пронзительной, чуть ли не обморочной жалости. Но ничто в ее облике не располагало к ответному движению. Его словно бы и не было рядом с ней вовсе. Уйди он, она бы и не заметила, продолжая все так же судорожно позевывать и зябко втягивать худенькую шею в воротник пальто.

— Замерзли? — трепетно коснулся он её локтя. — Может, походим?

Она покорно двинулась рядом с ним. После недолгого молчания сказала, словно сама все давно за него решила:

— Уйти вам надо отсюда.

— Куда, Наташа?

— У папы еще живы родители. И отец, и мать. — В её деловитости было что-то трогательное. — Под Москвой живут. Почти в самом лесу. У них и отсидеться, пока искать перестанут.

— Это что же, Егор Николаевич придумал?

— Да, он.

— В моей униформе дальше первого встречного не уйдешь.

— Нюра поможет. У неё дома папины летние вещи. Вы с ним почти одного роста. Нюра...

— Тетя Падла! — Его даже в жар бросило. — Сама тетя Падла?

— Нюра! — строго повторила девушка и осуждающе посмотрела на него. — Нюра вас и выпустит ночью.

— Не заблудиться бы, — его уже била лихорадка предстоящего побега, — село большое.

— Нюрин дом прямо на повороте к шоссе, окна с зелеными наличниками. На электричку не садитесь, голосуйте при дороге, довезут... Только не забудьте: Кривоколенный шестнадцать, квартира шесть...

И словно боясь, что он сможет удержать её, она почти побежала наискосок через двор к калитке, ведущей в отделение. Вадим машинально сделал несколько шагов за ней и долго еще смотрел вслед маячившей сквозь листву кустарника вдоль изгороди быстрой фигурке девушки, какую — что там скрывать! — он уже любил тихо и благодарно.

Время текло с мучительной медлительностью. О сне, хотя бы коротком, нечего было и думать. С усилием смежив веки, лежал Вадим, чутко прислушиваясь к окружающему. Вот дежурный санитар не спеша обошел палату, пересчитывая своих подопечных. Вот, с кряхтением повозившись, затих его сосед по койке Горшков. Вот едва слышно — раз, два, три, — переключнулись выключатели. Матовые контрольные лампы сгустили полутьму до предела. Тишину прерывали только храп и бредовое бормотание в разных углах палаты.

— Лашков! — скорее выдохнула, чем сказала старшая сестра, легонько теребя его за плечо. — Пошли.

Мимо спящего на лавочке санитаря, по едва освещенному коридору тетя Падла провела Вадима в кабинет заведующего. Окно в кабинете было полуоткрыто. На резком свете потолочного плафона лицо Нюры выглядело еще более отечным и вытянутым. Но боль-

шие темные глаза её навывкате были тронуты горькой и неизбывной грустью, и, раз взглянув в них, Вадим признался себе, что и здесь рязанский мужик Митяй Телегин оказался внимательней и прозорливей его.

— Прощай, Нюра, — растроганно потянулся он к ней. — Спасибо тебе.

— Дома не перепутай, — без выражения ответила она. — У меня еще конек на крыше и калитка не закрывается. Огонек в сенцах горит. Ждут тебя.

Звездная ночь приняла Вадима и он двинулся в сторону шоссе, на тот самый огонек, где кто-то, ожидая его, тревожно бодрствовал и, наверное, волновался...

На стук ему открыла старуха с зажженной керосиновой лампой в руке. Зоркими, не по возрасту молодыми глазами она сурово оглядела его с головы до ног и молча уступила дорогу, осветив ему табурет в углу, на котором была аккуратной стопкой сложена для него одежда. Она молча светила ему во время его переодевания, молча сунула пятерку в карман пиджака, молча проводила до двери и, лишь закрывая за ним, глухо прошелестела беззубым ртом:

— С Богом...

Долго голосовать ему не пришлось. Вскоре черная «Волга», надрывно взвизгнув тормозами, замерла у самых его подошв. Свет приборов осветил усталое лицо с красными от напряжения и бессонницы глазами:

— Садись... Только сзади, с хозяином.

Едва они тронулись с места, как темная громада рядом с Вадимом беспокойно задвигалась и крепкий настой круто замешанного винного перегара повеял в его сторону:

— Я, брат, человек широкий, добрый... Думаю, стоит человек, голосует, почему не подвезти... С дорожной душой... А я ведь, брат, не хер собачий... Комендантом Берлина был... Да и сейчас не в последних хожу... Но простоты не теряю... С народом держу связь... Народ меня любит... Вот на рыбалку в рыбхоз ездил... Как

отца родного встретили... Птичьего молока только не было... А ведь бывало с Гессом, как с тобой... Четыре раза в год.. По положению... Прост тоже очень, даже жалко... Все свое партии завещал... Хоть и сукин сын, а человек порядочный...

Язык у него все более заплетался и, наконец, он, отвалившись в угол, гулко захрапел. Водитель молчал до самой Москвы, видно, изливания эти были ему не впервой. И только миновав городскую черту, слегка полуобернулся:

— Тебе где?

— Да все равно. Если можно, то поближе к Трубной.

— Довезу.

Больше он до самой Трубной площади не вымолвил ни слова. На деньги, протянутые Вадимом, даже не посмотрел, тронул с места.

— Самому пригодятся.

Ранним, едва зачатым утром, срезая углы, Вадим вышагивал по знакомым улицам, узнавая и не узнавая город, искоженный, казалось, вдоль и поперек. Все, что раньше казалось знакомым и примелькавшимся, выглядело сейчас выпукло и рельефно: вывески, автоматы, будки регулировщиков. Он уже был не частью всего этого, а глядел вокруг как бы со стороны, как гость, который перед отъездом старается запомнить из увиденного побольше и поотчетливей, чтобы иметь о чем рассказать непосвященным.

XV

Она словно ждала его, не отходя от двери, до того мгновенным было её появление перед ним, едва он коснулся звонка. Горячее стеснение под сердцем мешало сложиться словам, Вадим с виноватой растерянностью топтался у порога. И девушка, словно желая помочь ему, заговорила первой:

— Здравствуйте, Вадим.

— Здравствуйте, Наташа... — Ему все еще не хватало воздуха. — Вот... Решился... Будь, что будет...

Опаляющая истома мгновенно обессилила его, ноги стали ватными, а мир перед глазами пошел кругом. С отчетливой живостью Вадим представил себя тем самым бакенщиком Егором, о каком ему столько раз приходилось рассказывать со сцены. Пожалуй, лишь в эту минуту Вадима по-настоящему постигла сладостная боль последнего шёпота Егоровой зазнобы: «Егорушка, милый... Люблю тебя, дивный ты мой, золотой ты мой...» И так-то ему захотелось вдруг, так потянуло оказаться сейчас где-нибудь за тридевять земель, на берегу любой, хоть самой заваливающей речёнки с этой тоненькой девочкой в крылатом ситчике, что сделай она теперь шаг, только шаг навстречу, и он рванулся бы к ней, подхватил её на руки, да уж и не опустил бы до самого последнего своего дня.

Но девушка отступила в глубь коридора, тихо выдохнув:

— Сюда...

В комнате, куда она пропустила его мимо себя, преобладали иконы и книги. Работа в киотах чувствовалась нестарая, но дельная. В книжном же царстве, властвовавшем здесь, Вадим, как ни вглядывался, так и не смог рассмотреть ни одного знакомого корешка.

— Это папина комната. Я все оставила, как есть. — Девушка пошла впереди него, приглашая его тем самым следовать за собой. — Это хорошо, что вы решились. Признаться, я тоже сначала побаивалась, не будет ли хуже... Вот дурочка... Может ли быть хуже?

Комната её была полной противоположностью отцовской. Тахта, укрытая пледом, выдавший виды письменный стол у окна, стул при нем и старенькое креслице составляли всю её меблировку. В этой непритязательности не чувствовалось ничего подчеркнутого. Каждая вещь здесь отвечала строгой необходимости и только. Когда Вадим вошел сюда, ему, как это иногда слу-

чается с людьми впечатлительными, до поразительной детальности пригрезилось, что он уже был тут когда-то, именно в этой комнате, небрежно обставленной случайной мебелью.

— У вас, как в келье, Натали. — С усилием освобождаясь от наваждения, он опустился в кресло. — Ничего девичьего.

— Не люблю лишнего хлама, — брезгливо поморщилась она, — возни много. Вам не нравится?

— Наоборот. У меня просто времени не было привыкать к бараклу. Всегда на перекладных.

— Теперь все будет по-другому.

— Вывезет ли?

— Должно вывезти.

— У вас, в отличие от меня, много времени впереди.

— Каждый отсчитывает время по-своему.

Было в ней — в её скупых движениях, взгляде без улыбки, манере говорить медленно и отрывисто — что-то такое, перед чем Вадим, забывая о своем против нее возрасте, испытывал жаркую, почти мальчишескую робость:

— У меня к вам просьба, Натали, — мысль обожгла его внезапно, но ему уже казалось, что он думал об этом с самой первой их встречи, — будьте со мной в день отъезда.

— Я сама довезу вас до места.

— Знали бы вы, как я вам благодарен.

— Обязательно довезу. Без меня вы там заблудитесь.

В домашнем ситчике, в сумерках, она казалась тихой бабочкой, устало сложившей пестрые крылья. Немалых усилий стоило Вадиму побороть в себе искушение — взять её на руки и бережно носить по комнате, пока она не уснет.

Она вздохнула:

— Если бы у вас все состоялось!

- Я буду стараться. Я буду очень стараться.
- Для меня, наверное, это еще важнее, чем для вас.
- Значит, мне придется стараться вдвойне.
- Я — серьезно.
- И я.
- Спасибо.
- Натали.

Они еще не сказали друг другу самых главных, самых существенных слов, но душевная общность уже озарила перед ними прошлое и будущее, тень и свет, проникнув их знанием сущности окружающего и надеждой:

— Может быть, это продлится долго, очень долго, Натали.

- Разве это важно?
- Для меня — нет.
- Для меня — тоже.
- А если меня все же найдут?
- Это еще не конец.
- А что же это?
- Можно попытаться еще раз.
- Будет уже поздно.
- Разве когда-нибудь бывает поздно?
- Вы мне — как подарок...
- Еще пожалеете.
- Никогда.
- Не зарекайтесь.
- Я все же зарекаюсь.
- Вот как?
- Да. — И еще тверже: — Да.

Темь холодными звездами заглядывала в окна, располагая к долгому молчанию, и они замолчали, но и в безмолвии между ними продолжался тот самый разговор, которому, сколько существует мир, нет и не будет конца. В темноте Вадим осторожно коснулся её плеча и оно обмякло под его рукой и подалось к нему навстречу. Жаркий туман поплыл перед его глазами

и он, почти задохнувшись от волнения, привлек девушку к себе:

- Милая...
- Зачем я тебе?
- Жизнь моя...
- Боюсь я.
- Чего?
- Ненадолго это.
- Навсегда!
- Это тебе сейчас кажется.
- Всегда будет казаться.
- Смотри.
- Люблю тебя.
- И я... Сразу... Как увидела...
- Ната...

Они очнулись, когда за окном в рассветном мареве тихой зеленью светились майские тополя, через которые солнечно проглядывался резко вычерченный на сквозной белесости высокого неба город, и Вадиму пригрезилось, что там, за нагромождением этих многооконных коробок уже стоит в ожидании его — Вадима, нетерпеливо подразнивая белоснежными боками, вытянутый носом к морю теплоход. И мимолетное видение это с такой внезапностью все в нем стронуло, воспламенило, что он не выдержал, заторопился.

— Подъём, Ната! Смотри, утро-то какое!

Не поднимая век, она улыбочиво кивнула и медленно потянулась к нему, утыкаясь теплым лбом в его плечо:

— Еще немного. Успеем...

Но вскоре она уже громыхала на кухне посудой, стряпая на скорую руку завтрак, и, одеваясь, Вадим все еще никак не мог опомниться от случившейся в его судьбе удивительной перемены: «Будто во сне, — ей-Богу!»

Пронизанное зябким солнцем раннее утро высветило перед ним овейную первым тополиным пухом

пустынную улицу, и они, не раздумывая более, двинулись по ней — по этой улице — к первой же остановке, ведущей к трем вокзалам.

XVI

Когда после вокзальной суеты они, сев в электричку, оказались друг против друга и, наконец, встретились глазами, в них вошла полная мера того, что их теперь объединяло. Все пережитое показалось им сейчас тяжелым и уже отлетевшим сном. Другая жизнь, еще неведомая, но заманчивая самой своей новизной, ждала их впереди. Они сидели друг против друга, взявшись за руки, и все, что творилось вокруг, — давка, ругань, смех, плач, — не существовало для них. В мире сейчас были только они двое. Только они двое — и никого больше.

Потом они шли через лес. Одурачивающий запах его по-майски клейкой поросли кружил им головы, и робкие травы стекались к их тропам, стряхивая под ноги свои первые росы. На ум им приходили первые попавшиеся слова, но в каждое из этих слов они вкладывали свой, понятный только им двоим смысл:

— Давно я в лесу не был.

— И я.

— Смотри, какой нарост на березе! Будто львиная грива.

— Скорее черепаха под панцирем.

— У тебя есть глаз.

— Я способная.

— Скромничаешь?

— Ага...

Сквозь рябой частокол берез появилась блистающая зеркальной поверхностью речная полоска, и вскоре внизу перед ними показалась паромная пристань с несколькими строениями торгового типа вдоль берега.

— Ну вот, — облегченно вздохнула она и заспешила вниз, — переждем, а там совсем близко.

— Как снег на голову.

— Они привыкли. Даже рады будут.

Около пивного ларька на берегу их остановил жиденький старичок с веселыми кроличьими глазами.

— Вижу, только поженившись, дай, думаю, попрошу двугривенный. — Его радушная откровенность обезоруживала. — А для ровного счета, — подмигнул он медленным веком, видя, что Вадим потянулся в карман, — двадцать две. Точь-в-точь на целую.

Вадим дал полтинник. Старичок не выразил удивления, понимающе взмахнул сухонькой ладошкой: гуляешь, мол, парень, одобряю, мол. Затем вежливоенько коснулся кепочки и моментально ввинтил себя в шумный омут у ларька.

Случайный дед этот и вернул их к текущим заботам. Перед ними вдруг сразу обозначилась галдящая толпа у переправы, где каждый с головы до ног был во всеоружии сумок и свертков. Стало ясно, что их путь на тот берег будет совсем не простым, а в первый день за рекой определенно голодным. Поставив Наташу в очередь на паром, Вадим бросился в единственную на берегу продовольственную палатку, чтобы прикупить кой-чего из еды и питья. К прилавку Вадим пробился, растеряв по дороге добрую половину пиджачных пуговиц. Оказавшись лицом к лицу с распаренной от жары и ругани продавщицей, он бездумно бросил ей следом за скомканным червонцем:

— На все!

Реакция у той сработала безошибочно. Через мгновение перед ошеломленным Вадимом красовался «малый джентльменский набор» во всем своем неповторимом великолепии: две бутылки белой головки, две банки шпротов и плитка шоколада «Золотой ярлык». С этой добычей он и выскочил на берег, когда паром уже отваливал от причала.

Среди пестрого круговорота на пароме Вадим сразу же выделил костерок ее косынки и сердце его учащено, с обморочными провалами забилося: «И за что только тебе этот подарок, старый чёрт!» Она же в свою очередь, заметив его, прощально ему замахала. И видно было, что игра эта ей нравилась, и он подыграл: опустившись на прибрежную траву, замахал ответно. Так они и махали друг другу, радуясь своей ребячьей выдумке, до того самого мгновения, пока кто-то, еще неизвестно кто, не сел рядом с ним. И, тут вроде бы еще и без причины, все в нем заглодело и оборвалось. Сосед еще только молча и натужно сопел рядом, а Вадим уже чувствовал, да какое там чувствовал! знал, что это — конец. Конец всему, что ожидало его на том берегу. И всему в его жизни вообще конец. Крепс оказался прав: ему уже теперь никуда от них не уйти. Его связь с ними становилась день ото дня все нерасторжимей. И тогда, даже не поворачивая головы, он намеренно грубо спросил:

— Можно, я выпью, начальник?

Ответ был почти дружелюбен, но от этого дружелюбия почему-то сразу закололо в кончиках пальцев:

— Пей, Лашков.

Привычным движением выбив пробку, Вадим стиснул зубами горлышко. Жгучая влага опалила гортань, но, вливаясь, не приносила с собой ни забытья, ни облегчения. Краем глаза он еще следил, как оттуда, с парома, Наташа все еще продолжала махать ему, даже не подозревая, что игра эта уже обернулась для них совсем не шуточным прощанием. Бутылка, так и не опьянив его, лишь добавила ожесточения. И тогда Вадим снова спросил со злым вызовом:

— Можно, вторую добыю, начальник?

Ответ прозвучал еще дружелюбнее:

— Добивай, Лашков.

Ах, сколько выпил он ее на своем веку, но никогда

еще она не оказывалась такой бессильной в соревновании с ним!

На удаляющемся пароме, над пестрым пятном толпы бился желтенький костерок Наташиной косынки и в воздухе прощально покачивалась ее ладошка. Он не выдержал и ответил ей. Жжение под сердцем сделалось нестерпимо удушливым, и тогда Вадим встал и, не оглядываясь, пошел вперед. Грузные шаги сопровождали его мерно и неотступно.

Вежливенько, но твердо подсаживаемый в машину, Вадим инстинктивно, уже ни на что не надеясь, потянулся взглядом в сторону реки. Паром уже причаливал к противоположному берегу, и едва ли на таком расстоянии он мог разглядеть, продолжает ли она махать ему, но в эту минуту он хотел в это верить, и поверил, поверил на всю последующую горькую свою жизнь. И прежде чем задняя дверь фургона захлопнулась за ним, он успел мысленно попрощаться с нею: «До свидания, Натали! Живи, родимая. Надо жить!»

Их отъезд от берега сопровождал залихватский наигрыш гармони, перекрытый пьяно-отчаянным тенорком:

По реке плывет топор
Из села Неверова.
И куда ж тебя несет,
Железяка херова?

ПЯТНИЦА

Лабиринт

Здравствуйте, дорогой многоуважаемый папаня! Во первых строках своего письма сообщаю, что мы живы-здоровы, того и Вам желаем. Папанечка родненький, как вы там живете-можете? Приехали мы с Колей на новое место. Здесь кругом степя и очень ветра. А так ничего, жить можно. Очень я по Вас соскучилась, папаня. Часто утром встану и по привычке к стене тянусь постучаться. Попали мы в хорошую бригаду. Бригадир у нас сам из евреев, но человек хороший и душевный. Прямо таких я еще не видела. Заработки в этом месяце, должно, будут хорошими. Правда, вот, пойти здесь некуда. Кругом степь голая, ни куста, ни травинки путевой. Все об детстве вспоминаю, когда я на огороде у нас все заячий хлеб отыскивала, а вы все смеялись, чем бы, мол, дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Вот написала и заплакала. Плакать я теперь много стала, а почему, сама не знаю. Видать, года. Дорогой Папанечка, принесу я вам скоро внука или внучку. Тьфу, тьфу, не сглазить бы. Вы не беспокойтесь, работаю я по мере возможности, больше Коля не позволяет и ребята в бригаде не дают. Даст Бог, когда рожу, соберемся все вместе, в одном углу, буду тогда дитя растить, вашу старость обихаживать. Вот как хорошо-то было бы! Только, когда это будет? Стройка у нас какая-то непонятная, чего строим, сами не знаем, почитай, одни коридоры да комнатенки махонькие. Ну, да не наше это собачье дело. Платили бы хорошо, а об остальном пускай у начальства голова болит, им с горы виднее. Все я об себе и об себе, а об вас и совсем забыла. Папанечка родненький, напишите весточку, как живете, как здоровычко ваше, как по хозяйству справляетесь? Беречь вам себя надо, как вы у меня старенький, внуков дожидаться. Нехорошо мне тут будет, коли вы заболете, изведусь вся. Очень я жду письма вашего, Папаня.

Будьте так добры, не забывайте свою Антонину, а я об Вас никогда не забуду.

Любящая Ваша дочь Антонина и зять Николай.

I

Когда Антонина, следом за Николаем, переступила порог прорабской, там, кроме самого хозяина, находился неизвестный тощий парень лет двадцати пяти, в заляпанном растворе комбинезоне. Занятые разговором, те даже головы не повернули в сторону вошедших. Прораб — бесформенная махина, с короткой склеротической шеей — водил карандашом по листу бумаги перед собой, подсчитывал вслух:

— Считай, по шести копеек, плюс добавлю копейки три на подноску. Плюс насечка — гривенник. Соображаешь, какую сумму отхватить можно?

Слушая его, тощий недоверчиво покачивал лобастой головой, равнодушно следил за движением карандашного острия в неуклюжих пальцах прораба и большие темные глаза его при этом настороженно светились:

— Вы же знаете, Назар Степанович, что такое насечка, — пока с ней провозишься, какая работа?

— А ты не усердствуй. Пройдись молоточком для порядка и покрывай. Я же принимать буду.

— Не могу, Назар Степаныч. Дело есть дело. Или на совесть делать, или никак.

— Совесть! Что ты ее с хлебом есть будешь? Я тебе заработать даю, а ты ко мне с моральным кодексом лезешь.

— Да и людей у меня мало для такой работы, Назар Степаныч. В срок не освоим объект.

— Люди — не задача. Людей я тебе дам. — Он вскинул на вошедших тяжелые веки. — Чего вам?

Вполуха выслушав Николая, прораб мельком пробежал поданное тем направление, недовольно поморщился:

— Разнорабочий. Что они там в кадрах, с ума посходили что ли? Нету у меня никакой разной работы. Освободился?

— С полгода.

— Что в лагере делал?

— На строительстве.

— Чему научился.

— Всего понемногу.

— Штукатурное дело приходилось.

— И это было.

— Видишь, — удовлетворенно оживляясь, он повернулся к парню, — на ловца и зверь бежит. Хватай, пока не умыкнули. — Взгляд его остановился на Антонине. — А это жена, надо думать? Вот ее-то мы на разные и приспособим. Подкинь им кого-нибудь из своих, сразу с двух сторон фронт погонишь. — Прораб оказался не по комплекции стремительным и подвижным: ткнув карандаш в боковой карман спецовки, он решительно вскочил и подался к выходу. — А ну, на объект!

Вагончик прораба стоял на пригорке, и с порога стройка обстоятельно обозревалась вдаль и вширь. Вокруг площадки, насколько хватал глаз, простиралась, синяя в знойной дымке, ровная, как стол, степь. Строительство, в основном, велось вглубь, возвышаясь над поверхностью земли не более, чем на метр-два, поэтому самая площадка выглядела с порога вагончика скопищем серых, под цвет степи, квадратной формы плоских бетонных коробок, между которыми сновали запыленные самосвалы. Работа шла там, внутри этих коробок, оттого стройка, сравнительно с ее размерами, казалась почти безлюдной.

Идя позади мужчин, Антонина более не прислушивалась к их разговору. Ее волновало сейчас, надолго ли задержится она здесь с Николаем? После отъезда из Узловска они уже успели поработать в экспедиции на Крайнем Севере, затем зацепились было в Красноярске на лесокомбинате, но стоило очередному щедрому на по-

сулы вербовщику поманить Николая шальным заработком, он, не раздумывая ни минуты, потащил ее за собой в Среднюю Азию. Раньше Антонина снималась с места без особого сожаления, ей самой хотелось наверстать упущенное за предыдущие свои безвыездные сорок лет. Разнообразие и пестрота открывшегося перед нею простора поразила ее, обещая ей там — за горизонтом — еще более заманчивые дали. Но однажды утром она почувствовала какую-то неясную и обновляющую в себе перемену. Присутствие иной, сокровенной жизни затеплилось в ней и, сладостно всем существом затихая, она чутко насторожилась и присмирела. С тех пор Антонину потянуло к постоянству и покою. Она страстно вдруг захотела своего угла, своих четырех стен, которые бы отгородили эту возникшую в ней жизнь от грозных случайностей окружавшего ее мира. Поэтому сейчас, идя следом за мужчинами, Антонина откровенно страшилась того, что Николай долго здесь не задержится и ей придется снова укладывать нехитрые их пожитки для новой дороги.

Шедший впереди прораб, поманив спутников за собой, неожиданно свернул в темный провал одной из бетонных коробок. По деревянным сходням они спустились в едва освещенный временной проводкой коридор полуподвального помещения, из бесконечной глубины которого тянуло неокрепшим раствором и земляной сыростью.

— Здесь только фронт наладить, а там дело само пойдет. — Прораб поспешно увлекал их вперед. — Такая деньга потечет, озолотиться можно.

Коридор тянулся вдоль такой же, размером поменьше, внутренней коробки со множеством дверных проемов по лицевой стороне, каждый из которых был, в свою очередь, началом поперечного прохода, соединяющего обе стороны всего здания. До выхода на противоположном конце они обогнули ровно половину бе-

тонного четырехугольника. Прежде чем выйти наружу, прораб повернулся к тощему:

— Другой бы благодарен был, а ты ломаешься. Здесь двумя фронтами с обоих концов гнать можно. — Считая, видно, разговор законченным, он выдернул из бокового кармана записную книжку и, вооружившись все тем же карандашом, что-то в ней размахисто на-карябал. — Определи-ка их вот в общежитие. — Протягивая парню вырванный из блокнота листок, прораб почему-то упорно отводил от него глаза. — Договорись с подсобкой и принимайся.

Прораб утонул, растворился в солнечном провале выхода, а парень, оборачивая к ним растерянное лицо, сокрушенно вздохнул:

— Без меня меня женили. — Повертел в руках бумагу, хмыкнул. — Ладно, пошли.

По дороге, идя с ним бок о бок, Антонина искоса разглядывала его. Высокий, худой, несколько сутуловатый, с резко вырубленным профилем, он задумчиво щурился на ходу, словно разглядывал вдали что-то ему одному видимое. Парню можно было бы дать не менее тридцати, если бы сквозь мягонькую щетинку на его впалых щеках не светился густой, почти мальчишеский румянец.

— Общага у нас в административном корпусе, — походя объяснил он им. — Семейные живут в кабинетах, холостые — в хозяйственных загонах. Основные циклы уже закончены, так что в основном — отделочники. У меня в бригаде пять человек, будешь шестым. Зовут меня Осипом, фамилия Меклер. Как вас?

— Николай...

— Антонина...

— Тоню пристроим к нашим женщинам на подсобку.

— Полегче бы ей сейчас чего-нибудь, бригадир, — отвернулся в сторону Николай. — Нельзя ей сейчас особо тяжелого.

Тот живо повернул к ней мгновенно порозовевшее лицо и в близоруком прищуре темных его глаз засветилось ласковое сияние:

— Что ж, возьмем в бригаду седьмого. Не обедняем. — Он остановился перед дверью, на которой красовалось меловое изображение черепа и двух скрещенных костей. — Тоже мне, остряки... Заходите.

Административный корпус отличался от остальных бетонных коробок на площадке лишь множеством окон по всем четырем своим сторонам. Внутри его, по огибающему зданию коридору, выстраивались одна за другой бесчисленные, одинакового размера двери, над каждой из которых был прикреплен пластмассовый номерной знак. Осип без стука толкнул крайнюю с корявой надписью поперек: «Комендант».

— Привет начальству! Принимай, Христофорыч, жильцов, выдавай амуницию и ставь на довольствие.

В комнате, заваленной матрацами и раскладушками, за больничного типа тумбочкой сидел волосатый старик в полуистлевшей майке, под которой явственно просматривался вытатуированный на груди государственный герб Российской империи, обрамленный броской надписью: «Стреляйте, гады!» Перед стариком, рядом с надкусанным помидором, поверх стопы ведомостей, стояла едва початая четвертинка. Взгляд его, устремленный в сторону вошедших, источал похмельную печаль самой высокой пробы:

— Еще один? Да еще и семейный! И куда только вас несет, господа! В эту тьмутаракань! Вы думаете, у здешнего рубля другая длина? Ошибаетесь. Скорее наоборот, он гораздо короче. Гораздо. Впрочем, как выражаются в хорошем обществе: хозяин — барин. — Он повел костистым подбородком вокруг себя. — Выбирайте, что понравится, и занимайте пятьдесят шестой номер. Вот ключи...

После того, как они, наконец, с помощью Осипа устроились, и Антонина, вычистив и вымыв отведенную

им комнату, сбегала в ларек и накрыла на стол, комендант, уже на изрядном взводе, явился к ним в гости:

— Всего на три куверта? Ай-ай-ай, нехорошо забывать домовладельца! Еще пригожусь. — Он снисходительно подмигнул спохватившейся было Антонине. — Не извольте беспокоиться, сударыня, я со своим прибором. — Перед ним, словно по волшебству, появился лафитник. — Будем, господа, ваше здоровье! — На его жилистой шее только кадык дернулся. — Да, Ося, их я еще понимаю. Они русские. Им сам Бог велел мечтать и разочаровываться, такая порода. Все тщатся поближе да побольше взять и разбогатеть разом. Азиатские инстинкты сказываются. Но ты, Ося, образованный человек, еврей. Неужели и твой изощренный ветхозаветный ум не мог выдумать чего-нибудь поудобоваримее.

— Но ты ведь тоже сюда забрался, Христофорыч. — Посмеивался одними глазами тот. — И потом, что ты имеешь к евреям?

— Что я имею к евреям! — Видно, эту игру они разыгрывали не впервой, — комендант оживился, с готовностью идя навстречу партнеру. — Спроси, что они имеют ко мне? Я старый человек, мне нет смысла кривить душой, но я прекрасно помню, как это все начиналось. Бывало стучат. Стучат, конечно, прикладами, так внушительнее. Откроет это нянюшка моя, Анастасия Карповна, Царствие ей Небесное, а на пороге беспрерменно хлюст в кожанке, наган на боку болтается. И уж, будьте уверены, или жид, или латыш. И чуть что — сразу на мушку. Ты, Ося, человек грамотный, начнешь, конечно, молоть сейчас насчет полосы оседлости и еврейском люмпенстве, как питательной среде революции. Но ты мне скажи, спокойствие-то кровожадное откуда? Люмпен, он вспыхнул и погас. У него классового гнева ровно до первой жратвы хватает. А ваши методически убивали. Убивали, будто нудный обет исполняли. Детишек и тех не жалели. Романовых, к примеру. Видно, хоть и отказались от веры отцовской, не избыли ее в себе. Си-

дел в них Яхве, глубоко сидел. Вот и давили гоев. Гоя можно, гой не человек.

— Были и другие, Христофорыч.

— Наверно были, — вяло согласился тот и, налив себе сам, выпил. — Только я их не заметил. Землю от Парижа до Бугульмы исходил, а не заметил. Правда, знал одного в лагерях под Игаркой. Зяма Рабинович, святая душа. Романист, байки все травил. Да вот ты еще, пыльным мешком из-за угла ушибленный. Черт тебя сюда принес. Я? Я — другое дело. Меня три раза брали, ты это можешь понимать? — Он начал старательно загибать узловатые пальцы. — Из Франции в сорок шестом вернулся, взяли? Взяли. В сорок девятом неделю дали на воле походить, взяли? Взяли. В пятьдесят втором через месяц после освобождения опять взяли? Взяли. Не хочу больше! Мне сам Бог велел в самую глушь забиваться. Лишь бы забыли они про меня. Хоть помру не за проволокой. — Он поискал умоляющим взглядом в сторону Антонины. — Не пожалей, сударушка, на посошок старику. — Он одним махом сглотнул налитое, сунул лафитник в карман и, гулко вздохнув, поднялся. — Пойду, засплю свои триста грамм. Здесь я у одного спрашиваю, чего, мол, пьешь много? А он мне: самому, говорит, худо. Зато, говорит, когда до чертей допиваюсь... (неразборчиво. — Р е д.) Так вот и я...

После его ухода они некоторое время молчали, потом Осип, опуская веки, тихо сказал:

— Хороший мужик, пьет только сильно. Завтра занимать придет. Вы ему не давайте, не отдаст. А напоить его и так напоят, народу много. На хлеб нету, а на водку всегда найдут. — Он коротко взглянул на Николая. — Сам-то не увлекаешься?

— В меру.

— Смотри. Ребяшня здесь подобралась — один к одному, пьют всё, включая смесь из огнетушителей.

— На мне, по этой части, где сядешь, там и слезешь.

— Ну-ну...

Подперев кулаком щеку, Осип невидяще смотрел прямо перед собой и в его настороженном облике Антонине почудился отсвет какого-то, еще неизвестного ей знания, которое безмолвно излучал этот, едва знакомый ей человек. Да, да, это были не скорбь, не печаль и даже не безразличие, а именно нечто з н а н и е того, что она должна была постичь лишь в будущем.

Уходя, Осип, уже с порога, обернулся:

— Завтра прямо туда и приходите, где сегодня были. Соберемся, прикинем, с чего начать. Всего.

Смутное предчувствие решающего в своей жизни события коснулось Антонины и затем уже весь вечер не оставляло ее. Укладываясь спать, она поймала себя на том, что поет: «Эка тебя, Антонина Петровна, разобрало, гляди, плясать пойдешь!»

II

Проснувшись на следующее утро, Антонина обомлела. За окном стоял литой монотонный гул. Иссеченное песчаной пылью стекло мерно вибрировало. Если бы не требовательный звон будильника, можно было бы подумать, что на дворе еще сумерки: тусклое утро едва освещало прямоугольник комнаты. Накинув халат на плечи, она разбудила мужа:

— Гляди, Коля, что на дворе делается!.. Страсть. — Украдкой поглядывая в сторону Николая, она хлопотала вокруг стола. — Вот заехали, сам не рад будешь.

— На Севере померзли, на юге погреемся, — пытался отшутиться тот, но по всему было видно, что настроение у него тоже не ахти. — Перезимуем.

Едва они успели собраться, в комнату к ним заглянул Осип. Снисходительно улыбаясь, приободрил:

— Не тушуйтесь, обойдется. Дня три погудит. — утихнет. Тем более, работать нам под крышей. — Уже из коридора подмигнул заговорщицки. — Не отставать!

Колкий, обжигающий гортань ветер чуть не сбивал с ног. Степная пыль въедалась в волосы, проникала под одежду, зябко скрипела на зубах. Силуэты строений еле просматривались в сплошной пылевой завесе. Шедший впереди Осип то и дело подавал голос:

— Смелее!.. Смелее!.. Два-три десятка последних усилий, как говорится... Привыкать надо!

Когда они, наконец, добрались до объекта, Антонине показалось, что все в ней насквозь пронизано сухой зудящей изморосью. Еще не приступив к работе, она чувствовала себя разбитой и обескровленной. Одно только предположение, что это может продлиться еще несколько дней, повергало ее в панику и уныние: «Надо же было забраться в такую преисподнюю!»

Вниз Антонина спускалась, чувствуя на себе настороженный, изучающий взгляд нескольких пар глаз. У стены на корточках, выжидающе присматриваясь к вошедшим, сидело четверо парней в спецовочных комбинезонах. Двое из них были как две капли воды похожи друг на друга: курносые, с белесыми бровями над зеленым удивлением робких глаз. Рядом с ними медлительно потягивал сигарету смуглый, похожий на цыгана парень, короткая шея повязана пестрым носовым платком. Заспанное лицо четвертого не выражало ничего, кроме насмешливой скуки. Пропустив спутников вперед, Осип опустился на трап:

— Знакомьтесь, — кивнул он им. — Вот эти два сапожка: Сея и Паша. Братья. Любшины. Черный пиджон — Шелудько. Сергеем зовут. А эта спящая красавица претендует на имя Алик. Альберт, так сказать, Гурьяныч. Вы — сами назоветесь.

— Тоня.

— Николай.

— Считаем, что высокие стороны договорились. —

Он мгновенно перестроился на деловой тон. — Условия вы, ребята, знаете. Решайте, беремса или нет?

После недолгого молчания первым откликнулся Альберт Гурьяныч. Лениво позевывая, он сказал:

— Тебе видней, бригадир. Только на этом Карасике, сам знаешь, пробы ставить негде: обманет и не кашлянет.

— Работа не по разряду, бригадир. — Качнул курчавой головой Шелудько. — Это ж бабье дело, стены мазать. Больше грязи, чем работы. А там — смотри, дело твое.

В ответ на вопросительный взгляд бригадира Сема лишь преданно обмолвился:

— Как ты, Ося.

Паша с готовностью поддержал брата:

— Как ты.

Лицо у Осипа благодарно обмякло, — их в него вера заметно пришлась ему по душе:

— Думаю, что обмануть — Карасику себе дороже. Работа, действительно, не по разряду. «Соколом» махать все умеют. Прораб обещал учесть коэффициенты. Зато фронт, что надо, есть где развернуться. Пойдем сразу с двух сторон. Разделимся так: Сема с Пашей с ними, мы с вами втроем. Тоня в положении, поэтому включаем ее в общий наряд. С нее спрос — по возможности. Кто против?

Как бы отвечая за всех, Альберт Гурьяныч поднялся:

— Чего травить, время — деньги.

Бригадир повернулся к Николаю:

— Будешь здесь за старшего. Мы пойдем на ту сторону. Сегодня занимаемся лесами. — Он, не оборачиваясь, двинулся вперед. — За мной, милорды.

Работа предстояла мелкая, бросовая: разобрать сложенные в углу козлы, укрепить их, закрыть настилом. Но глядя, с какой внушительной старательностью близнецы приступили к делу, можно было подумать, что

производится операция первостепенной важности. Каждая доска в их руках, прежде чем попасть на место, проходила самую тщательную проверку на прочность. Если кто-нибудь из них вколачивал гвоздь, то аккуратности его мог бы позавидовать любой краснодеревщик. Николай, поглядывая на них, только посмеивался:

— Вот хомяки!.. Ишь как облизывают!.. Будто ледяльщики. Им в аптеке работать... После них и проверять не надо.

Сколько ни старалась Антонина, действуя наравне со всеми, показать, что даром свой хлеб есть не собирается, доски потолще и козлы потяжелее неизменно ускользали у нее из-под рук, едва она к ним притрагивалась. «За ними не уследишь, — растроганно таяла она. — Поди с такими, потягайся!»

К обеду они сообща соорудили леса, по меньшей мере, дня на три сплошного гона. Но если Николай, судя по его взмокшей спине, порядком вымотался, то братья выглядели так, будто они еще и не начинали рабочего дня. Обстоятельно оглядывая дело своих рук, Паша коротко произнес:

— После обеда можно насесть.

Сема кивнул:

— Еще как!

Ветер над стройкой ломил ровной непроглядной стеной. К столовой они двигались гуськом, стараясь не упустить идущего впереди из вида. «Нам-то что! — закрывая лицо концом косынки, думала Антонина. — Отработал вербовку и досвидания. А вот кому жить здесь, — намучаются».

Столовую распирало гвалтом и хохотом. Облако табачного дыма и пара из кухни медленно клубилось над множеством голов. Запахи извести, нитрокраски, столовой стряпни, курева, смешиваясь, оборачивались терпким, обжигающим гортань настоем. В окне раздачи, словно в портретной раме, сияла царственной осанкой

дебелая блондинка лет тридцати пяти, усмиряя словом, кивком головы бушующие вокруг нее страсти:

- Мусенька, мне погуще.
- Погуще, знаешь где?
- Муся, суп пересоленный, влюбилась?
- Не бойся, не в тебя.
- С тоски сохну, Мусенька.
- Перезимуешь.
- Муся, в кредит отпустишь?
- Спился уже, спрашивать не с кого будет.

Антонину она оглядела с откровенной обстоятельностью и, видно, заключив сравнение в свою пользу, величаво расплылась:

— Конечно, с непривычки? — Черные ее глаза-бусинки снисходительно лучились. — Это еще ягодки, а вот зимой задует, так хоть в печку лезь... Следующий!

За столом Антонину уже ждали. Ей мгновенно очистили место, пододвинули хлебницу и, предоставляя ее самой себе, занялись едой. Но и за обедом ребят не оставляла забота о начатом деле. Оно — это дело — жило в напряженных лицах, беспокойных руках, хмурой сосредоточенности. Альберт Гурьяныч, старательно двигая челюстями, начал первый:

— Здесь месяцем не обойдешься, бригадир. Верных два. И то, дай Бог, уложиться. По этой стене поползаешь. С одной насечкой мороки недели на две.

— Да, — сокрушенно вздохнул Шелудько, — намахаться. Нашли крайнего, больше некому. Дураков-то теперь нема.

Любшины одновременно, с уверенным любопытством повели носами в сторону бригадира: давай, мол, дорогой, отвечай.

— По-моему, — Осип невозмутимо доедал свой суп, — можно сделать и за месяц. В случае чего, будем прихватывать выходные. Такой заработок на земле не валяется. Главное, без паники. Считайте, что деньги у вас в кармане.

Вставая, Альберт Гурьяныч скептически хмыкнул:
— Ладно, мое дело телячье. — Он лениво кивнул в сторону раздачи. — Смотри, сглазит она тебя, бригадир.

Выражение круглого Мусиного лица красноречиво свидетельствовало о ее душевном состоянии. Она провожала Осипа до самой двери взглядом, полным преданности и нескрываемого обожания. У Осипа сердито заалели уши. Он поспешил как можно незаметнее выскользнуть в коридор. Выходивший следом за ним Шелудько восторженно мотнул головой:

— Вот баба! Глаз положит — и погиб человек, залюбил до смерти.

Братья тоже поднялись.

— Мы пойдем, — рассудительно сказал Паша. — Вы тут особо не торопитесь, время еще есть.

Сема поддакнул:

— Полчаса вполне.

Только оставшись наедине с ней, Николай позволил себе заботливо коснуться ее локтя:

— Устала?

— Капельку.

— За ними не тянись, успеется.

— Покуда можно.

— Надорвешься, поздно будет.

— Поберегусь.

— Ну, смотри...

— Ты сам-то не рвись. — Его робкая забота о ней тронула Антонину, она ласково погладила ему тыльную сторону ладони. — Всех денег не заработаешь.

Среди разговора за стол к ним подсел прораб:

— Ну, как на новом месте? — В его нервной оживленности сквозило что-то больное, вымученное. — Ветерок этот, конечно, не подарок, да ведь вам-то после севера не привыкать, наверно. Зато теплынь — бани не надо. — Он испытующе воззрился на Николая. — Еще не насекали?

— С лесами возились.

— Ну-ну... Работа, понимаешь, срочная. От нее вся процентовка зависит. Успеть надо.

— Постараемся.

— Ты, парень, вижу — с головой, понимаешь, что — к чему. Оська, человек больной. Будет ковыряться, как в часовой мастерской, а здесь темп нужен. Понимаешь? — Маленькие глазки прораба исходили молящей просительностью. — Стукнул молоточком разок-другой и крой себе. Авось не дворец — сойдет.

— Я человек у вас новый, Назар Степаньч, — за-сучал Николай, — как все, так и я.

— А ты поговори с ребятами, им же лучше. Что они своей выгоды не понимают.

— Попробую.

— Вот и договорились, — сразу заторопился Карасик. — Завтра загляну, посмотрю, как начали.

Когда они возвратились на объект и Николай рассказал Любшиным о своем разговоре с прорабом, те лишь согласно вздохнули:

— С Осей надо.

— Без него никак.

— Мое дело передать, — обиделся Николай. — Только если как в аптеке работать, много не заработаешь.

Братья молча переглянулись и не ответили. Но Антонине показалось, будто при упоминании о зарботке что-то в их лицах дрогнуло, обмякло и, отметив про себя эту в них перемену, она посожалела в сердцах: «Ломает душу копеечка, вот как ломает!»

Вечером, молясь перед сном, она просила благодати себе, и мужу, и его товарищам, всем тем, от кого зависело их благополучие. Не забыла и об отце, страстно желая ему здоровья и долгих лет жизни. Последняя же ее молитва была во имя страждующего за других иноверца Осипа.

Сон не шел к ней, она долго лежала в темноте с

открытыми глазами, потом спросила, скорее себя, чем мужа:

— Может, не надо?

— Чего? — откликнулся тот сквозь дремоту. — Чего не надо?

— То, как прораб хочет.

— Нашла время, спи...

Снилась Антонине гора, в острых каменистых складках которой цвел какой-то диковинный кустарник. Антонина шла вверх, взбираясь к блистающей яростной голубизной вершине, в уверенной надежде увидеть оттуда море, бьющееся с той, другой стороны горы. В этом призрачном восхождении Антонину и застало утро следующего дня.

III

Вечером в день аванса общежитие заметно ожило. Известное возбуждение чувствовалось уже во время ужина в столовой. Затем оно, постепенно нарастая, перекинулось в коридоры и комнаты. К тому времени, когда подступившие сумерки выявили в окнах россыпь первых звезд, административный корпус гудел от смеха и ругани.

Со страхом и надеждой Антонина отмечала про себя, как пьянка все ближе и ближе подкатывалась к их жилью: дай Бог, мимо; дай Бог, пронесет. Но ожиданиям ее не суждено было сбыться. К полуночи в комнату без стука ввалился Альберт Гурьяныч и комендант, вдрызг пьяные, с бутылками в карманах. Комендант, заискивая перед хозяйкой, согнул в земном поклоне свое сухопарое жилистое тело:

— А мы со своей, Антонина Петровна, со своей. В расход не введем, будьте великодушны, разрешите с вашим супругом, так сказать, на брудершафт...

— Не объедем, Тоня, — Альберт Гурьяныч еле стоял на ногах, — не объедем... Мы люди простые, мы

без закуски... Вставай, подымайся, Николай... Раздавим на трех гномов две белоголовки...

Пока Антонина собирала на стол, гости принялись договаривать начатый, видно, еще до этого разговор. Упираясь волосатыми пальцами в грудь собеседнику, комендант трубно втолковывал ему:

— Мужички, говоришь? Кормильцы! Это они тебе здесь в жилетку плачутся: от колхозной голодухи, мол, на заработки приехали. А ты и развесил уши. Слушай их больше! Видишь вот на мне — штаны китайские, рубаха румынская, ботинки чешские, хлеб мы с тобой едим канадский, колбасу нам делают из мяса австралийского, кашу заправляют датским маслом. Где же он, кормилец наш вечный? А он, сердешный, или на базаре сидит, или в Кремле заседает, весь блестит от наград, по магазинам бегаёт. Причем, бездельник, нас же с тобой нашим же хлебом попрекает, — жизнь мы ему заели, говорит. Рабочий, ученый нынче сам себя кормит, золото добывает, нефть, машины, книжки делает, которые за кордон за жратву и тряпки идут. А крестьянин твой давным-давно у них на полном иждивении. Даже хлеб его нищий и картошку они ему убирают. А когда Россия действительно на крестьянский хлеб жила, то всегда голодала. Потому как не хлеб это, а слезы. Не умеет он его растить да и не хочет. Вон немцы на своих супесях по шестьдесят берут, а наш чудо-богатырь на черноземах до сих пор пятнадцать на круг не натягивает. Темен, ленив, поди, русский мужичок. Не жалеть его надо, а учить. Работать учить. Ты видел, как он сало солит? Набросает в бочку кусками и рад. А попробуй кто в деревне покоптить или повялить, поедом съедят, затравят. Не терпит русский мужичок, чтобы кто-нибудь выделялся. Они живут по-свински — значит, все так же должны жить. Потому и ненавидит Европу да и весь мир презирает. Не так живут, не по его. Потому и выхваляется: все у него первое в мире. «Левшу» читал? Видел картинку: гряз-

ный, оборванный, в гнилых лаптях. Зато блоху подковал! А ты спроси у него, зачем ее ковать-то? Лучше б умылся вначале, лыка надрал да лапти сплел, дыры в кафтане зашил бы! Воровской, бездельный народ, а ты нюни распустил: трудоднем сирого задавили! Заставишь ты его день даром проработать! Накось, выкуси!

Но Альберту Гурьянычу было явно не до дискуссий на отвлеченные темы. С тоскливой жаждой следил он за рукой Антонины, разливающей по стаканам содержимое поллитровки:

— Выкуси, закуси... Прах все это... Ты человек ученый... Над всеми одежаниями начальник. А мы люди простые, нам бы гроши да харчи хороши.

— Вот-вот, — выпив, снова завелся тот, — во все века так. На кого же вы тогда жалуетесь? На таких, как вы, только воду и возить, лучше скотины не отыщешь. Без няньки с кнутом не можете, неделю не секут — тоска берет. Эх вы, косопузые!

К мужским разговорам Антонина относилась со снисходительным равнодушием. Смешными казались ей их заботы о судьбах футбольных команд или событиях на восточной границе. Куда больше тревожила ее очередная наценка в столовой, а того более — протертый ворот праздничной рубахи мужа. Прощая им эту их маленькую слабость, она в мужских компаниях, занятая своими мыслями, обычно молчала. Поэтому и теперь, подливая гостям, Антонина почти не слышала их речей и опомнилась лишь с уходом коменданта.

— Что Илья Христофорыч обиделся, что ли? — Она уже свыклась с их визитом. — Если мало, я сама сбегаю.

Николай накрыл ее ладонь своей:

— Пусть идет. Он свою норму знает. — Сказал и тут же обернулся к Альберту Гурьянычу. — Ты, значит, и женатый был?

— Был! Еще как! — Стремительно трезвеющими глазами он смотрел в пространство перед собой. — При-

шел из армии, куда идти? Специальность я на службе шоферскую получил... Читаю: в таксомоторный водители нужны. Подал заявление. Вожу «королей». Служба идет, копейка бежит... Сажаю раз девушку... Светленькая такая. Смазливая... В штанах. Лет от силы восемнадцать. Едем к трем вокзалам... Вдруг она мне и говорит: «Парень, — говорит, — хочешь, — говорит, — копейку хорошую иметь?» А я ей: «Смотря откуда, — говорю, — если от уголовщины, — говорю, — то гуляй в другое место». «Что ты, — говорит, — дело чистое. Клиента я сама найду, а ты, — говорит, — только линять будешь на это время». Обернулся это я, поглядел на нее и сердце у меня упало: сидит она передо мной, улыбается, ну, прямо с модной заграничной картинке пташка. «А почему, — говорю, — теперь молодость пошла? — А у самого сердце кровью обливается. — Красота почему?» «А пятерочку за раз, — говорит, — иметь будешь, остальное мое». «Ладно, — говорю, — поехали». С того дня и начали мы с ней делать бизнес. Цельную, можно сказать, фирму открыли. Поначалу погано на душе у меня было, а потом пообвык. Опять же заработок, трех зарплат не надо. Приобарахлился, деньжата завелись, шляпа, пальто с поясом. Не хуже другого инженера. Клиентов у нее хоть отбавляй. Иной раз по трое садились. И то сказать, есть на что посмотреть: не девочка — мечта. Часто после работы заедем, бывало, за город. Выпивон, конечно, с собой, закусь. Между нами никаких дел не было, так, потоварищески. Если спутаешься, какая уж тут работа!.. Вот как-то и говорит она мне в подпитии: «Алик, — говорит, — а ты бы на мне, на такой, женился?» Растерялся я тут. «Что ты, — говорю, — травишь попусту, зачем я тебе?» А она в слезы: «Люблю я тебя, подлого, вот что!» Весь хмель у меня из головы вон. «Ты что, — говорю, — очумела, какая такая любовь между нами может быть? Ты, — говорю, — посмотри на меня, как следует, меня ведь только на огород заместо пугала».

«Дурачок, — говорит, — души своей не знаешь. За тобой, — говорит, — если совсем не ослепла, любая пойдет». Ну, понятно, ополоумел я, моча в голову вдарила, молодой еще совсем был, двадцать пять годочков... В общем, состоялось у нас все в первый раз. Тут и рассказала она мне свою жизнь, какая она у ней была... Из простой семьи сама была. Отец, вроде, по сапожному делу, а мать уборщица. В Коломне, что ли, жили. Ее с детства за красоту артисткой дразнили. Вот после школы она и бросилась в Москву, в театральный. А там таких, сами понимаете, пруд пруди, одна красивше другой. Сунулась, не взяли, попробовала обходным манером, только опоганилась. Домой вернуться — засмеют. А она с характером: лучше в петлю, чем в Коломну. Ну, и подвернулось ей тут объявление: на швейную фабрику, с пропиской. Фабрика эта с вокзалами рядом. Получку первую пришла получать, а там еще с нее причитается... Хоть садись и волком вой. Тут к ней одна из бригады и подсуропилась: «Дурочка, — говорит, — с такой-то внешностью да теряться! Пойдем, — говорит, — со мной вечером, не пожалеешь». «А как же, — спрашивает, — это можно?» «От тебя, — говорит, — не убавится. Удовольствие получишь и деньги будут. В нашей, — говорит, — бригаде, те, что с кожей да с рожей, все ходят». Так и понеслась эта у нее житуха с музыкой. Каждый вечер ресторан, или на хате где, а потом уж ей опытные таксиста присоветовали. Пропускная, как говорится, способность выше... Короче, женился я на ней. Все честь по чести, зарегистрировались и прочее остальное. Привел я ее к себе в холостяцкую конуру в Черкизово, соседи за человека не считали, а тут зауважали сразу, какую Алька кралю себе отхватил... Ах, как мы с ней жили тогда! Бывало, я только с работы, а она уже стоит у ворот дожидается, навстречу бежит. И я чую, никогда такого со мной раньше не было, нету мне без нее жизни. Мы, считай, от кровати и не подымались вовсе. Так бы и втиснулись

друг в дружку... А уж когда затяжелела она, тут я сам не свой стал. Только пыль с нее не сдуваю. Соседи, те присмирели, издалека шапки ломают. Алька, непутевая душа, в самостоятельную жизнь ударился. С работы бегу — обязательно цветочек, конфетку какую волоку. Мечтаю: родит, совсем человеком станет... Только уж если кому написано на роду дерьмо хлебать, в калашный ряд не суйся. — Тут он даже зубами скрипнул от отчаянья. — Прихожу это я раз с работы, нет моей Танечки, а на столе записочка валяется. Так, мол, и так, дорогой Алик, жизнь, мол, наша совместная не может состояться, потому как рожать ей в таком юном возрасте никак невозможно, она, мол, пожить хочет, а, вполне вероятно, и попробовать еще себя в искусстве... И началась у меня не жизнь, а сказка, чем дальше, тем страшней. Пропил я тогда все до исподней рубашки. С работы меня, конечно, скоро выгнали, прав шоферских лишили. Соседи так чуть не озверели от радости, — как же, сорвался все-таки Алька! Проходу не дают. Короче, очухался я в дурдоме, с горячкой туда попал. Выписался: ни копейки, ни барахла, а участковый каждый день ходит. Плюнул я на все и двинул в исполком к вербовщику... Так и попал сюда транзитом... Плесни-ка остаточки, Петровна!

Последняя стопка окончательно сморила Алика. Вдвоем с мужем они осторожно подняли его и повели в общежитие, где он вместе с другими одиночками занимал койку. По дороге парень все порывался лечь, пьяно при этом бормоча.

— Братцы, я только на минутку прилягу и все... И снова, как штык. Готов к труду и обороне... Нет, ей-богу! ...У нас, у шоферов, закон такой: сыпанул за баранкой минутку-другую и хоть во Внуково... Ей-богу!

Оставив мужа раздевать и укладывать парня, Антонина направилась было домой, но по пути раздумала и вышла наружу. В лунном сиянии душной степной

ночи безлюдная стройка казалась вымершей. Редкие островки света вокруг дежурных вышек выхватывали из темноты все ту же степь с ее бугристой и жухлой поверхностью. В звездную глубину ночи ввинчивался ровный гул реактивного самолета. Мир за пределами тьмы увиделся Антонине вещим и таинственным.

Когда тишина вокруг окончательно отстоялась в ее сознании, она услышала плывущие из темного провала по соседству голоса. Ей почему-то сразу стало жарко. Один — низкий, грудной женский явно принадлежал кухонной раздатчице. В другом, настоящем глуховатом баске, Антонина узнала своего бригадира...

— Мне от тебя ничего не нужно, Ося. — Муся почти умоляла. — Ты не бойся.

— Не в этом дело, Муся, — смущенно уходил от ответа Осип. — Не в этом дело.

— Ты думаешь — я старая? Я и не старая вовсе. Мне еще тридцать с чуть-чуть.

— Что ты говоришь, Муся? ...Что ты говоришь?

— Может, ты после Назарки гребуешь? Так, ведь, разве это по своей воле? У меня, ведь, знаешь, какой хвост в трудовой книжке? Не ляжешь, никто не возьмет.

— Не поймешь ты, Муся...

— Осинька, ягодка, ноги тебе мыть буду и юшку пить. Только бы с тобой. Хоть когда...

— Не могу я, Муся. Нельзя же вот так просто, как звери. — Голос завибрировал. — Ведь любовь должна быть.

— Моей, Ося, на двоих хватит. Ты только помани. А я за тобой в огонь и в воду.

— Не поймешь ты, Муся... Никак не поймешь.

— Тебя, Ося, никто так никогда любить не будет, как я... Я тебя ото всего заслону, укрою.

— Не могу, Муся. — И еще тверже. — Не могу.

— Я подожду, Ося, я подожду... Ты погуляй, у тебя самые года... Я подожду.

— Нет, Муся. Нет, не надо.

— Осинька!

— Пойду я, Муся.

— Ося-я-я...

Укрощая прерывистое сердцебиение, Антонина повернула обратно в корпус. Опаленная злым, еще не изведанным ею жаром, она заспешила к мужу, страшась признаться себе самой, что чувство, которое владело ею в эту минуту, была ревность.

IV

Работа на следующий день шла через пень-колоду. Ребята двигались, будто осенние мухи, инструмент валился у них из рук, раствор почти целиком сползал из-под правила на пол. Антонина старалась спасти положение, кое-как латая за ними огрехи, но без постоянного навыка не успевала и в конце концов тоже сникла и опустила руки. Едва у проходной отзвонили к обеду, бригада завалилась тут же на лесах переспать утреннее похмелье.

Прикорнула в уголке и Антонина. Пригрезился ей их садок в Узловске, где она в знойный полдень поливает гряды. Отец сердито следит за ней в окно и сокрушенно качает головой: не так, мол, не так, не так! Слезы обиды душат ее, вода бесцельно льется у нее из лейки, много воды. Влага застилает ей глаза. Холодная, ледяная влага...

— Извини, — перед ней выявилось грустное лицо Осипа. — Будь другом, помоги немного.

— Сморило, — взволнованно засмущалась она, — печет сильно... Вон как похрапывают! — Она лихорадочно приводила себя в порядок. — Так чего?

— Леса подстроить хочу, одному не развернуться. — Его просительность смущала Антонину еще более. — Моих тоже пушкой не разбудишь.

— Гульнули вчерась ребята... Веди, бригадир.

Вдвоем они отыскивали свободные «козлы» и, установив их, застелили досками. Никогда еще Антонина не работала с таким удовольствием, как в этот раз. Помогая Осипу, она не сводила с него ликующих глаз, следя за каждым его шагом и движением. Еще в начале работы Осип разделся до пояса, тощее мускулистое тело его лоснилось от пота, и у Антонины, всякий раз когда он поворачивался к ней разгоряченным лицом, сладостно обмирало сердце.

Взобравшись на выстроенные леса, Осип благодарно подмигнул ей сверху:

— Спасибо. Пускай поспят ребятки, а мне все равно делать нечего. За это время порядочный кусок насечь можно.

Из-под молотка у него только искры сыпались, когда он шел вдоль стены к краю настила. Оспины насечки постепенно осыпали бетонную поверхность. Работа получалась добротная, без халтуры и пропусков. «Такого не купишь. — Чувство вины и неловкости перед ним одолевало ее. — Совесть не та».

Занятый делом, Осип время от времени дружелюбно ронял вниз:

— Устаешь?

— К вечеру разве.

— Жара выматывает.

— Я уж привыкла.

— Домой не тянет?

— Еще как!

— Скоро поедешь?

— Не загадываю.

— Что так?

— Всякое бывает.

— Ты голову себе не забивай. — Он строго посмотрел на нее сверху. — Всё будет окей.

— Дай-то бы Бог! — растроганно вздохнула она. — Твоими бы устами...

Потом они сидели под лесами, распивая по очереди извлеченную откуда-то Осипом бутылку кефира. Сделав глоток, он передавал кефир Антонине и та, млея от расположения и благодарности, отпивала свою долю. Слова, которые складывал он, на первый взгляд, обыкновенные непритязательные слова, казались ей сейчас самыми значительными и вескими в ее жизни:

— Мои вот тоже пишут: возвращайся. Соблазнительно, конечно. Я ведь родился и вырос в Москве. Но не хочу. Наверное только здесь я окончательно почувствовал себя человеком. С детства, сколько себя помню, за мной, как хвост, тянулось проклятое слово «жид». Даже те, что хорошо относились ко мне, мои друзья и знакомые, не забывали при случае, вроде бы шутя, напомнить, кто я. Но однажды я ушел из дома. Прочитал одну книгу о еврейском бродяге и ушел. Помню, приехал в Ашхабад. Зима, а я в одном легоньком свитерочке. Пока добирался, почти все с себя продал: думал, пустыня, значит, жара. А там, оказывается, зимой тоже не тропики. С вокзала ночью выгнали. Сижу в привокзальном скверике, зуб на зуб не попадает. Подходит ко мне женщина, пьяненькая, в синяках и спрашивает: «Что, пацан, дрожжи продаешь, иди на кирпичный, там согреешься». Показала мне, как пройти, и я пошел. На окраине, по соседству с пустыней нашел я этот завод. — Забрался я на печной потолок, а там уже полно народу. Большинство — ребятня вроде меня, но были и взрослые. Место мне нашлось, печь огромная. Лег между двух пацанов, сверху дует, крыша, как решето, зато снизу печет. Так всю ночь и ворочались все вместе: один бок погреешь — на другой переворачиваешься... Прожил я таким образом месяца полтора, подрабатывал на погрузке, приворовывал по мелочам. В пустой день соседи по ночлегу подкармливали. И ни разу за это время даже не вспомнил о своем происхождении. И никто не вспомнил. Были среди нас татары, узбеки, русские, украинцы, латыши — и те были, но никто об

этом даже не думал. В драках и то не вспоминали. Меня вскоре вернули по розыску родителей, но с тех пор я уже не мог забыть этого блаженного состояния своей полноценности. И понял, что ненавидят не нас самих, не нашу национальность, а наше благополучие, наше неучастие во всеобщей нищете, наши не связанные с черной работой профессии. Национальность наша лишь бирка к ненависти, короткое наименование злобы. В России так же ненавидят всех, кто живет лучше. И тогда я решил, как только закончу школу, нарочно провалиться на вступительных, чтобы уйти работать вместе со всеми на равных и чем тяжелее, тем лучше... Извини, я закурю.

Доставая курево и спички, Осип задел Антонину локтем и от этого его нечаянного прикосновения сердце ее зашлось яростным жаром. Его откровенность с ней придавала ему в ее глазах еще больше цены и привлекательности. «Досталось парню, — исходила она слезным сочувствием, — врагу не пожелаешь».

Глубоко затянувшись, он неожиданно спросил:

— Хватает вам?

— Пока хватает.

— А родишь?

— Видно будет.

— Сейчас надо думать.

— Думай не думай, где ж их взять?

— Была бы шея...

— Одного хомута много.

— Спроси у Николая, если захочет, я дело найду.

Есть тут у меня в городе заработок.

— А сам как?

— Я не из-за денег; интересно просто.

— Работа такая?

— Угу, скульптор там один московский живет. Землю ему из депо принести, глину замесить, мелочи разные. Пятерка по таксе. Заходите в воскресенье и пойдем.

— Спасибо... Скажу... Деньги пригодятся.

— Договорились. — Он поднялся, отряхнул колени.

— Ребят не буди, работы от них все равно никакой... Схожу к Карасю, потолкую насчет нарядов.

Оставшись одна, она долго молилась втихомолку, просила Господа не судить ее строго за сердечную слабость и греховные предчувствия. И после молитвы ее не оставила тихая радость, от которой на душе у нее было ясно и празднично.

V

Когда-то этот город жил морем. Во многих глинобитных его дворах еще и сейчас можно было увидеть остатки рассыхающихся лодок и рыболовные снасти, приспособленные для береговых нужд. С каждым годом море все дальше отступало от города, пока не обернулось едва видимой ножевой полоской горизонта. Город захирел и стал потихоньку вымирать. Молодежь, подрастая, уезжала искать счастья в чужие края, а старики доживали свой век, подкармливаясь около базара и железнодорожной станции с ее дряхленьким оборотным делом.

Но однажды в знойный летний день на городской площади остановился военный «газик». Из него вышла группа офицеров в полевой форме. Офицеры постояли, потоптались у воздвигнутой для торжественных случаев трибуны, затем снова забрались в машину и укатили своей дорогой. А вскоре в город стали прибывать солдаты, располагаясь лагерем на самой его окраине. Не прошло и месяца, как за городской чертой возник, постепенно обрастая вспомогательными службами, поселок из сборных щитовых домиков.

Город ожил. И не то чтобы в нем что-нибудь сразу и резко изменилось, он так и остался одноэтажным и глинобитным, с двумя маяками — мечети и православного храма — в противоположных концах, но улицы

его стали оживленнее, разговоры громче, одежды пестрее. Наверное, поэтому местную власть обуяло честолюбивое желание увековечить возрождение города памятными сооружениями, наподобие римских. Первым делом решено было соорудить в городском сквере, где до сих пор паслись козы местных пенсионеров, триумфальную арку, украшенную лепными изображениями славных деяний своих земляков. Для этой цели из Москвы был выписан известный скульптор, а в области наняты за аккордную плату два лучших каменщика. К тому времени, когда Осип привел друзей в мастерскую заезжего ваятеля, строительство арки шло уже второй год и близкого конца ему не предвиделось.

Сама мастерская представляла собою длинный, разделенный дощатой перегородкой на две равные части сарай, служивший когда-то портовым складом. В ожидании ребят, ушедших за землей для опок и гипсом, Антонина неспеша обходила помещение по кругу, рассматривая стоящие на подставках вдоль стен изваяния разных размеров и фактуры. Ни одно из них не походило на то, что ей доводилось видеть раньше. Там все выглядело предельно понятным: человек походил на человека такого, каких она привыкла видеть каждый день в газете или на собрании. Здесь каждая фигура смотрелась совсем иначе. Вздыбленные в безмолвном крике изваяния со сквозными ранами в груди и солнечных сплетениях, казалось, взывали к состраданию и помощи. Особенно поразило ее распятие в углу: пригвожденное к кресту красивое и мощное тело мужчины с вычлененной из него же головой ребенка. — Если бы Антонину спросили, она не смогла бы сказать, объяснить словами, почему оно — это распятие — волнует ее, пробуждает в ней смутные, будоражащие душу воспоминания. Мужчины, с которыми ей приходилось жить бок о бок или встречаться — отец, дядя, племянник, муж — были сильными и неробкими людьми, но присущая им внутренняя детскость обрекала

их на беспомощность перед обстоятельствами. Оттого жизнь каждого из них походила на обреченный крик.

В этом медленном проходе вдоль скульптур ее сопровождал бурный, то внезапно затихавший, то вспламенявшийся с новой силой разговор за перегородкой. Два голоса, один — глухой, картавый и другой — настойчивый звонким вызовом, — наперебой сменяли друг друга:

— ...Снова Боженьку вам подавай, а сами в сторону. Нашли на кого рабство свое свалить!

— Ах уж эта семинарская нетерпимость! Ничему вас, Юрочка, дорогой, история не научила. Всех ненавидите! Ортодоксов, мещан, участковых. Собратья твои, что из лагерей пришли, уголовников ненавидят. Представляю, какой режимчик вы устроите своим политическим противникам, коли придете к власти. Неужели, Юра, трудно понять, что если всегда «око за око», то кровь никогда не кончится. Попробуйте хоть раз простить — самим легче станет.

— Слыхали мы эти песни! Владимирская тюрьма битком набита, а вы все о Промысле блажите. — Переходя почти на шепот: — Слыхал? Крепса в Казань отвезли.

— Вот видишь, — в голосе за стеной обозначилась горечь — не тебя, не кого-нибудь из ваших, а его, безобидного проповедника. Значит, слово Марка повесомее твоего будет.

— Да кто за ними пойдет? Единицы. Идея их так загажена, что ее отмаливать века не хватит.

— Ты заметил парня, что заходил сюда? — Разговор после недолгого молчания возобновился снова. — Тот, что помоложе?

— Ну.

— Мальчик, как говорится, из хорошей семьи. Школу с медалью кончил. Но вместо института он выбрал самую что ни на есть глухую стройку. Что трудовой энтузиазм? Отпадает. Мальчик слишком трезв для

дешевого идеализма. Блажь? Порода не та. Что же тогда, ответь, если сможешь?

— Но уж и не вера, разумеется!

— Как знать. Скорее ее предчувствие. Несовместимость чистой души с изолгавшейся средой выталкивает ее в стихию. Но такие, уверяю тебя, за вами не пойдут.

— Таких и не зовем.

— Потому что боитесь их. Уж больно на их белизне тьма ваша выделялась бы. Вы зовете социальных и духовных люмпенов. Отбросы, которые жаждут самоутвердиться на крови. Чужой крови. И вашей, кстати, тоже.

— Дважды история не повторяется. Мы учтем опыт.

— Может быть. Но так как ваш новый эксперимент влетит России в новую кровавую копеечку, я — против. — Голос отвердел несвойственной ему резкостью. — Поэтому, если вы начнете, я сяду за пулемет и буду защищать этот самый порядок, с которым не имею ничего общего, до последнего патрона. Буду защищать вот этих самых мальчиков от очередного, еще более безобразного бунта. Лучше, что есть, чем вы. Вы — тьма. И Боже упаси от нее Россию.

— Спасибо за откровенность. Благородный охранительный базис под свои заработки подводишь. Конечно! Где же такие, вроде тебя, найдут столько набитых государственными деньгами дураков, способных воздвигать пантеоны даже по поводу открытия городских сортиров?

— Стыдись! Ты же знаешь, что я неставляюсь и мне не на что жить. Кстати, не тебе говорить...

— Хлебом попрекаешь, христианин! — Голос взвился до крика. — Ноги моей больше у тебя не будет! Стоило мне тащиться за тыщу верст, чтобы дать тебе, наконец, высказаться. Деньги я тебе верну... Бывай!

— Юра! — И еще более умоляюще. — Юра!

Антонина успела рассмотреть в выскочившем от-

туда человеку лишь неопределенного цвета бородку, наподобие тех, что носят геологи, и опаленные гневом угольные глаза на широком небрежном лице. Через мгновение с силой захлопнутая им входная дверь уже тихо покачивалась от удара. Приходя в себя от неожиданности, Антонина услышала рядом с собой знакомый, с вызовом голос:

— Нравится?

Перед Антониной, широко расставив ноги и заложив руки за спину, стоял среднего роста широкоплечий брюнет одного, примерно, с нею возраста. Стоял он в распахнутой ковбойке, концы которой были узлом завязаны на уже заметно определившемся животике, и забрызганных гипсом вельветовых брюках. Волосатая, мощно развитая грудь под рубахой отличала в нем работника истового и постоянного. В ореховых его глазах плавилось затаенное, почти детское озорство.

— Нравится? — еще раз переспросил он и, не ожидая ответа, быстро и горячо заговорил: — Вот тому, что сейчас ушел, совсем не нравится. Ему мое дело нужно для приспособления к своему. А оно не приспособляется. У моего дела другая задача. Ты понимаешь, — это его неумьшленное «ты» сразу расположило ее к нему, — я не в материале выявляю свою идею, а из материала. В камне, в металле, в глине уже все есть, надо лишь найти доступную им форму. Как ты думаешь, что подойдет для этого креста?

От его вопроса в упор Антонина смешалась, но тягота муки, запечатленной ваятелем в распятом теле, вдруг передалась ей, и она еле слышно шепнула:

— Потяжелее что...

С минуту он, словно впервые увидев, молча и удивленно смотрел на нее, потом сказал медлительно и тихо:

— Да, мамочка моя, Господь Бог тебя не оставил... Дал Он тебе благодати... Надолго хватит.

Он, видимо, хотел добавить еще что-то, но в эту минуту снаружи послышался шум и сразу вслед за этим в мастерскую ввалились ребята, нагруженные мешками с материалом. Хозяин бросился им на подмогу, втроем они легко и сноровисто определили груз к месту и лишь после этого позволили себе сесть и молча закурить.

Глядя на них, мирно покуривающих у распахнутого окошка, Антонина позавидовала мужской доле. Сила мышц или знание ремесла уже обеспечивали им место под солнцем. Для них была неведома обязательность множества мелочей, без которых женщина не могла, лишалась возможности существовать. Ведь ни здоровье, ни работа не составляли в ней главного. Чтобы почувствовать себя в этом мире необходимой, ей требовалось еще и постоянное ощущение своих связей с окружающим, а следовательно, и обязанностей по отношению к нему. «Мужику что, — снисходительно подвела она итог своим размышлениям, — встал да подпоясался, а на бабе вон сколько!»

Первым поднялся и заговорил хозяин:

— Что ж, братцы, день кончился. Пошли ко мне, распорядимся на четыре персоны. Есть у меня бутылка какой-то отравы, разопьем.

В другой половине, приспособленной скульптором под жилье, царствовала местная триумфальная арка во всех своих мыслимых и немыслимых видах: макеты, слепки, фрагменты, фотографии красовались всюду, куда ни обращался взгляд. Фигуры мечтательных дев со снопами в руках и автоматчиков в касках обступали ложе хозяина со всех сторон. Казалось, только мраморный бюст девочки, стоявший на подставке у изголовья, ровным спокойствием своих линий сдерживал их решительный охват.

— Осуждаете, — печально отозвался хозяин, когда с бутылкой было покончено. — Вы правы, но должен я что-то делать ам-ам. Моего они не хотят. За свой день-

ги хотят получить всевозможное удовольствие на уровне плохонького кино а-ля Пырьев. И я их понимаю. С какой стати им раскошелиться ради моих прекрасных глаз? Лучше они раскошелятся ради своих. — Он устал в Меклера. — Я завидую тебе, Осип. Ты сумел уйти от соучастия. Но ведь для этого тебе была необходима ясность миропонимания. А кто ее — эту ясность — дал твоему поколению? Я! Мы, десятилетиями вместо дела изобретавшие велосипеды и открывавшие америки. Затратив на это годы, мы выдали ее вам в готовом виде уже в начале вашего пути. И поэтому вы имеете возможность начать сразу с настоящего, не затрачивая никаких усилий на то, чему нам приходилось учиться столько лет. И каких лет! И в какой школе! Дорого за эту науку заплачено. Мы словно поле для вас заминированное очистили. На большее нас не хватит. Слишком уж кровавая была работенка. Поэтому теперь я думаю только о том, чтобы мне дали лепить. Я подошел к настоящему и у меня нет времени для других забот. Иначе мне и жить не стоит. — В нем как-то сразу определилась усталость, он посерел и поник. — Ладно, ребята, идите, пора. — Он перевел взгляд на Николая. — На жену тебе повезло, братишка... Береги. Такие подарки не каждый день... Ну, до скорого. — Пошарив в кармане брюк, хозяин достал оттуда горсть скомканных бумажек и протянул Осипу. — Вот... Здесь хватит... На всех...

Выходя, Антонина обернулась: мастер сидел с закрытыми глазами, откинувшись затылком на оконный косяк, и тени подступившего к нему сна четко проявили в его уверенной фигуре и на крупном лице выражение детской беспомощности.

VI

РАССКАЗ МУСИ О САМОЙ СЕБЕ

— Я, милая, такого перевидала, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Это тебе жизнь в диковинку, а я все медные трубы насквозь прошла, жива осталась. Мать моя, Царство ей Небесное, хорошая была женщина, пила сильно. Бывало выпьет, и пошла куролесить, что под руку попадет. Папашку моего била — почем зря, а он у меня тихий, безответный был, только запойный. Она его бьет, а он лежит, не шелохнется, только просит все: «Сонечка, голубушка, по срамному-то месту зачем? Пожалей!» А она ему: «Я тебя потому и бью туда, чтоб неповадно было выблядков своих на свет пускать». Так они и жили, пока он в одночасье не повесился с перепоею. Остались мы с мамашей вдвоем, как в песне поется: «Две былинки-сиротинушки во полюшке стоят». Я так лет с двенадцати еще по рукам пошла. Только с ленивым не спала. Мамка моя об меня все скалки обломала, а мне хоть бы что, за первыми штанами на улицу. Там и одевалась, там и харчевалась. Думала не родится тот человек, чтоб хомут на меня надел. С кем хочу, с тем и пойду. Только нашла и на старуху проруха. Объявился у нас на улице оголец хроменький в малокозырке. Сам из себя не виден, зато глаз вострый и с характером, первый срок уже отбаранил. Поглядела я в глаза его чернявой масти и зашлась во мне душенька: вот она, судьба моя распроклятая! Как собачонка за ним бегала. Совесть, гордость потеряла. Когда сошлась, озверела совсем, юбку около него увижу — в глазах черно. Как в песне поется: «Чтоб красивых любить, надо деньги иметь». Воровал мой оголец, как ни попада. Я тряпье на базар таскала. Сколько веревочке ни виться... Сгорели мы, как шве-

ды. Он подельников выгораживал, все на себя взял, ему на всю катушку, а мне, по моей глупости, — пять без поражения. И пошло, поехало, как в песне: «А надзиратель пес, падлюка, гад, не скажет, иди, братишка, я соломки подстелю». Привезли в лагерь, снарядили на лесоповал, пять кубов норма. Две смены отработала, — нет, думаю, не пойдет дело. Иду в больничку, говорю, — кладь. А он мне: «Здесь таких ушных да дошных пруд пруди. Иди, — говорит, — пока десять суток строго не схлопотала». Иду, думаю, лучше в петлю, чем за зону лес валить. Попадается мне у вахты старшой из надзорслужбы. Под банкой. Ну, думаю, Муся, «мы рождены, чтоб сказку сделать былью». А вместо, как говорится, сердца — пламенный мотор. Примарафетилась наспех и к нему: «Гражданин начальник, жизни лишусь, пожалейте». Посмотрел он на меня пьяным глазом: «Пошли, — говорит, — со мной, поглядим, какая тебе цена». Завел он меня в котельную, а оттуда уже сам за мной, как теленок, бежал. Поработала в хозчасти уборщицей, а потом — на кухню. Так и прокантовалась до амнистии. Освободилась — идти некуда: мать померла, комната пропала. Сунулась в исполком, вербуйся говорят. Нашли дуру! Смотрю по коридору — табличка висит: «Горторг». А, была не была! Захожу я прямо к начальнику: «Работник пищеблока со стажем». Гляжу, смеется: «Когда, — говорит, освободилась?» Я чуть под себя не сделала. А он мне: «Не тушуйся, — говорит, — мне народ битый нужен, чтоб знал, чем срок пахнет». Дал мне ларек овощной на отлете, встала, торгую. Скоро на ноги стала. Молодая, из себя ничего, все липнут. Товар дают получше, план поменьше, выпивка завсегда бесплатная. В торговле деньги сами к рукам липнут: там пересортицу замастыришь, там левый товар в реализацию, вот она, копейка, и собирается. В общем, с каждым днем все радостнее жить. Да и начальство ласками не оставляет: то премию, то прогрессивку, то личным вниманием. Правда, слаб он уже был в коленках,

да мне-то что! От меня не убудет. Все бы ничего, да один обехэсник* на меня глаз положил. Мне бы, дуре, лечь под него — и дело с концом, а мне, как на зло, вожжа под хвост: нет, и все тут! Уж больно дурен был лягавый. Росточку маленького, плюгавый, лысенький и левым глазом косит. Он уж и так и эдак. а я ни в какую. Ну, и подсидел он меня с левым товаром. Взяли меня — и в торбу. Он и в камеру ко мне ходил, скажи, мол, только слово, прикрою. Да не на ту напал! Иной раз зажмурю глаза, чёрт с ним, думаю, жалко что ли? А увижу и не могу, прямо с души воротит, — дам, так помру. В общем, обвенчали меня еще на пять по совокупности. Попала на строительство. Уж что я ни делала! Штанов, как говорится, не надевала, подо всех ложилась, только, видно, я уже не того сорта стала, да и девок молодых много, всякая просилась. Так и осталась я на общих работах. И даже не знаю, что бы со мной было, если б не попался мне Назарка наш, Карасик. Он и там прорабствовал. Чем уж я ему приглянулась, не знаю, я ведь тогда, как щепка, высохла, хоть вместо гладильной доски. Но, как в песне поется: «Глазенки карие и желтая косыночка зажгли в душе его пылающий костер». Пристроил он меня к себе для посылок. Такая лафа пошла, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Ела да спала — и по-новой ела. Отошла малость, а Назарка начал досрочное хлопотать, по начальству бегаёт, запросы пишет. Сразу после комиссии он сюда перевод взял. Только жить я с ним вместе все одно не стала, сняла себе времянку у вдовы одной в городе, сама себе хозяйка. Доход в этой столовке плёвый, да мне теперь много не надо, отгулялась. На водочку в кредит копеек двадцать набросишь, посуда, по мелочам набегает, на жизнь есть, а там видно будет. Меня и в город зовут, да не с руки мне там, и соблазна

* ОБХС — Отдел борьбы с хищениями и спекуляцией.
— Р е д.

много. А по правде, так весь свет в окошке у меня теперь здесь. Последним, видно, огоньком горю. Никогда у меня такого не было, не припомню. Вроде и ничего нет в нем, одни мослы да глазищи, а пройдет мимо — сердце падает. Будто снова пятнадцать мне лет и никого у меня еще по-настоящему не было. Как в песне поется. А ведь на мне пробы ставить негде. В лагере и с коблами путалась, и сама ковырялась, и на учете в диспансере состояла. Ося — это мне за все мои муки престольный праздничек. Увидел Господь малую рабу свою, пожалел, одарил без меры. Молодая была, не верила, — какой там Бог, когда жизнь такая? Да судьба надоумила. Принес мне как-то Назарка в рабочую зону яиц крашенных десятков, — под Пасху дело было. Пасха — Пасхой, а есть хочется. Раздала товаркам по яичку, одно себе оставила. Улучила вольную минутку, села в тенечке, только за подарочек взялась, гляжу уставилась на меня доходяга одна, смотрит, а у самой скулы сводит от жадности. Загорелась у меня тогда душа от злости: собственной крохи съесть не дадут. «На, — говорю, — падла, подавись ты яйцом этим, туды твою мать!» Схватила она яйцо — и в сторону, а у меня на сердце так вдруг легко сделалось, так тихо, словно родилась заново, — кругом птахи поют, листочки пахнут, солнышко прямо в тебя светит. Дошло тогда до меня: вот она — награда Божья! А то раньше бывало дам нищему пяточок, а себе на рупь жду, как в лотерее. С тех пор и поверила, в церковь хожу. Вот завтрава иду... Казанскую Божью Матерь справляют. Хочешь, вдвоем пойдем, в гостях у меня посидишь, как живу посмотришь... И-и-и, тесто убежало.

VII

Муся жила недалеко от городского центра, в старом, похожем снаружи на глинобитный сарай доме. От летней печи под навесом в углу двора к ним обернулась

и пошла навстречу высокая костистая старуха в застиранном штапельном сарафане. Подслеповато щурясь, она не по возрасту певуче выговорила:

— Здравствуйте... С праздничком вас.

— Спаси Бог, Федоровна. — Муся уже возилась с замком перед дверью времянки. — Никто не спрашивал?

— Назар Степаныч с утра был. — Старуха еле передвигала распухшие, во вздувшихся венах ноги. — Соседка заглядывала, спрашивала, будешь ли?

Большую часть крохотной Мусиной комнатенки занимала кровать. Широкая, блистающая никелем, она являла собою торжественное сооружение из перин, одеял и простыней, увенчанное пирамидой кружевных подушек. Остальную обстановку составляли стол и два стула перед окном. Образ Спасителя, обрамленный бумажными розами, в правом верхнем углу только подчеркивал скупое убранство необжитого жилища.

— Так и живу. — Муся поспешно переодевалась в прихожей. — Зачем мне хоромы-то? Только на выходные и приезжаю, считай. Раньше, чуть вольный час, — на машину и сюда, а теперь собаками из кухни не выгонишь. Прямо присохла к дыре этой... Как там у вас, скоро пошабашите?

— У нас ничего, двигаемся, — осторожничала Антонина, — бригадир со своими отстает.

— Ишь, ударники, — зло хохотнула та, — Осипа обогнать вздумали! Слабы в коленках. Мне про ваш уговор с Назаркой загодя известно было. Он и Серегу с криком уломал. Бригадир отвернется, они сразу туфту кроют. Жалко мне вас, паразитов, а то бы давно Осипу рассказала.

— Ребята же сами, — пробовала неуверенно защищаться Антонина. — Мы ни при чем... Если бы знали...

— Ребята! Знаем мы этих «ребят». Близнецы за копейку раком встать готовы, у них полдеревни родни и все на них надеются. Шелудько деньги копит, отца

своего высланного разыскивать по Союзу собирается. А Гурьяныч за бутылку мать родную заложит... Эх, вы! Если бы по-честному-то — догнать бы вам Осипа, как же! У него дело само делается... А ладно, пошли.

В обрамлении темного платка, чистое, без обычного марафета лицо ее поразило Антонину своей отечной бледностью. Казалось, из него — этого лица — кровинку за кровинкой долго и тщательно выводили цвет жизненной силы, чтобы оставить в нем лишь выражение затаенной муки и усталости.

— Пошли, — еще раз повторила Муся, — припаздываем уже, а то не пробьемся.

Вдоль прокаленных солнцем городских дувалов, устремляясь в одну и ту же сторону, черными цепочками тянулись женщины в одиночку и парами. По мере приближения к слепящему пятну церковного купола, возникшего над близкими крышами, людской поток густел, обрастая все новыми и новыми путниками. На подходе к самому храму толпа сбилась так плотно, что в ней невозможно было пошевелиться, она двигалась, как единый монолит, не задерживаясь и не расслабляясь.

Из-за отчаянной духоты свечи в церкви еле мерцали крошечными голубыми огоньками. Плотной сбита людская масса, истекая потом, дышала надсадно и коротко. Совсем еще молодой — реденькая светлая борода вокруг румяного лица — священник в полном облачении с видимым усилием преодолевал усталость и раздражение:

— ...Велика их гордыня. Они думают, что только они на Господнем пиру званые гости. Но сердце Господа не их — званых, а незваных жаждет. Незванным открыта Его благодать, к незваным сегодня Его любовь и расположение...

Дурнота кружила Антонине голову, но едва только хор на клиросе затянул «Верую» и она, вместе со всеми, подхватила молитву, как словно открылось но-

вое дыхание: ощущение слитности, единства с теми, кто стоял рядом, подхватило ее и заполнило ей душу упоением и неизъяснимым покоем. Все страхи и сомнения, какими терзалась Антонина, отодвинулись от нее куда-то за пределы видимого ею мира. В эту минуту она казалась самой себе бесконечной и неуязвимой для всех бед и несчастий, которые грозили или могли грозить ей и ее близким. «Чего нам бояться-то, Господи! — закипали в ней благодатные слезы. — Кто нам чего сделает?»

После службы, выбираясь на улицу, она потеряла Мусю из вида. Искать ее дом среди сотен таких же однообразных строений Антонина не решилась и поэтому, недолго думая, она направилась к береговой мастерской, в тайной надежде застать там Осипа.

Еще на подходе к сараю она услышала голоса, один из которых заставил ее сердце лихорадочно забиться: здесь, когда Антонина вошла, Осип, засыпая опоку земель, то и дело пытливо поглядывал на собеседника — маленького горбоносого старичка в черной шапочке на буйной волосатой голове. Старичок прервал свою речь на полуслове, сердито поерзал по Антонине ночными глазами и тут же вопросительно оборотился к парню. Тот, кивком головы успокоив гостя, ласково заулыбался ей навстречу:

— А, Тоня! Заходи, заходи... Знакомься, это Израиль Самуилович. А это — Тоня, я вам говорил о ней... Продолжайте, Израиль Самуилович, Тоня нам не мешает.

Старичок смягчился, одобрительно покивал ей острым подбородочком и снова заговорил яростным фальцетом:

— Это дети! Они не понимают, что творят. Хорошо, им разрешат выехать, но что будет с остальными? Газеты поднимут крик: евреям не дорога родина. И мы будем иметь погром.

— Каждый выбирает свою судьбу сам.

— Русский еврей не может быть сам по себе! Русский еврей вместе со всеми. Все не могут уехать! Это не просто-таки, уехать. Здесь остаются могилы, могилы тех, кто верил в нас и надеялся. Вы слышите, Осип, верил и надеялся! Нашим мальчикам не следует забывать, что во всем том, что они ненавидят, есть и еврейская доля. Немаленькая-таки долька! А платить по векселям, выходит, должны одни русские?

— Каждый платит за свое.

— Нет, за кровь платят все! Поэтому мы — евреи — обязаны нести ношу своей национальной ответственности сами, а не перекладывать-таки ее на плечи других. Разделить страдание вместе со всеми здесь — вот наша судьба. — Он вдруг поник и закончил вяло и почти просительно. — Вы знаете многих из них, передайте им, что нам всем будет очень тяжело, если они своего добьются-таки... Очень. Шолом... Желая здравствовать.

Старичок молча поклонился Антонине и двинулся к выходу, и только тут стало ясно, что он смертельно устал влачить по этой земле свое сухое и старое тело: до того шаткими, осторожными были его шаги.

После его ухода Осип тихо спросил ее:

— Ты ела?

— Да, — соврала она, — в его присутствии ей было не до еды, — у Муси.

— Тогда пошли домой.

— Пошли.

Осип закрыл дверь своим ключом, сунул в дужку замка записку, и они двинулись через засыпающий уже город в сторону степной дороги, которая одиноко отплескивалась от окраины, убегая в распластанную до горизонта голую степь.

Антонина шла рядом с ним, не чувствуя ни духоты, ни усталости, — впервые в такой близости около него, — страстно, всем существом желая в эти минуты единственного: чтобы дорога, по которой они поднимались, никогда и нигде не кончалась.

VIII

Как-то поздним вечером, разыскивая в общежитии Любшиных, Антонина наткнулась на одиноко слонявшегося по коридору Шелудько:

— Близнецов не видел?

— Соскучилась.

— Постирушки ихние вот, отдать бы.

— Уже запрягли? — насмешливо осклабился он. —

Вот куркули, и тут успели!

— Что мне, жалко, что ли? — обиделась она. —

Здесь и делов-то всего ничего.

— Тебе-то не жалко, да у них совесть где? Ты ведь не у мужа на шее. С нами смену стоишь. — Предупреждая ее возражения, он примирительно повел плечом. — Ну-ну, дело твое... А я вот что у тебя спросить хочу, — большие выпуклые глаза его напряженно потемнели, — про Крайний Север...

— А что?

— Много там сосланных?

— Хватает.

— Каких больше? Откуда?

— Всякие есть... Больше из Прибалтики... Немцы тоже...

— А с Украины?

— Этих мало.

— Я ведь, знаешь, родился там. Меня мамашка оттуда маленького привезла. А отец там остался, не положено ему. Мать говорит, гуцул он, с Западной Украины. Я мамашку мою еще в пятом классе схоронил, а сам в ремеслуху пошел. Стал про отца спрашивать, нету, отвечают, такого, выбыл в неизвестном направлении. А куда он мог выбыть, если ему выбывать запрещается! У него и паспорта нет. Не положено. Вот, может, в этом месяце сойдется с нарядами да в заначке

у меня шевелится малость, сам поеду искать, а то завербуюсь, дорога будет бесплатная. Не может того быть, чтобы пропал. Найду. Плохо одному жить, зацепки никакой нет, интереса. В отпуск поехать и то некуда. Иной раз и заработаешь, а похвалиться кому? — Он сокрушенно помотал лобастой головой и двинулся мимо. — Близнецам скажи, пускай дураков в городе ищут, их там много.

Внезапная разговорчивость обычно молчаливого и неповоротливого Шелудько озадачила Антонину: «С чего бы это?» Встречаться с ним ей приходилось лишь на работе и в столовой, и ни разу за все это время он даже не пытался заговорить с ней. Знакомство их ограничивалось обязательными «здравствуй» и «прощай». Вначале ей казалось, что Сергей недоволен ее появлением в бригаде — конечно, кому понравится перерабатывать за других! — но вскоре до нее дошло его полное и глухое к ней равнодушие. Поэтому сейчас, отходя от него, она удовлетворенно отметила про себя: «Спросить бы мне надо, как отца-то зовут, помянуть во-здравие!»

Любшиных она нашла в красном уголке. Раздвинув в стороны горы старых подшивок, они сидели друг против друга за читальным столом и перед каждым из них белела замусоленная тетрадка.

— Трояк тете Поле. — Слюнявя карандаш, Паша сосредоточенно морщил переносицу. — И Людке тоже пятерку надо, у нее двое.

Сема деловито делал пометки в своей тетради:

— Деда Тишу не забудь, он больше всех нам подмогнул. Ему пятерку, а то и рублей семь.

— Пойдет.

— Кого забыли?

— Вроде, все.

— Думаешь?.. А, — заметив стоящую у порога Антонину, Паша смущенно засуетился, — Тоня! ...Подождешь до полочки?

— Много ли получать собрался? — Она поставила

перед ними стопку белья, вздохнула. — Еле отыскала, всю общежитию обегала.

Сема благодарно засветился:

— Так мы бы сами зашли. — Он поспешно записал тетрадку в карман. — Что тебе, чего хочется. Мы с брательником в долгу не останемся.

Паша, внушительно откашлявшись, подтвердил:

— Уж это безо всяких.

— Сочтемся. — Уходя, она спиной чувствовала на себе их, сопровождающую ее, ласковую доброжелательность и сама в ответ тихо оттаивала. — Будет время...

По пути к себе Антонина, минуя комнату коменданта, дверь в которую была распахнута настежь, краем глаза успела заметить встревоженный профиль Осипа и, уже отходя, услышала его голос:

— Это ты точно знаешь, Христофорыч?

— А ты что, сам не видишь? Вся система камерная. Каморки, как на подбор, и все одного размера.

— Может, это лаборатории?

— Без коммуникаций? Без воды, без отопления? Шутишь! Это байки для пижонов.

Прислушиваясь, Антонина задержала шаг. После недолгой и гнетущей паузы голос Осипа был еле слышен ей:

— Выходит, от них никуда не уйти. Везде они... Всюду... хоть в землю заройся...

— Вот я и говорю, — шумно вздохнул комендант, — стоило вашим дедам начинать эту завируху, чтобы только сменить надзирателей!

— Пожалуй...

С тяжестью этого, произнесенного Осипом слова она и возвратилась домой. Тревога, вдруг возникшая в ней, все решительнее и круче овладевала ею. Вопрос, которым она не задавалась до сих пор, считая его пустым и докучливым, сложился сам по себе. Что они строят здесь? Кому и для чего понадобились эти плоские, похожие изнутри на пчелиные соты, коробки?

Правда, среди рабочих неуверенно поговаривали, будто объект имеет секретное научное значение и даже намекали на оборонительную его роль, но тогда почему в разговоре Осипа с комендантом сквозила такая нескрываемая горечь? Недоумение ее не находило ответа. Неожиданно вспомнилось, что как-то при ней Николай спросил об этом же прораба, и тот, ежидно посмеиваясь, молча пожал плечами. Хотя видно было, что знал, только не хотел или боялся говорить. Жуть скорбного предчувствия свела ей спину. «Вот жизнь пришла, сама себе веревочку сошьешь и не заметишь».

Укладываясь рядом с Николаем, Антонина прикинула к его уху и взволнованно зашептала:

— Коль, а Коль?

— Ну?

— Что мы тут строим-то?

— Наше дело, Тоня, телячье.

— Страх берет, Коля.

— А ты не думай, спи.

— Узнать бы...

— Спи, Тоня, не нам об этом думать, себе дороже.

Спи...

Николай отвернулся к стене и вскоре заснул, а она, так и не смежив до утра глаза, все думала, думала, думала...

IX

Ребята уже добивали последние метры, когда в проеме выходной двери появился прораб в сопровождении коротенького очкарика в соломенной шляпе:

— Шабашите? — Взгляд Карасика рассеянно блуждал по стенам. — Молодцы. А у них там еще работы дня на три.

Очкарик покрутил утиным носом, потоптался у творила, сказал неуверенно:

— Что, Назар Степаньч, тут и устроим проверочку? По свежим, так сказать, следам.

— Это товарищ от заказчика, — ни к кому в отдельности не обращаясь, покрутил головой Карасик. — Работу вашу принимать будет.

Близнецы, словно сговорились, с вопросительным удивлением оборотились к Николаю. Тот, в свою очередь, выжидающе посмотрел на прораба. В ответ Карасик недоуменно пожал плечами: ничего, мол, не могу сделать.

Не ожидая ответа, гость вооружился молотком, прошел в глубь коридора и в несколько ударов отвалил порядочный кусок чуть подсохшей штукатурки. Затем отошел еще дальше и сделал то же самое, после чего, многозначительно пожевав губами около обнажившейся стены, излишне громко, вразтяжку проговорил:

— Поползет покрытие, Назар Степаньч, при первой же сырости поползет. Без насечки кроете. Непорядок.

Антонина похолодела. Если в наряде не будет учтена насечка, под расчет им придется ноль целых и столько же десятых. Дай Бог расплатиться за аванс. Но главная беда для нее сейчас была даже не в этом. Ее беспокоила мысль об Осипе. Каково-то будет ему? Ведь ребята не прорабу поверили — бригадиру. Поверили и слепо пошли за ним. А теперь? Что он им скажет теперь? Зная его натуру, она могла представить себе, во что ему обойдется этот подвох. Она глядела в ставшее ей ненавистным лицо прораба и жгучая обида на Николая, вступившего с ним в сговор, сделалась для нее почти нестерпимой. «Как же он мог! — заполнялась она злыми слезами. — Как он мог? Ведь этого жулика за версту видно. Загодя известно было, что обманет».

Карасику словно подошвы жгло: он мелко-мелко

перебирал ногами на одном месте, невразумительно при этом оправдываясь:

— Бывает... Прореживают ребята... Два места не показатель... Надо бы с другой стороны попробовать.

— Нет, Назар Степаныч, дорогой товарищ Карасик! — закусил удила тот. — Нам и этого достаточно. Мы такой работы в оплату не примем. Пойдет, как сплошной гон, без насечки.

— Михал Михалыч!

— Не могу, дорогой, не могу. С меня голову снимут. Рад бы порадеть, да не могу, не обессудь.

— Тогда айда к бригадиру, — развел руками Карасик в сторону Николая, призывая его в свидетели своего бессилия. — Что он скажет!

Он первым двинулся вперед, кивком головы приглашая гостя и Николая следовать за собой. Вскоре шаги их затихли в глубине коридора. Сема, аккуратно складывая инструмент, как бы подвел происшедшему итог:

— Заработали.

Паша согласно вздохнул:

— Бывает.

Осуждая мужа, Антонина не снимала вины с себя. Она должна, обязана была удержать его от опрометчивого шага. Разве можно было стовариваться с Карасиком за спиною у Осипа? Кто мог тогда поручиться, что прораб сдержит слово? Волей-неволей ей приходилось признавать и свое собственное, хотя и косвенное, участие в обмане. Поэтому сейчас, оставшись наедине с близнецами, она не выдержала напряжения, сорвалась:

— Ведь не нарочно же он! Ведь он как лучше хотел. Он-то этого Карасика без году неделю знает, вам его лучше знать было. Николай на вас смотрел: раз молчите, значит — все правильно. А теперь, конечно — Лесков за все ответчик. Нельзя так, ребята...

Сказала и осеклась на полуслове: Сема, к которому

она обращалась, глядел на нее с жалобным участием. Виновато улыбаясь, он обезоруживающе ее успокоил:

— Что ты кричишь? Что мы — маленькие? Сами заварили, сами и расклебывать будем. При чем здесь Николай? Его дело сторона. Осипа жалко. Подвели мы его. И всех подвели.

Сема печально поддакнул:

— Подвели.

— И себя тоже наказали.

— Осипа надо было слушать.

— Надо бы...

Наступившее сразу вслед за этим молчание прервал возникший в перспективе коридора Николай:

— Шабаш. — Голос его звучал устало и глухо. — На сегодня хватит. Спешить нам теперь все одно некуда. — Он оборотился к Антонине. — Помой инструмент и прибор. — Кивнул ребятам. — Пошли.

Оставшись одна, Антонина долго еще не могла взяться за работу. Она знала, что самым болезненным для Осипа будет то, что они пошли на обман в ущерб делу. К работе, за которую ему приходилось отвечать, он относился с ревнивой щепетильностью. Любой огрех после себя он переживал с мучительным самоедством. Стоило ей только на мгновение представить себе, какими глазами он посмотрит теперь на нее при встрече, как стыд, жгучий удушливый стыд возник в ней, и яростно бьющееся сердце ее обмерло в тоске и тревоге.

Управившись с инструментом, она собралась было домой, но какое-то еще неясное, но вещее предчувствие толкнуло ее в обратную сторону, вдоль коридора. И она пошла, движимая этим предчувствием, пошла, почти крадучись, словно бы нащупывая путь. До сих пор ей не приходилось бывать здесь в одиночку. Тишина коридора, с пугающе притягательными провалами дверных коробок по одной стороне, казалась Антонине настороженной и грозной. В горячке работы ей как-то даже и не приходило в голову поинтересоваться, что

там, за этими дверьми. Сейчас, заглянув в первую от края, Антонина затаила дыхание: по обеим стенам сквозного прохода зияли такие же, как в коридоре, входные проемы, только размером поменьше, за первым же из которых перед ней оказался освещенный квадратным отверстием в потолке каменный мешок. Обходя как бы по опрокинутой спирали проход за проходом, она никак не могла взять в толк, что бы это могло быть, для чего пригодится. Минувя последний проход, она уже машинально заглянула в крайнее помещение, и все внутри нее обрушилось и обмерло: в самом углу, со сцепленными на коленях руками сидел Осип. В его напряженной позе сквозила усталая безнадежность. По осунувшемуся, во вьющейся щетинке лицу парня стекали тихие, ничем не сдерживаемые слезы. Резкая испепеляющая жалость перехватила ей дыхание:

— Ося... Ты чего тут?

Поднимая на нее глаза, он даже не шелохнулся:

— Так...

Антонина лишь однажды видела, как плачут мужики. Поднявшись как-то ночью после смерти матери, она лицом к лицу столкнулась в сенях с отцом. Лунный свет от распахнутой настежь двери выявил перед ней залитое слезами родное лицо, она тогда не выдержала тяжести сочувствия, опустилась на пол, порывисто прикинув к отцовским коленям:

— Никогда тебя не брошу, папаня! Век с тобой жить буду.

Отец благодарно сжал ей плечи:

— Что ты, Антонина, что ты. Так это я, от старости.

— Вот увидишь, папаня... Вот увидишь...

Ночь та на долгие годы определила судьбу Антонины.

Теперь же, не смея, не решаясь приблизиться к Осипу, она обессиленным плечом прикинула к косяку дверного проема:

— Плохо тебе, Ося?

- Так...
- Может, пойдём?
- Посижу, Тоня... Устал...
- Мешаю, Ося?

— Да нет, наверное... Оставайся... Какое это теперь имеет значение! Закройте, как говорится, занавес, жизнь не состоялась. Знаешь, Тоня, из меня ведь родители хотели сделать дантиста. «В такое время, — говорил папа, — дантист не останется без работы: война за войной, голод за голодом, допрос за допросом». А мама вообще считала, что зубы — это главное в жизни. Жили мы тесновато и отец принимал пациентов в общей комнате, за марлевой занавеской: стоны, кровь, жужжание бормашины. Один только вид зубоучебного кресла с детства вызывал у меня ярость. И я пошел на юридический. Но там меня сразу же спросили: «А у вас есть рекомендация общественной организации?» «Нет, — сказал, — но у меня есть желание стать адвокатом». «Этого мало, — ответили мне, — вы должны сначала доказать преданность общему делу». «Каким образом? — полюбопытствовал я. — И какому делу?» «Проявить бдительность». «Но у меня не было случая». «Надо найти». «То есть?» «Да, да! — подбодрили меня. — Вот именно». По их выходило, что прежде чем я смогу защищать кого-то, я должен кого-то посадить. Мне это не подошло. И мы расстались. И вскоре я оказался здесь. Я думал, что отделался довольно удачно, что здесь-то меня уж никто не станет впутывать в свои темные игры. А вышло, что не я их, а они меня обошли.

— Как так? — потянулась она к нему. — О чем ты?

— О чем? — Затаивая, он даже улыбнулся сквозь слезы. — Ты сама-то знаешь, что здесь строится?

— Откуда мне знать? Всякое говорят.

— Тюрьма, Тоня, тюрьма.

— Господи! — испуганно поперхнулась она. — Это как же?

— Да вот так, Тоня. — Он медленно поднялся и сделал шаг к выходу. — Мы еще вдобавок и друг друга обманываем. Такие, вроде Карасика, хорошо знают, как можно человека сломать. Сначала купи, потом сломай. Эту науку он еще с молочком матери всасывал. К Николаю я ничего не имею, мне просто жаль его. Один раз поддавшись, трудно устоять.

Осип остановился прямо против нее, глаза их встретились, и Антонина не выдержала опаляющего искушения прикоснуться к нему. И она прикоснулась, приникла к его плечу горячей щекой:

— Ося... Сердца у тебя на всех не хватит... Сторишь.

— Сердца не хватило. — Он тихонько гладил ее по голове. — Воздуха не хватает. Дышать нечем, Тоня.

— Мой возьми.

— Не надо, Тоня, нельзя.

— Знать я ничего не хочу.

— Успокойся, Тоня, не дело это.

— Молчи ты...

— Совсем как маленькая. — Ее дрожь передавалась ему. — Самой же потом плохо будет. Это ведь ты от жалости... Тоня...

— Молчи... Молчи...

— Я никогда...

— Глупенький!..

И если Антонине суждено было излить на кого-нибудь всю меру любви и нежности, отпущенную ей природой, то она сделала это, покорно отдавая себя в его робкую власть:

— Ося... Прости меня... дуру старую.

— Не надо, Тоня... Не надо... Не надо...

Потом Осип, упорно избегая ее ищущего взгляда, встал и уже от двери уронил почти беззвучно:

— Прости...

Антонина не оскорбилась его таким внезапным уходом. Не чувствуя собственного тела, лежала она на

обсыпанном цементной крошкой полу и бездумно вглядывалась сквозь потолочное отверстие в обмелевшее, без единого облачка небо. В ней зрело, набирало силу окрыляющее чувство смысла, необходимости своего существования. Наверное, впервые с тех пор, как она осознала себя женщиной, ее коснулось прозрение собственной силы и значения для другого, живущего рядом с нею человека. Теперь она знала, была уверена: что бы ни случилось, у нее уже этого не отнять: «Будь, что будет, мой грех, мне и ответ нести».

Х

В общежитие Антонина попала, когда ребята уже кончали ужин. За столом у них царило уныние. Любшину, уткнувшись каждый в свою тарелку, старались ни на кого не смотреть. Альберт Гурьяныч доедал рожки с таким видом, будто все случившееся он предвидел заранее и оттого волноваться по этому поводу нет для него никакого смысла. Шелудько, машинально прихлебывавший чай, выглядел растерянным и вконец убитым. Николай с хмурой затравленностью поминутно оглядывал сотрапезников. Ее появление словно придало ему решительности, он возбужденно заговорил:

— Я еще с ним потолкую, он же мне побожился, что без трёпа. Он у меня не сорвется — этот карась. Мы и язей видали. На моем горбу далеко не уедешь. У меня с ним свой разговор будет. Все заплатит. До копейки.

— Давай, давай, — вяло усмехнулся Альберт Гурьяныч, — глядишь, еще и добавит к обещалке.

Шелудько безнадежно махнул рукой:

— Без пользы. Если Карасик не захочет платить, он не заплатит. Карасик дело знает.

Близнецы промолчали, но по тому, с какой обстоятельностью сразу заработали их ложки, было понятно, что посулы Николая вселили в них известную надежду.

Муся, протягивая Антонине первое, заговорщицки кивнула в сторону ребят:

— Толковщина на кладбище! Иди, ешь... Сейчас подойду... Работают все радиостанции... Важное сообщение. Строят из себя Бог знает что, а попадают, как фраера.

Муся появилась перед столом во всем великолепии косметического оснащения. Осветила каждого поочередно ослепительной улыбкой, сказала с вызовом:

— Место бы уступили даме, кавалеры. Ни в ком никакого понятия, а туда же, — в люди лезут. — Она уверенно расположила свое пышное тело, поставила на стол пухлые локотки. — Где у вас голова была, когда вы с Карасем договаривались! Или не знали, с кем дело имеете? Или глаза вам позаложило?

— Не в Карасике суть, — угрюмо отозвался Шелудько. — Заказчик, как с неба свалился. Куда против заказчика поперешь. Как ни крути, сами виноваты.

— Заказчик! — Румяное лицо Муси мстительно заострилось. — Он такой же заказчик, как я космонавт. Дружок Назаркин из управления. Я его, как облупленного, знаю. Специально договорились. При мне. У Назарки концы с концами не сходятся, вот он и решил на вас съэкономить. Эх вы, работнички, учить вас некому! Нашли, кому поверить! С каких это пор заказчик по подвалам работу принимает? Вы что, первый раз замужем, что ли?

Мусино известие, против ее ожидания, особого впечатления не произвело: заработок им уже все равно никто вернуть не в состоянии. Они зависели от Карасика и пойти против него означало для них потерять всякую надежду выкарабкаться из нужды. Он мог даже не прибегать к фокусу с заказчиком, этот Карасик. Он мог просто не заплатить. Не заплатить — и все.

— Дала бы лучше в кредит бутылку, — глядя в стол, буркнул Альберт Гурьяныч. — Все равно нехорошо.

Муся ничего не сказала, поднялась, пошла к себе и вскоре вернулась с поллитровкой и тарелкой соленых огурцов.

— Пейте, — она поставила принесенное перед ними и снова села, — надо будет, еще добавлю. Рассчитаемся. — Подвинула Альберту Гурьянычу свой стакан. — Мне тоже чуть-чуть.

Тот молча выбил пробку и, составив стаканы, одним медлительным движением разлил по ним водку. Не глядя ни на кого, он выпил свою долю и лишь после этого кивнул Мусе с повелительной краткостью:

— Тащи еще.

Но и вторая разговорилась лишь Альберта Гурьяныча. Ни к кому в отдельности не обращаясь, он глухо забубнил:

— Не повезет, так на родной сестре триппер поймаешь. Что мне на роду написано, всю жизнь вместо хлеба дерьмо есть? Или я рыжий? — Он грязно выругался. — Помню, когда пацаном был, мы все в «начинку» играли. Завернешь, бывало, мусору какого в белый листок, ленточкой броской чин-чинарем перевяжешь и бросишь на тротуар, а сам сидишь за забором и смотришь в щелку: кто подберет? Идет какая-то старушка, хватать — и за угол. А ты от радости аж за животик хвататься: вот, мол, старая дура. Умник нашелся! Десять раз учили, а я все на эти локшовые покупки, бантиком перевязанные, как последняя вокзальная б.... бросаюсь. Ведь на какую дешевую «черноту» клюнул!

И только тут ребята дали волю ожесточению. Обычно невозмутимое лицо Шелудько тряслось от злости:

— Какая же он все-таки сука, Карасик! — Сергей стукнул кулаком по столу. — Где ж у него совесть, у подлюги!

У Паши невольно вырвалось:

— Жаловаться надо!

Сема не оставил брата без поддержки:

— Управляющему!

Спор, из которого выходило, что жаловаться им нет смысла, что во всем виноваты они сами и что лучше попробовать договориться с прорабом по-хорошему, Антонина слушала краем уха. Все ее существо сейчас переполнялось минувшим свиданием с Осипом. Она еще не знала, какое продолжение будет иметь для них обоих это свидание, — на чем бы оно ни кончилось, одно ей теперь ясно: с Николаем рано или поздно им придется разойтись. Отныне их объединяла только крыша над головой — и ничего более.

По-своему истолковав ее молчание, Николай тихонько поинтересовался:

— Плохо тебе?

— Что ты? — машинально повернулась к нему она.

— А, нет, ничего, устала просто.

— Может, пойдем?

— Неудобно.

— Не до нас им.

— Нам до них.

— Как ты...

— Посидим.

— Смотри...

Казалось бы, возмущение бригады должно было в первую очередь обернуться против Николая, как закоперщика всего дела, но ребята в разговоре даже не упоминали его, и Антонина, отдавая должное их такту, была им за это благодарна.

— Ладно, — подытожил беседу Альберт Гурьяныч, — авось, не помрем. Умнее будем. А Назарке я козу заделаю, век помнить будет. — Он взглянул в сторону Антонины и вдруг спохватился: — А чего Осю-то не видно? А?

При упоминании имени Меклера, Муся, задремавшая было на плече у Шелудько, вздрогнула и тревожно оглядела компанию:

— Правда!.. И ужинать не приходил... Ему ведь не напосми — и не поест.

— Видно, в город подался, — попытался успокоить ее Паша, но не выдержал тона. — Хотя не должен бы...

Шелудько уверенно подтвердил:

— Не должен.

И тут что-то подняло Антонину с места. Память, как фокус, мгновенно вобрала в себя события прошедшего дня и, уже почти догадываясь обо всем, она захлебнулась грозной и неотвратимой тревогой. Антонина опрометью бросилась к выходу, но в это время дверь растворилась и перед ней на пороге возник Илья Христофорыч.

— Ося... там. — Лица на нем не было, губы, складывая слова, еле справлялись с судорогой. — В уборной...

Странная, никогда в прошлом не испытанная ясность снизошла к Антонине. Перед ней явственно обнажились причины и связи событий, происходивших вокруг нее в последнее время. Она воочию, шаг за шагом проследила, как зрела, набирала силу сегодняшняя гибель Осипа. Случайный этот обман был лишь последней капелькой, заполнившей ему душу, а той, что выплеснула ее через край, стала их недавняя близость. Совсем не такой оказался мир, каким Осип создал его в своем сердце. Мир этот просто вытолкнул его из себя: «Век тебе его замаливать, Антонина, не замолить».

Осип еще лежал в кладовке по соседству с комнатой коменданта, накрытый новой простыней. Обостренным до предела зрением Антонина разглядела каждую его, доступную взгляду черту и черточку: резкую линию носа под натянувшейся материей, бугорок авторучки над одним из нагрудных карманов и даже билет со «счастливым» номером, прилипший к подошве левой кеды.

Толпа, сгрудившаяся у двери кладовки, напряженно молчала. И в этом ее молчании не чувствовалось ис-

пуга или растерянности. Душу зябко свевало дыханием гремячей угрозы. Она — эта угроза — могла прорваться в любую минуту, но в момент, когда, казалось, взрыв ее уже был неминуем, тишину обрушил долгий отчаянный крик Муси:

— Ося-я-а-а...

В эту ночь Антонина, впервые за их совместную жизнь, легла отдельно от мужа, на полу. Видно, догадываясь о многом, он только чуть слышно спросил:

— Уйдешь?

— Не знаю.

— Судишь?

— Нет.

— Я подожду.

— Как хочешь.

Антонина до утра так и не сомкнула глаз. Без дум и желаний смотрела она за окно, где в аспидно-черном небе подрагивали далекие звезды, и в какое-то одно, пронзающее сердце мгновение, каждая из них почувствовалась ей живым существом, веще и чутко взирающим на нее со своей головокружительной высоты. Благостное состояние того, что она не одна в этом мире, не сама по себе, а в единстве окружающего, коснулось ее, и слезы благодарности за это подаренное свыше чувство родства со всем и во всем облегчили ей сердце: «Да святится имя Твое, Господи!»

XI

На следующий день вечером в комнату к ним опасливо заглянул прораб:

— Не прогоните? — Он вошел, с показной старательностью пошаркал у порога подошвами и, решительно шагнув к столу, выставил из-за спины бутылку. — Вставай, Коля, требуется это дело, как говорится, разжуваты.

Карасик изо всех сил старался выглядеть, как все-

гда, уверенным и властным, но получалось это у него не без натуги и смущения. Поспешность, с какой он, определившись за столом, бросился распечатывать поллитровку, выдавала его боязнь перед возможным отказом хозяев. У Антонины, в предчувствии чего-то непоправимого, засосало под ложечкой. Но, живо взглянув на мужа, она тут же с облегчением вздохнула: тот миролюбиво и даже, как ей показалось, радушнее, чем обычно, поднялся навстречу гостю:

— Заходи. Степаньч, — заходи. — Кивок жене. — Давай. — И снова к гостю. — Сейчас она сообразит нам чего-нибудь.

В эту минуту Антонина почти ненавидела мужа. «Нашел себе дружка! — с горечью сетовала она, собирая на стол. — Погубили человека, теперь запивать будут, совесть бы поимели!» После всего случившегося отношение ее к Николаю определилось, как ей казалось, раз и навсегда. Чувство благодарности к нему и уважения сменилось тягостной для нее и едва скрываемой неприязнью. Внезапная и нелепая гибель Осипа, словно резкая вспышка в темноте, обозначила перед ней в окружающем ее мире свет и тень, черное и белое, ночь и день. Теперь она заранее могла сказать, как поступит в том или ином случае, что скажет при этом, чью сторону возьмет. С того вечера ей стало ясно: из роддома она к Николаю уже не вернется.

Карасик услужливо подливал хозяину, тот пил, вдумчиво закусывал и, не перебивая гостя, слушал его пространные излияния.

— Что я, зверь, что ли? Жалко парня. Знал бы, свои доложил. Чёрт этих заказчиков принес на мою голову. Кто ж знал? В этот раз не получилось, в третьем квартале набросил бы. Что, в первый раз, что ли? И чего все на меня окрысились? Хоть на площадке не показывайся. Так и норовит каждый уесть побольнее. А мне ведь не двадцать лет, я жизнь прожил. Не одним огнем горел. И мятый, и клятый, и фронтом стрелян-

ный. За что же меня так казнить? Что я его звал, заказчика этого?

Прораб всем корпусом потянулся к собеседнику, вглядываясь в него по-собачьи заискивающим взглядом, но когда лица их сошлись, наконец, глаза в глаза, произошло то, чего Антонина меньше всего ожидала: рука Николая мертвой хваткой вцепилась в расстегнутый ворот гостя:

— Не знал, говоришь? — Выцеживая слова, Николай безмятежно улыбался, но от этой улыбки Антонине вдруг сделалось жутко. — Чёрт их принес, говоришь?

— Коля, — хрипел тот, — я ж тебе, как сыну...

— Как сыну, говоришь? Вот я тебя, папаша, и спрашиваю: если не знал, зачем тогда на мою половину привел? Или, может, случайно перепутал? Или насильно заставили?

— Нехорошо, Коля, — задыхался Карасик, — я к тебе, как к человеку...

Не отпуская его ворота, Николай вышел из-за стола, поднял гостя, поставил на ноги и свободной рукой наотмашь смазал ему по скуле, а затем уже бил, не останавливаясь:

— Человек, говоришь?.. Вот тебе, сучье мясо, за старое... За новое... И на три года вперед... Папашка отыскался!.. Получи от сыночка.. Схвати от родимого...

С мстительным удовлетворением следила Антонина, как лицо прораба превращается в кровавую маску. Лишь однажды в жизни довелось ей видеть нечто подобное...

После дня пути по растекающейся на оттаявшей мерзлоте узкоколейке, обшарпанная «кукушка» притащила, наконец, платформу, на которой они ехали, к базовому поселку Ермаково. Дорога со станции брала круто в горы, но едва Антонина следом за мужем ступила на нее, как сверху, со стороны поселка, навстречу им скатился и, минуя их, бросился в придорожную чащу парень в лагерной робе, с вылинявшим от ужаса лицом.

Никто из них не успел ничего сообразить: на гребень взгорья неожиданно высыпало множество полуодетых охранников. Размахивая ремнями и палками, солдатня с воем и свистом ринулась вниз, вдогонку за беглецом.

Судорожно впиваясь в рукав мужа, Антонина испуганно выдохнула:

— Коля...

— Тише, Тоня, — тише. — Ее дрожь передалась ему, он тревожно напрягся и побелел. — Наше дело сторона. Пойдем, — в его поспешности было что-то унижительное, — пойдем... пойдем.

Основная волна схлынула, исчезая в чаще, но сверху, один за одним, все еще скатывались солдаты и по иступленно торжествующему выражению их лиц можно было судить, что ожидает беглеца в случае поимки. Николай почти силком тащил жену за собой, шёпотом при этом ее уговаривая:

— Что ты знаешь, Тоня!.. Не люди это. Не люди... Им человека сейчас убить — раз плюнуть. Скажут, по ошибке, мол... Еще и награду получают... За бдительность.

— Страшно, Коля.

— Молчи, Тоня, молчи...

— Страшно...

— Молчи.

Но главное испытание ожидало их впереди. На окраине поселка, куда они поднялись, у придорожной обочины в грязной жиже истоптанной трясины сидел в окружении охранников стриженный наголо человек в такой же, как и у беглеца, робе, но уже свисающей с него клочьями. Вместо лица у него был один сплошной кровоподтек, полуоторванное ухо черным завитком болталось у виска, плети перебитых рук безвольно свисали вдоль тела. Человек, по сути, уже не дышал, а только, редко и тяжело икая, дергался.

Возле него, с пистолетом в руке топтался неуместно франтоватый лейтенант, охраняя бедолагу от обступив-

ших его и заметно жаждущих самосуда солдат, среди которых выделялся своим решительным видом усатый старшина в меховой безрукавке поверх офицерского френча. Старшина все старался зайти со спины лейтенанту. Тот, в свою очередь, зорко следил за каждым его движением, не давая ему подступиться к жертве. Но кольцо вокруг лейтенанта сжималось с каждой минутой все теснее, ропот становился все более угрожающим:

- Давить их всех надо!
- Так и так сдохнет.
- Уйди, лейтенант, от греха!
- Не здесь, так в зоне добыем.
- Уйди, лейтенант.
- Смотри, под руку попадешь.

Тот в конце концов не выдержал напряжения, сделал шаг в сторону и отвернулся, как бы высматривая что-то в перспективе дороги. Это было воспринято, как сигнал к расправе. Старшина мгновенно выдернул из дорожной стлани первую попавшуюся слегу и, размахнувшись, слету опустил ее на голову сидящего, череп которого тут же стал расплзаться надвое.

Перед глазами Антонины поплыли цветные круги. Низкое серое небо сомкнулось над ней, и она, не помня себя от горечи и собственного бессилия, завывала в голос:

— А-а-э-э...

Очнулась она в незнакомой комнатке с одним окном, забранном резными ставнями. В отверстия резьбы лился тусклый свет незаходящего северного солнца. За полуприкрытой дверью в соседнее помещение шелестела неторопливая старушечья речь:

— Они-то здесь, как освободятся, живут до самой навигации сами по себе. Денег на пароход дают. А отсюда зимой только самолетом на материк попасть можно. Вот и живут в палатках под берегом. Кормятся на погрузке... Видно, выпили. Ну, и сцепились со знакомым конвоиром. Слово за слово — драка. Ну, и прыгнули они его в бок. Он в крик. Казармы-то рядом. И

пошло. Наши-то, знамо дело, озверели. Ваше счастье, мой там оказался, а то бы они и вас не пожалели.

Голос Николая еле прослушивался:

— Спасибо.

И в памяти Антонины всплыло все. И собственный крик тоже. И она, уходя в спасительное забытье, снова сомкнула веки...

Теперь Антонина не кричала. Сама не помня себя, она лишь складывала пересохшими от гнева губами:

— Еще... Еще... Еще...

И хотя Антонина сознавала тяжкую греховность своего исступления, она в сладостном самоотречении брала его — этот грех — на душу. Ей казалось сейчас, что отнятое у нее слишком невосполнимо, чтобы не быть отмытым. И за это она готова была принять любую, самую тяжкую кару. Только бы виновник случившегося получил сполна.

Опомнилась Антонина, когда комната уже была полна народу, а ребята из соседнего загона выносили полумертвого Карасика в коридор. Николай стоял, прислонясь к стене, все так же вымученно улыбаясь, и в посеревшем сразу и осунувшемся лице его не прочитывалось ничего, кроме усталости и отвращения. Антонина попыталась было поймать его взгляд, но, едва встретившись с нею глазами, он отворачивался или опускал голову. Сейчас она испытывала к мужу чувство, близкое к материнскому. Ее одолевало жгучее желание укрыть Николая от грозящей ему опасности, заслонить его собою. И поэтому, когда два вохровца принялись заламывать парню руки, она, с яростью для самой себя удивительной, бросилась к нему на выручку:

— А ну, не трожь!.. Ишь, распоясались!.. Он сам пойдет!.. Сам!

Николай с затравленной благодарностью взглянул на нее и, тяжело ступая, двинулся к выходу. Вохровцы устремились за ним. Народ потянулся следом, стекая

в двери, словно в воронку. В таком порядке процессия и проследовала через всю стройплощадку до проходной, где у самых ворот Николая уже ожидала трехтонка-самосвал, на которой его должны были везти в город.

Идя след в след за вохровцами, Антонина не испытывала ни тревоги, ни сожаления. Скорее, наоборот: гордилась мужем, с каждым шагом укрепляясь в своем к нему вновь возникшем и все возрастающем уважении. Это был ее Николай, тот самый, каким она хотела его видеть и каким он должен был выглядеть в глазах всех остальных. И то, что ему предстояло, виделось ей лишь досадной, но необходимой задержкой перед их новой и теперь уже окончательной встречей. Смерть Осипа свела их в последний раз и навсегда.

Перед тем, как подняться в кузов, Николай в последний раз обернулся к ней и, прощально кивнув, как бы скрепил эту их безмолвную договоренность. Вохровцы обсели его с двух сторон, машина взяла с места и вскоре смутный силуэт ее растворился в споро надвигающихся степных сумерках. Но Антонина долго еще стояла за воротами, вслушиваясь в безмолвную тишину вокруг и в себя, вернее, в то, что ликующе и властно билось у нее под сердцем.

И была ночь.

*

Здравствуй, многоуважаемый Лев Львович! Села писать, а сама не знаю, за что братья. Не знаю, чем я Господа прогневала, только жизнь моя снова порушилась и какой ей будет конец — неизвестно. Николая моего опять посадили. Теперь ждать буду. Сколько нужно. До гроба. Теперь я ему жена перед людьми и Богом и верная раба. Родила я своего первенького соломенной вдовой. Папаню жалко, — узнает, худо ему будет. А ехать мне больше некуда теперь, кругом чужбина. Может, вы сами с ним свидитесь, а я на вас на-

дежду иметь буду. Коли примет, приеду помогать ему в старости, дитя растить. Рассердится, — сама виновата, проживу и так, свет не без добрых людей. Жальчее всего, погиб человек, я вам об нем писала, тот, который из евреев, Осипом звали. Коли свидимся, покаюсь я вам, святой отец, об грехах моих тяжких и за самый главный грех в злобе на людей. Вышла я из роддома в чем есть, думала, куда идти, у кого хлеба просить. Да не оставил меня Господь своими милостями. Не успела я за ворота выйти, гляжу, едет ко мне Муся из нашей столовой, даже цветиками запаслась. «Поздравляю тебя, — говорит, — пойдём ко мне, у меня жить будешь». А я ее, каюсь, и за человека-то не считала. Ведь вот какой грех. Так и живу у нее, кормлюсь, чем Бог сподобит. По декрету давно уже не получаю, Муся кормит. Золотая женщина и себя блюдет. Ходит тут к ней один, Назар Степаныч, прораб со стройки, хоть сейчас в загс, а она ни в какую. На нем весь грех за Осипа, а она его любила. Вот и не идет. Мне теперь часто видения бывают. Видела маму наемни. Вошла она ко мне под утро, встала у двери, тихая такая, и говорит: «Ты, — говорит, — поплачь, доченька, обо мне, а я твои слезы Осипу отнесу, легче ему будет». Вы, Лев Львович, человек праведной жизни, скажите мне, можно ли раба Божьего, руки на себя наложившего, отмолить? Надо будет, постригусь своей волей, только слово скажите. Остаюсь преданная вам раба Божья Антонина и низко кланяюсь супруге вашей Капитолине Григорьевне.

СУББОТА

Вечер и ночь шестого дня

Свидание с внуком снова выбило Петра Васильевича из колеи.хлопоты его об опеке над Вадимом кончились безрезультатно. Во всех, даже самых высоких, инстанциях в ответ на просьбу Лашкова должностные лица только сочувственно покачивали головами, но содействовать ему отказывались наотрез. И хотя разговор с отцом Георгием в больнице несколько просветил его на этот счет, он все еще не терял надежды добиться своего. Поступаясь правилом, Петр Васильевич написал слезное письмо старому, еще со смутных времен, знакомцу, ходившему теперь в больших деятелях, и вот уже вторую неделю с беспокойным нетерпением ждал от него ответа. Но ответа все не приходило и тревожное бдение его день ото дня перерастало в уверенное предчувствие очередной неудачи. Пожалуй, впервые в жизни, он ощутил в окружающем его мире присутствие какой-то темной и непреодолимой силы, которая, наподобие ваты, беззвучно и вязко гасила собою всякое ей сопротивление. Сознание своей полной беспомощности перед этой силой было для Петра Васильевича нестерпимей всего.

Из дому с некоторых пор Лашков стал выходить редко. Разве лишь за съестным и обратно. Остальное время дня он недвижно просиживал у окна, глядя скорее в себя, нежели перед собой. Петр Васильевич мучительно искал в прожитой жизни тот день, тот час, за который так жестоко и неотвратимо ему и его близким пришлось и приходится расплачиваться до сих пор.

И сколько бы он ни думал, мысль его, покружив по лабиринтам воспоминаний, неизменно возвращалась к тому гулкому утру на городском базаре, когда он оказался у разбитой витрины перед грубо раскрашенным

муляжем окорока: «Неужто все-таки и началось это, неужто с пустяка этакого».

После отъезда Антонины Петр Васильевич долго еще не мог приспособиться к новому ритму домашнего быта. Теперь никто не будил его по утрам и не готовил ему завтрака. Белье и рубашки неделями отлеживались в куче под кроватью, и у него не доходили руки, чтобы отнести их в стирку. Только сейчас, оставшись в одиночестве, он по-настоящему осознал, как много Антонина для него значила и скольким он ей обязан.

Письма, которые она с завидной аккуратностью писала ему, он бережно складывал в бумажник, время от времени доставая их и перечитывая. Жила она с Николаем где-то в среднеазиатской степи, работала на стройке. Дочь подробно описывала ему их теперешнее житье-бытье, беспокоилась о нем, о его здоровье и делах. По всему судя, Антонина была довольна выпавшей ей замужней долей. Радуюсь за нее, он в глубине души ревновал ее к Николаю, постепенно заместившему отца в сердце дочери: «В тираж выходишь, Лашков, скоро совсем никому не будешь нужен».

Возвращаясь как-то из магазина, Петр Васильевич, почувствовавший вдруг головокружение и жаркую слабость в ногах, еле доплелся до ближайшей скамейки в сквере, а отдышавшись, услышал рядом с собою легкое покашливание вперемешку с шуршанием газеты. В беспокойном предчувствии он скосил взгляд в сторону неожиданного соседа и сердце его учащенно задергалось: на противоположном краешке скамейки сидел Гупак, небрежно полистывая свежий еженедельник. Внимание Петра Васильевича не ускользнуло от него. Он мгновенно сложил газету вчетверо и с вежливым вызовом поклонился:

— Здравствуйте, Петр Васильевич. Надеюсь, в полном здравии?

— Пока не жалуясь.

— Слава Богу.

— Не обижает. — Ему хотелось ответить непрощенному собеседнику поглубже, позадористее, но сам не узнал своего голоса, до того вяло и безобидно он — этот голос — прозвучал. — Вашими, как говорится, молитвами.

— Молимся, Петр Васильевич, молимся, — благодарно оживился тот, — не забываем о заблудших.

— А кто заблудший — единолично определяете?

— Нет, зачем же, Петр Васильевич, греха гордыни на душу не берем. Обо всех молимся. И о себе — тоже.

— Не без греха, значит?

— Нет, Петр Васильевич, не нам камень бросать. С нашими грехами только каяться.

— Потому, видно, и не держатся около вас долго? Святость не той кондиции?

— Уж это вы не о дочери ли, Антонине Петровне?

— Ну, хоть и о ней!

— Дочь ваша, Антонина Петровна, — с вкрадчивой проникновенностью молвил тот, — голубиная душа. Такие, как она, от своего, раз взятого не отступятся. — Он опустил глаза. — В каждом ее письме ко мне лишь подтверждение этому.

— Выходит, пишет? — жарко обомлел Петр Васильевич, но почему-то не испытал при этом к Гупаку ни гнева, ни ревности. — Уважила дочка!

— Не судите ее строго, — тот несколько придвинулся к нему, — отец по крови и по духу равны для верующего. Родному отцу, тем более атеисту, не расскажешь того, что поймет лишь духовный руководитель.

— Дело у человека руководителя. — Он старался настроить себя на непримиримый лад, но слова его, едва сложившись, тут же теряли силу. — А все ваше это — блажь, юродство.

— Думаете?

— Да уж знаю.

— Разве можно что-нибудь твердо и наперед знать, уважаемый Петр Васильевич? Любая человеческая жизнь — это Божий мир заново. Как же можно своим глубоко личным знанием постичь другого человека, да еще и заставить его жить по-своему? Человек должен себя менять к лучшему, а не обстоятельства. А вы именно с обстоятельств-то и начали. Обстоятельства вы изменили, а душа человеческая, как была для вас за семью печатями, так и осталась. Вот мы и подбираем к ней ключи.

— Чем же? Байками своими?

— Словом. Добрым словом.

— И получается?

— Это процесс длительный, Петр Васильевич. Иногда и жизни не хватает. Душа постоянного внимания требует. Вот дочь ваша, Антонина Петровна, к примеру...

— Перебродит в замужестве и забудет.

— Все в руках Божьих, — покорно согласился Гупак, встал, сунул газету в карман пиджака и, коротко блеснув в сторону Петра Васильевича золоченой оправой, заспешил. — Спасибо за беседу. Зашли бы как-нибудь. Общение в нашем возрасте полезно. Много проясняет. До свидания.

Обезоруживающая просительность Гупака невольно подкупила Петра Васильевича и он, неожиданно для самого себя, отходчиво пообещал:

— Зайду...

Через минуту Гупака размыло стремительно наступающими сумерками, и, поднимаясь, чтобы отправиться восвояси, Петр Васильевич сам подивился своей уступчивости: «Сдаешь, Лашков, на чертовщину потянуло!»

Город, в котором он родился и вырос, с которым у него было связано все самое памятное и значительное в его жизни, виделся ему сейчас чужим и неприветливым. Даже люди, что попадались ему навстречу, не имели ничего общего с теми, которых он привык видеть до

сих пор. В их походке и рассеянных взглядах сквозила какая-то странная порывистая суетливость. Они словно бы таились от некоей, им самим неведомой погони. Дойдя до самого дома, Петр Васильевич так и не увидел ни одного знакомого или спокойного лица: «Растет город, не уследишь!»

В щели между замочной скважиной и косяком двери торчал уголок конверта. У Петра Васильевича терпко засосало под ложечкой. Он долго не мог попасть ключом в скважину, а когда, наконец, войдя, зажег свет, то облегченно вздохнул: «Ответил-таки».

Товаряц его по смутным временам на Сызрано-Вяземской дороге, дружески упрекая Петра Васильевича за долгое молчание, сообщал ему, что меры в известном направлении уже приняты, что события развиваются благоприятно и что вскоре следует ожидать удовлетворительного для них обоих ответа.

«Есть же люди!» — подумал он. Утерянное было им в разговоре с Гупаком душевное равновесие вернулось к нему и он, снова усаживаясь у окна, тихо и умиротворенно задремал.

И снилось ему, будто идет он нескончаемыми узкими коридорами, а за ним — одна за одной — гулко захлопываются многочисленные двери. Коридоры уводят Петра Васильевича все дальше и дальше, и жуть безлюдной тишины сопровождает каждый его шаг. Внезапно из-за очередного поворота навстречу ему выходит отец Георгий и, вместо приветствия, с соболезнующим укором молвит:

— У меня нельзя отнять того, что во мне и со мной. Вам труднее — вы атеист. Вы идете против своей природы.

И — надо же такому случиться! — Петру Васильевичу нечем возразить больничному своему знакомому. Никогда не испытанное им ранее смятение горькой спазмой перехватывает ему горло.

Пробуждаясь, Петр Васильевич насмешливо поскожалел про себя: «Сны и те с панталыку сбились. Стареешь, Лашков, стареешь, давным-давно на слом пора».

II

Москва встретила Петра Васильевича проливным дождем. Первый за нынешнее лето ливень, навес за навесом, прокатывался по перрону и привокзальной площади, образуя у сточных решеток вкрадчивые водовороты. Город снимал с себя знойное наваждение предшествующих дней и в его слитном еще недавно облике на глазах проявлялись черты и черточки, отличавшие в нем лишь одному ему присущие рисунки и характер. Громоздкие и тяжеловесные строения чередовались с двухэтажными коробками барачного типа, а те, в свою очередь, мирно притирались к дряхлеющим особнячкам прошлого столетия. Улицы растекались по обеим сторонам ветрового стекла, обнажая впереди блистающую дождевой капелью листву зеленой окраины.

Всю дорогу, пока молчаливый, жуликоватого вида шофер, безбожно петляя по многочисленным переулкам, вывозил Петра Васильевича на знакомую улицу в Сокольниках, он так и не смог унять в себе удушливого сердцебиения: «Неладно у нас все прошлый раз получилось, не по-людски».

Известие о смерти брата застало Петра Васильевича врасплох. И не то чтобы оно оказалось для него неожиданным, в таком возрасте это могло случиться с каждым из них в любую минуту, просто он никогда не думал, что тот, особенно после всего происшедшего между ними, даст когда-либо о себе знать: «Адресок-то, видно, берег, не терял из виду. Хотя и случайно, может, кто подобростствовал? И скорее всего».

У знакомого дома Петр Васильевич еще постоял, еще потоптался некоторое время под затихающим дож-

дем, не решаясь войти. Настороженное безмолвие двора носило следы только что отошедшего события: все окна были распахнуты настежь, двери приотворены, а из сеней деревянного флигеля доносилась говорливая суета.

Стоило Петру Васильевичу переступить порог флигеля, как навстречу ему поплыл одиночный причитающий вой. Голос плыл из распахнутой двери братениной комнаты, где за поминальным столом постепенно выявились перед ним несколько сдвинутых друг к другу лиц. Лица дружно качнулись в сторону гостя и одно из них — крупное, белесое, с веселой искрой в глубоко посаженных, василькового цвета глазах — отделившись от остальных, выдвинулось в рассеянный сумрак сеней:

— Привет, Петр Васильевич! Васью уже увозиль. Я понимаю, некарашо это. Но ошень, ошень жарко... Ми вас ждаль. Захожайте. Меня зовут Отто. Отто Штабель. — Он зашел Петру Васильевичу за спину и дружески подтолкнул его вперед себя. — Васью все мы любиль... Васья быль мой кароши товарищ...

При появлении Петра Васильевича в комнате, не поддержанный никем вой захлебнулся так же внезапно, как и возник. За столом произошло движение, лица сблизилась еще теснее, освобождая место для гостя. Он сел, и все взгляды устремились к нему с одинаковым выражением: вот ты, мол, какой, единокровный брат Василя! И пока, рассматривая друг друга, гость и хозяйка в мучительной неловкости ожидали взаимного повода к разговору, вокруг Петра Васильевича бесшумно хлопотала старушонка в потертом и висящем на ней балахоном платье неопределенной окраски. Она щедро обставляла его тарелками, чуть слышно шурша у него над ухом:

— Пожалуйте, сырку вот... Селедочки, пожалуйста... Отведайте студню... Хлебца возьмите...

В услужливой вкрадчивости старухи было что-то хищное, кошачье, и, видно поэтому, Петр Васильевич,

принимая закуски из ее рук, невольно вздрагивал от всякого их случайного прикосновения:

— Спасибо... Я сыт... Спасибо... Это мне много будет... Благодарствую...

Перед третьим заходом из-за стола поднялся невысокий — одно плечо ниже другого — пожилой мужичок и, в упор глядя на Петра Васильевича цепкими глазами, заговорил бодреньким речитативом:

— Первым делом я должен принципиально заявить, что покойный Василий расходился со мной по многим вопросам внутренней и внешней политики. Это факт. — Здесь, явно рассчитывая на высокое взаимопонимание между ним и гостем, он со значением откашлялся. — Однако как жилец могу подтвердить его полную сознательность по другим вопросам. Как-то: ремонт канализации, очистка двора и другие разные работы. В этом смысле у меня к покойному претензий не имеется. Дело свое Василий знал назубок. Но, граждане, не надо забывать о бдительности. Известно, в какое время мы живем. Врагу никакой пощады! Революцию в белых перчатках не делают. — Чувствуя, что зарапоровался, он рассеянно заерзал глазами по сторонам. — Поднимаю этот бокал... Тост, так сказать... Пусть, как говорится, земля пухом... И так и далее и тому подобное... Вечная память, граждане...

Он сел, и ватные плечи его затасканного кителя, густо припорошенные перхотью, вызывающе вздернулись кверху: я мол, сказал, а там — ваше дело. Глядя на него, Петр Васильевич никак не мог отделаться от навязчивого впечатления, что где-то, когда-то он уже встречал это решительное лицо, эти ожесточенные, без света внутри глаза, слышал эту безоговорочную манеру высказываться. И вдруг, как это бывает в минуты предельного напряжения, когда в распавшейся цепи времен внезапно восстанавливается необходимое звено, ему с поразительной отчетливостью вспомнилось зимнее утро на станции, куда он привез опергруппу после кру-

шения в Петушках. Вспомнилось с такой живостью, что у него, так ему показалось, даже зубы повело тою же зубной болью. И сквозь наслоение лет и событий перед ним обозначился медальный облик председателя уездного чека Аванесяна: «Винт тебе выдан не для украшения, а чтобы стрелять и стрелять без всякой пощады». Эта предельная схожесть двух совершенно разных людей показалась Петру Васильевичу знаменательной. Мрачная злость одного и облезлый гонор другого были отмечены пепельным жаром одной и той же неизлечимой порчи, какая изводила их обоих своей иссушающей душу мукой.

После четвертой разговор сделался всеобщим. Гости говорили, нетерпеливо перебивая друг друга, каждый спешил высказаться первым, считая, надо полагать, свое слово самым уместным сейчас и значительным:

— Помянем раба Божия Василия.

— Золотой человек был, Царство ему Небесное!

— Бывало придешь: Вася, сделай! Всегда без отказа.

— Слова от него худого никто не слышал.

— Что и говорить, человек был.

— Помню, — оживленно вскинулась на противоположном конце стола молчавшая до сих пор грудастая баба с расплывшимся, густо подрумяненным лицом, но тут же осеклась, грузное тело ее бессильно оплыло вниз, а взгляд, устремленный к порогу, остеклянел и угас. — Сима!..

На пороге, нерешительно переминаясь с ноги на ногу, стояла женщина. Хрупкую, почти девичью фигурку ее невесомо облегал красный целлулоидовый плащик, цветы в руках, тронутые недавним дождем, трепетно подрагивали. Волнение растекалось по остреньким скулам гостьи белыми пятнами, явственно выявляя на них легкую путаницу устойчивых морщин. Если бы не они — эти морщины — женщину и впрямь можно было бы принять за подростка, до того угловатым и несложив-

шимся все в ней выглядело. Обведя застолье серыми с влажным мерцанием в самой глубине глазами, она жалобно улыбнулась и опустила голову:

— Здрaсте...

Говор в комнате разом стих, лица напряженно вытянулись и застыли, но уже через мгновение замешательство сменилось беззвучным плачем, от которого Петру Васильевичу сразу же стало не по себе. Гости, не двигаясь, плакали в пространство перед собой, где в головокружительной высоте прошлого парила похожая на подростка женщина в красном целлулоидовом плащике, с облитыми дождем цветами в руках. И Петра Васильевича вдруг озарило, что сидящие рядом с ним за столом люди оплакивают сейчас что-то куда большее, чем его брат.

— Идѐм, Петр Васильевич, — тронул его за плечо Штабель. — Женский дело плакайт.

Они вышли в безлюдный и мокрый после дождя двор. Отощавшие облака проплывали над крышами. В редких между ними польнях вечеряющего неба намечались первые звезды. Волглый ветер вязко сквозил в листве тополей вдоль тротуаров, расплескивая окрест окрепшие в сыром воздухе локомотивные гудки и лязг сцеплений с товарной станции, расположенной по другую сторону улицы.

Уже у калитки их нагнала та самая старушонка, что обслуживала Петра Васильевича за столом:

— Вы уж далеко не пропадайте, — заискивающе зашелестела она, — неудобно перед гостями.

— Ладно, — снисходительно бросил ей через плечо Штабель, направляясь к парку. — Мы немного погуляй. — И уже по дороге объяснил спутнику. — Это Люба... Жена Левушкина... Сам Ванья давно пропаль... Совсем старий стала...

Под влажный шорох парковых тополей Штабель и рассказал Петру Васильевичу историю двора, в котором брат его Василий провел большую часть своей невесе-

лой жизни. Вместе с Отто он заново пережил короткую пору любви Симы Цыганковой и Левы Храмова. Изложил ему австриец и подноготную Никишкина, того, оказалось, самогс, что говорил за столом речь. Об исходе семьи Горевых в их разговоре было упомянуто вскользь, но по тому, с какой бережностью произносил тот имена ее членов, в особенности имя Груши, Петр Васильевич, определил, чего это Штабелю стоило.

— Ссилька я отбил... Москва не хочу. Сибирь мой семья. Дети взрослых... Дом есть, кароший работа... Старый я уже, могиля скоро... Пора домой, Петр Васильевич. Там — гость...

Около дома они лицом к лицу столкнулись с крошечной старушкой в темной панамке, надвинутой на самые глаза. Старушка стояла у ворот, уставясь в землю и о чем-то бормоча себе под нос. Сморщенное личико ее при этом выражало крайнюю и, видно, постоянно снедающую ее озабоченность.

— Привьет, Марья Николаевна! — огибая ее, почтительно поклонился Штабель. — Добрый здоровий.

Та и ухом не повела, продолжая одной ей ведомый разговор с самой собою. Уже во дворе австриец, опасливо оглядываясь, пояснил Петру Васильевичу:

— Бивший хозяйка этот дом. Шоколист фамилий. Сто льет будьет. Жива еще... Здоровий женщина. Очень здоровий. — Штабель восторженно покачал головой, словно бы сам удивляясь живучести и долголетию бывшей хозяйки. — Какой есть люди! Откуда в ней такой здоровий!

Ночлег им обоим Люба устроила в комнате Василия. Быстро и бесшумно она соорудила для них на добела выскобленным ею же полу две постели, перекрестила их на сон грядущий и, выходя, предупредительно обратилась в сторону Петра Васильевича:

— Коли чего понадобится, постучитесь в пягую. Я подбегу и все сделаю.

Темь сразу же заструилась в комнату легким ше-

лестом дворовой листвы, сквозь которую смутно проглядывало звездное небо. В ночной тишине отчетливо выделялся голос пьяного Никишкина, колобродившего в своей квартире на втором этаже дома рядом:

— Ты, старая падла, имеешь понятие, с кем живешь? А? Полное представление имеешь? А? Я тебя, карга, научу свободу любить!.. Чего?.. А десять суток строгого, с лишением прогулок и передачи не хочешь?.. Молчать! У меня с социально-опасными разговор короткий. Пулю в лоб, и ваших нет... Молчать! Как стоишь?! С кем разговариваешь, твою мать?!..

С этим Петр Васильевич и заснул. И снилось ему...

III

ВИДЕНИЕ ПЕТРА ВАСИЛЬЕВИЧА...

Аванесян сидел на скамье, спиной к жарко натопленной лежанке, и, тесно к ней прижимаясь, силясь, казалось, влиться в нее, в ее тепло и надежность. Но печь, видно, не согревала гостя. Костистые плечи его зябко подергивались, а носатое лицо то и дело искажала короткая гримаса: председателя уездной чека трясла гремячая, вывезенная им еще с родины, лихорадка.

— Ты мне таких писулек больше не пиши. — Темные глаза гостя, подернутые болезненной желтизной, смотрели куда-то мимо Лашкова в заснеженное окно и дальше — в ночь. — Подумаешь, трагедия — спецу зубы выбили! Не слиняет. Они нас не жалели. Обер в тебе, Лашков, сидит, аристократ путейский, законник. Порастряс ты в классных вагонах пролетарское самосознание. Перерождением начинаешь чадить.

— Если бы по злобе, тогда понятно, не выдержал мужик, — пробовал ему возразить Петр Васильевич: чем-то, он еще не осознал, чем именно, гость вызывал

в нем раздражение и неприязнь. — А то ведь из жадности, с целью грабежа, на золото позарился. А там золота в этих зубах, — разговор один! Зато толков по всей дороге — не оберешься. И больше — не в нашу пользу.

— Плевать нам на разговоры! Собака лает — ветер носит. — Откровенная, чуть ли не брезгливая насмешливость прослушивалась в тоне Аванесяна и она — эта насмешливость — окончательно выявила для Петра Васильевича природу его давней к нему неприязни: Лашкову претила манера предучека разговаривать с собеседником так, словно он — Аванесян — знал что-то такое, что другим знать не положено да и не дано. — У меня достаточно способов заткнуть глотку говорунам. — Он даже не старался скрыть своего превосходства над хозяином. — Парамощина я знаю, пролетарий до мозга костей. Такие, как Парамощин, и есть движущая сила революции. И в обиду я его не дам.

— Ты, Леон Аршакович, человек здесь новый, больше понаслышке знаешь. — Чувствуя, как злость протеста захлестывает его, он уже не сдерживал себя. — Ты спроси у кого хочешь, кто такой Парамощин? Пьяница и бездельник, вот кто он такой. Горлопан к тому же. И трус. Его только ленивый и не бил в Узловске. С такими революцию делать — стыд один.

— А с кем же ты ее делать собираешься, Лашков? — Тон Аванесяна становился все грубее и насмешливее. — С гимназистами, что ли? Или с теми очкариками, что в эмиграции в библиотеках упражнялись, философские статейки под кофей пописывали? Нет, брат, шалишь. С этими интеллигентами только чай пить интересно. Больно складно языками чешут. Им только волю дай, они любое дело заговорят. Нам не до философских баек сейчас. Кто — кого, вот и вся философия. Революцию мы с парамощиньими делать будем, Лашков. Пока очкарики думают, чего можно,

чего нельзя, парамошины дело делают. Без слюней, без лишних разговоров делают. А что он себя не обижает, — это его классовое право. Свое вековое берет. По крайней мере, я знаю наперед, чего от него ждать. Он для меня ясен — Парамошин. А вот ты, Лашков, нет, не ясен.

— А не боишься?

— Чего?

— Парамошина.

— С какой стати?

— Съест он. И тебя, и всех съест.

— Ну, это мы еще увидим, у кого быстрее получится. — Желваки на его скулах ожесточенно напряглись. — Скрутим, когда понадобится. А не скрутим, значит, не по плечу ношу взяли. Он тогда сам со всеми рассчитается. За всё.

— Ему, Парамошину, никто еще не задолжал. Всем в городе с него причитается.

— Он не за себя, он за класс будет спрашивать. У него историческая ответственность, а ты все на свете своим уездом меряешь, Лашков.

У Петра Васильевича отпала всякая охота продолжать спор. Он чувствовал, что все равно не сможет пробиться к сознанию гостя сквозь непонятное ему отвлечение того ко всему, связанному с недавним прошлым. И хотя Лашков несколько не жалел о поданном в учека рапорте, зряшность своего поступка представлялась ему теперь бесспорной.

А случай был действительно ни с чем не сообразный. Препровождая в Тулу бывшего управляющего Узловским депо Савина, конвоир Тихон Парамошин, известный в городе дебошир и гуляка, выбил подконвойному рукояткой револьвера оправленную золотом челюсть. О происшествии Петру Васильевичу доложил кондуктор, сопровождавший вагон, где в отдельном купе Парамошин стерег связанного по рукам спеца. Власть Петра Васильевича на уездных работников не

распространялась и единственное, что он мог сделать, это написать докладную Аванесяну. Сигнал его был оставлен без последствий, но тот, как оказалось, не забыл об этом, приберег до поры.

— Но, в общем-то, я к тебе не за этим, — помягчел гость и потянулся в карман за кисетом. — Просто шел мимо, — облава тут у нас была, — дай, думаю, зайду, посмотрю, как нынче комиссары живут. — Он неспеша набил трубку, прикурил, глубоко затянулся и сквозь дым впервые за весь вечер взглянул прямо на хозяина. — Небогато, Лашков, небогато.

— Как все. Время трудное.

— Как все, говоришь? — Прежняя усмешка сказалась в нем. — Мы не для того брали власть, чтобы жить, как все. Мы не чужое — свое берем. Берем то, что по праву нам принадлежит. По праву победителей. Оставим аскетизм женевским идеалистам. Пусть они глотают свою осьмушку, мы ею наглотались в царских тюрьмах, мы люди из плоти и крови, и в наивную коммунию играть не собираемся. А у тебя, я гляжу, всех ценностей — комиссарова жена.

— Не за комиссара шла, — чуть слышно отозвалась Мария, орудуя ухватом, — за хорошего человека.

— Везет людям! — зябко поежившись, осклабился тот. — Какую королеву отхватил. А вот мне по этой части никогда не везло. Как говорится, образом не вышел. Один нос чего стоит! А уж я так старался. Услыхал, к примеру, что попы хорошо живут, в семинарию подался. Думал, буду много денег получать, любая пойдет.

— И что, — снова отозвалась от печки Мария, — состоялось у вас счастье?

— Меня скоро выгнали.

— А коли б не выгнали?

— Нет, наверное. Никто бы не позарился. Деньги

— мусор. Власть дает право на все. Теперь вот — сами просятся. Недавно тут одна заявилась...

— Не надо, — умоляюще вздохнула женщина, — не надо... Не по-людски это...

— Ладно. — Аванесян решительно поднялся и, старательно избегая ее взгляда, сделал шаг к выходу. В его поспешности было что-то суетливо-жалкое. — Хорошенького понемножку, погрелся, пора и честь знать. — От порога он повелительно кивнул Петру Васильевичу. — Проводи.

Крупный медленный снег сыпал над городом. Со станции тянуло горечью остывающего шлака. Тишина, изредка прерываемая паровозными гудками и собачьим лаем, казалась безмятежной и умиротворяюще прочной.

— Пока, Лашков! — поднял воротник добротной бекеши Аванесян. — Мой тебе совет: не пиши ты больше мне докладных. Все равно читать не буду. На твою докладную Парамошин уже целых три навалял. И таких, что тебе для высшей меры и одной за глаза. На твою вдову много охотников найдется. — Он коротко хохотнул. — Лучше поберегись, Лашков.

Снежная завеса разгородила их и, глядя вслед гостю, Петр Васильевич с облегчением посожалел про себя: «Немного, видно, ты счастья нажил у власти сидя, председатель, ой, как немного! Только хорохоришься».

Еще в сених, стряхивая с себя искристую порошу, услышал он доносившееся из горницы шёпотное бормотание жены: «Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его... Они не делают незакония, ходят путями Его... Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих...»

И впервые за их недолгую, но богатую событиями совместную жизнь Петр Васильевич постеснялся перебить жену за этим ее занятием: «Каждому свое, пускай отведет душу».

Как-то среди дня, по дороге в столовую Лашкова окликнул знакомый голос:

— Доброго здоровья, Петр Васильевич! Зашли бы. Посидели бы мы с вами в тенёчке по-стариковски.

Из-за штaketника дома, мимо которого он в это время проходил, радушно сиял в его сторону одетый в рабочие обноски Гупак.

После того случайного разговора в сквере у Петра Васильевича возникло и постепенно укрепилось смутное предположение, что тот намеренно, с каким-то еще необъяснимым для него умыслом, ищет с ним встречи. Поэтому сейчас, ответно кивнув, он решил, как, впрочем, и всегда в подобных случаях, двинуться навстречу неизвестности:

— Отчего же не зайти? Зайду.

В садике при доме Гупак оказался не один. Здесь же, над раскидистым кустом крыжовника возился сухонький, подтянутый старичок в соломенной шляпе и сандалиях на босу ногу. Старичок четко, по-военному приник кончиками пальцев к полям шляпы и затем снова углубился в свое занятие.

— Владимир Анисимович, — представил того хозяин. — Большой любитель всякой растительности. Тоже наш брат — пенсионер. — Он почтительно увлек гостя к навесу в дальнем углу двора. Ковыряемся понемножку. Черенки, прививки разные... Вот сюда, пожалуйста, здесь прохладнее... Сейчас я вам кваску достану... Один, знаете ли, хозяйничаю, супруга в отъезде.

Гупак скрылся в доме и вскоре вышел оттуда с пластмассовым бидоном и кружкой в руках:

— Угощайтесь... Свой... Прямо из погреба. — Он опустил прямо против Петра Васильевича. — Жарко.

— Спасибо... Да, сушь.

— Для сада хорошо. А в поле сохнет все. Большой, говорят, недород ожидается.

— Не такое было. Выдюжим.

К столу подошел старичок, сел, положил перед собой садовые ножницы, снял шляпу, обмахиваясь ею, сказал:

— «Выдюживать» следует при непосильных обстоятельствах. А наши нынешние неурожаи — результат нерадивости и лени. Никаких объективных причин тут нет. При современном уровне сельского хозяйства в мире, стыдно нам ссылаться на стихийные неурядицы. Тем более, в стране со столькими климатическими зонами. — Казалось, в свое время его рассердили однажды и навсегда, весь он являл собою воплощенное раздражение. — Считаем себя европейской страной, а земледелие ведем на африканском уровне. Послушаешь наших деятелей, так стихии преследуют одних нас. Причем, стихии выборочные. Извержения, землетрясения, цунами, дорожные катастрофы это — там. А у нас только засухи и непогоды. Надежное утешение для болтунов. Или, скажем, еще — война. Будто одни мы и воевали! Французы нам мясо продают! А мы-то, с нашими ресурсами и возможностями! Стыдно, уважаемые.

— Все-таки, полстраны порушилось, — осторожно возразил ему Петр Васильевич, ошарашенный его внезапным натиском. — Что ни говори, с другими не сравнить.

— А кто виноват?! — Старичок, взвываясь, даже подскочил от ожесточения. — Кто виноват, что Российское государство на протяжении двух веков проигрывало одну войну за другой? Если две из них и были выиграны, то лишь благодаря безответному нашему мужику. Можно сказать, вопреки государственному устройству и кадровой армии. Двухсотмиллионный народ не смог выдержать первого боя со страной в несколько раз меньшей! Из-за политической сле-

поты головки, напыщенного бахвальства военных и их глупости, глупости и еще раз глупости! — Старичок прямо-таки задыхался от гнева. — Занимали западные окраины без выстрела, играли в «победы» на маневрах, а когда пришлось действительно воевать, то военного министра моточасти еле выловили под Смоленском вместе с его штабом, так драпал. Его заместитель, удирая без оглядки, солдатскую робу на себя напялил, а все свои регалии с документами вместе зарыл где-то в ростовской степи. А главный мыслитель неделю еще пил в ожидании мировой революции в тылу у противника. Каким же бездарным и самонадеянным надо быть, чтобы на это рассчитывать! А ведь в это время земля горела. Кровь лилась, и совсем не та «малая», что запланирована была. Спасибо мужику, снова выручил. Победили. Один к шести победили! Да за такие победы народу памятники надо ставить, а генералов судить военно-полевым судом. А они еще наглости набираются, мемуары пишут. «Левый охват», «правый охват», «котел», «клещи»! словно балерины кокетничают, кто из них первый. Стратеги, сукины сыны! Бросали людские массы на пулеметы. Да еще и заградительные отряды сзади ставили. Двадцать миллионов положили. Германию ту заново заселить можно. И хоть бы чему-нибудь научились! Снова обвешиваются железками и пыжуются на парадах: «разгромим», «раздавим», «дадим отпор»! Без выстрела европейские задворки оккупировали и хвалятся: «операция экстракласса»! Забыли, как из той же Западной Украины бежали, сломя голову, когда там не прогуливаться, а воевать пришлось. Недоумки в погонах! А платить за их подлую глупость опять русскому мужику придется. Кровью платить. И какой!

— За столом — все наполеоны, — после короткой паузы неуверенно откликнулся Петр Васильевич. — В деле-то оно куда труднее будет.

На иссеченном возрастом худеньком лице старич-

ка не дрогнул ни один мускул. Он только соболезнающе пошарил по собеседнику зоркими глазами, встал, напялил шляпу, взял ножницы со стола, но прежде чем отойти, неожиданно спокойно объявил:

— Я в войну корпусом командовал, уважаемый! Стрелковым корпусом, заметьте. И если сужу, то сужу и себя.

Сказал и пошел, оставляя Петра Васильевича наедине с Гупаком и собственным смятением. Хозяин поспешил к нему на помощь.

— Его можно понять, Петр Васильевич. Все близкие Владимира Анисимовича погибли в блокаду. Он преподавал тогда тактику в Академии. Сам выпросился на передовую. Всю войну, можно сказать, в окопах. Жена у него отсюда родом была, вот он и приехал старость доживать.

— Что же, один живет?

— Женщина с ним чуть помоложе его. Медсестра бывшая из его части. Ухаживает за ним.

— Рассердился, видно?

— Что вы, Петр Васильевич! Это он только, когда на конька своего сядет, а так — святой души человек. У него в доме постоялый двор. И проходящий, и проезжающие, все пользуются. Рубаху готов для первого встречного снять. Редкостное сердце.

— Выходит, и атеист может по совести жить? — не удержался он, чтобы не уязвить хозяина. — Вот пример.

— Вы неправы, Петр Васильевич. — В его как бы виноватой интонации чувствовалась спокойная твердость человека, для которого всякое произнесенное слово имеет определенную цену и вес. — Истинного атеиста ничто не волнует. У него нет проблемы: есть Бог — нету Бога. Атеист живет растительно, ни над чем не задумываясь и ничего не переживая. Как только он задумается, он на пороге к Господу. Человек может считать себя неверующим и все же жить в Боге. Есть

молитва делом. Эта молитва тоже доходит. И если вы, сами того не ведая, живете по законам Евангелия, то ваша душа уже приобщена. Здесь нужен лишь последний прорыв, чтобы осознать себя в Боге. Кстати, вы поспешили с заключением: Владимир Анисимович — верующий.

— Зачем ему это? — Обескураженный новостью, он невольно потянулся взглядом в ту сторону, где отставной генерал сосредоточенно подрезал садовый кустарник. — Чего ему не хватает, всего вроде достиг.

— К Господу по-разному приходят, Петр Васильевич. Не от бедности, не от богатства — от чистоты сердца. Вот, к примеру, ваша дочь Антонина Петровна...

— Слава Богу, прошло! — Резкость, с которой он прервал Гупака мгновенно обнажила в нем давно вызревшую ревность. — От скуки это у нее было. Без мужика бесилась. Поживет в другой стороне, совсем забудет... Ладно. — Он поднялся и заспешил. — Спасибо за квас.

Все с тою же радушной готовностью Гупак провел гостя мимо старичка, слегка кивнувшего ему на прощанье, к калитке и, помяв его руку в своей, со значением заключил:

— Заходите. Что одному-то дни коротать? Каждый день ведь мимо ходите. Владимира Анисимовича, если разговорить, заслушаешься. Да и другие люди заглядывают. Тоже занятный народ.

— Спасибо, — уже на ходу облегченно бросил Петр Васильевич, направляясь к дому. — Загляну как-нибудь.

Засыпая в эту ночь, он долго ворочался с боку на бок, вспоминая подробности своего захода к Гупаку. Ощущение недоговоренности, сквозившей в речах Гупака не покидало Петра Васильевича, заставляя его

снова и снова возвращаться мыслью к состоявшемуся между ними разговору: «Неспроста это у него, ой неспроста!»

В этом беспокойном недоумении Петр Васильевич и заснул. И приснилось ему странное, ни на что не похожее здание с уходящим в темную бездну потолком. В поисках выхода он подряд открывал попадавшие ему на пути двери, но за каждой из них возникала глухая стена. Потом где-то впереди него замаячил свет и Лашков побежал к нему с надеждой и облегчением. Он бежал и слышал за собой топот множества ног. Свет все приближался и приближался, а топот становился все громче и громче. Страх преследования сделал его тело невесомым и он взлетел над лесом тянущихся к нему рук. И в тот момент, когда, казалось, у него уже не оставалось надежды и жадные пальцы должны были дотянуться до него, до его тела, вдруг обретшего тяжесть, — свет принял его в себя. Он оказался на огромной пустынной площади, посреди которой сидела безногая нищенка и протягивала ему навстречу руку за подаванием. И вдруг лицо ее, приближаясь, разросло перед ним и заслонило собою все кругом. В смятении и огне прозрел Петр Васильевич в нем — в этом лице — знакомые черты своей Марии. Но едва он потянулся к ней, лицо мгновенно растворилось, исчезло, высвобождая для взгляда все то же странное здание, с уходящим в темную бездну потолком. Он силился крикнуть, позвать кого-либо, кто бы помог ему снова выбраться наружу, но рот его лишь беззвучно раскрывался в исступленной немоте...

Разбудил Петра Васильевича стук почтальона, вручившего ему под расписку срочную телеграмму от брата: «Женюсь. Приезжай. Андрей».

Сон Петра Васильевича сняло, как рукой. «Ишь что удумал на старости лет, чёрт лысый!»

Мокрые после дождя ночные сосны развернулись навстречу Петру Васильевичу, едва он свернул со станции в лес. Коротать ночь на вокзале он не стал и, хотя ему предстояло километров около пяти освещенной лишь звездами дороги, неспеша двинулся по обочине слякотной колеи. Но стоило Петру Васильевичу углубиться в лес, как позади него послышался натужный скрип колес и слабое пофыркивание медленно бредущей лошади. Вскоре с ним поравнялась подвода, с которой его сразу окликнул сонный голос:

— Ай человек?

— Вроде.

— В какую сторону?

— В лесничество.

— Чего там забыл?

— К Лашкову... Андрею Васильевичу...

— А ты не брат евонный, часом?

— Вроде.

— Эх-ма! А я пять, считай, поездов пропустил, тебя дожидаячи. — Бесформенный силуэт на передке подводы пришел в движение. — Садись-ка... Дай-ка я тебе сенца подоткну, дорога тряская... А я и смотрю, кто это, на ночь глядя, в лесничество собрался?.. Сел? Поехали... Пошел!

Переваливаясь с колеса на колесо, телега медленно тащилась сквозь влажную темь. В лицо веяло упругой сыростью, с ветвей, свисавших над дорогой, то и дело осыпалась дождливая изморось. Возница лениво, словно нехотя, понукая лошадь, поинтересовался между делом:

— Куришь?

— Не балуюсь.

— Эх-ма! А я, было, думал городской папироской на дармовщинку побалуюсь. Придется своего «вырви

глаз» завернуть. — Повозившись в темноте, он чиркнул спичкой, затянулся. — Андрей-то Васильич тебя еще вчера ждал. Цельный день на станцию сам гонял, а нынче меня вот снарядил... И Сашка тоже сама не своя. Зверь баба, а тебя дюже боится. Говорит, партийный. А партийный, дак что, кусается, что ли?.. Как мужик у ней помер, так и осталась с пятерьми одна. Андрей-то Васильич, говорят, сызмала за ней ухлестывал. Да и она по нем, вроде, сохла. Давно бы ей своего мужика бросить. Он у ей одно название был. Пил смертно и вобще — инвалид войны. Да ить Саша баба такая, все терпела — не бросила, не пошла против совести... Не та, конечно, у них теперь пора, только все одно — дело хорошее, что сошлись... Но!

Усадьба лесничества встретила их безлюдной тишиной. В доме светилось лишь одно окно и то в нежилой, конторской половине. Осаживая у крыльца, возница снисходительно успокоил Петра Васильевича:

— В деревню догуливать пошли. Надо думать, скоро будут. Не то я обернусь, покликаю. Здесь рукой подать... Валентину, видно, стеречь нас оставили.

В конторе они и впрямь застали мирно дремавшую за столом горбатенькую девочку лет пятнадцати в накинутом на плечи старом мужском пиджаке. Умостившись веснушчатой щекой на сложенных перед собой ладонях, она безмятежно посапывала во сне, всею неудобной позой своей — одно плечо в стол, другое выдвинуто вперед — излучая хрупкую, надолго застоявшуюся в ней детскость.

— Валентина! — На свету возница оказался крепким коротконогим мужичком, небритое лицо которого с насмешливо опущенными книзу уголками тонких губ было помечено, казалось, вьевшимся в каждую черточку озорством. — Валентина!

Под его осторожной рукой девочка чутко встрепенулась, открыла глаза, вскочила, уронив с плеч пиджак, и стала смущенно одергиваться:

— На деревне все... Меня тетя Шура специально оставила... В случае чего, прибежать велела... — Она извинительно зарделась в сторону гостя. — Вы уж тут с Егором Иванычем... — Я — быстро.

Но побежать в деревню ей не пришлось. За окном, в далекой глубине ночи вдруг возник и, приближаясь, заполнил тишину протяжный наигрыш трехрядки. Нестройные голоса, перебивая друг друга, пытались сложить «Когда б имел золотые горы», но песня не складывалась и певцы в конце концов умолкли, снова уступая место гармошке.

Егор удовлетворенно подмигнул Петру Васильевичу:

— Идут!.. Изрядно нагулялись... Ишь, выделяются! Видно, Савельич своего, крепленого поднес...

Сидя на скамейке у двери, Егор рассматривал гостя с откровенным любопытством человека, от которого ничего не скроешь и которому заранее все о собеседнике известно. Его вызывающая насмешливость коробила Петра Васильевича и он, чтобы хоть как-то преодолеть возникшую в нем неприязнь к мужику, угрюмо спросил:

— Здесь, у Андрея работаешь?

— Везде помаленьку, — озорно осклабился тот, — и здесь, и в колхозе — тожить. Как придется.

— Поденно значит?

— И поденно тожить.

— Хватает?

— Когда как. День калачи, день на печи.

Где-то уже на усадьбе гармошка, в последний раз вскрикнув, смолкла, и под самым окном закружились голоса:

— Открывай, мать.

— Посмотри, Егор тут ли?

— Андрюха, лошадь на месте.

— Заходите, заходите, я — сейчас.

Голоса переместились в дом и вскоре окончательно окрепли за стеной.

— Садитесь... Садитесь, гости дорогие... Рассаживайтесь... Чем богаты, тем и рады...

— Пьяного да уговаривать!

— И так уж хорош, миром бы посидел. Всю не выпьешь.

— Не скрипи, Наталья, в кои-то веки у нашего брата свадьба. Опосля ить не нальете.

— Маша, потяни-ка скатерку на себя.

Выделившись из темноты конторских сеней, Андрей счастливо засиял и с пьяно раскинутыми в стороны руками пошел на брата:

— Вот удружил!.. Вот удружил, Петёк!.. Век не забуду!.. Пойдем... Пойдем за стол. — Андрей тискал Петра Васильевича, увлекая его за собой к выходу, но перед тем, как выйти, бросил через плечо. — Егор, распряги и приходи... Поди помоги тетя Шуре, Валюшка.

Появление Петра Васильевича перед застольем вызвало среди гостей замешательство. Гости замерли, выжидающе уставясь в его сторону. Андрей, подталкивая его сзади, приговаривал:

— Входи, входи, Петёк, здесь все свои... Входи, не стесняйся... Будь, как дома.

И здесь, в полной тишине из-за стола поднялась и легко поплыла к гостю начинающая полнеть женщина с лицом уверенным и властным, в которой он сразу же безошибочно признал Александру. Немного не доходя до него, она почтительно переломилась надвое в земном поклоне и, распрямляясь, молвила без тени смущения или замешательства:

— Милости просим, Петр Васильевич, за наш стол. Будьте нам гостем дорогим.

Выдержки, по всему судя, ей было не занимать, спокойствие ее выглядело неподдельным. Но в том, как вслед за сказанным упрямо отвердели ее полные губы, Петр Васильевич почувствовал вызов и предо-

стережение: мы тоже, мол, с характером. «Да, этой пальца в рот не клади, — одобрительно оценил он ее самостоятельность, — такая в обиду себя не даст. И мужа — тоже». Он сел, и застолье словно прорвало. Все заговорили разом, избывая в слове собственную неловкость перед гостем:

— Штрафную Петру Васильевичу!

— Нет уж, ты ему сначала красненького, а то задохнется без привычки... Вот это дело!

— Пей до дна, пей до дна, пей до дна!

— Пошла!

— Теперя — закусь.

Его заставили повторить. Он выпил и потом, уже не помня себя, опрокидывал одну за одной под одобрительный говор гостей, и не пьянел при этом, а лишь наливался мутной, давящей затылок тяжестью. Мир постепенно принимал очертания скошенные и расплывчатые. Петр Васильевич час от часу добрел, умиляясь всякому лицу и слову. Из-за покатога плеча невесты на него с веселой лаской смотрела горбатенькая Валентина, чем-то, наверное, тихой своей услужливостью, напоминала она ему Антонину или даже Марию тогда, в далекой молодости. Он ответно улыбался Валентине, давая ей тем самым понять, что ценит ее к нему внимание и со своей стороны к ней расположен. И Егор, выбивавший в эту минуту пыль из половиц, казался Петру Васильевичу милягой-парнем, с которым он хоть сейчас готов обняться по-братски и выпить еще. Да и каждый за столом, на ком бы ни остановился его взгляд, отличался какой-то одному ему присущей привлекательностью.

В разгар веселья Александра, улучив момент, подседа к Петру Васильевичу и стала поспешно, чтобы никто не услышал, оправдываться:

— Вы не думайте, будто я Андрею Васильевичу навязалась. Я своих пятерых и без него обихожу. Муж-то у меня вроде шестого был: что с ним, что без него.

Одна управлялась, занимать не ходила. Захочет он — в любой день уйду. Опять же ему одному тоже не сладко. Ни постирать, ни приготовить. Всю жизнь всухомятку. Жалко мне его очень. По его бы характеру золотую бабу впору. Цены ему, охлоному, нету. — Она помолчала и вдруг прорвалась. — Невезучие мы с ним, ох, невезучие! Три десятка лет друг около друга толклись, а сходимся, когда уже о душе думать надо. Лучшие годочки по ветру разлетелись!.. Эх! — Ее словно подбросило с места, она сорвалась и вышла в круг. — Не пожалей, Вася, для меня гармошки!

Я любила тебя, миленький,
Любить буду всегда,
Пока в морюшке до доньшка
Не высохнет вода.

Александра плыла по комнате, полузакрыв глаза, и несломленное возрастом гордое тело ее упруго подрагивало под цветастым, сильно расклепанным платьем. Запевая, она смеялась и плакала, и в этом ее смехе, и в этих слезах сказывалась вся ее последняя, отчаянная надежда, хотя бы напоследок отвоевать у судьбы свою долю немолодой бабьей радости:

Выйду в поле по тропиночке,
На берег погляжу.
Выпей, милый, по кровиночке,
Я слова не скажу...

— Смотри Петёк! — с восторженным жаром дышал на ухо брату Андрей. — Разве ей её годы дашь? Королева!.. Вот и мне посветило на старости.

— Дай тебе Бог, Андрюха! — блаженно растекаясь, Петр Васильевич бережно оглаживал руку брата, свисавшую у него с плеча. — Дай тебе Бог...

Ночь вкрадчиво шелестела за окном мокрой лист-

вой, сквозь которую заглядывали в комнату резкие, словно бы умытые звезды.

Говорят, что непригожа я,
А ты совсем рябой.
Будто нитка за иголочкой
Пойду я за тобой.

Не сводя с Александры осоловевших глаз, Петр Васильевич прозревал в ней другие черты, в другую, теперь уже почти забытую им пору...

VI

ЕЩЕ ОДНО ВИДЕНИЕ ПЕТРА ВАСИЛЬЕВИЧА

В это утро Петр Васильевич проснулся мокрый от пота и с головной болью, клещами стиснувшей ему виски. Сомнений быть не могло: езда по дороге, забитой тифозными составами, давно научила определять первые признаки сыпняка. «Не ко времени угораздило тебя, Лашков, — огорчился он про себя, — совсем не ко времени».

За окном вагона колобродила вьюга. Она мела уже третьи сутки, не переставая, и конца ей, судя по всему, не предвиделось. Третьи сутки спецпульман Лашкова одиноко торчал в открытом поле где-то между Скопным и Ряжском. В спальном купе их обитало двое: он и его помощник Веня Крюков. Веня сладко храпел по соседству, и от одной мысли, что тому теперь придется возиться с ним, и в результате они могут свалиться оба, Петру Васильевичу становилось худо: «Надо бы спровадить его от себя, рано ему еще отходного играть».

— Веня! — тихонько окликнул он. — Веня!

Тот, привыкший за дорогу к неожиданным побудкам, откликнулся сразу, будто и не спал вовсе:

— Ты чего, Петр Васильевич?

— Вроде... того... заболел я.

— Может, продуло? — тревожно напрягся Веня.

— Сейчас мы кипяточку сообразим.

— Нет, Веня, тут кипяточком не обойдешься... Ты бы перебрался от меня к паровозникам... Оно так надежнее.

— Думаешь, тиф?

— Он... Все, как по-писанному... И жар... И голова чугунная... Соображай... Поберечься тебе надо.

— Это где же я поберегусь, Васильич? — Веня хмыкнул покровительственно. — В степь, что ли, ночевать уйду? На паровозе не побережешься много. Вша-то она все равно найдет. Давай-ка лучше собираться.

— Куда, Веня?

— А это, куда поведу, туда и пойдешь. — Он уже одевался. — До первого обходчика доберемся, а там видно будет. Я сейчас к паровозникам сбегая, приведу кого-нибудь на подмогу. Один я с тобой не слажу, уж больно ты, Васильич, здоров. Да и ветер...

Вскоре Крюков вернулся с молоденьким кочегаром Тимошей Самсоновым, известным в Узловске своим круглым сиротством и забитостью. Тимоша заглянув на Петра Васильевича, поморгал сонными глазами, тихо сказал:

— Ничего.

Вдвоем ребята быстро и вдумчиво оборудовали Петра Васильевича для предстоящего похода. Руки у Тимоши, против ожидания, оказались цепкими и сильными, чувствовалась кочегарская выгучка. Парень ловко подвел крепкое свое плечо ему под мышку и уверенно двинулся к выходу, осторожно волоча его за собой. При этом кочегар время от времени приговаривал:

— Ничего... Ничего... Ничего, дядя Петя...

Метель, казалось, обезумела окончательно. Вьюжная крупа соединила землю и небо сплошной гудящей стеной. Поезд пропал из вида, едва они отошли от него несколько шагов по наполовину заметенному полотну. Каждый следующий шаг давался им все с большим трудом. Петр Васильевич чуял, что ноги перестали слушаться его. Он все чаще повисал на плече Тимоши, не в силах стронуться с места и, наконец, обезножил совсем. Тогда, сменяя друг друга каждые пятьдесят-сто метров, ребята понесли его на себе. То и дело впадая в забытье, Петр Васильевич в полубреду явственно различал впереди очертания близкого жилья с дымящимися над ним трубами, но сознание вновь возвращало его в беспросветную коловерт метели и тогда он с трудом складывал горячечными губами:

— Заплутаем... Вернуться бы.

— Ничего, — хрипел, поворачивая к нему обмороженное лицо, кочегар. — Ничего.

Они бы, наверное, так и не заметили сторожки при дороге, если бы Тимоша не споткнулся о настил переезда и не упал, увлекая за собой и Петра Васильевича.

— Добрели! — возбужденно кричал Веня, помогая им подняться. — Погодите маленько, я посмотрю. Если пост, я крикну... На крик и заворачивайте.

Прошло несколько томительных минут, показавшихся Петру Васильевичу бесконечными. При такой рузрухе, какая царила на дороге, сторожка могла оказаться пустой и разваленной. В таком случае песенка его будет спета: на обратный путь ребят уже не хватило бы.

— Давай помаленьку! — пробился к ним словно пропущенный сквозь ватную подушку голос Вени. — Тяни сюда... Сюда... Я тут... Давай... Давай... Сюда...

И лишь только Петр Васильевич ощутил под собой твердую опору жилого пола, память его рухнула в провал жаркого забытья. Среди множества лиц и го-

лосов, круживших в воображении Петра Васильевича в последующие дни, в памяти его отложилось одно лицо и запечатлелся один голос. Когда, после трех недель перемежавшегося короткими просветлениями бреда, он впервые по-настоящему пришел в себя, оно — это лицо — склонилось над ним, и знакомый теперь голос облегченно произнес:

— Чайку выпьешь?

В свете неяркого зимнего утра облик женщины, вставшей у его изголовья, выглядел расплывчатым и усталым. На вид ей можно было дать лет тридцать с небольшим, но убористая гибкая фигура ее с крепко-девичьей трепетной грудью говорила о том, что она гораздо моложе.

— Давно я у тебя? — спросил он.

— Месяц скоро будет.

— Надоел, видно?

— Надоел. Да куда ж тебя девать такого хворого.

— Теперь подымусь.

— Лежи, ветром сдует.

— Одна живешь?

— А где же взять мужика-то? Все по миру разбежались свою правду доказывать. Аники-воины беспортошные!

— Куда они денутся?!

— Толк-то какой от них будет? Одно — митинговать умеют. А с мужским своим делом им только на двор ходить.

— Строга ты, девка.

— Девка! На погост пора, — не удержалась она, чтобы не пококетничать. — Три десятка скоро. Скажешь тоже, — девка!

— Зовут-то как?

— Раньше Софьей звали.

— Ишь ты! Будто царицу.

— А что я — хуже что ль? — Она вызывающе вскинула опутанную тяжелой косой голову и как бы пре-

образилась вся: несколько жестковатые черты ее расправились, резкий голос стал мягче, женственней. — Пробросаешься!

Разговаривая с ним, Софья успела затопить печь, налить воду в чугунок, поставить на плиту, вымести пол и заодно проветрить душную комнатенку. Все это она исполняла легко, по-мужски размашисто, словно баляясь между настоящим делом. Всякий раз, когда женщина взглядывала на него, в нем вспыхивало, подкатывая к сердцу знойной истомой, неведомое ему дотопле тепло. И где-то в глубине души он уже создавал, что это что-то большее, чем благодарность.

Вечером, почаяевичав с гостем, Софья принялась стелить себе у печки. Затем, безо всякого перед ним стеснения стянула с себя бумазейное свое бросовое платье и, потянувшись, чтобы загасить лампу, отнеслась к нему:

- Надо будет чего, клихни, не стесняйся, я чуткая.
- Спасибо.
- Спасибо потом скажешь, когда очухаешься.
- Да уж и так выходила.
- Сам ты себя выходил. Вон бугай какой!
- Одна видимость.
- Все вы одна видимость... Спи.
- Угу...

Но заснуть он так и не заснул. Петр Васильевич ощущал ее присутствие каждой порой своей вызревавшей к новому существованию плоти. Жаркая тишь, царившая в сторожке, постепенно становилась для него нестерпимой. Он почти задышался и глох от собственного сердцебиения. В конце концов он не выдержал, позвал:

- Воды бы.

Зубы его лихорадочно стучали о край поданной ему кружки. Откидываясь на подушку, он инстинктивно ухватился за ее руку, и она безвольно подалась к нему:

- Руки-то вон, словно ватные...
- Не уходи.
- Куда тебе...
- Сонюшка...
- Погоди.

Через минуту Софья скользнула к нему под одеяло, приникла шершавой щекой к его плечу, обволакивая его теплом и запахом своего беспокойного тела. Голова у него пошла кругом, но обессиленный пережитым волнением, он вдруг ослабел и сник. Губы ее снисходительно дрогнули у его уха:

- Эх ты!.. Говорила, лежи... Туда же, загорелся!
- Прости.
- Что я тебе, мамка что ли?
- Сонюшка...
- Спи уже... Я полежу.

Так началась их первая ночь вдвоем. Много ночей у них было потом, когда утро казалось им досадной неизбежностью, за которой снова последует долгожданный вечер. Все, что осталось за порогом этой сторожки — дом, семья, дело, — уже виделось Петру Васильевичу непонятным в его жизни недоразумением. Но однажды среди дня на пороге возникла щуплая фигурка Марии. Одного взгляда хватило ей, чтобы понять все здесь происходящее. Но, не привыкшая отвоевывать свою долю у кого бы то ни было, она лишь съежилась вся, сдалась, чуть слышно обронив:

— Гостинец вот я тебе принесла... Ребята здоровы... Кланяются. Заскучали.

Она поставила узелок с принесенной мужу снедью на табуретку около ведра с водой и молча вышла, оставив их решить между собой то, что они должны, обязаны были решить.

Сглатывая горький комок, подкативший к горлу, Петр Васильевич опустил голову:

- Как ты.
- Иди. Дети у тебя.

- Скажешь слово, останусь.
- А зачем ты мне нужен?
- Соня!
- Побаловались и будет.
- Зачем ты так?
- Хорошенького понемножку.
- Пожалей.
- Пожалела, а теперь ступай.
- Соня...
- Ступай, ступай. Не надо мне тебя. Даром не надо. Всех не пережалеешь... Ступай, вон жена ждет.

Софья смотрела на него в упор со спокойной неприязнью человека, твердо положившего себе не отступать от принятого решения. И только по тому, как судорожно вздрагивал при этом ее легкий подбородок, можно было судить, чего ей стоило это решение. Долго еще потом, едва он вспоминал тот день, маячило перед ним лицо Софьи, глядящей на него в упор сухими от гнева и презрения глазами.

VII

Январский рассвет еще только-только коснулся чернильной темени за окном, когда в сенях раздался дробный, с прерывистыми паузами стук. «И кого это еще несет в такую рань по мою душу? — Поднимаясь, он никак не мог попасть ногой в тапку. — Дня мало».

Поеживаясь от холода, он тяжело прошлепал к выходу и замер, прислушиваясь:

— Кто?

— Это я, дед, открывай.

Ноги у Петра Васильевича сделались ватными. Трясущимися руками отодвинув щеколду, он растерянно бормотал перед запертой дверью:

— Сейчас, Вадя... Сейчас... Вот старость, не радость... Руки не слушаются... Заходи...

В горнице, пристально разглядывая внука на свету, Петр Васильевич, хотя и не нашел в нем особых перемен, не мог не отметить и его еще более резкую против прежнего худобу, и первые седины в жестком бобрике, и чуткую, так несвойственную ему раньше настороженность в каждом движении и взгляде. Вадим сидел перед дедом, прихлебывая чай, и, упорно глядя в стакан, не спеша ронял слова:

— Она, как видишь, все-таки взяла меня. Правда, с условием, что я тут же слиняю на все четыре стороны.

— Плюнь.

— Уже плюнул. Только я выписан ей под опеку, как недееспособный. Без документов. Теперь мне эта свобода боком выходит. Вот оклемаюсь у тебя немного, если позволишь, конечно, и подамся на юг. Вспомню бродяжьи прошлые, а там видно будет. Бог не выдаст — свинья не съест. Есть у меня один план.

— План ты свой забудь. — Петр Васильевич решительно напрягся. — И ехать тебе некуда и незачем.

Теперь, когда Вадим оказался с ним и нуждался в защите, не было на свете для Петра Васильевича преграды, какую он не сумел бы преодолеть, чтобы помочь внуку. Понадобится, он будет в ногах у местных властей валяться, но выхлопочет ему документы. Тогда, если тот не передумает, пусть и едет, куда ему заблагорассудится. Вся внутренняя сущность Петра Васильевича сосредоточилась сейчас на этой определяющей для него цели. Уверенность его в благополучном исходе дела была настолько полной, что он, не задумываясь более, утвердил вслух:

— Будут тебе документы.

— Твоими бы устами, дед, — недоверчиво усмехнулся Вадим. — Только едва ли.

— Это у вас там, в Москве, концов не найдешь, — не скрыл своей обиды Петр Васильевич, — а здесь и я кое-чего означаю. Посмотрим, чья возьмет.

— Не сердись, дед, я не хотел тебя обидеть. — Он встал, вышел из-за стола и, потирая виски, принялся ходить взад-вперед по комнате. — Просто повидал я за это время всякого. На многое у меня глаза прорезались. Уж если они, — кивок вверх, — возьмутся за кого, то до конца не отпустят. Хватка у них мертвая. Чего-чего, а сторожить научились. По этой части у них большой опыт имеется... Господи, и что же это за часть света такая! Будто полигон для всяческих мировых безобразий. Почему, с какой стати, что за наваждение? Мало того, что сами в грязи тонем, но еще лезем рабской неумытой рожой своей в Европу, других учить уму-разуму. — Глаза его постепенно заполнялись ожесточенными слезами. — Уйти, укрыться, спрятаться от всего этого! Чтобы не видеть, не слышать, не откликаться! И зачем мне их паспорт? Опять к ним на удавку? Лучше уж сдохнуть где-нибудь под забором бездомным псом, чем играть с ними в эту подлую игру. Не хочу!

Петр Васильевич почти не слушал, а вернее, не слышал Вадима. Он лишь напряженно вглядывался в него, ревниво отмечая в нем черты давно забытого им уже облика: «Витька, вылитый Витька, только еще покруче». Сын узнавался во всем: та же неумеренная горячность, то же стремление докопаться во всем до сути, те же внезапные, вне связи с предыдущим, обороты речи. С болезненной отчетливостью всплыло перед Петром Васильевичем памятное ему довоенное утро, после которого он с Виктором больше не встретился: «Чего, чего мы тогда не поделили? Эх, жизнь!»

Пожалуй, только в эту минуту его по-настоящему остро пронзило чувство потери, утраты этого самого, может быть, необходимого ему из близких человека. И, раз начав, память уже не могла остановиться, и Петр Васильевич знал, уверен был, что теперь они — его дети и близкие — последуют из небытия один за другим и каждый из них спросит с него свою долю расплаты. И он уже смирился с тем, что ему придется

пройти через это испытание, каким бы жестоким оно ни было. Петру Васильевичу казалось, что, лишь рассчитавшись с прошлым, он обретет в душе тот свет и ту ясность, которых ему так недоставало всю жизнь. Поэтому сегодняшняя мука Вадима, сообщаясь ему, вызывала в нем полную меру ответного понимания:

— Пропадешь, Вадя.

— И то — выход.

— Кому от этого выгода?

— А зачем она — выгода эта?

— Я помру, никого из Лашковых-мужиков, кроме тебя, не останется. — Горечь душила его. — Антонина — баба, с нее какой спрос? Тебе жить надо, Вадя. За нас все исправлять.

— Зачем исправлять-то? — глухо отозвался тот. Он стоял теперь спиною к деду, прижавшись лбом к затянутому ледяным кружевом стеклу. — Может, и не надо совсем. Может, в том наша судьба, лашковская, изойти с этой земли совсем, чтобы другим неподводно было кровью баловаться?

— Думаешь? — слабея, еле выдохнул Петр Васильевич. — По-твоему, так это?

— Спрашиваю.

— За свое мы сами заплатили.

— Но и других платить заставили.

— Ты в этом не замешан. Каждый за себя отвечает.

— Легко отделаться хочешь, дед.

— Я уже стар хитрить. За одного — весь род не ответчик. — С каждым словом он все больше распалялся. — Не по справедливости это. Разве мы плохо хотели, когда начинали.

— Это факт вашей биографии. От этого никому не легче. Думать надо было.

— Некогда думать было. — Он почти кричал. — У нас минута на счету была. Кто — кого!

— Вернее, друг друга.

— Не до того было, чтобы различать.

— А потом?

— Потом поздно было. Потом надежда оставалась: перемелется, образуется всё. Мы что ли одни виноваты?

— А кто?

— Не одни мы.

— Но больше доля ваша.

— Может, и наша. — Обида несла его. — Так мы, против других, и платим больше. Что я, к примеру, от своего комиссарства нажил? Сам смотри, велики ли хоромы, много ли богатства? Последние портки донашиваю. Ничего для себя не берег, — ни добра, ни детей родных. Думал, как для всех лучше. Казнить-то за корысть можно, а разве я из корысти это делал? Легко ли мне было по-живому резать? Легко ли мне теперь, под старость одному дни доживать? Все отошли, все отступились. — Он вдруг как-то сразу обессилел и поник. — Вот и ты тоже отрекаешься.

Вадиму, видно, передалось состояние деда, он живо отвернулся от окна и, примирительно усмехаясь, потянулся снова к столу:

— Ладно, дед, делай, как знаешь. Получится — хорошо, не получится — еще лучше. Лишь бы хоть какой-то конец.

В смутном свете нового дня лицо Вадима приобрело землистый оттенок. Темные глазницы обозначились явственнее и жестче. Седина бобрика проступила еще определеннее. Серая, почти нечеловеческая усталость сквозила во всей его ссутулившейся за столом фигуре. Лишь сейчас, внимательно разглядев внука, Петр Васильевич понял тщету своей недавней горячности: тому было не до него и ни до чего на свете вообще, тот просто хотел спать.

— Ляжешь? — Не ожидая ответа, Петр Васильевич бросился стелить внуку. — Давай, ложись.

— Пожалуй.

Вадим уснул сразу, едва коснувшись головой подушки. Во сне он выглядел много моложе и мягче.

Петру Васильевичу стоило большого труда не погладить внука, как когда-то в детстве, по его упрямому ежику:

— Ишь...

И легкое это, будто звук одинокой дождевой капли по крыше, слово выявило в памяти Петра Васильевича резкие линии и цвета размытого временем дня. День этот предстал перед ним с такой почти осязаемой живостью и полнотой ощущения, будто он — этот день — был не далее, чем вчера.

VIII

И ЕЩЕ ОДНО...

Пятые сутки вагон Петра Васильевича стоял в тупике Пензы-товарной. Пятые сутки станция, забитая до отказа составами, исходила зноем и разноголосым гвалтом. За все эти дни в белесом августовском небе не промелькнуло ни облачка. Недвижный воздух был, казалось, насквозь прокален сухим удушливым жаром. Изнывая от духоты, Петр Васильевич маялся у раскрытого окна в ожидании напарника, околавивавшего в это время пороги станционных кабинетов с просьбой о скорейшей отправке. По соседству с тупиком, на запасном пути вытягивался эшелон с цирковым зверинцем. Прямо против Петра Васильевича, посреди четырехосной платформы, возлежал обрешеченный со всех сторон облезлый лев, и его круглые, с яростным блеском глаза источали в сторону Лашкова долгую и голодную грусть.

У платформы, облокотясь о ее подножку, круглый приземистый толстяк в майке-сетке и с носовым платком на бритой голове лениво жаловался стоящему рядом с ним красавцу в крагах и клетчатой рубахе, заправленной в щегольские галифе:

— Проклятая гастроль! И зачем нас только понесло в эту канитель? Я так боюсь за Алмаза! Вы же его знаете, Артур Поликарпыч. Ему полпуда чайной, что слону дробина. У него второй день нету стула. Ведь это катастрофа. Так мы и до Москвы не дотянем.

— Что и говорить, — скорбно вздохнул тот и резкое лицо его при этом судорожно дернулось. — Мои тоже совсем поскучнели. Шутка ли, после строго научного рациона, — каша. Сплошная каша, представляете, пшенка! — «Пшенка» звучало у него, как «отрава». — А ведь цирковая собака куда разборчивей человека. К тому же я готовлю с ними номер столетия: «Левый марш» в сопровождении оркестра. Нет, вы не представляете!

По ту сторону платформы, натужно пыхтя, выплыл паровоз, за которым потянулись красные пульманы, с люками, наспех забранными колючей проволокой. Через ее щетинистые ячейки проглядывались лица, множество детских лиц. Ребята с восторженным благоговением рассматривали возникшего перед ними зверя:

— Больной, наверно.

— Спит он, жарко.

— В Африке не жарко, да?

— В Африке он бы под деревом лег, в тень.

— Голодный он, видишь какой худой!

— А у льва — тоже пайка?

— Конечно! По барану в день!

— И пряников тоже. Пуд.

— Пуд! Львам лафа.

— Льву больше всех надо. Знаешь, какой он прожорливый? Сколько ни дай, все съест.

— Царь зверей.

Двое у платформы молча растерянно обернулись в сторону пульмана. Крохотные глазки толстяка мгновенно округлились и потемнели, безвольный подбородок мелко-мелко задрожал, плотно сбитая фигура

его обмякла и ссутулилась. Вцепившись в рукав приятеля, он жалобно прошептал:

— Что же это, Артур Поликарпъч?

— Дети. — Тот, отворачиваясь, прятал от него глаза. — Наверное, эвакуированные.

— Да, но почему проволока? — не унимался толстяк. — Ведь это дети, Артур Поликарпъч!

Подоспевший в этот момент Лесков, мгновенно оценив обстановку, самодовольно подмигнул Петру Васильевичу:

— Эрвээн, на восток переправляют.

Толстяк живо обернулся к нему:

— Что? Что это такое, эрвээн?

— Родственники врагов народа. — Лесков пренебрежительно хохотнул. — Знать надо, папаша! А еще артист!

Когда смысл сказанного, наконец, дошел до циркача, он, осунувшийся и словно бы сразу постаревший, с минуту еще постоял, держась за рукав приятеля и о чем-то мучительно раздумывая. Затем, озаренный внезапной догадкой, легонько оттолкнул его от себя и бросился к соседнему с платформой жилому вагону. Проводив его обескураженным взглядом, красавец в галифе беспомощно развел руками:

— Невозможный человек.

Вскоре толстяк снова появился на платформе, но уже переодетый и слегка подкрашенный, с крошечной балалайкой через плечо. В два не по возрасту молодеватых прыжка он вскочил на тормозную площадку и тут же возник перед львиной клеткой лицом к лицу с ребятами за проволокой. Осветив себя шутовской улыбкой, циркач лихо ударил по струнам:

— Вам неизвестно, что за зверь зовется Чемберлен? — хрипловатым речитативом затянул он. — Ну, а теперь, ну, а теперь, послушайте рефрен. Фонарики, фонарики горят, горят, горят. Что видели, что слышали, о том не говорят. — Взятый темп был ему явно не по силам, но он не сдавался. — Когда возьмется он

за ум, когда протрет глаза, мы на его ультиматум начинали три раза. Фонарики, сударики, горят, горят, горят. Что видели, что слышали, о том не говорят... Бим! — задыхаясь кричал он стоящему внизу усачу. — Ты слышишь меня, Бим! Разве ты не слышишь, ребята зовут тебя? Ах, какой ты трусишка, Бим!

Но тот, не слушая его, шарил вокруг себя жалобными глазами в поисках сочувствия и все рвался с объяснениями к ослабившемуся от удовольствия Лескову:

— Что он делает!? Нет, вы только посмотрите, что он делает!? Ведь за это по головке не погладят. И потом, он давно бросил клоунаду. У него уже был инсульт. Ведь он же не выдержит! Да остановите вы его, наконец!

Лесков лишь отмахивался от него, приплясывая в такт балалаечного наигрыша:

— Вот дает старикан!.. Вот дает!.. Сыпь на всю катушку, папашка! Покажи пацанам на чем свет стоит!

Усач еще поморгал, потоптался около Лескова, но так и не найдя в нем поддержки, вдруг весь напрягся и, хватаясь за поручень тормоза, заблажил неожиданной фистулой:

— Я здесь, Бом! — Одним махом он оказался рядом с товарищем. — Здравствуйте, дети, это я — Бим!

И, словно по команде, внутри пульмана несколько десятков ребячьих голосов, разом выдохнуло:

— Здравствуй, Бим!

Друзья старались вовсю. Они пели, плясали, ходили на руках и даже били друг друга. И, конечно же, плакали при этом. В их действиях сквозило что-то отчаянно-исступленное. Казалось, они решили показать ребятам все, что умели, и все, на что были сейчас способны. А из конца в конец скорбного поезда уже гремела, множась на ходу, грозная предупредительная команда:

— Прекратить!.. А ну прекратить!.. Марш от эше-

лона!.. Предупреждаю в последний раз, прекратить!

Двое на платформе, будто не слыша никакого крика, продолжали заниматься своим делом. Приближающийся топот кованых сапог, казалось, лишь подстегивал их:

— Бим! — истошно вопил толстяк, обливаясь потом. — Ты умеешь бегать?

— Да, Бом! — в тон ему откликнулся партнер. — Умею, но не так быстро, как вон тот человек, который бежит сюда.

— Еще бы! — не унимался толстяк. — От войны надо уметь бегать. Этот умеет.

С той стороны платформы — над её бортом — появилась фуражка с голубым околышем, а следом за нею распаренное, в крупных рябинах лицо:

— Кому сказано, прекратить! По уставу караульной службы имею право стрелять. Понятно?

— Не мешайте нам репетировать! — Усач воинственно выпятил грудь и двинулся к фуражке... — У нас правительственное задание. Мы репетируем номер века. Немедленно освободите помещение!

Лицо над бортом исчезло, но тут же появилось снова, уже поверх тормозной площадки:

— Я тебе, жидовская морда, покажу номер. До смерти кровью харкать будешь...

Неизвестно, чем бы все это кончилось, а кончилось бы, скорее всего, плачевно для циркачей, но в это время вагон с испуганно и молчаливо наблюдавшими за всем происходящим ребятами тронулся с места. Эшелон, медленно набирая скорость, поплыл мимо платформы. Фуражка тут же скрылась из вида и только удаляющийся голос ее обладателя прощально погрозил снизу:

— Твое счастье, падло! Я бы из тебя такого клоуна нарисовал, век не просмеяться.

Чувствуя себя в полной безопасности и оттого еще более воодушевляясь, толстяк не выдержал-таки, поскоморшничал в ответ:

— Бим, ты его боишься?

— Да, Бом! — поддержал тот друга. — Но не так, как он фашистов... Да, да, не так!

Когда состав с вооруженным охранником на хвостовом тормозе миновал платформу, толстяк бессильно откинулся спиной к клетке. Затем повернулся, приник к стальным прутьям мокрым, в цветных подтеках, лицом и глубоко вздохнул:

— Что, Алмазушко, жарко?.. Такая наша жизнь, господин лев, ничего не поделаешь, терпи.

Усач, положив ему руку на плечо, осторожно, но твердо оторвал его от клетки, заботливо помог сойти со ступенек, и вскоре они скрылись за дверью своей теплушки.

— Мы люди маленькие, — забираясь на верхнюю полку, попытался по обыкновению съерничать Лешков, — нам бы гроши, да харчи хороши, верно я говорю, Васильич?

Лашков не ответил. Сейчас ему было не до напарника. Он никак не мог взять в толк всего случившегося: «Детей-то, детей-то зачем? Какая за ними вина?» Ответ напрашивался сам собой, но согласиться с ним — с этим ответом — у Петра Васильевича не хватало ни мужества, ни готовности. «Зачем же я жил тогда! — отгоняя от себя соблазна сомнения, мысленно протестовал он. — Есть в моем деле правда, а остальное перемелется».

В этом обманчивом успокоении он, засыпая, и утвердился.

IX

На этот раз секретарша, вернувшись из кабинета Воробушкина, не озарила Петра Васильевича лучезарным радушием. Оскорбленное еще прошлым его визитом самолюбие исполкомовской дивы было, наконец, удовлетворено сполна.

— Прием с трех, — откровенно торжествуя, сухо отчеканила она. — Подождите в коридоре.

Лашков понял, — дело плохо: не простил ему Костя Воробушкин излишней его памятьливости. Но решимость Петра Васильевича от этого укрепилась лишь еще больше. Для него теперь не существовало щекотливого сомнения: о чем можно говорить, о чем нельзя. Если бывший машинист оказался так скор на забывчивость, Петр Васильевич напомнит ему пару-другую фактов из его далеко не безупречной биографии. Будет грозить, просить, требовать, но вырвет у Воробушкина согласие на выдачу документов своему внуку.

В коридоре, на откидных стульях, уныло вытянувшись вдоль стен, уже томила в ожидании приема изрядная очередь. Рядом с Петром Васильевичем оказалась грузная баба в плюшевом жакете и добротном клетчатом платке поверх надвинутой на самые брови черной косынки. Ее крохотные, обращенные к соседке глазки источали слезную искательность:

— Оно, конечно, уютг мелочь, невелико имущество. Да мне уютг этот — память по усопшей родительнице. Я им и абажур и боты матушкины, почти не ношенные, без слова уступила. Зачем они мне? Ни фасон, ни размер не подходит. А они мне, сестры-те, значит, заместо благодарности два ребра за этот самый уютг сломали. И ухом правым я плохо слышать стала. Я им этого никак не спущу. Я на производстве член бригады ударного труда и в жакте меня тоже знают. Что уютг, — мне принцип дороже...

Соседка бабы, тусклая девушка — стеганая нейлоновая курточка, тощий махеровый кокон вокруг робкого, без кровинки, лица — смущенно озираясь, механически ей поддакивала:

— Да, да, конечно!.. Разве можно... Еще бы!.. Я вас понимаю. Да, да, конечно.

По другую руку Петра Васильевича скуластый, с квадратным подбородком парень, судя по фуражке, —

таксист, обиженно гудел на ухо беременной женщине рядом с собою:

— Ты, главное, не тушуйся. Говори все, как есть. Куда нам с тобой деваться? С каких это заработков нам в кооператив вступать? Раз таксист, значит, миллионер, что ли? Какую копейку зашибешь, всем надо дать. Ремонтникам надо? Надо. Мойщику тоже надо. На въезде опять же давай. Пальцев на руках не хватает, кому давать!.. Пока не подпишет — не уходи. Не уходи и всё!

Та сосредоточенно молчала, но по тому, как в волнении подрагивали на вздутом животе ее крест-накрест сложенные руки, чувствовалось, что слова мужа находят в ней самый живой и заинтересованный отклик.

Время тянулось томительно долго, и Петр Васильевич, наскучив ожиданием, подался было размяться в исполкомовский двор, но в этот момент из приемной торжественно выплыла уже знакомая ему дива:

— Кто здесь товарищ Лашков? — Она намеренно небрежным взглядом скользнула мимо Петра Васильевича. — Прошу пройти к Константину Васильевичу.

Сопровождаемый возмущенным ропотом, он миновал приемную и с известным облегчением — принялся вне очереди! — очутился в кабинете у Воробушкина. Тот, не поднимая ему навстречу тяжелой своей головы, кивнул на кресло перед столом:

— Садись, Петр Васильевич. Извини, что задержал. Должность такая, всем до меня дело... Слушаю!

Стараясь быть покороче, Петр Васильевич изложил Воробушкину суть своей просьбы. Хозяин слушал, не перебивая, изредка косясь на окно, где в соседнем дворе ребяташки гоняли мяч. Время от времени он усмехался чему-то своему, хмыкал неопределенно и еще ниже опускал голову. Когда же Петр Васильевич кончил, Воробушкин встал и нетвердой поступью подался к стоящему в углу несгораемому шкафу. Взяв тяжелую дверцу на себя, он вынул оттуда початую

бутылку коньяку и мелкую тарелку с двумя рюмками и разрезанным надвое лимоном.

— Тяни, Васильич. — Наполнив одну рюмку до краев, он подвинул ее гостю. — Будем.

В полном молчании они сделали еще два захода, после чего Воробушкин, наконец, заговорил:

— Эх, дети, наши дети! И в кого они только пошли сейчас? Кажется, все им отдавали, а выросли — и не узнаешь. Ничего в них от нас не осталось. Куда их несет, чего им нужно? — Речь его лилась веско и внятно, но по сухому блеску в мутных глазах хозяина можно было с уверенностью заключить, что он давно и матеро пьян. — Спросишь, молчат. Все у них свое что-то на уме. А что, вот вопрос? Когда шманцы-танцы, компании всякие, это понятно — молодость играет. Такие ясны, с такими разговор простой. Вот как с тихим быть? Ходит себе молчун такой и молчит. А чего он молчит, вот вопрос? Поглядеть, овечка овечкой, а что у него там внутри? О чем он думает? Что замьшляет? Попробуй к нему подступишь. У него, у тихого, все в ажуре. Все показатели по моральному кодексу налицо. Только ведь и дураку ясно, что он своего часа звездного ждет. А уж как стукнет этот час, от него тогда, от тихого, пощады не жди. — Он умолк и с минуту в нерешительности смотрел на недопитую рюмку, затем поднял ее и медленно, с видимым наслаждением выщедил до самого дна. — Вот и мой тоже, старший, мне сюрприз приподнес... Между нами только, Васильич... До поры... Он ведь у меня в Германии служит. Вот общили, пытался перейти в западную зону... Сидит теперь под следствием. Свое он, ясно дело, получит. Да и мне не поздоровится. А ведь каким паинькой был! Слова поперек не скажет, дневник — одни пятерки, стишки писал... Вот и узнай после этого, кто из них чем дышит, когда у родного сына душа — потемки!.. Видно, скоро мне, по его милости, к вам — пенсионерам — в сквер идти, «козла» забивать. — Он вымученно ослабил. — Возьмешь в напарники, Васильич?

— Не играю. — Петр Васильевич почувствовал, как неприязнь снова охватила его. — Других дел хватает.

— Не успокоился еще? — снисходительно почувствовал ему тот. — Пора бы протрезветь, Васильич. Я еще тогда, после суда, понял, в чем сила. Всякие там красивые слова — это в пользу бедных. Прав тот, кто умеет подчиниться обстоятельствам. Мочиться против ветра, себе дороже... Думаешь, я без тебя не знал, что Кольке Лескову сверх всякой меры впаляли? Я этого пострадавшего в гробу видел в белых тапочках! Но власть у него, значит, и правда за ним. Ты меня с этим кретином чуть было под монастырь не подвел. Еле выкрутился.

— Тогда и жаловаться нечего, Костя. — Это неожиданно и счастливо найденное им объяснение тем невзгодам, какие преследовали его последние годы, отозвалось в нем тихой горечью. — Свое же дерьмо обратно получаем.

— Это, — лениво отмахнулся тот, — поповщиной отдает, Васильич. Вроде закона «кармы», что ли?

— Не слышал.

— В Индии закон такой есть религиозный. По нему всякий поступок оплачивается судьбой эквивалентно: хороший — добром, плохой — несчастьем. Ну да это тоже, скажу я, — в пользу бедных... Ладно, заговорились мы с тобой, а у меня прием как-никак. Зашел бы домой ко мне. Посидели бы, поговорили ладком, без спешки... Бывай.

— А с делом-то как? Поможешь?

— А! — Воробушкин брезгливо поморщился. — Пускай зайдет ко мне с метрикой. Ну и заявление тоже. В связи с утерей, мол... Будь.

Еще весь под впечатлением неожиданно скорой удачи, Петр Васильевич столкнулся в исполкомовском дворе с Владимиром Анисимовичем. В генеральской папаше и бекеше он выглядел еще более тщедушным.

— Чёрт знает что такое! — Он прямо-таки трясся

от негодования. — Невозможно достать кусок толя для матери фронтовика. Моего, кстати, соединения был солдат. В коммунхозе, говорят, нету, говорят что-то о великих стройках. Разгильдяи! А в коридоре какой-то хлюст сунул мне в руку бумажку с адресом местного шабашника, некоего Гусева. Выходит, у шабашника Гусева есть толь, несмотря на великие стройки, а у государства толя нет. Откуда, спрашивается, толь у шабашника? По лендлизу получает? Или у него единичные торговые контракты с заморскими державами? Или спецснабжение непосредственно через совмин? Безобразие! Вот иду скандалить с отцами города... Извините.

Стремительно обогнув Петра Васильевича, он легко, словно переодетый в генеральскую форму мальчишка, взбежал по лестнице и скрылся в подъезде.

Жизнь, в какой уже раз за последнее время, стала кивала Лашкова с людьми, которые так или иначе соприкасались с ним в свою пору: Гупак, Воробушкин, Гусев! Будто события, описав некий предопредительный круг, замкнулись у своего собственного истока: «Словно и не было ничего. Где были, там и остались».

Воробушкин сдержал слово: Вадиму выдали временное удостоверение и прописали на площади деда. Но остаться жить в Узловске внук отказался наотрез, и Петру Васильевичу с трудом удалось уговорить его поехать к Андрею, пожить, осмотреться. Пока Петр Васильевич списывался с братом, улаживал вызванные непредвиденными расходами денежные свои дела, внук целыми днями пропадал в городской библиотеке. Втайне старик только радовался этому: пусть успокоится парень, отойдет немного. Но чем внимательней вглядывался старик в него, тем определеннее убеждался, что сведавшая внука тоска лишь постепенно уходит вглубь, несколько не ослабевая и не притупляясь. Часто, проснувшись среди ночи, Петр Васильевич заставлял Вадима бодрствующим у окна с неизменной сигаретой в зубах. И хотя внешне тот стал сдержаннее и

мягче, в нем нет-нет да и прорывалось его прежнее яростное иступление. «Задело парня, — молчаливо горевал Лашков, — надолго задело».

В день отъезда внука Петр Васильевич после беготни по хозяйству завернул в магазин, чтобы набрать гостинцев для своих благоприобретенных племянников. У прилавка дорогу ему заступил долговязый дедина в выдавшем виды прорезиненном плаще поверх телогрейки, заколотой у подбородка булавкой:

— Третьим будешь, папаша?

Из-под опущенного козырька цыгейковой шапки на Петра Васильевича глядели круглые склеротические глаза, первая вопросительность которых сразу же сменилась заискиванием:

— Петру Васильевичу!.. Извиняюсь.

Что-то знакомое пригрезилось Петру Васильевичу в этом студенистом, свекольного цвета лице. И все же, не затрудняя памяти, он хотел было уже пойти мимо — мало ли кто в городе мог знать его! — но тот снова искательно потянулся к нему:

— Не признали?.. Родич ваш... Лёвка... Из Торбеевки... Гордея Степаныча сын.

Ну, конечно же, он, Петр Васильевич знал его! Левка запомнился ему нескладным — вечно нечесанные патлы над изможденным всеми мыслимыми пороками лицом — слесарем из депо, за которым по всей дистанции ходила слава самого изобретательного «сачка». Глядя сейчас на него, Лашков с запоздалым смирением прозрел в его слинявшем облике отражение своего собственного возраста и, наверное, поэтому не нашел в себе мужества пренебречь родством, пройти мимо:

— Лета, милый. Себя в зеркале узнавать перестал. Вот теперь помню. Значит, третьего ищешь?

— Дерет русский мороз, Петр Васильевич, — переполнялся благодарностью тот. — Капиталу всего рупь, вот и ищу охотника. Может, поддержите?

— А что! — вдруг подхватило его веселое отчаяние. — Где наша не пропадала! На вот трешницу, без примкнувшего обойдемся. Делов-то куча!

Того даже пот прошиб от удовольствия и признательности:

— Эх, Петр Васильевич! Одна нога здесь, другая — там. Заделаем все в лучшем виде.

Остальное происходило, словно заранее отрепетированное действие. Лёвка, равнодушно пренебрегая руганью в очереди, по-хозяйски вклинился в самое ее начало, сдал пустую и получил запечатанную поллитровку, отходя от прилавка горделиво подмигнул Петру Васильевичу, знай, мол, наших, и кивком головы пригласил его следовать за собою.

Спустившись в туалет при городском сквере, Лёвка скрылся за дверью дежурной каморки и оттуда через смотровое окошко поманил Петра Васильевича к себе. Здесь, под неразборчивое ворчание старушки-уборщицы, они и распили бутылку, закусив щедро высыпанным Лёвкой на стол валидолом. Первая их не разговорила. Петр Васильевич выложил еще трояк, Лёвка расторопно обернулся, и только после того, как вторая была допита, в них обоих окрепла хмельная тяга к взаимопониманию.

— Эх, — сожалительно мотая лобастой с залысынами головой начал Левка, — прошла жизнь, как в тумане. Вроде и родиться не успел, а уже справки на пенсию собираю. А у самого ни кола, ни двора. До сих пор угол снимаю. Женился было, не ужились. И то сказать, пью много. А что делать? Кругом тоска белая, бабы и те не манут. Одна радость — с человеком словом перекинуться. — Он замялся, опустил глаза и стал пальцем выписывать вензеля на клеенке перед собой. Не обижайся, Петр Васильевич, покривил я... Есть у меня деньги... Я еще сбегая, рассчитаемся. Тошно мне одному пить, вот и смотрел напарников... Заработать нынче — плевое дело, строится много, всем слесарь

нужен. Только успевай: кому кран, кому ванна... Да ни к чему мне деньги те... Куда их? Не купишь на них ничего, кроме вина... Хочу вот в Дербент на тепло по-даться. Я те края хорошо знаю. Всю войну там про-кантовался... Брата вашего, Андрея Васильевича, там встречал как-то... Жив?

— Жив. Рассказывал.

— Вспомнил, значит? — сияя, встрепенулся тот. — Как сейчас помню. На базаре еще с ним пиво пили. Он все об Агуреевой Сашке беспокоился, помню.

— Живут нынче вместе. В Курково, в лесничестве он теперь. С этого лета живут.

— Любовь! — пьяно осклабился Левка и тут же огорченно погас. — А мне вот не везет. Три раза распи-сывался, а не состоялось дела. Поганое бабье пошло. Что им человек, им деньги подавай. А у Андрей Василь-ича любовь, это железно. Весь город знал. Да и баба того стоит. Посмотреть и то все отдашь... Эх, по такому случаю!

Не слушая слабых возражений Петра Васильеви-ча, тот смотался в магазин еще раз. И снова они вы-пили, закусывая все тем же валидоллом. И о чем-то опять говорили, досадливо отмахиваясь от усиленно вы-проваживавшей их старухи уборщицы. Петр Василье-вич, которому дальний родственник его казался теперь на удивление молодым и симпатичным, приглашал Левку заходить всегда запросто, без церемоний и стес-нений. Тот, в свою очередь, заверял старика в вечной преданности и любви и все пытался облобызать ему руку, чему он неуверенно противился, но в конце кон-цов, хотя и не без стеснения, позволил. Затем они, под-гоняемые уборщицей, выбрались наверх, в сквер, где долго еще клялись друг другу не зазнаваться и помнить обоюдную хлеб-соль и родство, пока, наконец, пьяное забытье не развело их в разные стороны.

Домой Петр Васильевич возвращался в том благо-стном расположении духа, когда все окружающее выг-

лядит празднично приятным и достойным восхищения. «Погодка-то какая! — С удовольствием прислушивался он к тому, как ядрено поскрипывает снег под его подошвами. — Как на заказ! Легко так, будто тридцать лет с плеч сбросил. Домой приду, Вадька не узнает. А Левка-то, Левка каков! Орел — парень! И не жадный. Надо будет его привадить, а то сижу один, как сыч, родня все-таки».

Прежде, чем пройти к себе, Петр Васильевич завернул на половину дочери. После отъезда Антонины он еще не был там, оставив в ее комнате все, как есть, с тем, чтобы, возвратившись, она не почувствовала никаких перемен. Стараясь не шуметь, он открыл дверь и огляделся. Все здесь было до мелочей знакомо ему: застеленная лоскутным одеялом кровать, швейная машина под футляром у окна, задернутое марлевой занавеской кухонное хозяйство в простенке между печкой и дверью. На гвоздике, вбитом в планку дверного наличника, висел заношенный, оставшийся еще от покойной Марии жакет. Петр Васильевич шагнул было дальше, в глубь комнаты, но голоса, вдруг обозначившие себя за стеной в другой половине, заставили его невольно замереть и прислушаться...

— Хочь все сам узнать. — В голосе Вадима слышалась нескрываемая резкость. — Своими руками все пощупать.

— Одна лишь любовь ко всему существу может быть источником познания. — С тихой осторожностью выбирал слова Гупак. — А вы в мир собираетесь с тяжелым сердцем. Истину можно постичь, не сходя с места. Беспокойное любопытство не прибавляет знания. Подумайте сначала. Зачем спешить?

— Так можно продумать до самой смерти. Мы живем в экзистенциальное время, время окончательного выбора. Я выбрал. О чем еще говорить, сотрясать воздух.

— Выбор в позиции, а не в движении. Может быть,

для вас важнее и ответственнее сейчас остаться здесь. Вы не находите?

— Какой смысл? Зачем?

— Разве судьба Петра Васильевича, вашего деда, не трогает вас? Вам нужно помочь сейчас друг другу.

— В чем?

— Увидеть свет впереди.

— Это бесполезно. Ему его слепоты еще на целый век хватит. Таких, как я, он щелкает вместо семечек.

— Опыт вас ожесточил. Но из опыта надо делать выводы, а не средство самозащиты.

— Вот я и хочу сделать выводы. Для этого надо сравнить. Увижу — сравню.

— Такими глазами вы ничего не увидите. У суетного гнева — плохое зрение.

— Наоборот, гнев обостряет зоркость.

— Редко. И не надолго.

— Думаю, что успею кой-чего разглядеть.

— Сомнения-то все равно останутся, — после недолгого молчания печально отозвался тот. — Всегда кажется, что остался неиспытанным лучший вариант. — Он явно сдавался. — Во многих обликах ходил я по миру, а когда под старость, вроде бы, сподобился истины, оказалось, что и в этом окне не весь свет. Может, и вправду лучше не задерживаться. Тогда, наверное, не останется времени для сожалений... Ворчу это я так, по привычке, от дряхлости души и тела, а в общем, я рад за вас. В наше суетное время не всякий решится на это. С какой бы радостью я вышел сейчас на дорогу и пошагал бы, куда глаза глядят. Да вот ноги меня уже не носят, кончил век.

— Простите...

— Что вы, что вы! Ваше упорство для меня поучительно. Один мир к другому не примеришь. Тем более, мой.

— Может, поделитесь?

— Если вам интересно.

— Мне теперь все интересно.

— Извольте... Мы ведь с дедом вашим, Петром Васильевичем, знакомы давно. Еще с того мирного времени. Фамилия моя по бабушке...

Гупак рассказывал, а Петр Васильевич, слушая его, все теснее прижимался лицом к старенькому жакету своей покойной жены. И давний, еле уловимый запах, присущий только ей и знакомый только ему, возвращал его к той невозвратимой поре, когда одно лишь безмолвное присутствие Марии рядом с ним наполняло его существование ясным и высоким смыслом. «Что я без нее? — спрашивал он себя, чувствуя, как слезы закипают у него в горле. — Нуль без палочки, ничто, пустое место». Мысль эта сложилась в нем так мгновенно, так обжигающе, что он, не сдерживаясь более и не стыдясь своих слез, тихо заплакал. И поздние слезы высветили прошлое чистым и ровным светом.

Х

И ЕЩЕ...

Собрание уже подходило к концу, когда слова попросил Парамошин. Сытым колобком выкатился он из зала на сцену, разместил за неказистой клубной трибуной свое объемистое тело, внушительно откашлялся и, ловко округляя фразы, заговорил:

— Международное положение чреватое, товарищи. Мировой империализм точит клинки. Классовый враг не дремлет. Энтузиазм кипит на стройках пятилеток. Наша задача обеспечить на транспорте железную дисциплину и бесперебойность движения. Успехи в этом деле по нашей дистанции налицо. Но имеются, товарищи, тревожные факты. Не на высоте у нас борьба с пережитками. Есть такие, что детей крестют. А также

иконы у некоторых. И даже из партийных рядов... Вот здесь присутствует главный кондуктор товарищ Лашков. На дистанции его хорошо знают. Старый партиец, в гражданскую комиссарствовал на дороге. А в доме у него и посейчас цельный иконостас, хоть выставку устраивай. Так, товарищи, не пойдет. Враг начеку. Его хлебом не корми, дай только наше послабление...

Зал восторженно загудел:

— Позор!

— Пусть отвечает перед собранием!

— Да хватит вам тень на плетень наводить, что мы Лашкова не знаем, что ли?!

— Факты — упрямая вещь.

— Демагогия!

— Выйди и скажи.

— И скажу!

Взывая к тишине, оратор привычно помахал пухлой ладошкой и бодренько продолжил:

— Враг начеку, товарищи. Капитал старается бить нас параллельно нашей перпендикулярности. Мы должны пресечь в наших железнодорожных рядах правый заскок и левый уклон...

Проговорив в таком духе еще полчаса, довольный собой он уверенно скатился в зал, сел на место и бритая наголо голова его с вызовом повернулась в сторону президиума: ну, что вы, мол, теперь скажете?

Единоборство Петра Васильевича с Парамошиным не прекращалось с того самого дня, когда тот узнал о его докладной в учека. За это время бывший конвоир раздобыл, обзавелся индиговым френчем и должностью, но давней обиды не забывал и при всяком удобном случае старался вернуть должок сторицей. Связываться сейчас с ним у Петра Васильевича не было никакой охоты. Слишком хорошо усвоил он на прошлой своей работе, что всякие объяснения при народе лишь затемняют суть дела, порождают новые пересуды и кривотолки. Но десятки глаз в эту минуту

были вопросительно обращены к нему и не ответить им он не мог, не имел права. В то же время, отвечать на обвинение означало окончательно оказаться во власти Парамошина и его компании. Поэтому единственным средством спасения для него было теперь пере-вести все в шутку.

— Скажу бабе, — насмешливо косясь в сторону торжествующего противника, хмыкнул он, — пускай съмет. Только так думаю: попов бояться, в лес не ходить.

Садился Петр Васильевич под одобрителный смешок большей половины зала. «Э, Парамошин, Парамошин, — снисходительно посочувствовал он обескураженному врагу, — не по зубам орешек берешь. Я таких, как ты, с пуговицами глотаю».

После собрания секретарь партячейки Скрипичин — утрюмый, от рождения хромой парень, известный в округе больше поделками из бросовых корешков, чем партийным своим чином, догнал его у входа, спросил как бы мимоходом:

- Домой?
- Вроде.
- Что собираешься делать?
- Поспать надо. Завтра в поездку.
- Я не об этом.
- Пускай у Парамошина голова болит.
- Шутишь?
- На всякий чих не наздравствуешься.
- Смотри.
- Пуганый...

Некоторое время они шли молча. Осень шелестела в палисадниках, осыпая с кустов и деревьев хрусткую жилистую листву. Станция оглашала окрест перекличкой маневровых паровозов. В слинявшем небе клубились редкие тучки. У городского пруда бабы, как и много лет назад, полоскали белье. На городском базаре мужики торговали живностью и сеном. Над

крышами слободских сараев кружились турманы, погоняемые пронзительным свистом голубятников. Город, выдержав долгий натиск смутных времен, подспудно жил своей, неистребимо устойчивой жизнью, так ничем внутренне и не изменившись.

— Парамошин, конечно, демагог, крикун, — снова заговорил Скрипицын, — но и ты тоже хорош. К тебе всякий народ ходит, а у тебя в красном углу церковный парад. Так ведь и билет положить недолго! Он ведь не отступится за здорово живешь, просигналит, куда следует. По твоей милости и мне не поздоровится, намьлят шею... Соображаешь?

И здесь Петра Васильевича прорвало. Всю горечь и злость, что исподволь скапливались в нем в течение дня, он излил на собеседника:

— Как же так выходит, секретарь? Живу я на виду у всех. Чем дышу, всякий в городе знает. С чем в революцию пришел — тоже известно. Первым начал и не последний кончил. Только получается, что все это можно псу под хвост кинуть. Любому брехуну вера, а мне — нет. Это по справедливости разве? Или ты Парамошина не знаешь? Рвач, доносчик, подхалим. Нахватался слов разных и несет околесицу на всяком собрании, авторитет зарабатывает. Если все ради таких, то и начинать не стоило.

— Ты эти слова брось! — сразу посмурел тот. — За такие разговоры нынче по головке не погладят.

— Дрожишь, Скрипицын?

Тот остановился, пошарил в карманах, достал смятую папироску, прикурил, но не затянулся. Отвернувшись, заговорил шёпотной скороговоркой:

— Боюсь я, Петя, Парамошина этого. Смерть, как боюсь. Нету у меня силы против его речей. Как заговорит, чую — тону я. Ты ему: «работать надо». А он тебе: «мировой империализм». Вот и поговори с ним. Чуть что не по его, — дело шьет, на оппортунизме ловит, в попустительстве обвиняет. И благо бы один он.

С него другие пример брать начинают. И все из тех, кто дурочку на работе привык валять. Попробуй, заткни им глотку. Быстро под статью подведут. Эх, бросить бы всё это к чёртовой бабушке! Да теперь уже не дадут по добру уйти, поздно... Ладно, пока. Мне еще в горьком нужно.

Скрипицын свернул в переулок, но даже в том, с какой тяжелой поспешностью он сворачивал, чувствовались его смятение и растерянность. И когда через несколько лет тот разделил скорбную участь многих, Петру Васильевичу не раз вспоминался этот долгий осенний день и это расставание на перекрестке двух городских слободок.

Подходя к дому, Петр Васильевич заранее переживал тягостную сцену предстоящего ему объяснения с женой. С самого начала их совместной жизни, Мария, с присущей ей тихой твердостью, сумела оттородить маленький мирок своих внесемейных интересов от его власти. Ему же было недосуг заниматься ее делами. Так они и жили, не мешая друг другу верить в то, во что каждый из них верил. И вот теперь он должен был нарушить эту их с женой молчаливую договоренность. На сердце у него скребли кошки, и все вокруг было ему немило.

Дома Мария бесшумно и быстро обставила мужа тарелками, вынула из печи чугунок с оставленным специально для него гуляшом и, сунув руки под фартук, замерла по привычке у двери, готовая в любой момент кинуться к нему по первому его знаку.

В соседней комнате младший сын Петра Васильевича — Женька — монотонно зубрил заданный в школе урок:

— Кислород — важнейшая составная часть воздуха... Кислород — важнейшая составная часть воздуха... В воздухе находятся два газа: кислород и азот... Это определил французский ученый Лу... Лавуэрье... Лавуазье...

За безмолвной трапезой Петр Васильевич мучительно подбирал слова для предстоящего разговора. Ему хотелось найти доводы, в своем роде единственные, против которых ей невозможно было бы возразить. Но в голову лезло все самое пустое и неподходящее. «Чего тянуть? — всердцах досадовал он на себя. — Выложить сразу — и с плеч долой».

Мария — одну за другой — меняла посуду перед ним, он машинально, не замечая ни вкуса ни вида, ел и, наконец, не выдержав тишины вокруг и там, внутри себя, спросил:

— Антонина где?

— Спит.

— Постели и мне. С утра в поездку. Деев заболел. — Поднимаясь из-за стола, он неожиданно для самого себя решился. — Слушай, мать... Надо бы убрать с глаз, — он кивнул в угол, — канитель эту... Неудобно, ко мне люди ходят... Партийный... Нынче вот Парамошин на весь город ославил, а завтра...

Петр Васильевич поднял глаза на жену, поперхнулся и умолк: такой он ее еще не видел. Бледная, трясущаяся она рассматривала мужа в упор, упрямо откинув голову назад, словно заново узнавала его. Полотенце в гневных руках Марии медленно скручивалось в тугую беспокойный жгут.

— Ваша воля, Петр Васильевич, вы в этом доме хозяин. Только вы меня в таком разе отпустите с миром. Мы о том с вами не уговаривались, чтобы я свою веру теряла. Мне ваши дела совсем не по душе, потому как не мое это дело — других судить. Себя бы соблюсти в Господе. А коли вам моя вера не по душе, не обессудьте, уйду я и складень этот с собой унесу.

Такого отпора Петр Васильевич не ожидал. Ее с подобной силой проявленная ею самостоятельность вызвала в нем, вместе с чувством досады, невольное к ней уважение: «А ты, оказывается не проста, матушка, ох, как не проста!» И он, не из желания настоять на сво-

ем, а больше для порядка, чтобы только оставить последнее слово за собой, смущенно буркнул:

— Говори, говори...

— Таиться не приучена.

— Ишь, волю взяли...

— Я из-под вашей воли не выхожу, Петр Васильевич. — Чувствуя, что настояла на своем, она смягчилась. — Только вы мою темноту мне оставьте.

Убедившись окончательно, что жена не уступит, Петр Васильевич смирился и мысленно махнул на последствия рукой: «Собака лает, ветер носит. Побрешут, побрешут и отвяжутся».

Но с той поры Петра Васильевича в трудных случаях не покидало ощущение присутствия в его жизни чего-то прочного и устойчивого, рядом с чем он мог считать себя в безопасности. И за это он был благодарен Марии.

XI

Весна вошла в город неожиданно и застала Петра Васильевича врасплох. Заснув однажды вечером под вкрадчивый свист позёмки за окном, он, разбуженный утром пронзительной трелью будильника, глазам своим не поверил: комнату заливало ровным слепящим светом. В солнечной тишине звон капли, проникавший сюда с улицы, казался Петру Васильевичу оглушительным: «Ещё одна весна подарена тебе, Лашков, — весело подразнил он себя, — радуйся, старый хрыч! Доживешь ли до следующей?»

То, что природа привыкла делать исподволь, неспеша, в течение недель, она совершила за последующие несколько дней. Стаял снег, набухли и взорвались зеленым пламенем почки, окрестные пруды очистились ото льда. Небо над городом стояло высокое, без единого облачка, настоящее густой, почти осязаемой синевой.

В один из таких погожих, словно на заказ, дней в дом к Лашкову постучался Гупак. После отъезда Вадима, тот, заглянув однажды, стал частенько навещать Петра Васильевича, объясняя свои визиты самыми разными предлогами: то узнавал, нет ли вестей от внука, то являлся поздравить с очередным престольным праздником, то нес неотложную городскую новость. Вначале Петр Васильевич тяготился непрощенным гостем, слишком мало было у них общего, но незаметно для себя привык к гупаковским посещениям, а вскоре не мог без них обойтись. Споры с Гупаком скрашивали его одиночество, помогая ему уяснить самого себя, свое теперешнее отношение к окружающему. Поэтому сейчас появление гостя после непродолжительного перерыва откровенно обрадовало Петра Васильевича. Впуская Гупака, он не сдерживал радушного возбуждения:

— Забыли совсем, Лев Львович, старика. Вторую неделю глаз не кажете. Я уж было подумал — обиделись.

Тот, прежде чем поздороваться, перекрестился, поклонившись в пустой угол, и лишь после этого протянул хозяину прохладную ладошку:

— Что вы, что вы! Прибаливал немного. Чуть встал, сразу к вам. Как вы тут? Весна-то, а? Как в сказке. — Удовлетворенно потирая руки, он расхаживал по комнате. — Сплошное благорастворение. Рамы-то, Петр Васильевич, вынуть бы не мешало. Может, вместе, а? Чего откладывать? Сразу всю сырость выдует.

— Успеется. Я ведь и не бываю дома последнее время, хлопоты всякие заели. Ночую только.

— Все равно воздух нужен. — Гупак одним ловким движением содрал полоску бумажной наклейки с оконного паза. — Сны чище будут. Помогайте, Петр Васильевич.

Вдвоем они в какие-нибудь полчаса привели окна дома в соответствующий времени года вид, вынесли

мусор и, оба довольные делом своих рук, расположились отдохнуть на лавочке в палисаднике.

Перед домом мимо них проходили люди и погромыживали машины. В опутанном проводами электропередач и телеантенн небе реактивный истребитель выписывал дымные восьмерки; по соседству, в строительном дворе, надрывно повизгивала пилорама. На всем вокруг ощущалась печать умиротворенности. Наверное поэтому и разговор их складывался поначалу мирно и неторопливо.

— Что нового у Вадима Викторовича? — словно невзначай обронил Гупак. — Пишет?

— Обездчиком устроился. С дедом Андреем вместе работает. У него и живет.

— Где семеро едят, там восьмой даром прокормится. Лишь бы ужился.

— Дед его не Господь Бог, чтобы одним хлебом всех насытить!

— Опять упрощаете, Петр Васильевич. Нельзя же сводить Евангелие к простому собранию чудесных мифов, наподобие греческих. Святые отцы изложили события первого происшествия на доступном для масс языке. Отсюда и кажущаяся его примитивность. Но житейскими доводами никогда не опровергнуть веры. Спаситель не хлебом в прямом смысле, а хлебом истины со всеми поделился. Ее-то и хватило на всех. И на тех пять тысяч. И на многие и многие миллионы потом.

— Да вроде на убыль идет пицца Его. — Чувство противоречия брало в нем верх. — Трезвеет народ, в пьянство ударился. В сивухе истины ищет.

— Вера нашего народа, по сути, только начинается, Петр Васильевич. Для большей веры через великое сомнение надо пройти, может быть, даже через кровавую прелесть. То, что раньше было у многих от страха, от скуки, теперь от смирения начинается. С мукой, с беззаветностью к вере идут. Вы присмотритесь, Петр Васильевич, кругом тому свидетельства. — Коротко по-

молчал, он опустил тяжелые веки и перешел на полусшёпот. — Дочь ваша, Антонина Петровна, письмо прислала. Просит меня поговорить с вами.

Ревнивая обида взяла Петра Васильевича. Он и раньше догадывался, что дочь его продолжает поддерживать переписку с Гупаком. Слишком уж явной становилась с каждым днем осведомленность Льва Львовича о ее жизни в Средней Азии, которой тот почти не скрывал в разговорах с ним. Но ему и в голову не приходило, что она могла скрыть от него что-то такое, о чем без стеснения писала чужому человеку. Это было выше его понимания и он, не скрывая досады, отвернулся:

— Чего там еще у нее?

— Зря вы, Петр Васильевич, дорогой, принимаете это так близко к сердцу. Вы, наверное, и сами не раз открывались незнакомым людям. Врачу, например. Постороннему открыться легче, потому что от постороннего можно всегда уйти и забыть его. К тому же мы с женой вашей дочери не совсем чужие. Мы — единовёрцы. Это, знаете, немаловажная деталь к нашему разговору... Антонина, Петр Васильевич, обратилась ко мне неспроста. Она любит вас и боится огорчить, а потому и спрашивает у меня совета.

— Дожил! — Весь еще во власти раздражения, он мало-помалу приходил в себя. — Валяйте, чего уж там!

Обстоятельно и толково Гупак поведал ему обо всем, что случилось с Николаем. И — странное дело! — чем безотраднее рисовалось Петру Васильевичу нынешнее положение дочери, тем полнее становилось его сочувствие к ней.

«Эх, Антонина, Антонина, отцу родному не доверилась! Что я, зверь, что ли?» К концу гупаковского рассказа ему уже не сиделось на месте. Стоило тому умолкнуть, как он сразу же нетерпеливо заторопился:

— Телеграмму надо дать. — Жизнь снова обрела

для него реальную цель. — Чего ж она там сидит одна с ребенком?

Лев Львович, явно не ожидавший с его стороны такого скорого и определенного отношения к своему общению, смешался:

— Подготовиться бы надо.

— А чего нужно? Все есть. Чего не достанет — купим.

— В порядок квартиру бы привести, Петр Васильевич. Ребенок ведь там жить будет.

— Когда же теперь? Найми, с неделю провозятся. А то и больше. Сам рад не будешь, чего уж там!

— Зачем же неделю, — осторожно вздохнул тот. — Гусевых позвать — в два дня управятся.

— Гусевых? — упоминание о старом соседе несколько покорило его, но отступать было поздно; и он сдался. — Гусевых, так Гусевых. Только возьмется ли? Ему другой заказчик по нраву.

— Какой там! — Гупак воодушевленно вскочил. — За особую честь почтет. — Его прямо-таки распирала жажда немедленной деятельности. — Нечего и откладывать, сейчас пойдем.

— Удобно ли вот так... Сразу... Как снег на голову?

— Уж чего удобнее! Только рад будет.

— Ну, коли так...

— Будьте покойны.

Редкие в эту пору дня прохожие с удивлением оборачивались вслед двум старикам, которых едва ли кто в городе ожидал когда-нибудь увидеть мирно идущими бок о бок по улице. Но им было теперь ни до кого. Оживленно обсуждая предстоящие хлопоты, они незаметно для себя пересекли город из одного конца в другой, направляясь туда, где царственно маячил над окраинной слободой резной конек гусевского дома.

Самого хозяина они застали за углублением сточной канавы вдоль внешней стороны изгороди. Жилистый, ширококостный, он орудовал штыковой лопатой с

размеренной сноровкой человека, привыкшего делать любую работу без огрехов и на совесть. Заприметив гостей, Гусев с силой воткнул лопату в грунт, вытер пот со лба и радушно, но безо всякой, впрочем, искательности, заулыбался им навстречу полнозубым волевым ртом:

— Кого я вижу! Привет, привет, гостюшки! — Он обратился в сторону дома. — Мать!

За изгородью, на высоком крыльце мгновенно, будто только и ожидала мужниного зова, появилась не старая еще совсем женщина в клеенчатом переднике и, вытирая руки кухонным полотенцем, в свою очередь, гостеприимно засияла оттуда:

— Милости просим. Чего же у двора стоять, приходите в дом, гости дорогие!

Нет, она почти не изменилась — бывшая соседка его Ксения Федоровна. Время лишь чуть заметно стянуло ее моложавое лицо тоненькой паутинкой едва уловимых морщин. Сидя за столом на открытой веранде, Петр Васильевич искоса следил, как споро и несуетливо хлопотала она вокруг них, стараясь придвинуть ему кусок получше и рюмку поплотней, и в душе завидовал хозяину и дарованной ему жизненной удачливости: «В рубашке родился, чёртов сын!»

— Об чем разговор! — Легкий хмель только подчеркивал щедрую вальяжность Гордея. — Сделаем. В обиде не останешься, Васильич. Я не коммунхоз, на авось не работаю. И цена по совести. А тебе, как бывшему соседу, так и вовсе скидка. Завтра с утра к тебе своего парня пришлю, а к вечеру сам приду, помогу. Договорились, в общем... Здоровычко-то как, Васильич?

— Скриплю.

— Кость в тебе крепкая. Вы, Лашковы, все почти до ста набирали. Ты в них заряжен. Тебя еще надолго хватит.

— Где там! Этот десяток доскрипеть бы, и то дело. Бывает, шнурок завяжу, а разогнуться уже мочи нет.

Земля к себе тянет. — Неожиданно он перехватил взгляд Гордея, со значением устремленный на Гупака. — Скоро рассчитаюсь.

— Пойду, пожалуй, — взглянув на часы, суетливо заторопился Гупак, — ждут меня.

— Сиди, Львович, — сказал Гусев, но сам встал, чтобы проводить гостя, — подождут.

— Нет, нет, нельзя мне дурные примеры пастве своей подавать... Спасибо за угощение.

От внимания Петра Васильевича не ускользнули ни взгляд, которым они при этом обменялись, ни поспешность, с какой Гупак откланивался, ни облегчение хозяина, после того, как тот вышел. Неясное подозрение, возникшее у него в самом начале встречи, окончательно укрепилось в нем: «Договорились, заранее договорились обо всем, старые хрычи!» Он не только не оскорбился их сговором, но даже, в известной мере, был рад этому. Смутная тяга его к Гусеву и таким, как Гусев, становилась с течением времени почти неодолимой. От них — этих людей — исходило еще неясное для него ощущение властной надежности, около которой ему жилось увереннее и яснее. Глядя на них, на их крепкие и твердые рты, можно было с уверенностью сказать, что жизнь на земле никогда не кончится. Они не дадут, не позволят ей кончиться, так наполненно и беспрерывно билась в них деятельность, работа.

— Вот, кто поживет еще, — кивнул Петр Васильевич в сторону двери. — Ни одного седого волоса!

— У него рак, Васильич, — просто, как о чем-то значения особенного не имеющем, сообщил, опускаясь против гостя, Гордей. — Месяца два-три, больше не протянет. Вот такие дела. Васильич.

— Может, обойдется? — сам пугаясь своей неуверенности, вздохнул он. — Бывали случаи.

— Нет, не обойдется, Васильич, — еще спокойнее и тверже сказал Гордей. — Я его доктору дом крыл. Никак не обойдется. Да он и сам знает.

— Знает?!

— Знает, — Гордей взглянул ему прямо в глаза, и взглядом этим как бы определил для него всю меру его житейской слепоты. — Вот такие дела, Васильич. Нам бы такой силы. И света тоже.

— Да...

— Чего там темнить, Васильич, — Гордей поднял свой недопитый стакан и потянулся с ним к гостю, — я ведь давно хотел с тобою с глазу на глаз. Пора бы нам поговорить по душам. Жизнь на исход пошла. Нечего делить, все поделено.

— Я что ж, давай. — В нем исподволь вызревало, набирая силу, ответное к Гусеву расположение. — Я никогда глухим не притворялся, сам знаешь.

— Вот это дело! — Одним глотком опорожнив содержимое стакана, он устался на Петра Васильевича светлыми смеющимися глазами. — Пей, Васильич, время терпит. Будем мы с тобой всякие нынче разговоры разговаривать. Тебе же всей правды никто, кроме меня, не скажет. Побоятся...

Они просидели за столом до глубокой ночи. Говорил больше Гусев, а Петр Васильевич слушал. Впервые, с чужих слов, он увидел свою жизнь со стороны, узнал, какой она выглядела в глазах окружающих. Гордей не щадил в нем ни чести, ни самолюбия. Шаг за шагом, день за днем восстанавливал он в его памяти даже им самим забытые уже события. Перед мысленным взором Петра Васильевича вдруг встала вся судьба целиком, во всей совокупности ее удач и ошибок, будней и праздников. И, подводя итог увиденному, он с испепеляющей душу трезвостью должен был сознаться себе, что век, прожитый им, — прожит попусту, в погоне за жалким и неосязаемым призраком. И тогда Лашков заплакал, заплакал молчаливо и облегченно, и это было единственное, чем он мог ответить сидящему перед ним человеку.

XII

На другой день Гусев привел к Петру Васильевичу высокого, худого, с ранними залысынами парня, откровенно их, гусевской, породы и, легонько подтолкнув его вперед себя, снисходительно отрекомендовал:

— Мой единокровный. Недотепа, правда, но дело знает. В обиде не будешь. Выйдем, Васильич. Пускай осмотрится, прикинет, что к чему. А мы пока покурим.

Они устроились на верхней ступеньке крыльца, гость молча закурил, и Петр Васильевич, преодолевая неловкость, с трудом сложил:

— Цену бы назвал, а то ведь и не расплатишься с тобой до самой смерти.

— Договоримся.

— Посильно не обижу.

— Ничего мне от щедрот твоих не надо, Васильич. — Он грустно вздохнул. — Заплатишь по таксе и будь здоров. Ты думаешь, я рвач? Не хочу на производство идти? Нет, Васильич, не работы я казенной боюсь, казенной лени. Разве это дело, при одних руках трое начальников? И все норовят, чтобы я похуже сработал, лишь бы побыстрее. Им ведь не работа — прогрессивка нужна. А ведь я мастер, Васильич. — Он почти застонал. — Мастер! Понимаешь ты это, Васильич? А, что говорить! — Он загасил папиросу о подошву, но окурок не выбросил, положил в карман и поднялся. — Пойду, дел по горло. Буду забегать присматривать.

Глядя вслед его подтянутой молодцеватой фигуре, уверенной походкой пересекавшей улицу, Петр Васильевич с нескрываемой завистью заключил про себя: «А ведь мы однолетки. Выходит, свои у каждого года».

А молодой Гусев уже выдвигал в сени немудрящую лашковскую мебелишку. Работал он уверенно и почти бесшумно. Вещь за вещь, как бы сами по себе,

плотным четырехугольником выстраивались в углу между торцовой стеною и погребом. Помогая ему протаскивать через дверь жалобно дребезжащий посудой буфет, Петр Васильевич спросил его с дружелюбным расположением:

— Как зовут, сказал бы?

— Алексеем. — Парень расплылся в смущенной улыбке. — Отец не сказал разве?

— Думал, видно, знаю.

— Он такой у меня, папашка, — еще шире осветился тот, — с гонорком. Думает, про него все заранее знать обязаны. С характером старикан, его на вороньих не объедешь.

Потом они вместе сдирали старые, в клопиной сыпи обои и пожелтевший слой газет под ними и совместная эта работа облегчала Петра Васильевича, сообщая ему чувство уверенности в добром исходе волновавших его последнее время дел и забот. Он сам не заметил, как постепенно вошел во вкус работы и стал во всем помогать Алексею. Перебрасываясь между собой деловыми замечаниями, они загрунтовали и побелили потолки в обеих половинах, выкрасили оконные переплеты и, оба довольные удачно завершенным днем, опорожнили четвертинку под наскоро приготовленную Петром Васильевичем закуску. Вконец раздобревший хозяин кинулся было в магазин за добавкой, но гость решительно перевернул свой стакан вверх дном:

— Я, батя, пас.

— Что так?

— Папашка не любит, когда посреди работы.

— Строг?

— Да как сказать. Строг — не строг, а порядок любит. Если и осадит, так по делу. Я ведь в депо начинал. А когда с Николаем вашим вся эта бодяга получилась, он, папашка мой, забрал меня оттуда, к себе приспособил.

— Выходит, ты Николая знаешь?

— Ясное дело.

— Толком-то я сам ничего не слышал.

— Да как-то авралили мы в депо. Там всегда к концу месяца жмут. Вкальывали без выходных, а план все равно горел. Здесь, под горячую руку и заявилось городское начальство. Один там, который поважнее, орать начал. Да все матом, матом. Ну, Коля и не стерпел, врезал ему промеж глаз... Не любил, когда не по справедливости. Золото парень был, компанейский.

Петр Васильевич часто пытался представить себе, что же такое был его зять. Близкое знакомство их, по сути, так и не состоялось. Ему нравилась обстоятельность Николая, но какая жизнь, с какими взаимосвязями, стоял за парнем, оставалось старику неизвестным. Последние слова младшего Гусева, будто вспышка далекой зарницы, высветили перед Петром Васильевичем черты твердого и цельного облика.

— Ну, а вы-то что же? — Гневно напрягаясь, он уже жил мгновением, минутой случившегося тогда. — Вы что?

— А мы что? — Парень угрюмо потупился. — Против власти не попрешь.

Петру Васильевичу почему-то вспомнилась его собственная толкотня по московским кабинетам, откуда он неизменно выходил с удушливым ощущением своего бессилия и опустошенности, и, скрепя сердце, он хмуро согласился:

— Да... Не попрешь.

Под окном послышались шаги, потом звякнула дверная щеколда и следом из темного провала сеней в настежь распянутую дверь вплыл бодрый гусевский тенорок:

— Работнички! Света в сенцах оставить не могли. — Он выявился на пороге и цепко скользнул взглядом вокруг, оценивая работу. — Годится. Колер только жидковат малость. Ну-ка, Леха, — он деловито кив-

нул сыну, — заводи клейстерок, сегодня и поклеим. Тут и делов-то на раз помочиться.

Много мастеров довелось Петру Васильевичу наблюдать в деле за свой век, но такой работы видеть не приходилось. То была даже не работа, а действие. Отец и сын, словно бы соревновались в ловкости и проворстве, слаженно, подобие четко выверенного челночного механизма, дополнял каждое движение другого. Ровные, весенней расцветки полосы ряд за рядом без единой морщинки стекали сверху вниз, к самому плинтусу. Работая, они изредка и ровно в меру необходимого перебрасывались словом-двумя:

- Чуть подтяни.
- Готово.
- Возьми левее.
- Пойдет?
- Самый раз.
- Подай бордюр.
- Сплошняком?
- Годится.

К ночи обе половины в доме Петра Васильевича блистали нарядной новизной, источая в звездную темь терпкий запах клейстера и краски. Тщательно отмывая руки под умывальником, Гусев-старший горделиво посмеивался в сторону хозяина:

— Не ослабела еще рука у Гусева. Принимай работу, Васильич! Не подкопаешься. Я тебе цветного линолеума к завтраму достану. Без вреда внук ползать будет... Лёха, полотенце!

Провожая мастеров, Петр Васильевич слегка придержал Гордея за локоть, но тот, догадываясь о его намерении, решительно освободился:

— Брось, Васильич. Не возьму с тебя ничего, кроме как за матерьял. Ни полушки не возьму. Уж ты не обижайся, а только и Гусевы тоже — люди. Бывай.

Сказал и канул в ночи. А Петр Васильевич, оставаясь наедине с собою и мерным отзвуком затихающей

гусевской поступи, долго еще не мог избыть в себе жаркой растерянности: «Вот тебе и Гусев! Как кутенка в мое собственное дерьмо ткнул. И, видать, не зря».

XIII

На вокзал Петр Васильевич явился часа за два до прихода поезда. Бесцельно бродил он по его полупустым залам в тайной надежде встретить кого-нибудь из бывших сослуживцев. Но сколько Лашков ни всматривался во встречных путейцев, ни одного знакомого лица так и не увидел. «Вымирает потихоньку довоенное племя, — мысленно посетовал он, — скоро совсем никого не останется». И лишь на перроне, в самом его конце, у раскрытого окна кубовой перед Петром Васильевичем объявилось знакомое, но уже помятое и как бы сплюснутое временем лицо. Перехватив его взгляд, старуха за окном беззубо заулыбалась:

— Здравствуйте, Петр Васильевич.

— Здравствуй, Татьяна.

Татьяну Говорухину Лашков знал еще девчонкой. Дочь путевого обходчика с Бобриковского разъезда, она всю жизнь провела около дороги. Была и смазчицей, и проводником, одной из первых села на паровоз, хотя потом большую часть времени убивала в президиумах разных, больших и малых, собраний. В тридцать пятом Говорухина вышла замуж за гремевшего на транспорте знатного машиниста — Мишку Золотарева, а в следующем — тридцать шестом, с первенцем на руках уже возила ему передачи в Тульскую внутреннюю тюрьму. В те времена, еще пользуясь влиянием у местных властей, Петр Васильевич, всегда ревновавший к судьбе своего брата — железнодорожника, помог ей с жильем и трудоустройством. С той поры Татьяна, так и оставшаяся для него девчонкой, изредка встречаясь с ним, всякий раз благодарно млела.

— Ай, встречаете кого? — Женщина продолжала ласково светиться в его сторону. — Не родня ли?

— Антонина.

— Проведать или насовсем?

— Совсем.

— С Николаем?

— Родила. — В городе, вроде Узловска, ни одно даже самое малое событие не могло остаться незамеченным и поэтому ее осведомленность о его семейных обстоятельствах он воспринял как должное. — Внука мне везет.

— Вот тебе и Антонина! — отечное лицо Говорухиной порозовело от удовольствия. — Молодец, девка.

— Не подвела. — Проникаясь к ней признательностью за ее открытое сочувствие, он внезапно для самого себя разоткровенничался. — Петром назвали.

— Не забыли отца, значит.

— Не забыли, — утвердил он и хотел тут же добавить к сказанному что-нибудь еще — ласковое и прочувствованное, но в этот момент по станционному репродуктору было объявлено о подходе Московского скорого и он, подаваясь ближе к полотну, лишь рассеянно покивал на прощание. — Бывай, Татьяна.

Едва состав, направляясь к перрону, выделился из строя пульманов на расположенной неподалеку товарной станции, сердце у Петра Васильевича резко и учащенно задергалось: «Еще и не узнаю сослепу, помяло, небось, на чужбине-то!» Все то медлительное время, пока мимо него тихо проплывали окна вагонов с прикишими к ним лицами, это тревожное опасение не покидало его. Сам того не замечая, он двинулся вровень с поездом, избегая в этом движении свою тревогу и неуверенность.

Но только лишь состав, в последний раз вздрогнув, остановился, как в проеме тамбура восьмого вагона, среди пестрого смешения шляп, кепок и платков Петр Васильевич сразу же различил повязанную дав-

но знакомым ему манером синюю косынку Антонины. У него перехватило дыхание. Слепо расталкивая встречных, он ринулся к заветной подножке. А дочь уже тянулась искательным взглядом ему навстречу, уже выставляла перед собой байковый сверток, словно оправдываясь и моля о снисхождении.

— Вот и приехала. — Принимая от нее внука, он, в горячечном волнении, даже поздороваться забыл. — Не спеши... Вот...

— Здравствуй, папаня, — облегченно пролепетала она, благодарно прикивая к его рукаву. — Хорошо-то как!

По дороге домой Антонина время от времени скашивала в сторону отца испытующий взгляд, как бы проверяя перчое свое впечатление. И Петр Васильевич, догадываясь о ее затаенной тревоге, всем своим видом старался поддержать в ней присутствие духа и надежду. Внук чуть слышно посапывал у него на руках, и это младенческое посапывание отдавалось в сердце Петра Васильевича долгим и сладостным томлением: «Ишь ты, как высвистывает, Петр, Николаев сын, так бы и не просыпался вовсе!» Минуя родную слободу, он с горделивым удовлетворением отмечал про себя краем глаза каждую отдернутую занавеску в соседских домах, всякий любопытствующий взгляд и кивок прохожего: «Не пропал лашковский род, господа хорошие, живет!»

Дома, восторженно оглядевшись вокруг себя, Антонина лишь руками всплеснула:

— Папаня!

— Сколько можно в грязи сидеть. — Чувствуя себя в глубине польщенным ее одобрением, он старался выглядеть как можно равнодушнее. — И опять же — ребенок.

— Прямо, словно новоселье! — С привычной легкостью она распеленала на отцовской кровати своего первенца и тут же потянулась к Петру Васильевичу за

сочувствием. — Три девятьсот родился. И не болел ни разу.

— В нас пошел, в Лашковых. — При взгляде на шевелящийся комочек живой плоти, он поймал себя на том, что у него дрожат губы. — Больных у нас в роду не было.

— Дай-то Бог.

— Сами не оплошаем.

— У семи нянек...

— Ничего, уследим.

Так, бездумно перекидываясь с дочерью короткими фразами, Петр Васильевич помог ей накрыть на стол. И они сели друг против друга. Впервые за день взгляды их встретились, и все, что до этого было ими недоговорено, сказало само собой: жизнь для них началась заново и они оба молчаливо соглашались оставить пережитое по ту сторону порога.

— Мне нельзя много, молоко уйдет. — Она решительно придержала протянутую отцом к ее рюмке бутылку. — Разве только за встречу, папаня.

— Тебе видней. — Он налил себе до краев. — Ну, дай-то нам с тобой всего хорошего.

— Спасибо тебе, папаня.

Антонина со вкусом и вдумчивостью выщедила свою долю, отставила рюмку в сторону и, так и не допьювшись до закуски, поднялась:

— Покормлю пойду, да прилягу. Дорога была длинная. Укачало, еле ноги держат.

— И не поговорили.

— Наговоримся еще, папаня. — Она задержалась на пороге и в голосе ее прорезалась горечь. — Время теперь у нас будет.

Петр Васильевич не мог не отметить про себя происшедшую в дочери едва заметную, но важную перемену. Появилась в ее жестах, походке, манере говорить какая-то твердая сила, перед которой его начинала охватывать необъяснимая робость. Такая Анто-

нина была ему еще незнакома: «Вот она, порода-то, когда стала сказываться!»

Наедине с собой Петр Васильевич не боялся признаться себе, что жизнь свою он заканчивал тем, с чего бы ее ему начинать следовало. Перед ним во всей полноте и объеме, словно проявленные на темном до этого снимке, определились причины и связи окружающего его мира, и он, пораженный их таинственной целесообразностью, увидел себя тем, чем он был на самом деле: маленькой частицей этого стройного организма, существующей, может быть, лишь на самой болезненной точке одного из живых пересечений этого организма. Осознание своего «я» частью огромного и осмысленного целого дарило Петра Васильевича чувством внутреннего покоя и равновесия. «Правда, видно, не в чужом огороде прячется, — его мысли текли умиротворенно и ровно, — а в нас самих. Верно Гупак говорит: Тот не хлеб — душу свою делил, потому всем и хватило. Чужое раздать нехитро, ты своим поделись. Надо полагать, куда труднее будет. Вон Гусев в разговорах справедливости не ищет, — делом занят, ремеслом. Помрет — работа его после него останется. А от меня что? Что останется? Одно пустое сотрясение воздуха? Спеши, Лашков, торопись, покуда дух вон не вышел. У тебя всякий день, как подарочек к празднику, восьмой десяток уже».

Из полудремотного бодрствования его вывел детский плач по ту сторону перегородки. За окном, между пределом ночи и горизонтом уже пробивалась смутная полоска рассвета. Тихонько, чтобы не разбудить дочь, он поднялся и прошел на ее половину. В рассеянном свете ночника лицо Антонины выглядело моложавее и проще обычного. Сознание своего материнства не оставляло женщину и во сне. Оттого, наверное, в неловкой позе ее — полусогнутая в локте рука почти у самого подбородка — обозначилось выражение чуткой напряженности.

Осторожно высвободив плачущего внука из-под ее руки, Петр Васильевич кое-как, с горем пополам спеленал его и, укутав в большое одеяло, вышел с ним на крыльцо. Рассвет за дальними крышами постепенно набирал силу, очертания домов и деревьев с каждым мгновением становились резче и определеннее. Внук, видно, почуввав себя в крепкой надежности бережных рук, утих, и Петра Васильевича против его воли потянуло прочь от дома, туда, где за пределом слободы блистала утренним асфальтом стекающая в горизонт дорога. Миновав улицу, он пошел по ней, по этой дороге, навстречу стремительно возникающему дню.

Чутко прислушиваясь к едва уловимому дыханию внука, Петр Васильевич с каждым шагом обретал все большую уверенность в своей собственной и всего окружающего бесконечности и единстве. Теперь-то он уже не просто догадывался, а твердо знал, что восходящий круговорот, в котором он вскоре завершит свою часть пути, продолжит следующий Лашков, внук его — Петр Николаевич, приняв на себя предназначенную ему долю тяжести в этом вещем и благотворном восхождении.

Утро высвечивало перед Петром Васильевичем втекающую в горизонт дорогу, и он шел по ней с внуком на руках. Шел и Знал. Знал и Верил.

**И НАСТУПИЛ СЕДЬМОЙ ДЕНЬ —
ДЕНЬ НАДЕЖДЫ И ВОСКРЕСЕНИЯ . . .**

Понедельник. Путешествие к себе	5
Вторник. Перегон	89
Среда. Двор посреди неба	167
Четверг. Поздний свет	271
Пятница. Лабиринт	361
Суббота. Вечер и ночь шестого дня	427
Седьмой день — день надежды и воскресения...	509

М 17 **Максимов В.Е.**
Собрание сочинений. В 8-ми т. Т.2. Семь дней
творения./Худож. оформл. И. Сайко. - М.: ТЕРРА,
1991.- 512 с.

ISBN 5-85255-031-0 (Т. 2)

ISBN 5-85255-038-8

В том вошел роман В. Максимова «Семь дней творения».

М 4702010201 подписное
91

ББК 84Р7

**ВЛАДИМИР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
МАКСИМОВ**
*Собрание сочинений
Том второй*

Художественный редактор *И. Сайко*

Технический редактор *Р. Смирнова*

Сдано в набор 15.12.90. Подписано к печати 10.01.91. Формат
84x108/32. Бумага офсетная. Печать высокая. Усл.печ.л. 21,5.
Усл.кр.-отт. 21,5. Тираж 100 000 экз. Заказ N30. Цена 12 руб.

Ассоциация совместных предприятий, международных
объединений и организаций. Издательский центр «ТЕРРА».
109280. Москва, Автозаводская ул., д.10, корп. Б, а/я 73.
Ярославский полиграфкомбинат Госкомпечати СССР
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.



«TEPPA» - «TERRA»